ISSN 0130-6545

9.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МАТИ ТАВАРА
Стихи

МАРЕК ХЛАСКО
Рассказы

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
Комната Джейкоба

ДЖОН ЛЕННОН и ПОЛ МАККАРТНИ
Стихи

ЭРОТИКА И ЛИТЕРАТУРА
(Из бесед в редакции)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Я. ЛАКШИН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

сентябрь **9** 1991

СОДЕРЖАНИЕ

МАТИ ТАВАРА — Стихи *(Перевод с японского и вступление Т. Соколовой-Делюсиной)* 5

МАРЕК ХЛАСКО — Рассказы *(Переводы с польского К. Старосельской и Е. Твердисловой. Предисловие Е. Твердисловой)* 14

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ — Комната Джейкоба *(Роман. Перевод с английского Марии Карп. Вступление Е. Гениевой)* 29

ЭРВЕ ГИБЕР — Другу, который не спас мне жизнь *(Роман. Окончание. Перевод с французского М. Волковой и А. Волкова)* 128

ДЖОН ЛЕННОН и ПОЛ МАККАРТНИ — Стихи *(Переводы с английского М. Бородицкой, В. Лунина, М. Фрейдкина. Вступление В. Скороденко)* 163

Документальная проза и публицистика

НЭНСИ РЕЙГАН при участии Уильяма Новака — Мой черед *(Окончание. Перевод с английского И. Дорониной)* 168

ФАБИО ДОПЛИКЕР — Плющ на Вилле Памфили *(Поэма. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича)* 210

Критика

Эротика и литература (Из бесед в редакции)

Ведущий В. Лакшин. Участвуют: В. Ерофеев, Д. Затонский, А. Зверев, В. Нарбикова, А. Никитин, Н. Пальцев, К. Степанян 214

Вера и мораль

СВАМИ ВИВЕКАНАНДА — Четыре йоги *(Вступление и перевод с английского Мариам Салганик)* 231

Культура и современность

МАРК ХАРИТОНОВ — Белая рубашка, или О понимании 246

У книжной витрины 249

Курьер «ИЛ» 251

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1991

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»:

ТОМ ВУЛФ «Костры амбиций»

В этом романе межэтнические конфликты сегодняшнего Нью-Йорка представлены с непривычной для советского читателя стороны. Герой книги, преуспевающий биржевой делец, попадает за решетку из-за нечистоплотной политической игры лидера негритянской группировки. Впервые необычайно ярко показано, как современный американец зарабатывает свои доллары и на что каждый из этих долларов уходит.

СЮЛЛИ-ПРЮДОМ «Правда»

Французский поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1901 год) представлен фрагментами философской поэмы в переводе **Ивана Тхоржевского,** поэта русского зарубежья, эмигрировавшего во Францию в 1920 году.

В традиционной рубрике **«Вера и мораль»** будут напечатаны фрагменты проповедей митрополита **АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО,** одного из духовных пастырей русской православной диаспоры, с сопроводительной статьей профессора Кембриджского университета Ирины Кирилловой.

НАТАЛЬЯ БОГОМОЛОВА «Абель Поссе: Новые времена, новые лидеры»

Статья рассказывает об одном из самых популярных сегодня писателей Латинской Америки, чьи произведения переведены на многие языки.

На обложке портрет **Артюра Рембо** (к 100-летию со дня смерти).
Рисунок **Пабло Пикассо.**

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака, редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Главный художник **С. И. Мухин**

Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 08.07.91. Подписано в печать 04.09.91. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4 Уч.-изд. 26,70.

Тираж 167 270 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 2076.

Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 69

МАТИ ТАВАРА

■

Перевод с японского
Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

От переводчика

В 1987 году в японской поэзии появилось новое имя — Мати Тавара. Двадцатичетырехлетняя учительница, вчерашняя выпускница литературного факультета университета Васэда, внезапно сделалась популярнейшей поэтессой Японии. Первый же сборник ее стихов «Юбилей салата» («Сарада кинэмби») стал бестселлером и до сих пор издается неслыханными для Японии миллионными тиражами.

Мати Тавара пишет танка. «Я выбрала танка как средство выразить себя,— объясняет она.— Да и просто влюбилась. Влюбилась в 31 слог. На протяжении 1300 лет передавалась от одного человека к другому эта волшебная палочка — 5—7—5—7—7... Слова, обретая положенный ритм, исполняются жизненной силы, пускаются в плавание, излучая таинственный свет. Я очень люблю это мгновение.

Краткость — помеха ли выражению? Отсекая решительно все бессмысленное, невнятное, что внутри меня возникает, удаляю случайные наросты. То же немногое, что остается, ловлю сетью формы.

Напряженность процесса отсекания. Удовлетворение, возникающее, когда остается лишь то, что должно остаться. Очарование танка для меня именно в этом».

Японская танка (пятистишие, построенное на чередовании стихов, разных по числу слогов — 5—7—5—7—7) довольно много переводилась на русский язык, и нашим читателям известны не только классические ее образцы, но и произведения современных поэтов, стремившихся так или иначе преодолеть языковую и тематическую ограниченность этой формы, приспособить ее к требованиям нового времени.

Мати Тавара пишет танка на современном языке, смело вводя в поэтический обиход чисто разговорные обороты и конструкции, причем разговорная интонация совершенно естественно соединяется в ее стихах с предельной точностью формы: поэтесса почти никогда не отступает от классической схемы чередования стихов, а это удается не многим современным поэтам. Кажется, ритм танка для нее естественен, как дыхание. Создается впечатление, что Мати Тавара просто мыслит пятистишиями. «Они извергаются из нее словно вопреки ее собственной воле,— пишет о поэтессе ее учитель, поэт Юкицуна Сасаки, встреча с которым в стенах университета Васэда сыграла важную роль в ее поэтической судьбе.— Музыка, до сих пор спавшая в ее душе, воспрянув ото сна, пришла в движение и обрела свое полное звучание. Танка раскрыла внутреннюю музыку ее души. Стихи извергаются из нее безудержным потоком, как лава из вулкана в момент его пробуждения».

Мати Тавара пишет о том, что всем хорошо знакомо, заставляя взглянуть на это знакомое по-новому и ощутить прелесть и ценность каждого жизненного мгновения. При этом, тяготея к так называемой молодежной культуре, поэзия Мати Тавара — явление куда более значительное, и прежде всего потому, что свежесть и новизна ее поэтического голоса, ее обостренное ощущение современности подкреплены многовековым поэтическим опытом. Причем традиционность Мати Тавара не только и не столько в виртуозном владении формой, она имеет более глубинный характер, выражаясь в особом ви́дении мира. Чуткость ко всему, что ее окружает, умение разглядеть неповторимое своеобразие обычного, повседневного — все это делает Мати Тавара достойной преемницей лучших японских поэтов. Она видит мир глазами обыкновенной современной девушки («Я люблю вкусно поесть, люблю море, люблю писать и получать письма. Я живу одна в Токио и как никто скучаю по своим родным местам. Я легкомысленна, я плакса и трусиха. Словом — никчемная двадцатичетырехлетняя девчонка») и одновременно глазами поэта, за спиной которого опыт многих поколений, поэта, бережно принявшего у предшественников «волшебную палочку» танка.

Предлагаем вниманию читателей стихи Мати Тавара из ее сборника «Юбилей салата» (1987), ставшего блистательным дебютом молодой поэтессы. В предисловии к этому сборнику она пишет: «Занавес еще не опущен. Ведь жить для меня — значит петь. А петь — значит жить».

© Machi Tawara, 1987

■

Чего же еще
Желать и во что еще верить,
Когда мы с тобой
Лежим, растянувшись рядышком
На этом теплом песке.

■

«На днях позвоню»,—
Ты сказал. Телефонную трубку
Кладу на рычаг,
А самой так хочется сразу же
Твой номер снова набрать.

■

Роза цветет,
Будто ведать не ведая,
Что еще через миг
Станет она моею
Всего за четыреста йен.

■

Молчанье прервав,
Ты так мучительно долго
Подбираешь слова...
А я гляжу на тебя,
Наслаждаясь твоим смущеньем.

■

Вдруг захотелось
Нарушить тишину твоей комнаты.
Телефонную трубку
Снимаю и, номер знакомый
Набрав, прислушиваюсь к гудкам.

■

Доброй ночи
Я тебе уже пожелала
И до завтра могу
Жить беззаботно, не вздрагивая
От телефонных звонков.

■

Лишь для того,
Чтобы встретиться мне с тобою
В пятницу, в шесть, 1 24
Каждый раз начинается
По понедельникам утро.

■

В тесном вагоне,
Грудью твоей защищенная,
Тихонько стою.
Как близко твоя щека,
Покрытая темным пушком.

■

Спиною к стене,
Полуденным солнцем нагретой,
Бок о бок сидим.
Ног — твоих и моих —
Параллельные линии.

■

Солнца
Жирный огненный эллипс,
Изнемогая
От собственной тяжести, грузно
Опускается в море.

■

Твоя рука
Перебирает один за другим
Мои пальцы.
Может быть, это и есть
Признанье в любви?

■

Помнишь ли ты,
Как громко взревел мотор
Твоего мотоцикла,
Когда тем августовским утром
Ты выкрал меня из дома?

■

В ночной тишине
Зазвонит телефон, и трубку
Снимаю, счастливая:
Кто-то в столь поздний час
Вспомнил вдруг обо мне.

■

После нашей встречи
В сердце — вечерние сумерки,
Пустынный пейзаж,
Где существуешь лишь ты,
И нет никого кроме.

■

Завтрак на пляже.
Остался лежать нетронутый
Сандвич с яйцом.
От одного его вида
Почему-то становится тошно.

■

Лазурное море
Под таким же лазурным небом.
А между ними
Легкая фигурка на доске.
Слежу за твоим полетом.

■

На пляже
Молча сидим, глядя
Друг другу в глаза.
Вспыхивая, рассыпается искрами
По песку бенгальский огонь.

■

Снова суббота.
И я тебя жду по привычке.
Что ж, ожиданье —
Это для женщины пища,
Без которой никак не прожить.

■

Знаю — несносен
Мужчина, чьи мысли заняты
Мною одной.
Но почему-то и от тебя
Хочу именно этого.

■

В день свиданья
Просыпаюсь чуть свет: четыре,
Полпятого, шесть...
Не стоят ли? — снова и снова
Проверяю свои часы.

■

Тебя проводив,
Заметила вдруг — на тюбике
Зубной пасты
Появилась сегодня утром
Новая вмятина.

■

Карандашом
Так, что рвется бумага,
Отчеркиваю слова:
«Можно любить человека,
Совершенно ему не веря».

■

У школьной доски
С мелом в руке помедлю
Секунду-другую,
И мысли мои привычно
Устремятся к тебе.

■

Любит — не любит —
Лепестки у цветка обрываю.
Пусть хотя бы цветок
Скажет мне «любит» — право,
Большего я не прошу.

■

«Буду звонить»,
«Жди»... Почему, почему же
Ты мне всегда,
Словно приказ отдавая,
Говоришь о любви?

■

«Как это вкусно!» —
Сказал ты однажды, и вот
Шестого июля
Юбилей салата справляю,
Украсив празднично стол.

■

Воспоминанья —
Они сродни замороженной
Овощной смеси.
Вот только ни в коем случае
Нельзя размораживать их.

■

Сегодня с тобой
Мы не увидимся. День коротаю,
Играя одна
В увлекательнейшую игру.
Называется — «ожиданье».

■

Ни прекрасных цветов,
Ни увяданья не ведая,
Столб телеграфный
Тянется к небу, и ветер весенний
Тихонько ласкает его.

■

Нежно прильнув
К берегу, в море обратно
Убегает волна.
Не все ли равно теперь,
Когда ты мне скажешь «прощай».

■

Один плюс один —
Равняется двум. Столь унылому счету
Подчиненная жизнь
Была мне однажды дарована
В серый декабрьский день.

■

Глядя перед собой
Пустыми глазами, на камне
Сидим вдвоем.
И близится день к концу,
И что-то еще кончается.

■

Как же отчетливо
Мне помнятся дни, когда
Была я любима.
Теперь я всегда одна.
Теперь я везде одна.

■

По каменной лестнице
Взбираемся выше и выше.
Тщетно пытаюсь
С тобою в ногу шагать.
Как часто мне это снится...

■

Который уж год
Как одно из драгоценнейших
Воспоминаний
Берегу я вмятину эту
На старой соломенной шляпе.

■

Ты мне сказал:
«Нам лучше теперь расстаться».
А я, не поняв,
Чем это лучше, молча
Бездумно киваю в ответ.

■

Ждать перестала
Тебя, и что мне за дело —
Будет ли солнце
В субботу иль дождик в четверг.
Все мне теперь едино.

■

Снова и снова
Свое зареванное лицо
Разглядываю в зеркале.
Помнишь, ты говорил мне:
«Будь всегда такой же красивой»?

■

Как будто бы снова
Ты сжимаешь меня в объятьях —
Натягиваю с трудом
Тесный зеленый свитер.
Скоро наступит зима.

■

Запечатав письмо
И марку наклеив, сразу же
Начинаю отсчет
Времени. Часы тороплю
В ожиданье ответа.

■

Словно желая
Смыть всю грязь, которой коснулся
За день мой взгляд,
Промываю снова и снова
Перед сном контактные линзы.

■

Пусть до этого дня
Я лгала, притворялась, обманывала.
Сегодня все это
Стало таким ничтожным.
Одно лишь море вокруг.

■

Из окна каюты
Вижу, как проплывают мимо
Острова, острова.
«Чудно́,— подумаю вдруг,—
У каждого есть свое имя».

■

О прическе моей
И о новой блузке судачат
За партами ученицы.
А я с учительской кафедры
Строго гляжу на них.

■

Выйдя в сад,
Первый утренний помидор
С грядки срываю.
И больно сжимается сердце —
Вот и опять я дома.

■

С белой кошкой
Нечаянно взглядом встречаюсь.
Квартал Ситамати.
Его закоулки — словно
Трещины времени.

■

Сколько нежности
В ее лепестках лиловых,
Пронизанных солнцем.
Об осени зябкой не ведая,
Цветет космея в саду.

■

На вокзал Фукуи
Пришла, маме, оставшейся дома,
Сказав на прощанье:
«Ну что же, пока»,— как будто
Собралась за покупками в город.

■

«Откройте-откройте»,—
Из банок, стоящих рядами
На магазинной полке,
Шепчет зеленый горошек,
Когда наступает полночь.

■

Мама складывает
Полотенце, пропахшее солнцем.
Может, когда-нибудь
Стану и я такой же
Заботливой мамой.

■

«Холодно как!» —
Вслух скажешь невольно и вдруг:
«Да, холода»,—
Кто-то ответит. Теплее
От этих случайных слов.

■

МАРЕК ХЛАСКО

Рассказы

С польского

«Варшава выдумала меня»

В современной польской литературе не найти, пожалуй, писателя, более близкого нам по духу, манере письма, личной судьбе, чем Марек Хласко. Его жизнь не менее увлекательна, чем произведения. Их успех был невероятным, его приход в литературу на редкость удачным: водитель грузовика, он в восемнадцать лет дебютировал рассказом «Маримонтская соната», в двадцать два года выпустил уже сборник «Первый шаг в облаках», выдержавший подряд три издания (1956, 1957, 1958), в двадцать четыре стал лауреатом литературной премии, а в неполных двадцать пять оказался в Париже, куда приехал в творческую командировку, с чемоданом рукописей, отвергнутых польскими издателями. За публикацию сочинений за границей восходящая литературная «звезда» была подвергнута остракизму, и с этого началась та «линия» в биографии Хласко, которая столь сходна с драматическими судьбами А. Галича, А. Синявского, В. Аксенова — у нас; Павла Когоута и Милана Кундеры — в Чехословакии. Ответ Хласко тем, кто обрушился на него с упреками в очернительстве Народной Польши, опубликован на родине писателя не был, а появился в парижской «Культуре». В нем, в частности, Хласко писал: «Каждый имеет право на ошибку в понимании проблем, но никто не имеет права молчать, высшая форма предательства — молчание и забвение».

И по сей день польские литературоведы, критики, политологи пытаются объяснить феномен Хласко — кумира польской читающей публики («простой» и интеллигентной, причем всех возрастов). Но безусловно то, что он был одной из ярких, одареннейших индивидуальностей, в которых воплотились 50-е годы. Он родился в Варшаве в 1934 году и, как все его сверстники, в детстве и отрочестве пережил страшные и непостижимые события: раздел Польши, вторжение гитлеровских войск, героические дни Сопротивления, восторг освобождения и... серые будни строительства «светлого завтра». Умирали старые мифы, и создавались новые. Хласко превратился в такую же легендарную личность, как и его большой друг Збигнев Цыбульский, ставший в Польше своеобразным символом «потерянного» поколения после фильма А. Вайды «Пепел и алмаз» по одноименному роману Е. Анджеевского, где он сыграл главную роль. Не случайно оба они — Хласко и Цыбульский — явились как бы прототипами героя другого фильма Вайды «Все на продажу» о способности поляков творить из своей национальной истории мифы и умении к ним иронично относиться.

Это было поколение, клейменное ложью, и быстротечность, с которой после «первой оттепели» все вернулось на круги своя, усилило его драму, доведя некоторых его представителей до трагического конца. Не зря писалось о случайной и вроде бы загадочной гибели и Цыбульского, и Хласко — его нашли мертвым в одном из отелей Висбадена 14 июня 1969 года, незадолго до этого он отметил свое тридцатипятилетие в полном одиночестве. Выпил ли он слишком большую дозу снотворного, поскольку страдал бессонницей, смешал ли снотворное с алкоголем, к которому питал пристрастие? Никто не знает. Пили в те годы почти все, и приговоренность к бутылке отличает многие персонажи Хласко, особенно главного героя его повести «Петля» Кубу, столь похожего на Зилова в «Утиной охоте» А. Вампилова, где та же унылая и дождливая реальность.

«Я — свидетель процесса, направленного против человека». Точнее Хласко вряд ли мог сказать о себе. Не исповедуя никакой веры, кроме веры в «простого» человека, он оставался писателем вне политики (хотя и заслужил славу политического деятеля за свой бунт против коммунистов, ко многим из которых относился с большим уважением), но отнюдь не аполитичным. Чувство протеста в нем вызывало все: лозунги, которые не сочетались с реальностью жизни; сама идея, цинично эксплуатируемая властью, нищета и безысходность положения, в которое были поставлены «маленькие» люди. Это Хласко отлично знал: став журналистом, он много ездил по стране и повидал ее захолустья. Почти все его ранние рассказы и повести — о жи-

телях окраин, в основном варшавских, где в те времена словно сосредоточилась «боль человеческая». Ответ на вопрос: почему одинаково не складывается судьба людей не только обычных», но и «идейных», людей честных и чистых душой? — писатель искал всю жизнь, описывая ничем не примечательные, банальные ситуации. Он блестяще владел мастерством создания жанрово-бытовых сцен, напоминающих «фотографические» картинки В. Шукшина, и обладал умением обыденными словами персонажей сказать о важном и глубоком. Проза Хласко далеко не проста, хотя она легко читается, будто это маленькая нехитрая житейская история. Речь его героев столь же привычна и знакома, как в песнях В. Высоцкого, но в том-то и сила их искусства, что они заставили говорить (и слушать!) улицу. Мало найдется художников, которые бы так безоглядно, не щадя себя, вступались за человеческое достоинство, как это делали Хласко и Высоцкий, и это была не поза, даже не позиция, не кредо, а их жизнь, и духовная близость обоих особенно чувствуется в стремлении к неприкрашенной правде. Увы, при этом обнаруживалось несовершенство человеческой натуры, готовой ответить злом на зло. В рассказах Хласко добро не торжествует и зло не бывает наказуемо: добро и зло как бы сплетаются неразрывно. Вот почему в уродстве нередко прячется красота, за откровенным обманом и лицедейством — надорванность не испорченной окончательно натуры, а за низменными порывами открывается нечто высокое. Во всем этом чувствуется влияние Достоевского — Хласко не скрывал своей увлеченности им. Его интерес к русской культуре и литературе вообще был постоянным и неизменным, он хорошо ее знал и взял, например, строки из «Мертвых душ» Гоголя эпиграфом к повести «Кладбища». Трудно смириться с тем, что писатель, так близко к сердцу принимавший нашу жизнь, у нас до сих пор практически неизвестен: ни его произведения, ни даже имя. Молчание о нем было тотальным — у нас его просто вычеркнули из истории польской литературы, тогда как вот уже не одно десятилетие книги Хласко издаются едва ли не на всех языках, включая иврит и эсперанто. Кроме того, его повести и рассказы легко инсценируются (он написал также несколько оригинальных киносценариев), и его творчество широко известно во многих странах по созданным на их основе кинофильмам. Фильм под выразительным названием «База мертвецов» стал классикой «черного» кино в Польше, но был так исковеркан цензурой, что Хласко в знак протеста снял с титров свою фамилию. По мотивам его ранних рассказов Е. Риданом сделан фильм «Маримонтская соната», через четверть века с полки был снят запрещенный «Восьмой день недели» режиссера А. Форда, где сыграли З. Цыбульский и западногерманская кинозвезда Соня Циманн, будущая жена писателя; на польском экране не так давно вновь появился фильм по повести «Петля», имевший огромный успех у зрителей. В прошлом году был показан художественный фильм «Идол», посвященный Хласко, авторы которого предложили свою версию его жизни и смерти.

Для сегодняшней Польши Хласко — целое явление. Его произведения 50-х годов прочитываются как хроника минувших событий, с которых началось великое переосмысление жизни в наши дни. Отсюда, по-видимому, «вторая волна» популярности его произведений на родине: в 80-е годы вышли четырехтомное собрание его сочинений, купить которое можно было только на черном рынке; отдельные сборники его прозы, роман «Сова, дочь пекаря», литературные мемуары с примечательным названием «Красивые, двадцатилетние» — юность всегда прекрасна и чиста.

Творчество Хласко принято делить на два периода: «польский» и «эмиграционный». Их рубеж — 1958 год. И дело не только в тематике и даже стилистике его прозы, которая заметно разнится, дело в его мироощущении. С присущей Хласко беспощадностью он показал, сколь тернист и труден этот путь «за кордон», где тебя никто не ждет, в обстоятельства, побудившие остаться, вникать никто не хочет, а обратной дороги нет. Любивший труд, сопряженный с риском (незадолго до смерти он получил диплом летчика), он тянулся к людям тяжелых профессий, трудных характеров, неприкаянным, неустроенным, бездомным. «По натуре я бродяга» — слова одного из героев его раннего рассказа «Дом моей матери» в полной мере применимы и к нему. Бродяжничество было его университетами, он исколесил всю Европу, бывал в Америке, но своим любимым пристанищем он, католик и не еврей, тем не менее избрал Израиль. Жизнь на периферии общества (гостеприимное государство предоставляло жилье кому угодно, дальше — как повезет), часто в борьбе за минимум условий для существования, давала ощущение свободы, усиливая чувство собственного достоинства. Об этом один из самых горьких и пронзительных его циклов — «израильские повести». В них ощутимо присутствие библейской истории и ее образов, обращаясь к которым писатель постоянно думал о Польше, вспоминал с гневом, любовью и состраданием, осознавая свою неразрывную с ней связь. «Это не я выдумал Варшаву, где люди дрожали от страха, это не я выдумал Варшаву, где девчонка была дешевле бутылки водки, это та Варшава выдумала меня»,— писал он, полемизируя с официозной польской прессой. Его позиция абсолютной искренности была неизменной.

Отторгнутый, но не забытый, он вернулся в родной город: в 1975 году гроб с его телом был здесь перезахоронен. В 1989 году одна из улиц варшавского района Маримонта, где жили многие его персонажи и он сам, стала называться его именем.

Е. ТВЕРДИСЛОВА

Первый шаг в облаках

В субботу центр города выглядит почти как в любой другой день. Только пьяных больше; в закусочных и барах, в автобусах и подъездах — везде стоит запах винного перегара. Город теряет свое деловое обличье — в субботу у города пьяная рожа. В центре в субботу не встретишь любителей наблюдать жизнь: торчать в подворотнях, слоняться по улицам, часами сидеть на скамейке в парке — исключительно ради того, чтобы спустя двадцать лет с полным правом вспомнить, что в один прекрасный день им довелось увидеть более или менее забавный номер. В центре нынче вымерли бесстрастные наблюдатели жизни — как рассыльные, недавно еще, во времена оккупации, расхаживавшие по городу в красных фуражках, как торговцы сухим песком и уличные певцы с пропитыми тенорами.

Встретить их можно лишь на окраине. Жизнь городской окраины, как всегда, более насыщенна; на окраине по субботам, если день погожий, из домов выносятся стулья; перевернув стулья задом наперед, ротозеи садятся на них верхом и наблюдают жизнь. Упорство их порой отмечено граничащим с гениальностью безумием: иногда они просиживают так до конца своих дней, не видя ничего, кроме физиономии наблюдателя напротив. И умирают с чувством обиды на мир, убежденные в его тоскливой серости, поскольку редко кому придет в голову, что можно встать и пойти на соседнюю улицу. С годами наблюдатели жизни становятся беспокойными. Они суетятся, поглядывают на часы; такая уж у старых людей смешная привычка — очень хочется сберечь время. У стариков интерес к жизни и жажда впечатлений иногда посильней, чем у двадцатилетних. Они много говорят, много думают; чувства их одновременно дики и вялы. Затем они быстро и спокойно угасают. А перед смертью уверяют, что жили на полную катушку. Импотенты похваляются успехами у женщин, трусы — геройством, дебилы — житейской мудростью.

Пан Генек — маляр по профессии — сорок лет прожил на Маримонте и столько же лет наблюдал жизнь своего района. В ту субботу пан Генек, как обычно, сидел в палисаднике перед домом и бездумно глазел по сторонам. Время от времени он сплевывал и облизывал пересохшие губы; угасающий день был мучительно жарким. Пан Генек испытывал раздражение: за целый день не случилось ничего интересного, никто не сломал руки, никто никого не побил, и пана Генека томило ощущение пустоты и скуки; он пнул подвернувшуюся под ногу собаку и, уныло позевывая, оглядел улицу. Улица была пуста; изредка проезжавшие по ней машины вздымали тучи горячей пыли. Окончательно потеряв надежду узреть кусочек жизни, пан Генек вдруг почувствовал, что его тронули за плечо. Подняв сонный взор, он увидел своего соседа, Малишевского.

— Пошли,— сказал Малишевский.

— Куда?

— Тут, недалеко.

— Зачем?

— Полюбоваться кое-чем хотите? — сказал Малишевский.

Был он небольшого росточка, с добродушным лицом и хитрыми глазками. Движения его — несмотря на кажущуюся ленцу — были быстрыми и ловкими, как у молодого кота.

— Чего там еще? — спросил пан Генек, зевнув: жара его доконала.

— Парень,— сказал Малишевский.

— Ну и что?

— Цирк,— сказал Малишевский.— С девушкой. Теперь понятно?

— Ясно,— проговорил пан Генек и встал; в душе его сверкнула надежда. Оживившись, он спросил: — Красивая?

— Красивая и молоденькая,— сказал Малишевский.— Говорю, работа там кипит.— И вдруг заторопился: — Идете или не идете?

— Дохлый номер,— сказал пан Генек.— Пока дойдем, они кончат. Дохлый номер, ручаюсь.

— Им-то не пятьдесят, как вам,— сказал Малишевский.— Они долго могут. Я, когда был молодой, мог часами. Честно. Зайдем за моим шурином и вперед. Ну как? Он-то наверняка составит нам компанию, если вернулся с работы. Да вот и он сам!

Действительно, по улице шел здоровенный малый. Рукава рубашки засучены, в зубах зажата травинка. Глаза под тяжелыми веками сонные и насмешливые.

— Хенек,— закричал Малишевский,— можно тебя на минуточку?

Хенек подошел, привалился к забору. Лоб у него взмок от пота.

— Привет,— сказал он.— Что слышно, пан Генек?

— Хенек,— сказал Малишевский,— пошли с нами.

— Жарко,— сказал Хенек, облизал губы и вздохнул.— Дышать нечем. В такую жарищу и у святого не встанет. Куда намылились?

— Я был на огородах,— сказал Малишевский.— Там парень с девушкой.

— Шлюха? — спросил Хенек. Выплюнул травинку, потом сорвал новую и прикусил крепкими зубами.

— Хрен-то,— сказал Малишевский.— Говорю тебе: молодая и красивая.

— Давай сходим,— сказал Хенек.— Ты меня знаешь: люблю поглядеть на жизнь. А страхолюдина окажется,— обратился он к Малишевскому,— сегодня же нам поставишь.

Без лишних разговоров они быстро пошли огородами. Местные жители приходили туда после работы, возились со своей картошкой, морковью и помидорами. Сейчас, однако, на участках было пусто: влажная духота всех сморила — люди сидели дома.

— Духотища,— сказал Хенек.— Ничего не могу в такую погоду делать. Голова трещит с утра до ночи.

— Этим тоже небось жарко,— сказал пан Генек.

— Надо думать,— сказал Малишевский.— Ничего, мы их остудим. Точно, Хенек?

— В том году,— сказал Хенек,— сюда тоже ходил один с девушкой. Целое лето.

— И что?

— Ничего. Хаты, видать, не было.

— Поженились? — с усилием спросил Генек; он мечтал о кружке холодного горьковатого пива.

— Не знаю. Может, и поженились. Тоже красивая была девушка.

— Блондинка? — снова спросил Генек; ему это было совершенно безразлично. Он по-прежнему ощущал в себе мучительную пустоту и омерзение.

— Брюнетка,— сказал Хенек.— Как сейчас помню. А мужик белобрысый. Я все не мог понять, зачем красивой девке такой мозгляк.

— Кто их разберет,— пробормотал пан Генек и сплюнул густую слюну. Он был зол на Хенека — тот напомнил ему, что у него самого некрасивая и недалекая жена.— Небось шлюха,— сказал он.

— Скорей всего... А теперь тихо,— сказал Малишевский. И пошел вперед; Хенек и пан Генек медленно следовали за ним, стараясь не шуметь. Вокруг посерело: солнце спряталось, на траву упали синеватые тени. Малишевский вдруг повернул голову и негромко позвал: — Сюда!

Они прошли крадучись несколько шагов и увидели в траве парня и девушку. Девушка положила голову пареньку на плечо, прижалась к нему всем телом. Они лежали, утомленные любовью и жарой, оба молодые и красивые — две головы: темная и светлая. Платье девушки задралось; у нее были длинные и сильные загорелые ноги.

— Красивая,— сказал Хенек.— Очень даже.

— А я что говорил,— шепнул Малишевский.

Они постояли молча; пан Генек снова облизал губы и подумал о своей жене с внезапной дрожью отвращения. Малишевский глуповато усмехался. Хенек совсем опустил тяжелые веки и переминался с ноги на ногу. Вдруг он спросил раздраженно:

— Что будем делать?

— Давай ты,— сказал Малишевский.— Отколи чего-нибудь, чтоб они животики надорвали со смеху. Ты это умеешь.

— Хенусь,— сказал пан Генек,— самое милое дело — их напугать.— Он прищелкнул пальцами и повторил: — Жуть какая красивая. Давно таких не видал. Совсем еще пацанка. Рано им этим заниматься.— И нетерпеливо сказал Хенеку: — Ну чего ж вы, валяйте, не то я им вставлю фитиль.

— Погодите,— сказал Хенек.— Уж лучше я.

С минуту он смотрел на загорелые бедра девушки, и лицо его страдальчески скривилось. Потом вышел из-за дерева, приблизился к молодым людям и сказал, прищурясь:

— В папу-маму играете? Приятного аппетита!

Малишевский и пан Генек расхохотались. Паренек вскочил и пробормотал:

— Что вам нужно?

— Ничего,— очень медленно проговорил Хенек. Он стоял перед ним, слегка покачиваясь, по-прежнему покусывая травинку и сплевывая зеленоватую слюну. Потом сказал: — Ты не особо спеши, дружок. Я специально пришел тебя предупредить. Главное — не торопиться.

Малишевский вышел из-за дерева и встал рядом с Хенеком.

— Красивая девушка,— сказал он, сверля ее своими смурыми глазками.— Я бы сам с такой не прочь познакомиться. Познакомимся, если не возражаете?

— Идиот,— сказала девушка. Он стояла у парня за спиной, покрасневшая и взволнованная; пан Генек смотрел, как дрожат ее худенькие плечи, и опять с отвращением подумал о своей некрасивой, толстой и рыхлой жене.

— Эй ты, шлюха,— сказал Малишевский; глаза его от злости налились кровью. И продолжал торопливо, сдавленным голосом: — Б... ты обыкновенная, понятно? У меня дочка старше тебя, ты, потаскуха.

— Уходите,— сказал паренек, просительно заглядывая ему в глаза.— Я вас прошу, уйдите. Мы вам ничего не сделали. Очень вас прошу.

— Кого ты просишь, Янек? — сказала девушка.— Этого старого дурака?

— Заткни своей девке пасть,— сказал Хенек,— не то я заткну. И не выступай. Говорю, заткни ей пасть.

— Сам заткнись,— сказала девушка, глядя на него с презрением. Она чуть не плакала, но попыталась язвительно рассмеяться.— Скотина,— выдавила и разрыдалась.

— Эй, ты,— сказал Хенек и дернул ее за руку.— Кого оскорбляешь? Таскаешься сюда с мужиками и еще вякаешь?

Парень метнулся и ударил Хенека в лицо — раз, другой. Произошло это так быстро, что Хенек успел только моргнуть. Но уже в следующую секунду схватил паренька за волосы и хрястнул лицом о свое колено. Потом ткнул кулаком в зубы и швырнул на землю.

— Хватит? — спросил он.— Клиент доволен? Если нет, могу добавить. Обслуживаем по первому классу; кладбище у нас тут уютненькое.— И разразился потоком грязной ругани. Глаза он закрыл, но по-прежнему видел длинные загорелые ноги девушки.

— Пойдем, Янек,— сказала девушка. Стерла пареньку кровь с лица и добавила: — Мы еще сквитаемся.— А отойдя на несколько шагов, крикнула истерически: — Свиньи вы, а не мужчины!

Домой возвращались той же дорогой — через огороды.

— Парит,— сказал Хенек.— Похоже, дождь будет.— Вздохнул и по-

качал головой: — Красивая девушка. Зачем ты ее так обозвал? В глаза ведь раньше не видел. Откуда тебе было знать?

— А я ничего такого не говорил,— возразил Малишевский.— Это ты сказал.

— Я?

— Ты.

— Ну загнул. Я ж ее не знаю.

— А я знаю,— сказал Малишевский.— Я их тут давно вижу. У них большая любовь.

— Ну и что теперь будет? — спросил пан Генек.

— Не знаю, что будет. Я только знаю, что они встречаются. И что сегодня у них это в первый раз...

— С чего вы взяли? — лениво спросил пан Генек.

— Слыхал, как он ее упрашивал. Страшно им было — и ему, и ей. Успокаивали друг дружку, я слышал. Ребенка боялись, вот о чем они говорили. Но больше, наверно, себя.

— В первый раз всегда так,— сказал Хенек.— Мне тоже было страшно.

— Кому ж в первый раз не страшно? — сказал Малишевский.— Зачем только ты ему врезал?

— Ты сам хотел.

— Кто же думал, что так выйдет? Он чего-то чудное ей говорил...

— Что?

— Не помню.

— Тучи собираются,— сказал пан Генек.

— Вот-вот, он про тучи говорил. Не то про облака,— сказал Малишевский.— Стих какой-то. Любовь у них, понимаешь.

— Кончится у них любовь,— сказал пан Генек.— Омерзеют навсегда друг другу. Смотреть друг на друга после такого не смогут. Нехорошо получилось.

— Ага! — сказал Малишевский.— Вспомнил. Он говорил, что если он ее того, это будет их первый шаг в облака. Так и говорил, только стихами. А она свое: «Страшно. Страшно». И в слезы.

— Может, боялась, что будет больно?

— Вряд ли,— сказал Малишевский.— Не думаю, чтоб она боли боялась. Конечно, жизнь, другие люди, сплетни... Но это потом. А первый раз, правда, как в облаках. Влюбленные ничего не видят.

— И мы не видели? — спросил Хенек.

— Кончится у них теперь любовь,— сказал пан Генек.— По себе знаю: случись со мной такое, я бы девушку разлюбил.

Он вдруг помрачнел: опять почувствовал в себе тоскливую пустоту. Огороды остались позади; они снова шли по улице.

— Нет,— сказал Хенек.— Не будут они друг друга больше любить. Со мной когда-то было похожее. И я потом эту девушку любить не смог.

— У каждого такое было,— сказал Малишевский.— Но зачем ты ему по роже дал?

— Он меня первый ударил,— сказал Хенек.— Пивка выпить зайдем?

— Можно. Девушка-то, наверно, больше не придет.

— Не придет, наверно,— сказал пан Генек.— И за что вы ее так обозвали?

— Мою девушку тоже когда-то так обозвали,— сказал Малишевский.— За что, до сих пор, ей-богу, не знаю.

— И не влюблялись больше?

— Нет,— сказал Малишевский. Помолчал и добавил с неожиданной злостью: — Оставьте вы меня, черт подери, в покое! Не верю я ни в какую любовь. И бабе своей не верю. Никому не верю.

— Дурацкая история,— сказал Хенек. Посмотрел на небо и вздохнул: — Хмурится. Как он там говорил?

— Шагнуть в дождь, кажется, или что-то в этом роде,— устало сказал Малишевский.— Пошли пиво пить... Не то про дождь, не то про грозу... Не помню. Ничего не помню. Не хочу ничего помнить. Не помнил бы, не получилась бы вся эта петрушка.

— Дождь завтра будет,— сказал Хенек.

— В воскресенье всегда дождь,— сказал пан Генек. И поморщился: опять подумал о своей постылой жене, о том парне, о завтрашнем дне, о красивой девушке, об ее длинных загорелых ногах, о ее груди, красных свежих губах, бронзовой крепкой шее, испуганных зеленых глазах и буркнул себе под нос, потому что нужно было что-то сказать: — Всегда в воскресенье дождь...

1955

Перевод К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Благословение

Дверь заскрежетала, и в камеру вошел надзиратель. Был он высокий и худой, с землистого цвета лицом и вечно темными кругами вокруг глаз — надзирателя донимала печень, и каждый, кто достаточно долго здесь сидел, знал об этом; он сам без конца жаловался. Надзиратель громко кашлянул. Человек, сидящий на нарах, посмотрел на него выжидательно.

— Родители приехали,— сказал надзиратель. Голос у него был гнусавый.— Надо идти прощаться.

Сидящий на нарах молчал. Он разглядывал свои руки — большие, корявые, с потрескавшимися пальцами. Такие руки на первый взгляд кажутся неуклюжими и вроде бы неумелыми; нужно увидеть их за работой, чтобы убедиться, сколько всякого разного они умеют.

— Да,— сказал надзиратель и переступил с ноги на ногу.— Прощаться надо идти. Они с утра уже ждут, приехали первым поездом.

Сидящий встал, распрямился. Он был крупный, плечистый, лицо круглое; остриженная под машинку темноволосая голова казалась похожей на шар.

— Холодно сегодня? — спросил он. И стал растирать руки.

— Мы через двор не пойдем,— успокоил его надзиратель.— Прямо вниз спустимся. Они там ждут.

Вышли из камеры. Надзиратель запер дверь. Пошли по коридору; заключенный впереди, спрятав за спину огромные ручищи. Навстречу двое арестантов тащили парашу. Один помахал конвоируемому и, подмигнув, сказал:

— Привет, приятель.

— Высшая мера,— сказал охранник.— Разговаривать запрещено.

Человек с парашей свистнул. Пошли дальше. Круглоголовый спросил:

— Мне во двор уже не выйти, а?

— Нет, наверно,— ответил надзиратель. Выражение лица у него было страдальческое: с самого утра он чувствовал, что вот-вот прихватит печень. Они свернули в следующий коридор; шли очень медленно: заключенный в последнее время ходил мало, и у него болели ноги, обутые в тяжелые деревянные башмаки, так что он кряхтел и спотыкался.

— Ноги страх как горят,— сказал он.

— О-хо-хо,— вздохнул надзиратель. И пожал плечами: — Теперь уж недалеко.

Заключенный что-то пробурчал; ступать он старался боком. Неотрывно смотрел на стены и внезапно сказал:

— Лампочка перегорела.

— Где? — спросил надзиратель. Оба остановились.

— Там,— сказал заключенный и поднял вверх свою громадную лапу.

Надзиратель поглядел. Действительно — одна из лампочек в коридоре не горела. Надзиратель покачал головой.

— Ну скажите на милость,— проворчал он.— Разве это лампочки? Зять мой купил на той неделе три штуки, так две сразу перегорели. Пошел в магазин, хотел обменять, а ему говорят: «Вы что, смеетесь? При чем тут мы? Какие дают, такие продаем...» С лампочками теперь беда.

— Сколько стоит лампочка?

— Даже не знаю,— смущенно ответил надзиратель. И вдруг насторожился.— А зачем тебе?

— Так просто.

Надзиратель внимательно посмотрел на него и сказал сердито:

— Идем, идем. Шутки вздумал шутить?

Пошли дальше вдоль закрытых дверей. Возле самой лестничной площадки дежурные арестанты мыли коридор. С шумом скребли пол щетками, насаженными на короткие палки; пахло простым мылом и горячей водой. Когда они проходили мимо, один поднял потное лицо и шепнул:

— Браток, кинь чинарик, разживусь — отдам.

— Высшая мера,— сказал надзиратель.— Разговаривать запрещено.

— Никто ничего не говорит,— завелся тот.— Разве я чего сказал? Да я молчу...— Он с грохотом бросил щетку и отодвинул ведро: надзиратель с круглоголовым прошли. Конвоируемый снова ступил неосторожно и застонал.

— Сейчас, сейчас,— сочувственно сказал надзиратель.— Уже немного осталось.

Вошли в канцелярию, а оттуда в комнату, где ждали родители заключенного. Увидев входящих, они поднялись со скамейки.

— Можно поздороваться,— сказал надзиратель, и на его худом лице промелькнуло отдаленное подобие улыбки, но понять, что он улыбается, мог лишь тот, кто знал про его болезнь.— Можно сидеть.— И сам, поправив ремень с тяжелым пистолетом, сел на стул у окна. Заключенный стоял посреди комнаты и жмурился; тут было гораздо светлей, чем у него в камере. Затем подошел к родителям; сперва поцеловал руку отцу, потом матери.

— Сегодня утром приехали? — спросил он.

— Ну,— ответил отец. Он был высокий, кряжистый; загривок вываливался из тесноватого воротничка; голос не терял силы даже сейчас, когда он почему-то старался говорить шепотом. Сын не был на него похож — ни лицом, ни повадками.— Всю ночь к тебе ехали,— строго сказал отец.

— В Ёдлове пересаживались?

— Пересадка,— сказала мать,— теперь в Росташеве.

— Угу,— буркнул заключенный. Он норовил усесться так, чтобы немного отдохнули ноги. Прислонился спиной к стене и вытянул их перед собой. И вдруг сердце у него заколотилось, он испугался, что отец — человек сурового нрава — велит ему встать: не любил отец, когда дети разговаривали с ним непочтительно. Заключенный вспомнил об этом и быстро спросил: — А чего там у Сидоровича?

— У Сидоровича? — раздумчиво повторил отец. Помолчал, подыскивая нужное слово, а потом сказал: — Да чего у Сидоровича — все то же. Лошадь вот только пала.

— Лошадь пала,— обрадовался заключенный. Он мечтал поскорей вернуться в камеру и снять башмаки.— Как же так?

— Пала — и прощай,— сказал отец.— Звали ветеринара, да поздно,— он почесал в затылке; опять помолчал. Потом сказал наставительно: — К лошади подход нужен.

— Заканчивайте,— сказал надзиратель, поворачиваясь к ним.— Пять минут осталось.

— Это ж лошадь,— торопливо проговорил заключенный и чуть подальше вытянул ноги.— Да-а... Лошадь, лошадь... К лошади главное подход, точно... Да-а... Ну а уж коли падет, чего поделаешь... Глаз да глаз нужен... Да-а...— Он застонал, подумав, что теперь — при прощании — наверняка придется встать. И спросил поспешно: — А у нас чего?

— Грех жаловаться,— сказал отец.— Хорошо пойдет, к весне корову купим.

— Кончайте,— сказал надзиратель. Встал и подтянул ремень; огромная кобура пистолета смешно выглядела на его тощем теле.

— Ну да,— сказал отец.— Не до разговоров сейчас. Сейчас тебе, сын, с Богом поговорить нужно. Его ты уже. Да. Ну, молись.

Отец поднял руку; надзиратель отвернулся.

— Благословляю тебя,— громко сказал отец.— Преклони колени.

Заключенный не шелохнулся.

— Нет,— сказал он, помолчав; ему представилось, какая это будет боль, и при одной мысли о том в глазах потемнело.

— Преклони колени, сын,— торжественно произнес отец.— Крестное знамение на коленях надо принять.

Заключенный покачал головой.

— Нет,— повторил он. Схватил отцовскую руку и поцеловал. Потом поцеловал мать и вышел вместе с охранником. Старики тоже не стали задерживаться; пересекли двор и очутились на улице. Свернули к вокзалу, откуда через два часа отходил поезд. Шли, как водится в деревне: отец впереди, мать сзади, поотстав на два шага.

— Прямо подменили его,— сказала мать.— Колени не захотел преклонить.— И всхлипнула; старческое ее лицо жалобно сморщилось.— Может, он уже в Бога не верует?

— Первый раз,— сказал отец, точно не веря самому себе.— Первый раз против моей воли пошел. Но сын-то он хороший.

По дороге старики присели передохнуть в сквере. День был теплый, снег подтаял. По цвету неба, по чуть заметно набухшим почкам на деревьях, по тому, как лоснилась шкура трусящих по мостовой лошадей, как влажно поблескивали рельсы, можно было угадать приближение весны. Прохожие расстегивали пальто, дети выскакивали из школ шумными стайками, грязная талая вода с журчаньем сбегала в сточные канавы.

— Так, значит,— сказал отец.— Осенью Метек из армии придет. Будет ему Янеков костюм. До осени только перебиться...

— Янек пошире был,— сказала мать.

— Пошире, пошире... Метек в армии раздобреет, их там кормят как положено...— Отец помолчал, разглядывая свои до блеска начищенные сапоги.— Что ж,— сказал погодя.— Сын он был хороший. Словом не обмолвился, что это я ему велел. Ни словом до самого конца.

— Ты ему велел? — спросила мать.

— Ну,— сказал отец,— выходит, я...— У него вдруг налился кровью загривок.— Мне мелкота в доме не нужна.— Он потряс кулаками.— Я этими вот руками все нажил: землю, дом, жену. На старости лет людям в глаза не стыдно будет глядеть. Согрешили — ихнее дело. Но неужто жениться на голодранке? Что у ней за душой было? Чего стоит человек без земли? А ничего, не дороже смерти, а то и дешевле. Я хотел для него как лучше. Сказал, пусть положит рядом с конем, получится, конь ее лягнул. А на него, когда уже было все, страх напал, сам убежал, а топор оставил. Я ему в Завадове жену присмотрел. И дом бы имел, и землицу. Но ему эта глянулась. А все равно по моей воле сделал. Хороший был сын. И ничего не сказал. Послушанья сыновнего не нарушил.

— Только б не сильно мучился,— сказала мать и всхлипнула.

— Чего там,— сказал отец и хмыкнул сердито.— Смерть — это смерть, и точка. Мало, что ль, людей помирает? Или он смерти не видел? В Глуховицах вон до демократии за одну зиму полдеревни померло. А в Завадове? А в Яновицах? С голоду, с холоду небось хужей по-

мирать. А сын был хороший, и смерть ему будет легкая. Это ж еще через три дня. Вернемся домой, сходим помолимся, чтоб легко помирал.

— Хороший был,— сказала мать.— Знамо, хороший.— На ее круглом морщинистом лице, однако, появились растерянность и сомнение.— Хороший, хороший,— ворчливо повторила она.— А почему благословение родительское не захотел принять?

1956

Перевод К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Летим в космос

Суббота — день веселый. В субботу по всей стране раньше заканчивают работу; на фабриках окраин и предместий на два часа раньше гудит гудок; токари и фрезеровщики, монтеры и электротехники обтирают паклей выпачканные мазутом руки, повторяя заветное: «Шабаш!». Бюро пропусков, цеха, стройплощадки, верфи и порты пустеют. Зевая от усталости, люди возвращаются домой в переполненных трамваях; с ленцой переругиваются в осточертевших автобусах; дремлют в электричках, радуясь предстоящей возможности в воскресенье побегать по травке. В субботу — и вряд ли в этом кто-нибудь усомнится — люди становятся лучше и добрее. Ни в один из дней недели не увидишь столько улыбок, сколько в субботу после обеда: лысеющие бухгалтеры сладостно млеют при мысли, что целое воскресенье смогут разгуливать по дому в одних кальсонах; болельщики предвкушают острые переживания на стадионе; областные партийные работники тешат себя надеждой поспать часа на два подольше; девчата жмурятся, мечтая о воскресной прогулке по лесу; спортсмены, офицеры госбезопасности, члены Народного совета, профессора университетов, старики, дети, заводские мастера, летчики и дантисты — все улыбаются чаще обыкновенного именно в субботу. Этот день, как никакой другой, наполнен планами, желаниями и надеждами.

Вся страна живет ожиданием воскресенья, и лишь на автобазах нет радостного предчувствия выходного. Наоборот — в субботу там работают даже больше обычного. На автобазах в последний день недели шоферы в азарте уборки выстраиваются в длиннющие очереди у шлангов. Они моют свои машины, потом покрывают их соляркой и драют тряпками, стараясь, чтобы никелированные поверхности грузовиков, всю неделю развозивших кирпич, известь или цемент, блестели, как стеклышко. В субботу после обеда шоферы склоняются над двигателями, отыскивая в них хоть какой-нибудь даже скрытый дефект. Они чистят контакты прерывателей, калят в огне свечи, регулируют зажигание, меняют фильтры и мембраны в бензонасосах, уплотняют бензопровод, отлаживают клапаны. И при этом отчаянно ругаются с механиками, которые не сумели выйти в шоферы и теперь довольствуются тем, что ремонтируют машины. В субботу после обеда, когда все их дела близки к завершению, шоферы доходят до гениальности, выражая сомнение в официально признанных заслугах своих помощников, начальников автобазы, механиков и диспетчеров — подлинных хозяев их жизни, смерти и зарплаты. Обведя взглядом, полным тоски и жалости, ряды вымытых и готовых к выезду машин, они еще не раз повторят: «Эх, сломана жизнь у Фельки-шофера, лучше б он в столяры подался, как советовал отец...» И разойдутся по домам, если это не день получки. Но и там еще долго будут растолковывать женам разницу между «сухарем» сцепления и коробкой скоростей. Трудно найти профессию, которая так сильно поглощала бы человека и так срасталась с ним, как профессия шофера: ни одну, пожалуй, не любят и не проклинают больше, чем ее.

Таким вот образом и проходит время в субботу после обеда почти на каждой автобазе. По-иному здесь бывает разве что в день получки.

В этот день — настоящей красной субботы,— теплый и погожий,

шофер Тадеуш Яблоньский вернулся на автобазу часа в два, он медленно катил по ее длинному двору, держа, вопреки всем правилам, ногу на сцеплении. Внимательно оглядывая стоящие рядами машины, он спросил помощника:

— Где поставить?

— Там,— ответил его помощник, рыжий парень с добродушной физиономией, указав рукой,— вон за тем «студебеккером» есть место.

— Там всегда ставит Баратыньщак,— заметил Тадеуш.— Займу его место, так потом и по морде даст, ты его знаешь. Я ссориться не люблю. Сегодня все чего-то рано слиняли.

— Получка,— коротко бросил помощник.

— Ах да, верно,— сказал Тадеуш.

Проехав еще несколько метров, он нажал на тормоз, остановил машину и вылез из кабины — высокий, худой парень со светлыми коротко подстриженными волосами, обыкновенным, ничем не примечательным лицом, но добрым и приятным.

— Поставь около тракторов,— обратился он к помощнику. Он упирался ногой в подножку, а рукой держался за руль, мотор работал на малых оборотах, и руль дрожал, как продрогший пес. Он сказал: «Прокали свечи на сгибах и кати домой. Если масло проходить не будет, выкрути фильтры и прочисть их проволокой. В двигатель не лезь. Давай!»

Спрыгнул на землю и собрался идти.

— Тадеуш,— остановил его помощник.— Ну так как?

— Ты о чем?

— Сочиним что-нибудь?

— Мне некогда,— ответил Тадеуш.— Я тут с одной условился, мне сегодня не до этих глупостей. В другой раз.

— Как хочешь,— сказал помощник. На его лице отразилось явное разочарование. Он покачал головой и повторил: — Как хочешь.— Со скрипом переключил скорость и, неумело отпуская педаль сцепления, отъехал.

Тадеуш постоял минуту, глядя вслед своей машине. Это был огромный американский грузовик военного образца марки GMC «Banjo». Варшавские водители называют эти машины «Джемс». Они большие и красивые, вид у них очень боевой: открывающая широкий обзор кабина, далеко выступающий тяжелый бампер из толстой резины, десять колес, три разделителя тормозов. Звук их мотора — зычный и низкий: такой звук бывает у больших колоколов. Теперь таких машин почти не осталось, но во второй половине сороковых — в пятидесятые годы «Джемс» был мечтой каждого молодого шофера.

Тадеуш засунул руки в карманы и прошел в диспетчерскую. Отдавая дежурному путевой лист, спросил:

— Деньгу даешь?

— Да,— сказал диспетчер, полный седой мужчина с расплывшимся лицом. Как правило, диспетчеры — бывшие шоферы, подорвавшие здоровье на этой работе, но не желающие с ней расстаться; они заполняют путевые листы водителей и ведут нескончаемые разговоры о недостатках в машинах, на которых когда-то ездили.

— Сколько мне причитается? — спросил Тадеуш.

— С тебя хватит,— ответил диспетчер, ведя толстым пальцем по платежной ведомости. Он глубокомысленно подмигнул и заметил: — Ой, чую, загудишь ты сегодня.

— И не собираюсь,— сказал Тадеуш.— От нетерпения он переминался с ноги на ногу.— Сегодня ни капли не приму. Ну, сколько там?

— Шестьсот двадцать четыре и тридцать грошей,— проговорил диспетчер, с трудом справляясь с карандашом, очками и толстой пачкой бумаг.— Вот.

Тадеуш пересчитал деньги, расписался и, возвращая диспетчеру ведомость со следами грязных пальцев, сказал:

— До свидания, пан Конопка. До понедельника. В котором часу

выезд?

— В шесть. Уже бежишь? Что это ты такой нервный? — Диспетчер сдвинул на лоб очки.— Молодые теперь все такие нервные. Раньше нервы у людей были стальные, как канаты. Нервы — это все. Помню, в двадцать восьмом качу я с Пётрокова в Ченстохов...

— Пан Конопка,— сказал в нетерпении Тадеуш.— У меня страшно важное дело, неотложное, прошу вас...

В этот момент из всех репродукторов, висевших на дворе автобазы, раздался голос: «Внимание, внимание! Сегодня в шестнадцать часов тридцать минут в зале Клуба профсоюзов лектор Общества по распространению знаний прочтет лекцию на тему «Скоро ли мы полетим на Луну?». Лекция будет сопровождаться показом диапозитивов. Повторяю. Сегодня в шестнадцать тридцать...»

— Вот если бы можно было заткнуть этому попугаю глотку,— сказал со злостью диспетчер.— Орет благим матом. Человек деньги считает, а этот о звездах. Если я ошибусь, кто за меня платить будет? Я прав, Тадеуш?

— Выходит,— произнес задумчиво кто-то сзади,— такая возможность имеется...

— Какая?

— Лететь к звездам.

— Трали-вали...— нехотя и с сомнением в голосе заметил Тадеуш. Он медленно повернулся к говорившему, и взгляд его мгновенно стал злым и настороженным.— Чего тебе надо, Завадский? — спросил он и, покраснев, вынул руки из карманов.

— Отойдем в сторонку,— предложил Завадский, низкорослый, приземистый мужчина с худым, усталым лицом, маленькими и очень светлыми глазками.— Я тебя ждал,— произнес он, в упор глядя на Тадеуша, потемневшее лицо которого заливала краска, а под ложечкой нарастал холод, знакомый ему, когда дело пахло дракой.— Уже два часа.

— Чего тебе? — опять спросил Тадеуш.

— Не здесь. Пойдем поговорим в другом месте. Всего хорошего, пан Конопка.

— Всего хорошего, пан Конопка,— машинально повторил Тадеуш. Он думал только об одном: во что бы то ни стало сохранить хладнокровие.

Они вышли за ворота и встали молча друг против друга, переминаясь с ноги на ногу: Тадеуш — напряженно, как натянутый лук, Завадский — равнодушно и бесстрастно. Лишь очень зоркий наблюдатель разглядел бы на висках его худого лица голубые прожилки, которые обозначились четче обычного.

— Пойдем на задний двор,— сказал наконец Завадский. Тадеуш вздрогнул от неожиданности.— На задний двор,— повторил Завадский.— Там нам удобнее будет поговорить. Да и зять там ждет.

Тадеуш неприязненно рассмеялся.

— Двое на одного, да?

— Не валяй дурака, Тадек,— сказал Завадский и презрительно посмотрел на него, покачав головой.— Я не за этим пришел.

— А за чем же? — крикнул Тадеуш и снова вынул руки из карманов.

— Сейчас поясню,— сказал Завадский.— Идем.

— Только не надолго.

— Я с тобой лясы точить не собираюсь.

Они свернули с улицы в небольшой двор, даже не двор, а пустырь, начинавшийся сразу же за территорией автобазы. Он был усеян битыми бутылками, консервными банками, коробками из-под папирос, разным хламом. Прислонясь к забору, на сложенных один на другой кирпичах и камнях сидели люди. Они выпивали хорошо, основательно — ведь именно суббота, а не воскресенье святой день в жизни рабочего. Орали, целовались, что-то изображали, что-то кому-то доказывали, кто-

то осипшим баритоном выводил: «Я не забуду твои горящие глаза». Почти возле каждого завода найдется такое вот неприглядное местечко, именуемое задним двором.

— Тадек,— крикнул кто-то у забора.— Добавь десятку, сообразим. Пан Завадский, можно вас на минутку...

— Вот черт,— сказал Завадский.— И когда это кончится...

Но Тадеуш не расслышал его слов. «Внимание, внимание,— зарычали громкоговорители.— Сегодня в шестнадцать часов тридцать минут в зале Клуба профсоюзов лектор Общества по распространению знаний прочтет лекцию на тему «Скоро ли мы полетим на Луну?». Лекция будет сопровождаться показом диапозитивов. Повторяю. Сегодня в шестнадцать тридцать...»

— Чего ты хочешь? — спросил Тадеуш, когда репродукторы смолкли.

— Сейчас скажу. Давай присядем.

На траве под самым забором лежал какой-то мужчина. Они подошли к нему и уселись на кирпичи. Мужчина тотчас вскочил, некоторое время бессмысленно озирался по сторонам, протирая глаза руками, потом спросил:

— Сообразим на троих?

— Подожди, Рысек,— сказал Завадский, и мужчина, маленький и пузатый, послушно лег. Завадский посмотрел на Тадеуша.

— Я все знаю,— произнес он наконец.

Тадеуш молчал. Сердце его тяжело и напряженно стучало. Облизав губы, он с трудом спросил:

— Когда она тебе сказала?

— Сегодня.

— Сама?

— Ну не бил же я ее...

— И что же?

— Делайте что хотите.

— Ну мы и сделаем,— сказал Тадеуш. К нему вернулась уверенность, он прислонился спиной к забору и свободно вытянул длинные ноги.

— Тебе обидно, Завадский?

— Нисколько,— ответил тот тихо, сорвал травинку и стал ее жевать. Травинка была горячей, пахла солнцем и вытоптанной землей.

— Тадек,— произнес он, глядя перед собой пустыми глазами.— Вы соображаете, что хотите сделать?

— Совета у тебя я не прошу.

— Но ты понимаешь, что хочешь сделать?

— Я понимаю, что люблю ее. Вот и все, и больше ничего. Я знаю, ты человек хороший, и мне страшно неловко, что она — твоя жена. Мне стыдно смотреть тебе в глаза. Но пойми: жизнь есть жизнь. Мне без нее никак нельзя. Пусть лучше меня разорвут на части. А если это тебя зацепило, говори сразу, нечего резину тянуть!

— Тадек,— сказал Завадский, уставившись в землю.— Мне все давно до лампочки. Я на своем веку такого повидал, что и врагу не пожелаю. Только послушай: ну возьмешь ты женщину с ребенком, а дальше что?

— Будем вместе. Остальное устрою.

— Нет,— сказал Завадский, он срывал траву и бросал ее, его зять снова впал в дремотное состояние.— Нет,— повторил он.— В жизни страшно редко случается что-то устроить. Ничего у вас не выйдет. У тебя жилплощадь есть, Тадек?

— Жилье — не самое главное. Будем жить в общежитии.

— Да,— заметил Завадский.— В общежитии. В общежитии, где в одной комнате пять человек. В общежитии, где по ночам пьяницы возвращаются с девками; где дня не проходит без скандала; где поцеловаться-то без десяти свидетелей нельзя; где вы будете тосковать друг о

друге, словно собаки, а по ночам встречаться в коридоре; в общежитии, где все время будут приставать к твоей жене... Будете жить в общежитии?

— Мы любим друг друга. Выдержим. Что ты меня пугаешь? Я жизни не боюсь,— сказал Тадеуш.

Он замолчал. За забором орали дикими голосами. На расположенной поблизости железнодорожной станции заскрежетали маневровые поезда. Завадский низко опустил голову, и Тадеуш не видел его лица. Зять икнул и спросил:

— Сообразим на троих?

Завадский вплотную приблизил к Тадеушу свое лицо, оно у него вспотело:

— Только не говори мне, что сможешь выдержать,— произнес он тихо.— Я выдержал больше, чем ты можешь себе представить. В лагерях сидел и такого насмотрелся, о чем детям будут рассказывать лет эдак через сто. Я не пытаюсь разжалобить тебя и не говорю, что эта женщина и ребенок для меня все. Насрать мне на твою жалость. Но ты не выдержишь, Тадек. Ты — парень молодой, тебе хочется жить и развлекаться. А тут уж все, конец. Времена сейчас тяжелые. Будешь получать от нее по десять сигарет «Спорты» на день и десятку в получку, чтобы распить бутылочку с приятелями на свежем воздухе, но угостить их рюмочкой в другой раз ты не сможешь, потому что дома тебя будет ждать жена и чужой ребенок, на которого пусть немного, но все же давать придется, а жена работать не сможет — надо с ребенком сидеть... И станет тебе тошно. А в один прекрасный день ты себе скажешь: «К черту все!» И пойдешь куда-нибудь с компанией друзей, потому что разозлишься. Вот тогда ты и задашь себе вопрос: «Где молодость? Где жизнь?» Это твое святое право, и претензий к тебе нет. А она станет упрекать тебя, плакать, умолять, и в конце концов придет день, когда ты в бешенстве взглянешь на нее и заметишь вдруг, что она постарела и подурнела. Вот тогда в первый раз, сам того не желая, ты ударишь мою жену.

Он замолчал, задумчиво рассматривая свои руки в грязи и царапинах. Вагоны всё скрежетали. Под забором вопило уже несколько певцов, среди них силой своего голоса выделялся один, выводивший мелодию танго «Ты помнишь, дорогая...». Урчали подъезжавшие к автобазе последние грузовики. Солнце скрылось за домами, крыши казались красными и золотыми, а тени — длинными и лиловыми. Разбросанные по пустырю битые бутылки и консервные банки играли, словно грани алмазов. Нагретая земля пахла гнилью. Дул сухой и легкий ветер, пропитанный запахом извести, смолы и сырого песка — неподалеку шла стройка. На темнеющем небе под лучами заходящего солнца остывала красная стена облаков. Зять Завадского поднялся и спросил:

— Сообразим на троих?

Ответить ему не успели. В спокойной тишине наступающего вечера раздался зычный голос. «Внимание, внимание! Сегодня в шестнадцать часов тридцать минут в зале Клуба профсоюзов лектор Общества по распространению знаний прочтет лекцию на тему «Скоро ли мы полетим на Луну?». Лекция будет сопровождаться показом диапозитивов. Повторяю. Сегодня в шестнадцать тридцать...»

— Подкиньте десяточку,— сказал зять, когда снова наступила тишина,— и сообразим на троих.— Он взял деньги и отошел.

— Я не смогу,— с отчаянием произнес Тадеуш.— У меня никогда никого не было — ни матери, ни друга... Я всегда верил в любовь. А без нее мне не жить. Как? Зачем? — Он смотрел на Завадского, и глаза его наливались кровью.— Сейчас ты скажешь, что я молод и встречу еще сотню таких, как она. Скажешь или нет? Ну, говори! — крикнул он.— Говори! Почему молчишь?

— Боже ж ты мой,— произнес Завадский, обведя вокруг рукой.— До каких же пор будут эти пустыри и валяющиеся под забором, веч-

ные общежития и «сообразим на троих», списки прогульщиков, давка в трамваях и очереди? До каких же пор у влюбленных не будет своей квартиры и люди вынуждены будут расходиться только из-за того, что ни жилья, ни белья, ни черта — сплошные проблемы? Когда б я не пережил столько, сколько пережил, я подумал бы, что попал в ад. Хотя в ад я не верю. Но если он и вправду существует, тогда эти бутылки, пьяные под забором, очереди за мясом, девки в общежитиях — сущий ад.

Тадеуш поднял голову. Топча каблуком траву, он только теперь во всей ясности осознал, что его любовь, радужные мечты и самое святое на свете рушится — и не разлука, измена или смерть тому виной, а те мелкие, ничтожные и надоевшие неурядицы, про которые говорил сейчас этот человек.

— Господи,— пробормотал он хрипло.— Господи!..

У него потемнело в глазах. Он распрямился и с ненавистью посмотрел вокруг. Потом рванулся и побежал. Спотыкаясь о консервные банки, он подбегал к наспех сколоченным столам, вырывал на ходу из рук у людей бутылки и разбивал их; смешивал в кучу окурки, куски селедки, хлеб и кислую капусту; отбегал, останавливался и снова бежал. Услышав яростные крики, он понял, что гонятся за ним, резко свернул в переулок и помчался в сторону железной дороги — туда, где сцепляли вагоны. Наконец он добежал до путей и увидел, что на него движется локомотив. «Это все неправда,— думал он.— Неправда!» Люди догоняли его, он, казалось, чувствовал затылком их горячее дыхание. Он выгнулся по-кошачьи и приготовился броситься под колеса, но кто-то оглушительно заорал: «Внимание!» — Тадеуш невольно замер — локомотив промчался мимо, он даже успел разглядеть потное лицо машиниста. «Внимание! — орал голос.— Сегодня в шестнадцать тридцать лектор Общества по распространению знаний прочтет лекцию на тему «Скоро ли мы полетим на Луну?». После лекции...» Но он уже ничего больше не слышал — в этот момент на него набросились и повалили.

Перевод Е. ТВЕРДИСЛОВОЙ

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

Комната Джейкоба

РОМАН

Перевод с английского МАРИИ КАРП

Вирджиния Вулф родилась в 1882 году в одной из самых образованных и рафинированных семей уходившей в прошлое викторианской Англии. Ее отец Лесли Стивен — радикал, вольнодумец, философ, историк, литературовед — был весьма заметной фигурой в общественной и литературной жизни. Разговоры об искусстве были для Вирджинии Стивен такой же повседневностью, как для какого-нибудь другого ребенка шалости или игры. Она выросла среди постоянных споров о литературе, живописи, музыке. Без преувеличения можно сказать, что в доме ее отца решались судьбы английской литературы: здесь получали благословение начинающие писатели, ниспровергались общепризнанные авторитеты. Дух, царивший в семье Стивенов, сохранился и в новом доме в Блумсбери, лондонском районе художников, музыкантов, писателей, где после смерти Лесли обосновались его дети — Тоби, Адриан и две дочери — Ванесса и Вирджиния. Они-то и составили ядро весьма элитарного кружка или салона, который по месту своего нахождения получил название Блумсбери и которому было суждено сыграть важную роль в развитии искусства XX века.

Частыми гостями здесь были Т. С. Элиот, философ Бертран Рассел, романист Э. М. Форстер, журналист Леонард Вулф, который в 1912 году стал мужем Вирджинии. Новичку, впервые попавшему на вечеринку в Блумсбери, могло сделаться не по себе. Молодому Дэвиду Герберту Лоуренсу в какой-то момент показалось, что он сходит с ума от нескончаемых бесед, за которыми коротали время завсегдатаи Блумсбери, отточившие свои умы и языки в ежевечерних словесных баталиях. Говорили вроде бы о пустяках, но как-то незаметно и естественно беседа переходила на только что открывшуюся в Лондоне выставку импрессионистов, вызвавшую у старшего поколения, воспитанного на академической живописи, взрыв негодования, а здесь, в Блумсбери, встреченную с восторгом. Здесь знали назубок работы психолога Уильяма Джемса, с легкой руки которого в литературный обиход, а постепенно и в литературную практику вошло понятие «потока сознания». Здесь зачитывались Фрейдом и Юнгом. По этим новым теориям получалось, что область подсознательного, интуиции не менее важна, чем сфера сознательного, материальное бытие. Ведь в этих областях человеческой жизни скрыты импульсы, неосуществленные желания, здесь бытуют некие неизменные структуры и модели поведения, роднящие человека XX века с его древними предками.

Другим интеллектуальным кумиром в среде блумсберийцев был французский философ Анри Бергсон, который решительно отверг в своих работах механистическо-рационалистический подход к бытию и предложил совершенно новое понимание времени. Время, полагал Бергсон, как и сознание, невыделяемо, нелинейно, оно — длительность, оно обратимо вспять, полностью не познаваемо, но лишь интуитивно прозреваемо.

Были у блумсберийцев и свои литературные пристрастия. Они почитали Стерна и Монтеня, но их губы складывались в презрительную улыбку, когда кто-нибудь при них с похвалой отзывался об Арнольде Беннете, Герберте Уэллсе или же Голсуорси — иными словами о традиционалистах, которые, как говорили в запале спора эти молодые люди, способны передавать в своих книгах только видимость жизни. Суть же ускользает от них. Явить миру Великую Сложность и было призвано новое, революционное, дерзкое, по меркам того времени, искусство блумсберийцев и их духовных соратников.

Именно поэтому в их произведениях реальная, доступная привычному взгляду оболочка вещей взрывается, ко всему разумному, поддающемуся простому научному толкованию они относятся с недоверием, но делают упор на достижение метафизического смысла явления.

Сейчас, когда открытия Вирджинии Вулф давно уже освоены современной западной прозой и постепенно благодаря снятию запретов осваиваются и нашими отечест-

венными прозаиками, трудно себе представить, какой взрыв негодования у приверженцев классической прозы вызвали ее первые произведения, к числу которых можно отнести и роман «Комната Джейкоба» (1922). Это третий роман Вулф, но по сути своей первый по-настоящему «вулфовский» роман.

Готовясь к созданию «Комнаты Джейкоба», Вулф записала в дневнике: «Я принялась за эту книгу, надеясь, что смогу выразить в ней свое отношение к творчеству... Надо писать из самых глубин чувства — так учит Достоевский...».

Хотя внешне каноны сюжетно-фабульного повествования соблюдены, на самом деле роману не хватает именно традиционной событийности. Собственно событий, как их понимала поэтика старого добротного классического романа, здесь нет вообще. Повествование, если это слово передает то, что происходит в романе, существует на двух уровнях. Первый, хотя и не отчетливо событийный,— внешний, материальный. Второй, главный — тот, что существует вне реального времени. В этом мире нам приоткрывается Великая Сложность — жизнь души, памяти, снов, чувствований, предчувствий, интуиции.

В обычном, принятом смысле слова роман вообще нельзя назвать романом. Здесь нет никакой определенности — географической, повествовательной,— нет привычных героев. Все намеренно зыбко, сознательно импрессионистично. Наверное, можно сказать, что в этом романе предпринята попытка описать жизнь с помощью «потока сознания».

Вопрос о влиянии «Улисса» Джойса возникает почти всегда, когда речь заходит об описании внутренней, сокровенной жизни в книгах Вирджинии Вулф. Впервые с «Улиссом» Вулф познакомилась еще в 1918 году, когда эпизоды романа печатались на страницах журнала «Литтл ревью». Естественно, что искусство Джойса бурно обсуждалось в среде блумсберийцев. То, что Джойс оказал на Вирджинию Вулф воздействие, и немалое — несомненно. Писательницу не могло не заинтересовать конечное стремление Джойса «вырвать секрет у жизни», сказать «общечеловеческую правду». Ей, конечно, были важны как мастеру технические приемы повествовательного искусства Джойса. Но считать Вулф последовательницей Джойса, его ученицей вряд ли возможно. Титанизм, гигантомания искусства Джойса, образный и словесный монументализм, так масштабно проявлявшийся в объеме его книги, мифотворчестве, структуре и системе символов-лейтмотивов, претили писательнице, которая при всем ее новаторстве развивалась в утонченной традиции психологического искусства английского романа, уходящего своими корнями в книги Стерна, Джейн Остен, позднего Теккерея.

Для историка литературы это произведение особенно интересно тем, что оно пограничено — Вирджиния Вулф еще в чем-то крепко связана с традицией великого романа XIX века, с его выверенной повествовательной техникой. Но, с другой стороны, пуповина уже надорвана. Писательница всеми силами стремится сделать шаг к воплощению Истины. А истина эта неуловима, изменчива и всячески противится рациональному анализу.

Но не надо при этом думать, что вместо реальной, полнокровной жизни читателю предлагается метафизическое «нечто». Жизнь, «обожаемый мир», как говорила Вулф о море, детях, плывущем ранним утром пароходе, летнем дожде, весеннем саде — расцветает десятками красок в ее романе.

У Вулф, как и у всякого писателя, были свои излюбленные темы. Она, сама не знавшая радости материнства, много писала о детях, наверное, потому, что детство — время, когда душа еще не успела скрыться от мира под одеждами воспитания, приличий.

В «Комнате Джейкоба» наметились и границы мира Вирджинии Вулф, круг тем, которые с определенными вариациями повторяются во всех ее романах и которые не потеряли своего значения и сегодня — проблемы брака, женской судьбы, понятые и осмысленные в социальном и философском контексте, поиски женщиной своего места в семье, обществе, мироздании, воспитание детей, взаимоотношения с мужчиной, вечное единоборство и желанный, но такой трудный союз с ним, жажда самовыражения.

«Комнату Джейкоба» можно назвать огромным стихотворением в прозе — столь поэтичен мир, возникающий на страницах этой книги, столь хрупки описания детства, столь трепетно мерцание характера, который потому и получается в конечном итоге цельным, что автор всеми доступными его искусству способами сторонится решительного последнего мазка.

К моменту написания «Комнаты Джейкоба» цель и идеал искусства были ясны Вирджинии Вулф — изгнать традиционализм, линейное, сюжетное повествование, заменив его остановленными в слове моментами бытия, вспышками ощущений. И все же в «Комнате Джейкоба» в потоке текущей, длящейся эмоции мы нет-нет да натолкнемся на вполне традиционные, по законам самой же Вулф совершенно невозможные в такой прозе описания; встречается нам и авторский комментарий, на который теоретически писательницей было наложено строжайшее вето. Причем этот комментарий распространяется не только на факты жизни, но и на самое святое в этой прозе — характер. Более того, несколько раз Вулф — может быть, не отдавая себе отчета,— вставляет в книгу, совсем как Филдинг, эссе-размышления о трудностях писательского ремесла, о собственных творческих поисках.

В центре романа — мальчик, затем юноша Джейкоб Фландерс. Нам предложено познать мир не через рассказ о мире и о событиях в нем, но через наше познание и узнавание самого Джейкоба. Метод познания — не только мысли и эмоции Джейко-

ба, но также — и это, пожалуй, главное — отражение его индивидуальности, его характера в сознании людей, окружающих его, встречающихся случайно на его коротком жизненном пути. Каждое такое впечатление, взятое отдельно, самоценно. Однако, соединившись вместе, они не создают зеркала. Цельная картина пока не складывается. Одни лица кажутся неправомерно большими, другие почему-то еле различимы. И, видимо, из-за этого роман крошится, распадается на эпизоды. Ему пока не хватает внутреннего единства, и первопричина в том, что автор практически у нас на глазах пытается вытравить из своей поэтики традиционные приемы классического повествования. Но, отказавшись от накатанной дороги («Это случилось тогда-то, при таких-то обстоятельствах, в городе N...»), Вулф еще не ведает, как передать в слове мириады ощущений, впечатлений, которые сосуществуют, сталкиваясь и противореча друг другу. Ведь материал прозы остается прежним — детали быта, жизненные коллизии, слова, в которые облекаются наши поступки и чувства. Меняется сам принцип их подачи в произведении, а следовательно, должна измениться роль автора. Автор должен создать эффект отсутствия. Но для этого ему необходимо точно определить, а может быть, математически рассчитать, какой же будет его художественная позиция — она ведь станет тем цементирующим раствором, который скрепит мозаику бытия.

Даже название романа показывает, как Вулф ищет эту новую позицию. В классическом романе в заглавие любили выносить такие ключевые слова и понятия, как «приключения», «странствия», «путешествия», «история»... Психолог Стерн решил взглянуть на мир через особое путешествие — сентиментальное и через мнения и суждения своего героя. С точки зрения традиционной поэтики, он сузил границы мира, но, с точки зрения искусства нового времени, он несравненно расширил возможности изображения личности.

Вулф предлагает взглянуть на мир из комнаты. И, конечно, это позиция, это принципиально. Причем она отнюдь не всегда смотрит на мир из окна — чаще устроившись в кресле, присев на стул или удобно расположившись за письменным столом, внимательно изучает внутреннее убранство и внутреннее состояние жилища. В предметах отразился характер Джейкоба, все они несут на себе печать его личности. В самом же Джейкобе отражается весь необъятный мир.

Комната «перемещается» за Джейкобом по белу свету, вмещает в себя историю его детства, становления, душевного разлада и борений, влюбленностей, его смерти. Традиционный «роман воспитания» приобретает новые черты.

Вирджиния Вулф рано оставила мир. Ее самоубийство в 1941 году стало следствием и тяжелой душевной болезни, с юности преследовавшей писательницу, и страха перед надвигающейся войной, которую она, дитя утонченной западной цивилизации, восприняла как конец культуры и крах разума.

Большому писателю, как известно, дано предвидеть, пусть в неопределенных эмоциональных формах, свой конец и уход. Смерть — постоянная тема в произведениях Вулф. Но смерть — тема очень трудная. Надо быть таким пронзительно сентиментальным, как Чарльз Диккенс, чтобы не бояться этой темы и заставить рыдать над маленькой Нелл не одно поколение читателей, или таким гениальным психологом, как Л. Н. Толстой, чтобы передать весь ужас, величие, драму угасания Ивана Ильича.

По-иному изображена смерть у Вирджинии Вулф. Немало жизней уносит поток времени в «Комнате Джейкоба». Каждая смерть — убывание всей жизни. Смерти никогда не проходят незаметно. Но смерть у Вулф погружена в самую сердцевину быта. Она живет в череде будней, житейской прозы. В этом ее особый драматизм и особая ее правда. За смертью Джейкоба стоит целая страница в истории Европы, его судьба — это нерассказанная повесть о поколении, унесенном бессмысленной бойней. Об этом сказано в нескольких фразах, полунамеком. Читателю предлагается все додумать самому.

Иногда «Комнату Джейкоба» хочется сравнить с «Гамлетом», но таким, в котором всем персонажам, в том числе и второстепенным, предоставлена возможность произнести монолог «Быть или не быть». Пока персонажи на сцене, мы с интересом внимаем им, Но вот они покинули подмостки, и мы силимся вспомнить — а о чем они говорили? Хотя в них, по замыслу писательницы, должна биться сама жизнь, им-то подчас и не хватает огня жизни. Огонь искусства уходит в строительство новой конструкции.

И все же художественные просчеты Вирджинии Вулф в «Комнате Джейкоба» в известной степени не менее интересны, а для истории литературы не менее существенны, чем ее новаторские достижения. Просчеты Вулф, очевидные с высот ее собственного зрелого искусства в романах «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк»,— этапы развития, становления, мужания психологической прозы XX столетия, родоначальницей и мастером которой была создательница «Комнаты Джейкоба».

Е. ГЕНИЕВА

I

«Так что, конечно,— написала Бетти Фландерс, вдавливая каблуки поглубже в песок,— оставалось только уезжать». Медленно стекая с кончика золотого пера, бледно-голубые чернила расплывались в точке, потому что здесь ручка замерла, глаза уставились в пространство и медленно наполнились слезами. Залив затрепетал, маяк покачнулся, и ей показалось, что мачта маленькой яхты мистера Коннора накренилась, как восковая свечка на солнце. Она быстро сморгнула. Только бы ничего не случилось. Она сморгнула снова. Мачта выпрямилась, волны бежали ровно, маяк был на месте, но клякса расползлась.

«...оставалось только уезжать»,— прочитала она.

— Ну, если Джейкоб не хочет играть (на бумагу легла тень Арчера, ее старшего сына, на песке она казалась синеватой, и стало зябко — было уже третье сентября), если Джейкоб не хочет играть...— какая жуткая клякса! Уже, наверное, поздно.

— Да где же этот непослушный мальчишка? — сказала она.— Что-то его не видно. Сбегай разыщи его. Скажи, чтобы немедленно пришел.— «...но, слава богу,— торопливо написала она, не обращая внимания на точку,— все, кажется, устроилось благополучно, хоть мы и теснимся здесь как селедки в бочке, да еще приходится тут же ставить детскую коляску, чего хозяйка, естественно, не позволяет...»

Такие письма писала Бетти Фландерс капитану Барфуту — бесконечные, закапанные слезами. Скарборо в семистах милях от Корнуола — капитан Барфут в Скарборо — Сибрук умер... От слез георгины у нее в саду постоянно плыли красными волнами, стекло теплицы вспыхивало перед глазами, а в кухне блестели ножи, и когда в церкви звучал псалом и миссис Фландерс низко склонялась над головами своих мальчиков, миссис Джарвис, жена пастора, думала, что брак — это крепость, а вдовы одиноко блуждают в чистом поле, подбирая каменья и редкие золотые соломинки, обездоленные, беззащитные, несчастные существа. Миссис Фландерс уже два года была вдовой.

— Джей-коб! Джей-коб! — кричал Арчер.

«Скарборо»,— написала миссис Фландерс на конверте и жирно подчеркнула, это был ее родной город, главное место на земле. Но где же марка? Она порылась в сумочке, вытряхнула ее содержимое, затем пошарила в складках платья — и все так стремительно, что Чарльз Стил в своей панаме замер с кистью в руке.

Точно усики какого-нибудь разъяренного насекомого, кисть прямотаки дрожала. Женщина с чего-то вздумала двигаться — да, кажется, собирается встать, черт ее побери! Он поспешно нанес на холст темно-лиловый мазок. Этого требовал пейзаж. Слишком он был бледен — серое, переходящее в голубое, и одна не то звезда, не то белая чайка, парящая просто так,— слишком бледно, по обыкновению. Слишком бледно, скажут критики, потому что никто его не знает и на выставках он незаметен — любимец детей квартирных хозяек, с крестом на цепочке для часов, чрезвычайно польщенный, если его картины нравятся самим хозяйкам — что бывает не так редко.

— Джей-коб! Джей-коб! — кричал Арчер.

Стил, при всей своей любви к детям, раздражался от крика, нервно тыкал кистью в темные кружочки на палитре.

— Я твоего брата видел... Видел я твоего брата,— произнес он, кивая головой, когда Арчер брел мимо него, волоча лопатку и бросая сердитые взгляды на старика в очках.

— Там, у скалы,— держа кисть в зубах, пробормотал Стил и выдавил охру, не сводя глаз со спины Бетти Фландерс.

— Джей-коб! Джей-коб! — закричал Арчер через секунду, бредя дальше.

В голосе была удивительная печаль. Освобождаясь от плоти, от страстей, он выходил в мир, одинокий, безответный, бьющийся о скалы,— вот как звучал этот голос.

Стил хмурился, но был доволен тем, как легло черное — то самое, чего не хватало, чтобы все связать воедино. «Ах, можно стать живописцем и в пятьдесят лет. Тициан, например...» — и тут, найдя нужный оттенок, он взглянул вверх и, к своему ужасу, увидел над заливом тучу.

Миссис Фландерс поднялась, похлопала по пальто с обеих сторон, чтобы стряхнуть песок, и взяла свой черный зонтик.

Скала была из тех необычайно твердых, бурых, почти черных скал, которые торчат из песка словно что-то первобытное. Скала — шершавая от ребристых ракушек и кое-где покрытая пучками высохших морских водорослей, так что маленькому мальчику приходится широко расставлять ноги, и он не раз покажется себе самым настоящим героем, пока доберется до вершины.

Но там, на самой вершине,— впадина с песчаным дном, полная воды, в ней медуза, комочком прилипшая сбоку, и несколько мидий. Рыбка метнулась в воде. Желто-коричневые водоросли колышутся, из них выползает краб в опаловом панцире...

— Какой огромный краб,— прошептал Джейкоб.

...и на тоненьких ножках отправляется в путешествие по песчаному дну. Ну-ка! Джейкоб опустил руку в воду. Краб был прохладный и очень легкий. А в воде полно песку, и вот, прижимая к себе ведерко, Джейкоб сполз вниз и собирался уже спрыгнуть, как вдруг увидел, что на земле совершенно неподвижно лежат рядом огромные мужчина и женщина с очень красными лицами.

Огромные мужчина и женщина (в этот день все заканчивали работу рано) лежали рядом, не шевелясь, положив головы на носовые платки, в двух шагах от моря, а несколько чаек легко промахнули над набегающими волнами и уселись около их ног.

Большие красные лица на ярких носовых платках в горошек уставились на Джейкоба снизу вверх. Джейкоб сверху вниз уставился на них. Затем, бережно прижимая к себе ведерко, Джейкоб осторожно спрыгнул и побежал прочь, поначалу так, словно ничего не случилось, но все быстрее и быстрее, по мере того как волны, пенясь, подступали к нему и ему приходилось сворачивать, чтобы спастись от них, и чайки поднялись прямо перед ним, и пронеслись вперед, и снова уселись чуть поодаль. На песке сидела большая черная женщина. Он побежал к ней.

— Няня! Няня! — кричал он, всхлипывая, судорожно глотая воздух на каждом слоге.

Волны накатывали на нее. Она была скалой. Ее покрывали водоросли, которые лопаются с треском, когда на них нажимаешь. Он заблудился.

Так он и стоял. Лицо его искривилось. Он совсем готов был зареветь, как вдруг у отвесной скалы среди черных палок и соломы увидел череп — может быть, коровий, может быть, даже с зубами. Всхлипывая, но уже машинально, он бежал все дальше и дальше по берегу, и вскоре череп оказался у него в руках.

— Вот он! — воскликнула миссис Фландерс, обойдя скалу и мгновенно оглядев все пространство пляжа.— Что он там схватил? Положи это, Джейкоб! Брось сию же секунду! Наверняка какая-нибудь гадость. Почему ты убежал от нас? Противный мальчишка! Ну, положи это. Пойдемте оба.— И она повернулась, держа Арчера одной рукой и на-

щупывая руку Джейкоба другой. Но он ускользнул и подобрал отвалившуюся овечью челюсть.

Размахивая сумочкой, сжимая зонтик, держа Арчера за руку и рассказывая историю о том, как однажды взорвался порох и бедный мистер Керноу остался без глаза, миссис Фландерс быстро поднималась по крутому склону, ощущая все время в глубине души какую-то смутную тревогу.

Там, на песке, неподалеку от любовников, остался старый овечий череп без челюсти. Чистый, белый, натертый песком и отполированный ветром,— на всем побережье Корнуолла не найти больше таких ослепительных костей. Морская трава прорастет сквозь глазницы, он раскрошится, или в один прекрасный день кто-нибудь, играя в гольф, ударит по мячу и рассеет горстку праха. «Нет, ну не в чужом же доме»,— подумала миссис Фландерс. Очень рискованно уезжать так далеко с маленькими детьми. Нет мужчины, некому помочь с коляской. И с Джейкобом наказание — уже все делает по-своему.

— Выбрось это, милый, пожалуйста,— сказала она, когда они вышли на дорогу, но Джейкоб увильнул от нее; подымался ветер, и она вытащила булавку из шляпы, поглядела на море и воткнула ее наново. Подымался ветер. В волнах ощущалось беспокойство, как живые существа, они упрямились и ждали кнута, волновались перед бурей. Рыбачьи лодки кренились к самой воде. Бледно-желтый свет прорезал лиловое море и погас. Зажегся маяк.— Пойдемте,— сказала Бетти Фландерс. Солнце било им в лица и золотом покрывало дрожащие в живой изгороди огромные черные ягоды ежевики, которые Арчер пытался сорвать на ходу.

— Мальчики, не отставайте. Вам не во что переодеться,— сказала Бетти, таща их за собой и с беспокойством оглядывая землю, ставшую такой ослепительной от внезапных вспышек света в стеклах садовых теплиц, от непрерывной смены желтого и черного, от пылающего заката и удивительного возбуждения и напряженности цвета, которые волновали Бетти Фландерс и заставляли ее думать о своей ответственности и нависшем несчастье. Она схватила Арчера за руку. Дальше надо было взбираться на холм.

— О чем я тебя просила мне напомнить? — спросила она.

— Не знаю,— сказал Арчер.

— Ну и я не знаю,— сказала Бетти легко и весело, и кто станет отрицать, что такой вот рассеянностью, а также щедростью, природным чутьем, бабьими суевериями, безрассудствами, мгновениями удивительной отваги, ощущением смешного и сентиментальностью,— кто станет отрицать, что именно этим всякая женщина симпатичнее любого мужчины?

Вот, например, Бетти Фландерс.

Она взялась за садовую калитку.

— Мясо! — вскрикнула она, со стуком отодвигая щеколду.

Она забыла про мясо.

В окне показалась Ребекка.

Скудость обстановки гостиной в доме миссис Пирс стала особенно заметна в десять часов вечера, когда на середину стола поставили керосиновую лампу. Резкий свет озарил сад, пересек лужайку, выхватил из темноты детское ведерко и фиолетовую астру и остановился у изгороди. Миссис Фландерс забыла шитье на столе. Там лежали ее очки в стальной оправе, большие катушки белых ниток, игольник и коричневая шерсть, намотанная, на старую открытку. Валялись камышины и номера «Стрэнда», а линолеум был в песке от детских башмаков. Долгоножка пронеслась из угла в угол и ударилась о лампу. Ветер хлестал по окнам крупными каплями, и, попадая на свет, они вспыхивали серебром. Торопливо, настойчиво бился о стекло одинокий листок. На море был ураган.

Арчер не мог заснуть.

Миссис Фландерс наклонилась над ним.— Представь себе фей,— сказала Бетти Фландерс.— Представь себе красивых-красивых птичек, как они уютно устраиваются в гнездышках. Закрой глазки и увидишь птичку-маму с червячком в клюве. Ну, повернись и закрой глазки,— прошептала она,— закрой глазки.

Дом был наполнен звуками льющейся, булькающей воды; вода выливалась из переполненного бака, пузырилась, пищала, неслась по трубам и струилась по оконным стеклам.

— Куда это столько воды льется? — шепотом спросил Арчер.

— Это просто вытекает вода из ванны,— ответила Бетти Фландерс.

На улице что-то лязгнуло,

— Послушай, а этот пароход не утонет? — спросил Арчер, открывая глаза.

— Конечно нет,— сказала Бетти Фландерс,— капитан давно спит. Закрой глазки и представь себе фей, они крепко-крепко спят, а над ними растут цветы.

— Думала, он не уснет сегодня — такой ураган,— шепотом сказала она Ребекке, которая склонилась над спиртовкой в соседней маленькой комнате. На улице бушевал ветер, а маленькое пламя спиртовки горело ровно, заслоненное от кроватки книжкой, стоящей на боку.

— Он все съел, что было в рожке? — спросила шепотом миссис Фландерс, и Ребекка кивнула, подошла к кроватке и отвернула покрывало, а миссис Фландерс нагнулась и с тревогой посмотрела на ребенка, который спал, но хмурился во сне. Окно затряслось, и Ребекка прокралась как кошка и затворила его покрепче. Две женщины шептались над спиртовкой, плетя вечный заговор тишины и чистых рожков, а ветер неистовствовал и вдруг с силой рванул непрочную задвижку.

Обе оглянулись на кроватку. Губы у них были поджаты. Миссис Фландерс направилась к кроватке.

— Спит? — спросила Ребекка шепотом, глядя на кроватку.

Миссис Фландерс кивнула.

— Спокойной ночи, Ребекка,— шепотом сказала миссис Фландерс, и Ребекка в ответ назвала ее «мадам», хотя они и были заговорщицами, плетущими вечный заговор тишины и чистых рожков.

Миссис Фландерс забыла погасить лампу в гостиной. Там были ее очки, шитье, конверт со штемпелем «Скарборо». И шторы она не задернула.

Яркий свет заливал полоску травы, захватывая и зеленое ведерко с золотым ободком, и отчаянно дрожащую астру рядом с ним. Ветер рвался по побережью, с силой набрасываясь на холмы, внезапными порывами обрушиваясь на себя самого. Как он разошелся над городом в низине! Как мигали и дрожали от его ярости огни, огни в гавани, огни в окнах спален наверху! И, катя́ перед собой темные волны, он мчал через Атлантику, швыряя туда-сюда звезды над кораблями.

В гостиной щелкнуло. Мистер Пирс потушил лампу. Сад погас. Все ушло во тьму. На каждый дюйм земли лил дождь. Каждая травинка сгибалась от дождя. Под тяжестью дождя не могли бы подняться и веки. Лежащий на спине не увидел бы ничего, кроме сумятицы и неразберихи — ворочающихся туч и чего-то желтоватого и сернисто-зеленого в темноте.

Мальчики в спальне скинули одеяла и лежали под простынями. Было жарко, как-то влажно и парно. Арчер лежал, разметавшись, отбросив руку на подушку. Он раскраснелся, и когда тяжелая штора слегка поднялась от ветра, повернулся и приоткрыл глаза. Ветер задел еще и салфетку на комоде и впустил немного света, так что стал виден острый угол комода, прямо подымающийся вверх до того места, где выступало что-то белое, а в зеркале показалась серебряная полоска.

В другой постели, у двери, спал Джейкоб, спал крепко, в полном забытьи. Овечья челюсть с большими желтыми зубами лежала у него в ногах. Он отпихнул ее к железной спинке кровати.

За окном ветер под утро стих и еще ровнее и сильнее полил дождь. Астру прибило к земле. Ведерко было до половины наполнено дождевой водой, и краб в опаловом панцире медленно кружил по дну слабыми ножками, пробуя вскарабкаться по крутой стенке; он пробовал снова, и срывался, и пробовал снова и снова.

II

— Миссис Фландерс.— Бедная Бетти Фландерс.— Милая Бетти.— Она и сейчас еще очень привлекательна.— И почему она больше замуж не выходит? — Да из-за капитана Барфута, конечно. Как среда, так он у нее — точнехонек, хоть часы проверяй,— а жену небось с собой не берет!

— Ну тут уж Эллен Барфут сама виновата,— говорили дамы Скарборо.— Она ни у кого не бывает.

— Мужчине сын нужен — давно известно.

— Некоторые опухоли вырезают, но с такой, как была у мамы, мучаются годами, и никто при этом тебе чай в постель не подает.

(Миссис Барфут была прикована к креслу.)

Элизабет Фландерс, о которой это и многое другое говорилось и будет еще говориться, была, конечно, вдовой в расцвете лет. Она находилась на середине пути между сорока и пятьюдесятью. Годы, пронизанные горем, смерть мужа — Сибрука, трое сыновей, нужда, домик на окраине Скарборо, катастрофа, а может быть, и гибель брата, бедного Морти,— ведь не знаешь, где он? что с ним? Заслонив глаза от солнца рукой, она глядела на дорогу в ожидании капитана Барфута — да, вот он появился, пунктуальный, как всегда; ухаживание капитана — все это привело Бетти Фландерс к зрелости, округлило ее фигуру, придало лицу оживленности и наполняло глаза слезами без всякой видимой причины по три раза на дню.

Разумеется, нет ничего дурного в том, чтобы оплакивать мужа, и надгробие, хоть и простое, сделано было основательно, и когда в летние дни вдова приводила к нему сыновей, ей сочувствовали. Шляпы приподнимались выше обычного, жены дергали мужей за рукав. Сибрук лежал на глубине в шесть футов, мертвый все эти годы, защищенный тремя панцирями, все щели в которых были залиты свинцом, так что если бы земля и дерево были прозрачны, там, глубоко внизу, можно было бы несомненно разглядеть даже его лицо, правильные черты, бакенбарды, лицо молодого человека, который отправился на утиную охоту, а потом не переобулся.

«Коммерсант» — гласило надгробие, хотя почему Бетти Фландерс решила назвать его именно так, когда многие еще помнили, что он просидел за окошком в конторе всего-навсего три месяца, а до того заездил несколько лошадей, охотился с гончими, немножко занимался хозяйством и немножко прожигал жизнь,— ну, должна же она была его как-нибудь назвать. Мальчикам в назидание.

Что же, значит, он был ничтожеством? Вопрос, на который не может быть ответа, потому что, если бы даже не существовало обычая закрывать усопшим глаза, свет в них и так меркнет очень скоро. Сперва — часть ее самой, теперь — один из многих, он слился с травою, покатым склоном холма, тысячей белых каменных надгробий, покосившихся и прямых, увядшими венками, крестами из зеленой жести, узкими дорожками и сиренью, которая в апреле, источая запах, напоминающий о комнате больного, перевешивается через кладбищенскую стену. Сибрук стал теперь всем этим, и когда, подоткнув юбку и засыпая корм

курам, она слышала колокольный звон, возвещающий о службе или похоронах,— это был голос Сибрука, голос умершего.

Как-то раз петух взлетел ей на плечо и клюнул в шею, и с тех пор, собираясь кормить птиц, она брала с собой палку или звала кого-нибудь из детей.

— Мама, хочешь, возьми мой ножик,— сказал Арчер.

Голос сына, звучащий одновременно с колоколом, смешивал жизнь и смерть, нерасторжимо, ликующе.

— Какой у тебя большой ножик! — сказала она. Она взяла нож, чтобы доставить ему удовольствие. Тут петух вылетел из курятника, и, крикнув Арчеру, чтобы он закрыл калитку в огород, миссис Фландерс засыпала корм, поцокала языком, сзывая кур, и поспешила прочь, а снизу ее увидела миссис Крэнч, которая выбивала об стену коврик и на секунду замерла с ним в руках, говоря своей соседке миссис Пейдж, что миссис Фландерс кормит в саду кур.

Миссис Пейдж, миссис Крэнч и миссис Гарфит могли видеть миссис Фландерс в саду, потому что сад был огороженной частью холма Додс, а холм Додс возвышался над всей деревней. Никакими словами не передать значение холма Додс. Это была сама земля, мир, раскинувшийся под небом, горизонт для множества взглядов, которые лучше всех сочтет тот, кто всю жизнь прожил в деревне, уйдя из нее один только раз на Крымскую войну, как старый Джордж Гарфит, что курит свою трубочку, облокотясь на калитку. По холму определялось движение солнца; по краскам, проступавшим за ним, решали, каким будет день.

— А сейчас пошла наверх с маленьким Джоном,— сказала миссис Крэнч миссис Гарфит и, в последний раз встряхнув коврик, поспешила в дом.

Открыв садовую калитку, миссис Фландерс отправилась вверх по холму, ведя Джона за руку. Арчер и Джейкоб то убегали вперед, то отставали, и когда она, наконец, поднялась, они были уже в римской крепости и кричали оттуда, какие корабли виднеются в заливе. А сверху в самом деле открывался замечательный вид — сзади вересковые пустоши, впереди море, и весь Скарборо от одного конца до другого лежит как на ладони, похожий на загадочную картинку. Миссис Фландерс, которая начинала полнеть, уселась в крепости и огляделась.

Она уже, наверное, знала назубок всю палитру изменений этого вида; каким он бывал зимой, каким весной, летом, осенью; как с моря налетали штормовые ветры; как дрожал вереск и как светлел, когда тучи проходили; ей сверху, вероятно, видны были красные участки, где строились дачи, и пересекающиеся границы наделов, и алмазные вспышки маленьких теплиц на солнце. Или если такие подробности ускользали от ее внимания, она могла бы позволить воображению разыграться у золотого на закате моря и представить себе, как оно выплескивает на гальку множество золотых монет. Прогулочные шлюпки погружались в золото; черная рука пирса тянула его в свой тайник. Весь город был розовый и золотой; многокупольный; покрытый дымкой; гулкий; стрекочущий. Тренькали банджо; на берегу пахло смолой, к которой липли каблуки; толпу внезапно прорезали козлики, впряженные в повозки с детьми. Большой удачей муниципалитета считалась разбивка клумб. Иногда улетала соломенная шляпка. Тюльпаны пламенели на солнце. Рядами лежали летние брюки. Лиловые чепцы обрамляли нежные, розовые недовольные лица, покоящиеся на подушках в инвалидных колясках. Мужчины в белых сюртуках катили треугольные тумбы с афишами. Капитан Джон Боуз поймал акулу невероятных размеров. Одна сторона треугольной тумбы оповещала об этом красными, синими и желтыми буквами, и каждая строчка заканчивалась тремя разноцветными восклицательными знаками.

Так вот зачем спускались в Аквариум, где выцветшие шторы и въевшийся запах соли, и бамбуковые стулья, и столики с пепельницами, и снующие туда-сюда рыбки, и служительница с вязаньем, перед которой

стояло шесть-семь коробок шоколадных конфет (ведь ей часто приходилось буквально часами сидеть одной с рыбами),— все это оставалось в памяти как часть невероятной акулы, которая сама по себе оказывалась просто желтой дряблой громадиной, похожей на плавающий в воде кожаный саквояж. Аквариум никому не нравился, но тускло-разочарованные лица тех, кто выходил оттуда, преображались, едва выяснялось, что, если хочешь попасть на пирс, надо становиться в очередь. Миновав турникеты, они некоторое время двигались очень быстро, а затем одни застывали у одного ларька, другие — у другого. Но в конце концов, всех собирал оркестр, даже рыболовы на нижнем пирсе старались встать так, чтобы слышать музыку.

Оркестр играл в мавританской беседке. На доске выскочила цифра «девять». Это был вальс. Бледные девушки, пожилая вдова, три еврея, живущие в одном пансионе, денди, майор, торговец лошадьми и господин со значительными средствами слушали его с одинаковым размытым, упоенным выражением, а у их ног сквозь щели в деревянном настиле видны были зеленые летние волны, которые безмятежно, ласково колыхались у железных столбов пирса.

А ведь было время, когда ничего этого не существовало (думал молодой человек, облокотившийся на перила). Смотрим только на дамскую юбку — хотя бы вот на эту,— серую над розовыми шелковыми чулками. Она меняется — доходит до самых лодыжек — девяностые годы, затем расширяется — семидесятые, теперь она отделана красным и натянута на кринолин — шестидесятые, выглядывает лишь крохотный черный башмачок на белом нитяном чулке. Она еще тут? Да — сидит на пирсе. Теперь по шелку пущен узор из розочек, но стало как-то хуже видно. Под нами нет пирса. Тяжелая колесница движется по дороге с заставами, но пирса нет, остановиться ей негде, а какое серое и бурное море в семнадцатом веке! Заглянем в музей. Пущечные ядра, наконечники стрел, римское стекло и щипцы, позеленевшие от времени. Преподобный Джаспер Флойд нашел их, проводя на собственные средства раскопки в римском лагере на холме Додс в начале сороковых годов,— это сообщает маленькая табличка с потускневшей надписью.

Так, ну а что еще стоит посмотреть в Скарборо?

Миссис Фландерс сидела на возвышении в римском лагере и латала брюки Джейкоба, поднимая глаза от шитья лишь тогда, когда слюнила кончик нитки или когда какое-нибудь насекомое, ударившись о нее, жужжало ей в самое ухо и исчезало.

Джон то и дело подбегал и вываливал ей на колени траву и засохшие листья, которые он называл «чай», и она машинально, но методично разбирала их, укладывая траву метелками в одну сторону и думая, что Арчер опять не спал ночью, что часы на церкви спешат минут на десять или тринадцать и что хорошо бы купить у Гарфитов земли.

— Это, Джонни, лист орхидеи. Видишь коричневые пятнышки? Ну, пойдем, милый. Нам пора домой. Ар-чер! Джей-коб!

— Ар-чер! Джей-коб! — тоненько подхватил Джонни, вертясь на каблуках и движениями сеятеля разбрасывая по сторонам траву и листья. Арчер и Джейкоб выскочили из-за возвышения, за которым сидели скрючившись, собираясь неожиданно прыгнуть на мать, и они медленно пошли домой.

— Кто это там? — спросила миссис Фландерс, заслоняя глаза от солнца рукой.

— Вон тот старик на дороге? — переспросил Арчер, глядя вниз.

— Это не старик,— сказала миссис Фландерс.— Это — нет, это не он — я думала, это капитан, а это мистер Флойд. Пойдемте, мальчики.

— Противный мистер Флойд! — сказал Джейкоб, срывая чертополох, потому что уже знал, что мистер Флойд будет заниматься с ними латынью, и действительно он занимался с ними потом три года, когда

бывал свободен, просто по доброте душевной, и, кроме того, по соседству и не было никого другого, к кому бы миссис Фландерс могла обратиться с такой просьбой, а сама она уже не справлялась со старшими сыновьями, их надо было готовить к школе, и далеко не всякий священник стал бы вот так заходить к ним после чая или приглашать мальчиков к себе — получалось по-разному, потому что приход был очень большой, а мистер Флойд, как когда-то его отец, навещал и те домики, которые стояли далеко на вересковых пустошах, и он, как и старый мистер Флойд, был человек ученый, почему ей и показалось таким невероятным — просто никогда бы в голову не пришло... Могла бы и догадаться? Но ведь, помимо того что ученый, он же был на восемь лет ее моложе. Она знала его мать — старую миссис Флойд. Ходила туда пить чай. И как раз, вернувшись после чая со старой миссис Флойд, обнаружила в прихожей записку и взяла ее с собой на кухню, куда шла отдать Ребекке рыбу, думая, что там что-то про мальчиков.

— Мистер Флойд сам заходил, да? Сыр, кажется, в свертке, в прихожей... в прихожей, да...— она уже читала. Нет, там было не про мальчиков.

— Да, конечно, на завтра на котлеты рыбы хватит. Может, капитан Барфут...— Она добралась до слова «люблю». Она пошла в сад и стала читать, прислонившись к ореховому дереву, чтобы не упасть. Грудь ее вздымалась и опускалась. Сибрук как живой стоял перед глазами. Она качала головой и глядела сквозь слезы на трепещущие листочки на желтом небе, когда на лужайку не то вылетели, не то выскочили три гуся, в испуге удиравшие от Джонни, который бежал за ними, размахивая палкой.

Миссис Фландерс покраснела от гнева.

— Сколько раз я тебе говорила? — закричала она и, поймав его, выхватила у него палку.

— Они же убежали! — кричал он, силясь вырваться.

— Ты очень непослушный мальчик. Я тебе объяснила раз и навсегда. Я *не позволяю* тебе бегать за гусями,— проговорила она, и, комкая письмо мистера Флойда, крепко взяла Джонни за руку, и погнала гусей обратно во двор.

— Ну как мне думать о замужестве! — с горечью сказала она себе, закрывая калитку на проволоку. Ей никогда не нравились рыжеволосые мужчины, размышляла она, вспоминая внешность мистера Флойда вечером, когда мальчики уже легли. И, отставив коробку с нитками, она придвинула к себе промокашку и еще раз перечитала письмо мистера Флойда, и снова грудь ее вздымалась и опускалась, когда она дошла до слова «люблю», но уже не так быстро, потому что она видела, как Джонни бежит за гусями, и понимала, что не может ни за кого выходить замуж, тем более за мистера Флойда, который настолько ее моложе, но какой милый человек — и такой ученый.

«Дорогой мистер Флойд»,— написала она.— А про сыр я, кажется, все-таки забыла, подумала она, откладывая перо. Нет, она говорила Ребекке, что сыр в прихожей.— «Меня очень удивило»,— писала она дальше.

Но письмо, которое мистер Флойд рано утром нашел у себя на столе, не начиналось словами «Меня очень удивило», а было такое материнское, почтительное, сумбурное, полное сожалений письмо, что он хранил его долгие годы и после того, как женился на мисс Уимбуш из Андовера, и когда прошло уже много лет после его отъезда из деревни. Потому что он попросил, чтобы ему дали приход в Шеффилде, и получил его, и тогда, позвав Арчера, Джейкоба и Джона прощаться, предложил им выбрать то, что понравится у него в кабинете, и взять себе на память. Арчер остановился на ножике для разрезания бумаги, потому что ему не хотелось забирать что-нибудь чересчур хорошее. Джейкоб выбрал сочинения Байрона в одном томе, а Джон, который был еще слишком мал, чтобы сделать правильный выбор, захотел взять котен-

ка мистера Флойда — решение, сочтенное его братьями дурацким, но одобренное мистером Флойдом, который сказал: «У него пушок, как у тебя». Потом мистер Флойд рассказал им о королевском флоте (куда собирался Арчер) и о Рэгби (куда собирался Джейкоб), а на следующий день получил в подарок серебряный поднос и уехал — сперва в Шеффилд, где познакомился с мисс Уимбуш, гостившей там у своего дяди, затем в Хакни, оттуда в Мэресфилд-хаус, директором которого он впоследствии стал, и, наконец, занявшись изданием широко известной серии «Жизнеописания духовных лиц», он поселился с женой и дочерью в Хампстеде, и его часто можно видеть у пруда Лег-оф-Маттон, где он кормит уток. А что касается письма миссис Фландерс — он принялся искать его на днях и не нашел, а спрашивать жену, не убирала ли она его, ему не захотелось. Встретив недавно Джейкоба на Пиккадилли, он узнал его почти что сразу, но Джейкоб стал таким красивым молодым человеком, что мистер Флойд не решился останавливать его на улице.

— Господи, боже мой,— сказала миссис Фландерс, читая в «Курьере Скарборо и Харрогита», что преп. Эндрю Флойд и т. д., и т. п. стал директором Мэресфилд-хауса,— да ведь это же, наверное, наш мистер Флойд.

Легкая печаль повисла над столом. Джейкоб накладывал себе варенья, на кухне Ребекка разговаривала с почтальоном, пчела жужжала в желтом цветке, который раскачивался у открытого окна. То есть все они так и жили, а бедный мистер Флойд становился в это время директором Мэресфилд-хауса.

Миссис Фландерс поднялась, подошла к каминной решетке и погладила Топаза за ухом.

— Бедный Топаз,— сказала она (потому что котенок мистера Флойда был уже очень старым котом, у него появилась короста за ушами, и на днях его собирались усыпить).

— Бедный старый Топаз,— повторила миссис Фландерс, когда он растянулся на солнышке, и улыбнулась, вспоминая, как отдавала его кастрировать и как ей не нравились рыжеволосые мужчины. Улыбаясь, она пошла на кухню.

Джейкоб утер лицо не слишком свежим носовым платком. И отправился к себе наверх.

Жук-рогач умирает медленно (жуков собирал Джон). Даже на второй день ножки еще двигаются. Но бабочки были мертвы. Запах тухлых яиц сразил бледно-желтых белянок с темными пятнышками, которые обрушились на сад, пронеслись к вершине холма Додс и полетели над вересковыми пустошами, то пропадая за кустами дрока, то снова суматошно вылетая на палящее солнце. На белом камне в римском лагере нежилась перламутровка. Из долины доносился звон церковных колоколов. В Скарборо по случаю воскресенья все ели ростбиф — тогда-то Джейкоб и настиг бледно-желтых белянок с темными пятнышками в клеверном поле, в восьми милях от дома.

А Ребекка на кухне поймала «мертвую голову».

Сильный запах камфары исходил из коробок с бабочками.

Помимо камфары в воздухе безошибочно угадывался запах водорослей. Коричнево-желтые ленты висели на двери. Солнце било прямо в них.

На верхних крыльях ленточницы, которую Джейкоб держал в руках, четко выступали почкообразные пятнышки рыжеватого оттенка. Вот только серпа внизу не хватало. В тот вечер, когда Джейкоб поймал ее, в лесу упало дерево. Внезапно в глубине леса загрохотали револьверные выстрелы. А когда он поздно пришел домой, мать приняла его за грабителя. Единственный из сыновей, который совершенно ее не слушается, сказала она.

Моррис называл эту бабочку «чрезвычайно редким насекомым, которое встречается в сырых или болотистых местах». Но у Морриса случались ошибки. Иногда, выбрав самое тонкое перо, Джейкоб делал поправки на полях.

Дерево упало, хотя вечер выдался тихий, и фонарь, поставленный на землю, освещал и зеленые листья, и завядшую листву бука. Место было сухое. Рядом сидела жаба. И красная ленточница описала над огнем круг, озарилась на секунду и улетела. Красная ленточница так и не вернулась, хотя Джейкоб ждал ее. Был уже первый час, когда он пересек лужайку и увидел мать, которая еще не ложилась, а сидела в ярко освещенной комнате и раскладывала пасьянс.

— Как ты меня напугал! — воскликнула она. Она уже думала, что что-то случилось. И Ребекку он разбудил, а ей так рано вставать.

Он стоял бледный, возникший из глубин темноты, в теплой комнате и щурился на свет.

Нет, чего у этой ленточницы точно не было, так это светло-желтой каемки.

Косилку почему-то никогда не могли смазать как следует. Барнет разворачивал ее под окном Джейкоба, и она скрипела — скрипела, тарахтела по лужайке и снова скрипела.

Набежали облака.

Опять вернулось солнце, ослепительное.

Оно как будто взглядом скользнуло по стремени, а затем быстро, но очень нежно захватило кровать, будильник и открытую коробку с бабочками. Бледно-желтые белянки с темными пятнышками обрушивались на пустоши, зигзагами летели над пунцовым клевером. Перламутровки красовались на живой изгороди. Солнце припекало голубянок, устроившихся на косточках, разбросанных по дерну, а репейницы и павлиноглазки пировали на кровавых внутренностях, оброненных ястребом. Далеко от дома, в ложбине, поросшей ворсянками, у каких-то развалин он обнаружил углокрыльниц. Он видел «белого адмирала», который кружил вокруг дуба, улетая все выше и выше, но поймать его так и не сумел. Старушка, живущая совсем одна в домике наверху, рассказывала ему о лиловой бабочке, которая прилетает к ней в сад каждое лето. Рано утром в утеснике играют лисята, рассказывала она. А если выйдешь на рассвете, непременно увидишь двух барсуков. Бывает, они валят друг друга на землю, прямо как дерущиеся мальчишки, говорила она.

— Не уходи сегодня далеко, Джейкоб,— предупредила мать, просунув голову к нему в комнату,— капитан придет попрощаться.— Был последний день пасхальных каникул.

Среда всегда считалась днем капитана Барфута. Он оделся чрезвычайно аккуратно в голубой саржевый костюм, взял палку с резиновым наконечником — поскольку остался хромым и потерял два пальца на левой руке, выполняя свой воинский долг,— и вышел из дома с флагштоком ровно в четыре часа пополудни.

А в три к миссис Барфут явился мистер Диккенс, который возил инвалидную коляску.

— Покатайте меня,— говорила она обыкновенно мистеру Диккенсу, просидев на набережной минут пятнадцать. А потом: — Спасибо, довольно, мистер Диккенс.— По первой команде он отправлялся искать солнечные места, по второй — останавливал коляску на светлой полоске.

Мистера Диккенса, старожила Скарборо, многое роднило с миссис Барфут, дочерью Джеймса Коппарда. Питьевой фонтанчик, стоящий в том месте, где Уэст-стрит выходит на Брод-стрит, подарил городу Джеймс Коппард, который был его мэром, когда отмечался юбилей королевы Виктории; имя Коппарда украшает городские цистерны для поливки улиц, витрины магазинов и цинковые ставни адвокатских кон-

тор. Эллен Барфут, однако, никогда не бывала в Аквариуме (хотя капитана Боуза, поймавшего акулу, знала в свое время прекрасно), а когда мимо проходили люди с афишами, глядела на них надменно, потому что понимала, что никогда не увидит ни Пьеро, ни братьев Зено, ни Дейзи Бадд с ее группой дрессированных тюленей. Потому что Эллен Барфут в своей коляске на набережной была пленницей — пленницей цивилизации,— и все прутья ее клетки опускались на набережную в солнечные дни, когда тени от ратуши, магазина тканей, здания бассейна и Мемориального зала решеткой ложились на землю.

Мистер Диккенс, сам старожил, стоял чуть позади нее и курил трубку. Она задавала ему вопросы — что там за люди... и к кому перешла лавка мистера Джонса... потом о погоде... и пробовала ли миссис Диккенс то или это,— слова падали с губ, как крошки сухого печенья.

Она закрывала глаза. Мистер Диккенс прогуливался. Он еще не совсем перестал ощущать себя мужчиной, хотя, когда он приближался, видно было, как один разбухший черный башмак, дрожа, опускается перед другим, как глубока тень между жилетом и брюками и как неуверенно он наклоняется вперед, словно старая лошадь, вдруг оказавшаяся без упряжи и повозки. Но когда мистер Диккенс затягивался трубочкой и выпускал дым, в глазах его оживали мужские чувства. Он думал о том, что капитан Барфут находится сейчас на пути к Маунт Плезент — капитан Барфут, его хозяин. Потому что дома, в маленькой комнатке в бельэтаже, где в окне прыгала канарейка, дочки сидели за швейной машинкой, а миссис Диккенс корчилась от ревматизма,— дома, где никто его в грош не ставил, мысль о том, что он служит у капитана Барфута, всегда его поддерживала. Ему нравилось думать, что, болтая здесь на приморском бульваре с миссис Барфут, он помогает капитану, направляющемуся к миссис Фландерс. Он, мужчина, охраняет миссис Барфут, женщину.

Поворачивая, он увидел, что она разговаривает с миссис Роджерс. Поворачивая обратно, обнаружил, что миссис Роджерс отошла. Тогда он вернулся к коляске, и миссис Барфут спросила, сколько времени, и он вынул свои огромные серебряные часы и сказал ей, сколько времени, чрезвычайно учтиво и так, как будто знал о времени и обо всем прочем гораздо больше, чем она. Но миссис Барфут знала, что капитан Барфут находится сейчас на пути к миссис Фландерс.

И он действительно был на пути к ней. Сойдя с трамвая, он увидел на юго-востоке холм Додс, зеленый на фоне голубого, словно чуть запылившегося на горизонте неба. Бодрым шагом он стал взбираться на холм. Несмотря на хромоту в его походке было что-то военное. Миссис Джарвис, выходя из калитки священникова дома, увидела его, и Неро, ее ньюфаундленд, медленно завилял хвостом.

— А, капитан Барфут! — воскликнула миссис Джарвис.

— Здравствуйте, миссис Джарвис,— сказал капитан.

Они пошли вместе, а когда поравнялись с калиткой миссис Фландерс, капитан Барфут приподнял свою твидовую шляпу и сказал, кланяясь чрезвычайно любезно:

— До свидания, миссис Джарвис.

И дальше миссис Джарвис пошла одна.

Она шла гулять по вересковым пустошам. Опять, наверное, поздно вечером мерила шагами лужайку перед домом? Опять стучала в окно кабинета и кричала: «Посмотри на луну, Герберт, посмотри на луну!»

И Герберт смотрел на луну.

Миссис Джарвис гуляла по вересковым пустошам, когда чувствовала себя несчастной, и всякий раз доходила до одной известной ей ложбины в форме блюдца, хотя всегда собиралась дойти до какого-нибудь более отдаленного хребта, и там садилась и доставала книжечку, спрятанную под плащом, и читала несколько строчек стихов, и глядела вокруг. Она была не очень несчастна и, учитывая, что ей было сорок

пять лет, вряд ли когда-нибудь будет очень, то есть безутешно несчастна, и вряд ли уйдет от мужа и собьет с пути какого-нибудь честного человека, как она порой грозилась.

И все-таки излишне говорить о том, какие опасности подстерегают жену священника во время подобных прогулок. Невысокая, смуглая, с горящими глазами, с фазаньим пером на шляпе, миссис Джарвис как раз была из тех женщин, которые могут вот так, на вересковой пустоши, утратить веру, то есть спутать своего Господа с общим,— но веру она не утрачивала, от мужа не уходила, стихов до конца никогда не дочитывала, а все гуляла по вересковым пустошам, глядела на луну за вязами и, сидя на траве, высоко над Скарборо, чувствовала... Да, да, когда парит жаворонок; когда овцы, двигаясь маленькими шажками, щиплют траву и одновременно позвякивают колокольчиками; когда ветерок, едва подув, замирает, оставляя на щеке поцелуй; когда корабли внизу, на море, кажется, сталкиваются друг с другом и уходят вдаль, как будто их тянет невидимая рука; когда где-то далеко в воздухе ощущаются толчки и призрачные всадники скачут и исчезают; когда плывет голубой, зеленый, чуткий горизонт — тогда миссис Джарвис, вздыхая, думает про себя: «О, если бы кто-нибудь мог поделиться со мною... если бы я могла поделиться с кем-нибудь...» Но она не знает, ни чем ей хочется поделиться, ни кто бы мог поделиться этим с ней.

— Капитан, миссис Фландерс вышла буквально пять минут назад,— сказала Ребекка. Капитан Барфут опустился в кресло и стал ждать. Положив локти на ручки кресла, накрыв одну руку другой, выдвинув вперед больную ногу, поставив рядом с ней палку с резиновым наконечником, он сидел совершенно неподвижно. В нем чувствовалась какая-то жесткость. Думал ли он? Может быть, снова и снова об одном и том же. Но можно ли назвать его мысли «умными», интересными? Он был человек с характером, упорный, верный. Женщины ощутили бы: «Здесь закон. Здесь порядок. За такого человека надо держаться. Ночью он на капитанском мостике» — и, подавая ему чашку или что-нибудь такое, представляли себе бедствие, кораблекрушение, во время которого все пассажиры в панике выскакивают из кают и появляется капитан в бушлате, застегнутом на все пуговицы, сам под стать буре, побежденный лишь ею, но больше никем. «Но ведь у меня есть душа,— размышляла миссис Джарвис, когда капитан Барфут внезапно сморкался в свой огромный красный в горошек носовой платок,— а это мужская глухота, вот и все; что же касается бури, то она принадлежит мне ничуть не меньше, чем ему»,— так размышляла миссис Джарвис, когда капитан наведывался к ним и, не застав Герберта дома, просиживал в кресле два-три часа, почти не разговаривая. Бетти Фландерс, однако, ничего подобного не думала.

— Ох, капитан,— воскликнула миссис Фландерс, распахивая двери гостиной.— Пришлось бежать за этим человеком от Баркера... Надеюсь, Ребекка... Надеюсь, Джейкоб...

Она сильно запыхалась, но не волновалась нисколько и, кладя щетку для камина, купленную в керосинной лавке, пожаловалась на жару, пошире распахнула окно, поправила покрывало, подобрала книжку, как будто была очень уверена в себе, очень хорошо относилась к капитану и была намного его моложе. И в самом деле, в своем голубом переднике она выглядела не старше тридцати пяти. Ему было сильно за пятьдесят.

Ее руки двигались над столом, и капитан качал головой из стороны в сторону и согласно мычал, слушая ее болтовню,— чувствуя себя совершенно свободно — после двадцати-то лет.

— Вот,— сказал он наконец,— пришел ответ от мистера Поулгейта.

Мистер Поулгейт отвечал, что, по его мнению, лучше всего послать мальчика в один из университетов.

— Мистер Флойд учился в Кембридже... нет, в Оксфорде... да, то ли в том, то ли в другом,— сказала миссис Фландерс. Она посмотрела в окно. Маленькие окна, сирень и зелень сада отражались в ее зрачках.

— У Арчера все в порядке,— добавила она.— Я получила очень хороший отзыв от капитана Максвелла.

— Я оставлю вам письмо, покажете Джейкобу,— сказал капитан, неуклюже запихивая его обратно в конверт.

— Джейкоб, как всегда, гоняется за своими бабочками,— произнесла миссис Фландерс с раздражением и удивилась внезапно пришедшей в голову мысли.— На этой неделе, конечно, начнется крикет.

— Эдвард Дженкинсон подал в отставку,— сказал капитан.

— И вы будете теперь баллотироваться в совет? — воскликнула миссис Фландерс, глядя ему в лицо.

— Похоже, что да,— начал капитан Барфут, поглубже усаживаясь в кресле.

Джейкоб Фландерс, следовательно, отправился в Кембридж в октябре тысяча девятьсот шестого года.

III

— В этом вагоне нельзя курить,— слабым, испуганным голосом предупредила миссис Норман, когда распахнулась дверь и в поезд вскочил крепко сбитый молодой человек. Он, судя по всему, ее не услышал. Теперь до Кембриджа поезд шел без остановок, и она оказалась взаперти, одна в вагоне с мужчиной.

Она нажала на пружинку дорожного несессера и убедилась, что флакон духов и роман от Мюди [1] у нее под рукой (молодой человек в это время стоял к ней спиной, клал чемодан на полку). Правой рукой бросить флакон, решила она, а левой дернуть шнурок вызова. Ей пошел шестой десяток, сын у нее учился в университете. И все равно, всем известно, что мужчин следует остерегаться. Она прочитала полстолбца в газете, затем украдкой выглянула из-за нее, чтобы определить степень опасности с помощью такого надежного способа, как изучение внешнего вида... Ей захотелось предложить ему газету. Но читают ли молодые люди «Морнинг пост»? Она посмотрела, что он читает — «Дейли телеграф».

Отметив носки (сползающие) и галстук (старый), она снова вернулась к лицу. Внимательно рассмотрела рот. Губы сомкнуты. Глаза опущены — читает. Все твердое и при этом молодое, безразличное, отрешенное — чтобы такой набросился? Нет, нет, никогда! Она посмотрела в окно, уже слегка улыбаясь, и снова на него, потому что он совсем ее не замечал. Сосредоточенный, погруженный в себя... вот поднял глаза, поглядел куда-то мимо нее... Казалось даже странным, что он вообще сидит здесь, наедине с пожилой дамой... затем глаза его — голубые — обратились к пейзажу. Меня тут как будто и вовсе нет, подумалось ей. Но не она же виновата, что здесь нельзя курить, если дело в этом.

Никто не видит другого таким, каков он на самом деле; что же говорить о пожилой даме, сидящей в поезде напротив незнакомого юноши. Видят целое, видят самое разное, видят себя... Миссис Норман прочитала уже три страницы романа мистера Норриса. Может быть, ей сказать этому молодому человеку (в конце концов, он ровесник ее сына): «Если хотите курить, не стесняйтесь». Нет, ему абсолютно безразлично, здесь она или нет... она не станет мешать.

Но если даже в ее годы она отметила его безразличие, наверное, он все-таки — по крайней мере для нее — был хорошим, красивым, инте-

[1] Популярная библиотека, выдававшая книги на дом; известна по имени своего основателя Чарльза Эдварда Мюди. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ресным, благородным, стройным юношей, похожим на ее собственного сына? Что хочешь, то и делай с ее впечатлением. Как бы то ни было, перед ней сидел Джейкоб Фландерс в возрасте девятнадцати лет. Бессмысленно пытаться понять людей. Надо схватывать намеки — не совсем то, что говорится, однако и не вполне то, что делается; вот, например, когда поезд подошел к станции, мистер Фландерс распахнул двери и вытащил даме ее дорожный несессер, сказав или, вернее, пробормотав очень робко: «Позвольте мне», и был при этом довольно-таки неуклюж.

— А кто...— спросила дама, увидев сына, но так как на платформе было полно народу и Джейкоб уже скрылся из виду, она не закончила фразу. И так как это был Кембридж, так как она приехала туда на субботу и воскресенье и так как с утра до вечера она только и видела что молодых людей на улицах и за круглыми столиками, образ попутчика совершенно растворился в ее памяти, подобно тому как изогнутая шпилька, брошенная ребенком в источник, у которого загадывают желания, кружится там в водовороте и исчезает навсегда.

Говорят, небо везде одинаково. Путешественники, изгнанники, люди, потерпевшие кораблекрушение, и умирающие находят опору в этой мысли, и, несомненно, если вы человек, склонный к мистицизму, утешение и даже прощение льется на вас с безмятежной глади. Но над Кембриджем — по крайней мере над сводом Капеллы Королевского колледжа — оно другое. Город, выходящий к морю, отбрасывает сиянье в ночь. Что же странного в том, что небо, омывающее уступы Капеллы, оказывается нежнее, прозрачнее и более переливчато, чем в любом другом месте? Может быть, Кембридж излучает свет не только ночью, но и днем?

Смотрите, как они идут к службе, как легко развеваются на лету мантии, словно под ними нет ничего плотного и материального. Как вылеплены лица, какая убежденность и сила, смиренные благочестием, а между тем под мантиями шагают огромные башмаки. Какими стройными рядами они движутся. Прямо стоят толстые восковые свечи, в белых мантиях вступают молодые люди, а над ними услужливый орел держит в клюве для всеобщего обозрения огромную белую книгу.

Из всех окон под углом падают параллельные полосы света, лилового и желтого даже там, где он совершенно рассеивается в пыль,— а в тех местах, где полосы соприкасаются с камнем, камень становится нежно-красным, желтым, лиловым. Ни зима, ни лето, ни снег, ни зелень не властны над старыми витражами. Как стекла фонаря защищают огонь и он горит ровно даже в самую бурную ночь — горит ровно и сосредоточенно освещает стволы деревьев,— так и в Капелле все было очень чинно. Сосредоточенно звучали голоса, мудро вторил им орган, словно подпирая людскую веру согласием стихии. Фигуры в белых одеяниях переходили с одной стороны на другую, то подымались на несколько ступенек, то опускались, всё очень чинно.

...Если поставить фонарь под деревом, к нему сразу же приползают все лесные букашки — забавное сборище, потому что хотя они карабкаются, и повисают, и бьются головками о стекло, они сами не знают, зачем им это нужно,— какой-то бессмысленный порыв движет ими. Устаешь смотреть, как они семенят вокруг фонаря и слепо в него тычутся, словно просят впустить, и огромная жаба, совершенно обезумев, расталкивает всех, прокладывая себе дорогу. Ах, а что это? Раздается оглушительный грохот револьверных выстрелов, резкий треск — и расходится рябь, тишина плещется и замирает над звуком. Дерево, упало дерево — такова смерть в лесу. И потом в деревьях уныло гудит ветер.

Но вот служба в Капелле — женщин-то зачем сюда пускать? Конечно, если отвлекаешься (а вид у Джейкоба был чрезвычайно рассеянный — голова закинута, псалтырь раскрыт не на той странице), если отвлекаешься, так только из-за того, что на этих скамеечках с камышю-

выми сиденьями представлены несколько шляпных магазинов и десятки шкафов с разноцветными платьями. Хотя головы и тела, быть может, заняты божественным, все-таки ясно, что они все разные — некоторые предпочитают голубой цвет, другие — коричневый, одни — перья, другие — анютины глазки и незабудки. Никому же не придет в голову привести в церковь собаку. Собака на гравиевой дорожке — прекрасно, и к цветам она относится с должным уважением, но представить себе, как она пойдет по проходу, озираясь, подымая лапу у самой колонны, чтобы...— кровь застывает в жилах от ужаса (если, конечно, вокруг народ, если один — ничего страшного) — собака совершенно разрушает службу. Так и эти женщины — хоть порознь все они набожны и воспитанны, да еще имеют таких поручителей, как богословие, математика, латынь и греческий их мужей. Бог его знает, почему это так. Не говоря уж ни о чем прочем, подумал Джейкоб, они ведь все страшные как смертный грех.

Тут все зашуршало, зашепталось. Он перехватил взгляд Тимми Дарранта, посмотрел на него очень строго и затем очень серьезно подмигнул.

«Уэверли» называлась вилла по дороге в Гиртон — не то что мистер Плумер так любил Вальтера Скотта или вообще стал бы подбирать какое-нибудь название для своей виллы, однако названия бывают очень кстати, если приходится принимать студентов, и когда в воскресенье, в обеденное время, они все сидели и ждали еще одного студента, разговор шел о том, что написано над воротами.

— Это несносно! — перебила миссис Плумер, не сдержавшись.— Из вас кто-нибудь знает мистера Фландерса?

Его знал мистер Даррант, и он поэтому слегка покраснел и смущенно сказал что-то насчет того, что совершенно уверен... говоря это, он смотрел на мистера Плумера и поддергивал правую брючину. Мистер Плумер поднялся и встал у камина. Миссис Плумер рассмеялась понимающим товарищеским смехом. Короче говоря, ничего более ужасного, чем эта сцена, вся обстановка и то, что им еще предстояло,— если учесть, что даже майский сад охватило холодное уныние и туча именно в этот момент заслонила солнце,— представить себе было просто невозможно. Сад, конечно, все-таки был. Они все одновременно туда посмотрели. Висела туча, и по листьям пробегала серая рябь, а воробьи... там сидело два воробья.

— Мне кажется...— сказала миссис Плумер, воспользовавшись тем, что молодые люди на секунду уставились в сад, чтобы бросить взгляд на мужа, и тот, хоть и не беря на себя всю полноту ответственности за этот поступок, тем не менее коснулся гонга.

Подобное надругательство над часом человеческой жизни было, конечно, непростительно, но зато, когда мистер Плумер нарезал баранину, у него мелькнула мысль, что, если бы преподаватели никогда не приглашали к себе студентов на обед, если бы воскресенье шло за воскресеньем, студенты кончали университет, становились юристами, врачами, членами парламента, бизнесменами,— если бы ни один преподаватель никогда...

— Ну, что вкуснее — мятный соус без барашка или барашек без мятного соуса? — спросил он молодого человека, сидевшего рядом с ним, чтобы нарушить молчание, которое длилось уже пять с половиной минут.

— Не знаю, сэр,— отвечал молодой человек, заливаясь краской.

В этот момент появился мистер Фландерс. Он перепутал время визита.

Тут, хотя с мясом они уже покончили, миссис Плумер положила себе еще капусты. Джейкоб, разумеется, решил, что съест свое мясо за столько времени, сколько ей понадобится на капусту, и раза два взглядывал на нее, чтобы сверить скорость,— вот только ему жутко хотелось

есть. Увидев это, миссис Плумер сказала, что если, конечно, мистер Фландерс не возражает,— и внесли пирог. Особым кивком она дала понять горничной, что нужно подложить мистеру Фландерсу еще баранины. Она поглядела на блюдо. Теперь уже точно на завтра не хватит.

Она была не виновата — ну что она могла поделать, если сорок лет тому назад на окраине Манчестера родители решили произвести ее на свет? А уж будучи произведенной на свет, что ей еще оставалось, кроме как вырасти прижимистой, честолюбивой, с инстинктивно точным представлением о ступеньках лестницы и с муравьиным усердием толкать перед собой Джорджа Плумера на самый верх этой лестницы? А что там, наверху? Должно быть, ощущение, что все ступеньки уже позади,— вот, очевидно, что; ибо к тому времени, как Джордж Плумер стал профессором физики или чего бы там ни было, единственное, что еще могла миссис Плумер — это крепко держаться за свое высокое положение, взирать сверху вниз и призывать двух некрасивых дочек карабкаться по ступенькам.

— Мы вчера с девочками,— сказала она,— ходили на скачки.

И девочки были не виноваты. Они вышли в гостиную в белых платьях с голубыми кушачками. Разносили сигареты. Рода унаследовала отцовские серые холодные глаза. Серые холодные глаза были у Джорджа Плумера, но в них светился свет абстракции. Он мог говорить о Персии и о пассатах, о реформе парламента и об урожайных циклах. На полках у него стояли Герберт Уэллс и Бернард Шоу, а на столе лежали серьезные еженедельники, выпускаемые бледными людьми в нечищеных башмаках,— еженедельный скрип и визг мозгов, выполосканных в холодной воде и насухо отжатых,— унылые издания.

— Мне кажется, я ни о чем не могу судить, пока их не прочитаю,— живо проговорила миссис Плумер, похлопывая по странице с оглавлением красной рукой без перчатки, на которой кольцо казалось таким нелепым.

— Господи! Господи! Господи! — завопил Джейкоб, когда они вчетвером ушли оттуда.— О, господи!

— Отвратительная мерзость! — сказал он, быстро охватывая взглядом улицу в поисках сирени или велосипеда — чего-нибудь, чтобы вернуть себе ощущение свободы.

«Отвратительная мерзость»,— сказал он Тимоти Дарранту, собирая всю свою неприязнь к миру, который увидел за обедом, миру, который мог существовать — тут сомневаться не приходилось,— но был таким ненужным — как же можно в это верить — Шоу, Уэллс и серьезные шестипенсовые еженедельники! Чего они хотят, эти старшие, все выскребывающие и уничтожающие? Что, они не читали Гомера, Шекспира, елизаветинцев? Резко очерченный силуэт вставал на фоне чувств, данных ему юностью и природными наклонностями. Бедняги соорудили себе это убожество. Но и жалость какую-то он тоже ощущал. Девочки их несчастные...

То, насколько он разволновался, показывает, что его это и раньше донимало. Дерзок он был и неопытен, но, во всяком случае, города, построенные старшими, чернели на горизонте кирпичными окраинами, исправительными заведениями и казармами на фоне красно-желтого пламени. Он был впечатлителен, однако слову этому противостоит спокойствие, с которым он заслонил спичку от ветра рукой. Он был основательный молодой человек.

И все равно — студент или рассыльный, юноша или девушка — какой это удар в двадцать лет — мир старших — черный силуэт, надвигающийся на нас, на все вокруг, на вересковые пустоши и Байрона, на море и маяк, на овечью челюсть с желтыми зубами и на ту упрямую, неколебимую убежденность, которая делает юность столь невыносимо неприятной — «я — это я, таким и буду» — и для которой нет в мире подобия, если только сам Джейкоб его не создаст. А Плумеры будут мешать ему.

Уэллс и Шоу, и серьезные шестипенсовые еженедельники будут давить на него. Всякий раз на воскресных званых обедах — на всех ужинах и приемах — он будет испытывать тот же удар — ужас — отвращение,— а потом удовольствие, поскольку, идя вдоль реки, он с каждым шагом проникается такой твердой уверенностью, таким ощущением поддержки со всех сторон — от качающихся деревьев, от серых шпилей, размытых в синеве, от голосов, плывущих и застывающих в воздухе, упругом майском воздухе, насыщенном цветением каштана, пыльцой и чем-то еще, что и придает воздуху в мае всю его мощь, затуманивает деревья, склеивает почки и разбрасывает зеленые пятна. А река течет не потоком, не быстро, но обволакивая весло, которое опускается в воду и роняет светлые капли с лопасти, течет, зеленая и глубокая, мимо склонившихся камышей, словно расточая им щедрые ласки.

Там, где они привязали лодку, деревья обрушивались вниз, так что верхние листья стелились по ряби и зеленый лиственный клин, лежащий на воде, чуть-чуть подрагивал, когда шевелились настоящие листья. Вдруг пробегала дрожь от ветра — открывался край неба, а Даррант ел вишни и бросал сморщенные желтые ягоды в этот зеленый лиственный клин, и черенки поблескивали, погружаясь и всплывая, и иногда надкушенная вишня летела туда же — красная в зелень. Джейкоб лежал на спине, и на уровне его глаз был луг, золотой от множества лютиков, а трава здесь, в отличие от чахлых зеленых ручейков кладбищенской травы, пытающихся затопить могилы, росла сочная и густая. Запрокинув голову, он видел глубоко в траве ноги — детей и коров. Хруп-хруп, слышал он, затем переход по траве, затем снова хруп, хруп, хруп, когда они ощипывали траву у самых корней. Прямо перед ним две белые бабочки кружились вокруг вяза, улетая все выше и выше.

«Заснул»,— подумал Даррант, подняв глаза от своего романа. Он то и дело с забавной методичностью, прочитав несколько страниц, подымал глаза и всякий раз брал несколько вишен из кулька и рассеянно их ел. Мимо проплывали другие лодки, пересекая заводь из конца в конец, чтобы не сталкиваться, потому что много лодок уже причалило, и появились белые платья, и какое-то препятствие воздуху между двумя деревьями, обмотанными голубой лентой,— пикник леди Миллер. Все новые и новые лодки подходили, и Даррант, не вставая, подтолкнул их лодку ближе к берегу.

— М-м-м,— застонал Джейкоб, когда лодка качнулась и деревья качнулись, а белые платья и белые фланелевые брюки, длинные и трепещущие, стали растягиваться по берегу.

— М-м-м! — Он сел, и ему показалось, что упругая резинка хлопнула его по лицу.

— Они друзья моей матери,— сказал Даррант.— Так что старине Боу пришлось повозиться с лодкой.

И лодка эта прошла от Фалмута до залива Сент-Айвз вдоль всего побережья. А если взять лодку побольше, десятитонную яхту, с настоящим снаряжением, и числа двадцатого июня, говорил Даррант...

— Имеются финансовые трудности,— сказал Джейкоб.

— Об этом позаботятся мои родные,— ответил Даррант (сын банкира, покойного).

— Мне бы хотелось сохранить экономическую самостоятельность,— сухо проговорил Джейкоб. (Он начинал злиться.)

— Мать что-то пишет о поездке в Харрогит,— добавил он с досадой, ощупывая карман, где хранил письма.

— Ты правду говорил, что твой дядя обратился в мусульманство? — спросил Тимми Даррант.

Накануне у Дарранта Джейкоб рассказывал историю своего дяди Морти.

— Я думаю, он давно уже кормит акул, просто вести об этом до нас не дошли,— сказал Джейкоб.— Эй, Даррант, всё! — воскликнул он,

комкая кулек, в котором были вишни, и бросая его в воду. Бросая его, он увидел на острове пикник леди Миллер.

Какая-то неловкость, раздражение, угрюмость появились у него в глазах.

— Поехали,— сказал он,— эта мерзкая толпа...

И они поплыли мимо острова.

Перистая белая луна не давала небу становиться темным; всю ночь белели цветы каштана в зелени; тускло поблескивала коровья петрушка на лугах.

Похоже было, что официанты в Тринити тасуют фарфоровые тарелки, как карты,— такой грохот доносился из Большого двора [1]. А Джейкоб жил во дворе Невила [2], на самом верху, так что к нему входили немного запыхавшись; только сейчас его там не было... Скорей всего ужинает в Холле [3]. Во дворе Невила задолго до полуночи будет совсем темно, лишь колонны напротив всегда остаются белыми и еще фонтаны. Ворота там удивительные, как кружево на бледно-зеленом фоне. Даже из окна слышны тарелки и гул голосов тех, кто сейчас ужинает. Холл ярко освещен, распашные двери открываются и закрываются с мягким стуком. Кто-то опаздывает.

У Джейкоба в комнате стояли круглый стол и два кресла. Желтые ирисы в кувшине на каминной полке; фотография матери; членские билеты разных обществ с маленькими опрокинутыми полумесяцами, гербами и инициалами; бумаги и трубки; на столе лежало сочинение с отчеркнутыми красным полями, наверняка какое-нибудь эссе вроде «Исчерпывается ли история биографиями великих людей?» Книжек было порядочно; французских, правда, мало, но ведь, если человек что-то из себя представляет, он читает что ему вздумается, по настроению, уходя в это с головой. Там стояли, например, жизнеописания герцога Веллингтонского, Спиноза, сочинения Диккенса, «Королева фей», греческий словарь с шелковыми лепестками маков, засушенными между страницами, все елизаветинцы. Его домашние туфли были на редкость истоптанны — точно корабли, сгоревшие до основания. Затем фотографии древнегреческих скульптур, гравюра с картины Рейнольдса — все очень английское. Еще сочинения Джейн Остен — из почтения, вероятно, к чьему-то вкусу. Карлейля он получил в награду. Книги о художниках итальянского Возрождения, «Указатель заболеваний лошади» и обычные учебники. Воздух в пустой комнате неподвижен, лишь чуть надувает занавеску, цветы в кувшине подрагивают. Скрипит перекладина в плетеном кресле, хотя там никто не сидит.

Сойдя со ступенек немножко боком (Джейкоб сидел на диване у окна и разговаривал с Даррантом; он курил, а Даррант изучал карту), старик в развевающейся черной мантии, сцепив руки за спиной, проковылял неловко вдоль стены и пошел к себе наверх. Потом еще один, который поднял руку, в восхищении указывая на колонны, ворота и небо, потом третий — шустрый и щеголеватый. Все они поднялись по лестницам, в трех темных окнах зажегся свет.

Если над Кембриджем вообще горит свет, то идет он из трех таких комнат: здесь горит древнегреческий, там естественные науки, в первом этаже — философия. Бедного старого Хакстэбла всего перекосило,

---

[1] Как правило, в колледжах Кембриджа и Оксфорда несколько внутренних дворов, окруженных зданиями со всех сторон и имеющих четырехугольную форму. Большой двор и двор Невила входят в состав кембриджского Тринити-колледжа.

[2] Томас Невил — глава Тринити-колледжа в XVI в., на средства которого возведен ряд построек колледжа, придавших ему нынешний вид.

[3] Холл — обеденный зал для преподавателей и студентов колледжа, традиционно украшенный портретами самых знаменитых его питомцев. Холл Тринити-колледжа, самый большой в Кембридже, построен в XVI в.

а Сопвит восхищается небом каждый вечер последние двадцать лет, а Коуэн смеется одним и тем же историям. Нельзя сказать, что он прост, или чист, или как-то особенно замечателен, этот свет знания, ведь если посмотреть на них в его лучах (на стене может быть Россетти или репродукции Ван Гога, в вазе — сирень или старые трубки), до чего они похожи на жрецов! До чего это все напоминает провинцию, куда едешь полюбоваться видом и отведать какой-нибудь особенный пирог. «Такие пироги пекут только у нас!» И возвращаешься в Лондон, потому что развлечение окончено.

Старый профессор Хакстэбл, переодевшись с методичностью часового механизма, опустился в кресло, набил трубку, нашел нужную статью, скрестил ноги и вытащил очки. Тут вся кожа его лица пошла складками, будто вынули подпорки. Но если собрать содержимое голов с целой скамейки вагона метро, голова старого Хакстэбла все это вместит. И сейчас, когда его взгляд скользит по печатному тексту, какое шествие марширует по коридорам мозга — стройными, быстрыми рядами, получая на ходу подкрепление от вливающихся отрядов, покуда все здание, весь купол, как его ни назови, не будет населен мыслями. Ни в одном другом мозгу не бывает такого парада. Но случается, он сидит часами, вцепившись в ручку кресла, держась за нее точно утопающий за соломинку, а какие раздаются проклятия, и все из-за того, что его мучит мозоль или, может быть, подагра; господи, а послушать его, когда заходит речь о деньгах и он вынимает свой кожаный кошелек, не в силах расстаться даже с самой маленькой серебряной монеткой, скрытный и подозрительный, как старая хитрая крестьянка. Непонятный паралич, закупорка — и блестящее озарение. Безмятежно над всем этим царит великий мудрый лоб, и иногда во сне или в тишине ночи представляешь себе, что он и на каменной подушке лежал бы торжествуя.

Сопвит тем временем, подойдя своей приплясывающей походкой от камина, стал нарезать шоколадный торт. До полуночи и позже у него в комнате засиживаются студенты, иногда человек двенадцать, иногда трое или четверо, но никто не встает, когда они приходят или уходят. Сопвит продолжает говорить. Говорить, говорить, говорить, как будто говорить можно обо всем — сама душа выскальзывает из уст тонкими серебряными дисками, которые растворяются в головах молодых людей, как серебро, как лунный свет. Ах, и далеко отсюда они будут это вспоминать, и в глубокой тоске оглядываться, и возвращаться, чтобы пополнить свои запасы.

— Ну и ну! А вот и Цыпочка! Ну, как дела, дорогой?

И входил бедный Цыпочка, неудачливый провинциал, фамилия которого на самом деле была Стенхаус, и, конечно, Сопвит тем, что называл его по-другому, сразу напоминал обо всем, обо всем, «чем мне вовек не стать» — хотя на следующий день, когда он покупал газету и садился в утренний поезд, все вчерашнее уже казалось ему каким-то нелепым, детским — и шоколадный торт, и молодые люди, и Сопвит, по обыкновению подводящий итоги; но нет, не все — он отправит сюда своего сына. Будет беречь каждый пенс, чтобы отправить сюда сына. Сопвит говорил, говорил, говорил, скручивая жесткие нити неловких высказываний — то, что вырвалось у студентов,— сплетая из них свой собственный аккуратный венок, нарядной стороной наружу, чтобы видна была яркая зелень, острые шипы, мужественность. Ему очень это нравилось. Сопвиту и впрямь можно было сказать все что угодно, но настанет время — и он, наверное, постареет, провалится, уйдет на дно, и тогда серебряные диски станут позвякивать глухо-глухо и надписи на них окажутся немножко простоватыми, а рисунок чересчур отчетливым, да и изображено будет всегда одно и то же — голова греческого мальчика. Но он будет его уважать, несмотря ни на что. Женщина, угадав в нем жреца, невольно запрезирала бы.

Коуэн, Эразмус Коуэн, потягивал свой портвейн в одиночестве или в обществе одного розового человечка, чья память хранила в точности тот же самый период времени, что и его собственная, потягивал портвейн, и рассказывал истории, и певуче читал наизусть Вергилия и Катулла по-латыни — словно язык был вином на его губах. Правда — найдет же такое! — что случилось бы, если бы сюда заглянул сам поэт? «Вот это я?» — спросил бы он, указывая на полного человека, чей мозг так или иначе представляет для нас Вергилия, хотя у него тело обжоры, а что касается рук, пчел и даже плуга — Коуэн ездит за границу с французским романом в кармане, с пледом на коленях и, вернувшись, счастлив, что он снова дома, в своей стихии и держит в руках маленькое хорошенькое зеркальце, в котором встает образ Вергилия, весь в расходящихся лучах веселых историй о преподавателях Тринити и красных отсветах портвейна. Но язык — вино на его губах. Нигде больше Вергилий не услышал бы ничего подобного. И хотя, прогуливаясь вдоль колледжей со стороны реки, мисс Амфелби напевает его стихи достаточно мелодично и к тому же точно, около моста Клэр она всегда задается вот каким вопросом: «А вдруг бы мне довелось его встретить, что тогда лучше надеть?» — и затем, сворачивая по улице, ведущей к Ньюнему[1], она представляет себе и другие подробности встреч мужчин и женщин, которые никогда не попадают в печать. И потому на ее лекциях по крайней мере в два раза меньше студентов, чем на лекциях Коуэна, и то, что она могла бы сказать по истолкованию текста, остается несказанным. Короче говоря, поставьте перед преподавателем образ преподаваемого — и зеркало разобьется. Но Коуэн потягивал портвейн, возбуждение его улеглось, он больше не был представителем Вергилия. Нет, подрядчик, налоговый инспектор, может быть, даже агент по недвижимости — расчерчивающий списки имен, вешающий их на двери. Вот сквозь какую ткань должен светить свет, если он вообще может светить,— свет всех этих языков, китайского и русского, персидского и арабского, символов и цифр, истории, всего, что мы знаем, и всего, что еще предстоит узнать. Так что если, оказавшись ночью в открытом море, увидишь вдали за бушующими волнами дымку над водой, озаренный город, белизну, захватившую даже небо, такую, как сейчас стоит над Холлом Тринити, где до сих пор ужинают или моют посуду,— это будет свет, льющийся оттуда,— свет Кембриджа.

— Пошли к Симеону,— предложил Джейкоб, когда они свернули карту, потому что обо всем договорились.

Свет загорался во всех окнах, выходящих во двор, падая на булыжник, выбирая темные участки травы и отдельные маргаритки. Студенты вернулись домой. Бог его знает, чем они занимались. Что это могло упасть с таким грохотом? И, перегнувшись через пенящиеся цветы на окне, один окликал другого, а тот куда-то торопился, и они шли вверх, и они шли вниз до тех пор, пока во дворе не установилась некая насыщенность, как в улье, полном пчел; пчел, вернувшихся домой, отяжелевших от золота, сонных, гудящих, внезапно обретающих дар речи. Отвечая Лунной сонате, зазвенел вальс.

Лунная соната отзвучала. Вальс гремел. Хотя молодые люди по-прежнему входили и выходили, сейчас они шли так, будто спешили на условленное свидание. Время от времени раздавался глухой стук, словно падала какая-то тяжелая мебель, неожиданно, сама по себе, а не в общем вечернем движении жизни. Наверное, когда мебель падала, молодые люди отрывали глаза от книг. А они читали? В воздухе, определенно, было ощущение сосредоточенности. За серыми стенами сидело

---

[1] Ньюнем — женский колледж Кембриджского университета, основанный в 1875 году.

столько молодых людей, несомненно, некоторые читали — журналы, дешевую бульварщину, это уж вне всякого сомнения,— ноги их, скорее всего, лежали на ручках кресел; другие курили; сидели, развалясь, за столами, что-то писали, и головы их совершали круг вместе с движением пера — обыкновенные молодые люди, те самые, которые когда-нибудь... но нам ведь необязательно думать о том, какими они будут в старости; кто-то ел конфеты, там боролись, а, скажем, мистер Хокинс вдруг распахнул окно и завопил как сумасшедший: «Джо-зеф! Джо-зеф!» — и тут же помчался со всех ног через двор; при этом пожилой человек в зеленом фартуке, который тащил огромную кипу жестяных крышек, остановился в недоумении, стараясь удержать в равновесии свою ношу, а затем двинулся дальше. Но это отвлекает лишь на минуту. Некоторые молодые люди читали, лежа в неглубоких креслах и вцепившись в книги так, словно обрели в них надежду на спасение, ибо страшные муки терзают их — этих сыновей священников, приехавших из центральных графств. Другие читали Китса. И еще длинные многотомные истории — наверняка сейчас кто-нибудь начинал читать с самого начала, чтобы, наконец, как следует разобраться в Священной Римской империи. Этим частично объяснялась сосредоточенность, хотя, надо сказать, довольно опасно теплым весенним вечером — опасно, пожалуй, уж слишком сосредоточиваться на этих уникальных книгах и злободневных главах, когда в любую минуту могла отвориться дверь и входил Джейкоб или Ричард Бонами, бросив читать Китса, принимался отрывать от старой газеты длинные розовые ленты, подавшись вперед, и его довольное, взволнованное лицо становилось почти что ожесточенным. Почему? Может быть, потому только, что Китс умер молодым — и хочется тоже писать стихи и любить,— ах, скоты! Это так жутко трудно. А может быть, в конце концов, и не так трудно, если на соседней лестнице в большой комнате есть двое, трое, пятеро молодых людей, которые все убеждены в том же — то есть в существовании скотства и ясной границы между добром и злом. Там стоят диван, стулья, квадратный стол, и в раскрытое окно видно, как они сидят — сбоку торчат ноги, кто-то забился в угол дивана, и, скорее всего, хотя, правда, не разглядеть, кто-то стоит у каминной решетки и разговаривает. Как бы то ни было, Джейкоб, который сидел, оседлав стул, и ел финики из длинной коробки, расхохотался. Ответ последовал из угла дивана, потому что трубка там замерла в воздухе и затем возвратилась на свое место. Джейкоб развернулся вместе со стулом. На *это* у него было что сказать, хотя крепкий рыжий юноша, сидящий за столом, кажется, не соглашался с ним и медленно качал головой из стороны в сторону, а затем, вытащив перочинный ножик, вонзил его острие несколько раз в сучковатое утолщение на столе, как будто подтверждая, что голос, доносящийся от каминной решетки, говорит дело,— да и Джейкоб этого отрицать не мог. Быть может, покончив с раскладыванием финиковых косточек, он найдет, что сказать в ответ, и в самом деле рот его раскрылся — но тут раздались раскаты хохота.

Смех замер в воздухе. Да и вряд ли бы он достиг того, кто стоит у Капеллы, протянувшейся вдоль другой стороны двора. Смех замер, и только видно было, как из движений рук и тел в комнате что-то возникает. Спор? Пари о лодочных гонках? Ничего подобного? Что же возникало из рук и тел, двигающихся в полутьме комнаты?

В двух шагах за окном уже ничего не было, кроме зданий вокруг — прямые трубы, горизонтальные крыши, пожалуй, слишком много кирпича и построек для майского вечера. И тут перед глазами вырастают голые холмы Турции — резкие линии, сухая земля, яркие цветы и загорелые плечи женщин, которые, стоя босыми ногами в воде, бьют мокрым бельем о камни. Вода оплетает их щиколотки. Но это все очень смутно видно сквозь свивальники и покрывала кембриджской ночи. Даже удар часов приглушен, словно благоговейно пропет с кафедры, словно поколения ученых услышали, как по их рядам перекатывается

этот последний час, и выпустили его в свет уже отполированным временем, благословляя на то, чтобы им пользовались живые.

Может быть, молодой человек подошел к окну и стоял там, всматриваясь во двор, как раз для того, чтобы принять этот дар прошлого? Это был Джейкоб. Он стоял и курил трубку, а вокруг него тихо гудел последний удар часов. Наверное, у них действительно только что закончился спор. Джейкоб, казалось, был доволен и даже горд, но, пока он там стоял, выражение его лица едва заметно сменилось другим, бой часов (вероятно) навевал на него ощущение старинных зданий и времен, и он чувствовал себя их наследником, а ведь еще будет завтра и друзья, при мысли о которых он, пожалуй, просто от уверенности и удовольствия зевнул и потянулся.

Между тем за его спиной то, что возникло в результате спора или чего-то другого, призрачное, но твердое, хрупкое как стекло по сравнению с темным камнем Капеллы, разбилось вдребезги, потому что молодые люди, поднявшись с кресел и из углов диванов, двигались по комнате, неуклюже толкались, один подпихивал другого к двери спальни, и когда она поддалась, оба упали. А Джейкоб остался сидеть в неглубоком кресле наедине с Мэшемом? Андерсоном? Симеоном? Да, это был Симеон. Остальные все ушли.

«...Юлиан Отступник...» Кто из них произнес это и другие слова, прозвучавшие следом? Но ближе к полуночи иногда подымается, как внезапно разбуженная фигура в вуали, сильный ветер, и, проносясь сейчас над колледжем Тринити, он всколыхнул невидимые листья и все смешал. «Юлиан Отступник» — и сразу же ветер. Взлетают ветви вязов, надуваются паруса, вздымаются и уходят под воду старые шхуны, страстно обрушиваются серые волны в горячем Индийском океане, и все опадает.

Так что если дама в вуали пролетела над дворами колледжа Тринити, то сейчас она вновь задремала, подобрав свои одежды, прислонившись головой к колонне.

— Все-таки это оказывается важным.

Этот тихий голос принадлежал Симеону.

Голос, который ему ответил, звучал еще тише. Резкий стук трубки о камин заглушил слова. А может быть, Джейкоб сказал только «гм» или ничего не сказал. И правда, слов не было слышно. Это была та близость, та душевная податливость, когда сознание одного навсегда отпечатывается в сознании другого.

— Да, ты в этом здорово разбираешься,— сказал Джейкоб, поднявшись и встав перед креслом Симеона. Он помедлил, слегка покачнулся. Вид у него был необыкновенно довольный, и если бы Симеон заговорил, радость, наверное, перелилась бы и потекла через край.

Симеон ничего не сказал. Джейкоб остался стоять. Но близость — комната переполнялась ею, тихой, глубокой, как пруд. Не нужно было двигаться или говорить, она бесшумно поднималась и омывала все, смягчая, озаряя и окутывая сознание жемчужным блеском, так что если уж говорить о свете, о светящемся Кембридже, это не только языки. Это Юлиан Отступник.

Но Джейкоб пошевелился. Он пробормотал: «Спокойной ночи». Вышел во двор. Застегнул куртку на груди. Он пошел домой, и так как в этот момент больше никто домой не возвращался, шаги его звучали громко, фигура казалась огромной. От Капеллы, от Холла, от Библиотеки доносился звук его шагов, как будто старые камни отзывались с магистерской властностью: «Студент — студент — студент — идет — домой».

IV

Какой смысл пытаться читать Шекспира, да еще в таком издании — маленький томик, без переплета, на бумаге до того тонкой, что

страницы то и дело либо заворачиваются, либо слипаются от морской воды? Хотя пьесами Шекспира все беспрестанно восхищаются, даже цитируют их и ценят больше древнегреческих, за время путешествия Джейкоб ни одну из них не сумел дочитать до конца. А какая прекрасная была возможность!

Острова Силли, похожие на плывущие горные вершины, и впрямь показались именно там, где ожидал их увидеть Тимми Даррант. Его расчеты были безупречны, да и вообще весь вид его — как он сидел в лодке, держа руку на румпеле, здоровый, с отросшей бородой, и сурово поглядывал то на звезды, то на компас, безошибочно разбирая очередную страницу из справочника,— ни одну женщину не оставил бы равнодушной. Но Джейкоб, разумеется, не был женщиной. Вид Тимми Дарранта не волновал его нисколько, нечего тут было возводить на пьедестал, нечему поклоняться, скорее наоборот. Они поссорились. И почему спор о том, как нужно открывать мясные консервы, когда на борту был Шекспир, а вокруг такая красота, превратил их в надувшихся школьников, объяснить невозможно. Конечно, консервы они едят холодными и печенье размокает в соленой воде, а волны час за часом (довольно-таки однообразно) подпрыгивают и плюхаются, подпрыгивают и плюхаются до самого горизонта. А то мимо проплывет кучка водорослей или бревно. Здесь, случается, гибнут корабли. Два или три прошли мимо, держась каждый своего курса. Тимми знал, куда они направляются, с каким грузом, и, посмотрев в подзорную трубу, мог сказать, какой компании они принадлежат, и даже предположить, какие дивиденды получают держатели акций. И все-таки надуваться Джейкобу было не из-за чего.

Острова Силли казались похожими на плывущие горные вершины... К несчастью, Джейкоб сломал иглу примуса.

Острова Силли чуть не исчезли навсегда под огромным набежавшим валом.

Но надо отдать должное молодым людям — завтрак при таких обстоятельствах проходит в атмосфере хоть и мрачной, но по крайней мере не фальшивой. Разговаривать не обязательно. Они достали трубки.

Тимми записал свои научные наблюдения, и — что это был за вопрос, нарушивший молчание? — который час? или какое сегодня число? — во всяком случае он был задан без тени смущения, самым что ни на есть обыденным тоном, и вскоре Джейкоб стал раздеваться и остался сидеть в одной рубашке, видимо собираясь купаться.

Острова Силли постепенно синели, а море внезапно вспыхнуло синим, лиловым и зеленым, а потом снова стало серым, по нему пробежала полоса и тут же исчезла, но когда Джейкоб стянул через голову рубашку, вся поверхность воды была уже синей и белой, с набегающей свежей рябью, хотя то тут, то там появлялась широкая лиловая отметина, похожая на синяк, или всплывал настоящий изумруд с желтым отливом. Он нырнул, захлебнулся, откашлялся, взмахнул правой рукой, левой ухватился за канат, глотнул воздуху, поднял уйму брызг и был втащен на борт.

Сиденье стало просто горячим, и солнце жгло ему спину, а он сидел не одеваясь, с полотенцем в руке, и глядел на острова Силли, которые... вот черт! — рвануло парус! Шекспир полетел за борт. Они смотрели, как весело он уплывал, раздувая свои бесчисленные страницы, а потом ушел под воду.

Как ни странно, пахло фиалками или, если фиалок в июле не бывает, что-то, что очень пряно пахнет, выращивают, наверное, там, на берегу. Сам берег, не такой и далекий — видны были расщелины в утесах, белые домики, поднимающийся дым,— казался поразительно спокойным, солнечно-умиротворенным, как будто мудрость и благочестие снизошли на тамошних жителей. Иногда доносился какой-то крик — точно разносчик сардин выкликал на главной улице свой товар. И все казалось поразительно благочестивым и мирным, будто старики кури-

ли на завалинках, и девушки стояли, подбоченясь, у колодцев, и лошади стояли; будто уже настал конец света, и капустные поля, и каменные ограды, и пограничные посты, и, главное, заливы с белым песком, где бьются никем не видимые волны, подымались в каком-то экстазе в небеса.

Но дым из труб едва уловимо никнет и кажется знаком траура, лентой, нежно овевающей могилу. Чайки, совершив большой перелет, теперь мирно качаются на волнах, словно указывая место захоронения.

Наверняка, если бы это была Италия, Греция или даже побережье Испании, печаль развеялась бы от новизны, возбуждения и подсказок гуманитарного образования. Но на корнуолльских холмах торчат только голые трубы, и так или иначе их прелесть очень печальна. Да, когда глядишь на трубы, и пограничные посты, и заливчики, где бьются никем не видимые волны, тебя охватывает неодолимая печаль. И что это за печаль такая?

Ее рождает сама земля. Она исходит от домиков на берегу. Начинаем с прозрачности, а затем туман сгущается. Вся история стоит за нашим стеклом. Деться некуда.

Верное ли это объяснение тоски Джейкоба, который сидел раздевшись на солнце и глядел на мыс Лендс-Энд, сказать трудно, потому что он не проронил ни слова. Тимми несколько раз приходило в голову (правда, только на одну секунду), что, может быть, Джейкоб волнуется из-за его родственников... Не важно. Не все можно выразить словами. Забудем. Надо вытереться и заняться первым, что попадется на глаза... Тетрадь, в которой Тимми Даррант записывает свои научные наблюдения.

— Послушай,— сказал Джейкоб.

Это был сногсшибательный довод.

Есть люди, которые могут проследить за каждым шагом пути, да еще в конце сделать маленький, хотя бы шестидюймовый шажок самостоятельно, другие же всю жизнь только наблюдают за внешними проявлениями.

Уставятся на кочергу, правая рука берет кочергу, поднимает, медленно ее поворачивает, а затем очень аккуратно ставит на место. Левая рука, лежащая на колене, играет какой-то величавый, но прерывающийся марш. Глубокий вдох, и воздух, никак не использованный, улетучивается. Кошка ступает по коврику у камина. На нее никто не смотрит.

— Вот примерно так я это себе представляю,— заключил Даррант.

Следующую минуту стоит гробовое молчание.

— Значит...— сказал Джейкоб.

Затем последовала только половина фразы, но эти половины фраз как сигнальные флажки на крышах зданий для того, кто, стоя внизу, наблюдает за внешними событиями. И что такое корнуолльское побережье с его запахом фиалок, и знаками траура, и безмятежным благочестием — оно всего лишь фон, случайно оказавшийся сзади, от которого оттолкнулся ум.

— Значит...— сказал Джейкоб.

— Да,— ответил Тимми подумав,— это так.

Тут Джейкоб принялся нырять, отчасти чтобы поразмяться, отчасти, вне всякого сомнения, просто от радости, потому что, когда он сворачивал парус и вытирал тарелки, с его губ слетали весьма странные звуки — хриплые, немузыкальные,— некое подобие победной песни, потому что он нашел такой замечательный довод и вышел победителем — загорелый, небритый, способный к тому же отправиться в кругосветное путешествие на десятитонной яхте, что, очень может быть, он вскоре и сделает, вместо того чтобы засесть в какой-нибудь юридической конторе и носить коротенькие гетры.

— Наш друг Мэшем,— сказал Тимми Даррант,— не хотел бы, чтобы его кто-нибудь застал в нашем обществе, когда мы в таком виде.

У него отлетели все пуговицы.

— Ты знаешь тетку Мэшема? — спросил Джейкоб.

— Никогда не слыхал, что у него есть тетка,— ответил Тимми.

— У Мэшема миллион теток,— сказал Джейкоб.

— Мэшем есть в «Книге Страшного суда»,— сказал Тимми.

— Вместе со своими тетками,— добавил Джейкоб.

— Его сестра,— проговорил Тимми,— очень хорошенькая девочка.

— Вот что тебя ждет, Тимми,— сказал Джейкоб.

— Тебя первого,— ответил Тимми.

— Но эта женщина, о которой я тебе рассказываю, тетка Мэшема...

— Ну, так что же? — спросил Тимми, потому что Джейкоб от хохота не мог вымолвить ни слова.

— Тетка Мэшема...

Теперь Тимми не мог говорить от хохота.

— Тетка Мэшема...

— И что в этом Мэшеме такого, отчего делается так смешно? — еле выговорил Тимми.

— Да ну его — человек, который проглотил булавку от галстука,— сказал Джейкоб.

— Он к пятидесяти годам будет лордом-канцлером,— заявил Тимми.

— Он — джентльмен,— согласился Джейкоб.

— Герцог Веллингтонский — вот был джентльмен,— сказал Тимми.

— А Китс — нет.

— А лорд Солсбери — да.

— А как насчет Господа Бога? — спросил Джейкоб.

Сейчас казалось, что на острова Силли указывает золотой палец, выходящий из облака, а кому не известно, что это необыкновенное зрелище и что эти широкие лучи, светят ли они на острова Силли или на гробницы крестоносцев в соборах, всегда сотрясают самые основы скептицизма и ведут к шуточкам по поводу Господа.

Со мною будь;
Вечернею порой
Ложатся тени;
Боже, будь со мной,—

пропел Тимми Даррант.

— А у нас был гимн, который начинался:

Господь, что вижу я, что слышу? —

сказал Джейкоб.

Чайки, легонько раскачиваясь, сидели на волнах по две и по три совсем рядом с лодкой; баклан, будто устремившись за своей длинной шеей, вытянувшейся от вечных поисков, перелетел, почти задевая воду, к соседней скале, а издалека доносилось гудение прилива в пещерах, похожее на тихий монотонный голос, разговаривающий сам с собой.

О, Иисус, скала веков,
Дай в Тебе сыскать мне кров,—

пропел Джейкоб.

Словно тупой зуб какого-нибудь чудовища, скала рассекала поверхность моря, вся коричневая, затопляемая неиссякаемыми водопадами.

О, Иисус,—

пел Джейкоб, лежа на спине, глядя в полуденное небо, с которого исчезли последние клочья облаков, как будто отдернули занавеску и выставили его, наконец, для постоянного обозрения.

К шести часам подул ветерок с ледников; к семи вода стала скорее лиловой, чем синей, а к половине восьмого пространство вокруг остро-

вов Силли сделалось похоже на шершавую кожу золотобойца, и лицо Дарранта, который сидел у руля, было цвета красной лаковой коробочки, отполированной на века. К девяти все пламя и волнение на небе улеглось, оставив только ярко-зеленые клинышки и бледно-желтые залысины, а к десяти на волнах, то распластывающихся, то горбящихся, задрожали, вытягиваясь и сжимаясь, разноцветные пятна от фонарей с лодки. Луч маяка быстро пробежал по воде. На расстоянии бесчисленных миллионов миль поблескивали рассыпанные звезды, а волны шлепались о лодку и, грохоча, с размеренной и жуткой торжественностью обрушивались на скалы.

Хотя, вероятно, можно постучаться в домик и попросить стакан молока, однако лишь сильная жажда способна подвигнуть на вторжение. А миссис Паско, пожалуй, была бы ему только рада. Летний день, наверное, тянется медленно. Стирая у себя в судомойне, она, должно быть, слышит дешевые часики, стоящие на полке над камином, тик-так, тик-так, тик-так... Она одна в доме. Муж пошел помогать фермеру Хоскену, дочка замужем и живет в Америке. У старшего сына тоже семья, но с его женой у нее нелады. Однажды пришел священник-методист и увел с собой младшего. Она одна в доме. Пароход, очевидно направляющийся в Кардифф, сейчас пересекает горизонт, а совсем рядом раскачивается туда-сюда колокольчик наперстянки, в котором вместо языка гудит шмель.

Эти белые корнуолльские домики построены на краю утеса, земля здесь охотнее растит можжевельник, чем капусту, а вместо изгороди какой-то первобытный человек накидал кучу валунов. В одном из них, предназначенном, как полагают историки, для крови жертвы, было выдолблено углубление, которое в наши дни смиренно служит сиденьем для туристов, жаждущих найти ничем не заслоненный вид на Голову Морского Петуха. Разумеется, синее ситцевое платье и белый передник в саду никому не мешают.

— Смотри, воду ей приходится носить из колодца.

— Зимой здесь, должно быть, страшно одиноко, ветер гуляет по холмам, волны бьются о скалы.

Даже в летний день слышен их плеск.

Набрав воды, миссис Паско пошла в дом. Туристы пожалели, что не захватили бинокля, а то можно было бы прочесть название проходящего мимо случайного парохода. Вообще, в столь ясный день казалось, нет ничего такого, что нельзя разглядеть в обыкновенный полевой бинокль. Два рыбачьих судна, скорей всего из залива Сент-Айвз, удалялись от парохода, а дно моря становилось то отчетливо различимым, то матовым. Шмель, насосавшись вдоволь меду, перелетел на ворсянку, а оттуда прямиком на участок миссис Паско, что заставило туристов еще раз посмотреть на старухино ситцевое платье и белый передник, потому что она вышла на порог своего дома и стояла там.

Она стояла, заслонив глаза от солнца рукой, и глядела на море.

В миллионный раз, наверное, она глядела на море. Бабочка «павлиний глаз» распласталась на ворсянке, яркая и только что появившаяся на свет, о чем свидетельствовали синие и шоколадные пятнышки на крыльях. Миссис Паско зашла в дом, взяла там кружку из-под сливок, вышла и принялась ее отдраивать. Лицо ее, безусловно, не было ласковым, чувственным или порочным, но скорее жестким, мудрым, здоровым, и в комнате, полной разных утонченных людей, символизировало бы плоть и кровь жизни. Конечно, лгать ей случалось не реже, чем говорить правду. За нею на стене висел большой высушенный скат. А в маленькой гостиной в глубине дома хранилось самое дорогое — коврики, фарфоровые кружки и фотографии, хотя от соленых ветров эта обшарпанная комнатка защищена лишь одним слоем кирпичей, и сквозь кружевные занавески видно, как камнем летит вниз баклан, а когда штормит, трепещущие чайки рассекают воздух и огни пароходов оказы-

ваются то высоко, то низко. Унылые звуки раздаются здесь зимними вечерами.

По воскресеньям приносят газеты с картинками, и она долго изучает венчанье леди Цинтии в Вестминстерском аббатстве. Ей тоже хотелось бы ездить в карете на рессорах. Нежные быстрые переливы культурной речи заставляют ее стыдиться своего грубого выговора. Да и слушать всю ночь напролет, как скрежещет о скалы Атлантический океан, вместо перестука двухколесных экипажей и свиста швейцаров, подзывающих автомобили... Так, наверное, она размышляет, отдраивая кружку из-под сливок. Но все разговорчивые и сообразительные люди давно уехали в город. А она, как скупец, прячет свои чувства в груди. За все эти годы она не разменяла ни монетки, и завистливому взгляду кажется, что внутри у нее чистое золото.

Мудрая старая женщина пристально посмотрела на море и снова ушла в дом. Туристы решили, что пора двигаться к Голове Морского Петуха.

Спустя три секунды в дверь постучала миссис Даррант.

— Миссис Паско? — позвала она.

Она проводила туристов, бредущих по тропинке через поле, довольно высокомерным взглядом. Она была из племени шотландских горцев, знаменитого своими вождями.

Появилась миссис Паско.

— Как мне у вас нравится этот куст! — воскликнула миссис Даррант, указывая зонтиком, которым она только что стучала в дверь, на растущий у порога красивый куст зверобоя. Миссис Паско посмотрела на него неодобрительно.

— У меня вот-вот сын приезжает,— сказала миссис Даррант.— Плывет с приятелем на лодочке из Фалмута. А от Лиззи есть какие-нибудь вести, миссис Паско?

В двадцати ярдах от дома на дороге, прядая ушами, стояли ее длиннохвостые пони. Мальчик, Керноу, время от времени отгонял от них мух. Он видел, как его хозяйка проследовала в дом, вышла и — если судить по движениям рук, что-то оживленно говоря — обошла огород перед домом. Миссис Паско приходилась ему теткой. Обе женщины внимательно осмотрели кустарник. Миссис Даррант наклонилась и отломила веточку. Потом (движения ее были повелительными, держалась она очень прямо) показала на картошку. Листья были больны. В тот год картофель болел у всех. Миссис Даррант продемонстрировала миссис Паско, как далеко зашла болезнь у нее на участке. Миссис Даррант оживленно говорила, миссис Паско покорно слушала. Мальчик Керноу знал, что миссис Даррант объясняет, что это очень просто — разводишь порошок в пяти литрах воды.

— Я у себя в огороде сама это сделала,— объясняла миссис Даррант.

— Иначе у вас ни одной картофелины не останется — ни одной,— проговорила миссис Даррант со свойственным ей напором, когда они подошли к калитке. Мальчик Керноу замер.

Миссис Даррант взяла вожжи в руки и уселась на место кучера.

— Лечите свою ногу, а то я вам доктора пришлю,— крикнула она через плечо, тронула пони, и повозка двинулась. Мальчик Керноу едва успел взобраться, зацепившись носком ботинка. Сидя посередине заднего сиденья, он оглядывался на свою тетку.

Миссис Паско стояла у калитки, глядя им вслед, стояла и после того, как двуколка исчезла за поворотом, стояла у калитки и смотрела то в одну сторону, то в другую, затем пошла обратно в дом.

Вскоре старательные ноги пони принялись одолевать ухабистую, поросшую вереском дорогу. Миссис Даррант опустила вожжи и откинулась назад. Оживление ее покинуло. Тонкий ястребиный нос напоминал бесцветную, почти просвечивающую кость. Руки, придерживавшие

вожжи на коленях, казались твердыми, даже когда ничего не делали. Верхняя губа, очень короткая и вздернутая, открывала передние зубы в каком-то подобии усмешки. Если ум миссис Паско не выходил за пределы ее одинокого участка, ум миссис Даррант парил над пространством. Он парил над пространством, в то время как пони взбирались на холм. Взад и вперед посылала она свой ум, как будто бы домики без крыш, груды шлака и сады, поросшие наперстянкой и куманикой, отбрасывали на него тень. Поднявшись на вершину, она остановила повозку. Ее окружали бледные холмы, сплошь усеянные древними камнями; внизу было море, изменчивое как на юге; сама она сидела, переводя взгляд с холмов на море, прямая, с орлиным профилем, застывшая в шатком равновесии между тоской и весельем. Внезапно она стегнула пони, и мальчику Керноу пришлось взбираться, цепляясь носком ботинка.

Грачи уселись, грачи поднялись. Деревьев, которых они касались так капризно, очевидно, не хватало, чтобы всех разместить. Верхушки пели на ветру, ветки громко трещали и то и дело, хотя стояла середина лета, роняли какую-то шелуху и прутики. Грачи взмывали вверх и снова опускались, и каждый раз их подымалось все меньше и меньше, ибо более мудрые птицы устраивались на ночлег, потому что вечер был уже на исходе и в лесу почти совсем стемнело. Мох был очень мягкий, стволы деревьев — призрачны. За ними лежал серебряный луг. Пампасная трава поднимала свои оперенные стрелы из зеленых курганов на краю луга. Поблескивала полоска воды. Уже вьюнковый мотылек кружился над цветами. Оранжевые и лиловые настурции и гелиотропы тонули в сумерках, но табак и страстоцвет, над которыми кружил большой мотылек, оставались фарфорово-белыми. Грачи в верхушках деревьев скрипуче складывали крылья и собирались спать, когда вдалеке встрепенулся и задрожал знакомый звук — все громче, громче,— и, оглушительно гудя в ушах, заставил сонные крылья в испуге снова подняться в воздух — в доме звучал гонг к ужину.

После шести дней соленого ветра, дождя и солнца Джейкоб Фландерс надел смокинг. Этот аккуратный черный предмет появлялся время от времени в лодке среди консервных банок, солений, заготовленного впрок мяса, и чем дольше длилось путешествие, тем более он казался неуместным, почти нереальным. Но теперь, при свете свечей, в мире, обретшем устойчивость, смокинг один защищал его. Он был ему безмерно благодарен. Шея, запястья, лицо все равно торчали без прикрытия, а сам он, хоть и был прикрыт, до того пылал и трепетал, что и черная ткань представлялась недостаточно надежным покровом. Он убрал со скатерти свою огромную красную руку. Украдкой она сжимала тонкие бокалы и изогнутые серебряные вилки. Косточки в отбивных были одеты в розовые бумажные оборки, а как он обгрызал свинину с кости еще вчера! Напротив него располагались туманные, полупрозрачные желтые и голубые фигуры. За ними опять виднелся серо-зеленый сад, и среди грушевидных листьев эскаллонии, казалось, повисли, застряв, рыбачьи лодки. Парусник медленно тащился за спинами женщин. Несколько раз в сумерках кто-то поспешно пересек террасу. Дверь открывалась и закрывалась. Ничто не успокаивалось, не оставалось целым. Как весла, гребущие то с той стороны, то с этой, фразы звучали то оттуда, то отсюда, с обеих сторон стола.

— Ах, Клара, Клара! — воскликнула миссис Даррант, и когда еще Тимоти Даррант добавил «Клара, Клара», Джейкоб назвал фигуру в желтой кисее Кларой, сестрой Тимоти. Она сидела улыбающаяся, раскрасневшаяся. Глаза были темные, как у брата, но она выглядела неопределеннее, мягче. Когда смех затих, она сказала:

— Но, мама, так и было. Он сам это говорил. И мисс Элиот с нами согласилась...

Но мисс Элиот, высокая, седая, пододвигала в это время свой стул, чтобы дать место возле себя старику, который вошел с террасы. Этот ужин никогда не кончится, подумал Джейкоб, но ему и не хотелось, чтобы он кончался, хотя корабль переплыл пространство от одного угла оконной рамы до другого и зажегся огонь, показывавший, где конец пирса. Он увидел, что миссис Даррант смотрит на огонь. Она повернулась к нему.

— Кто был командиром, вы или Тимоти? — спросила она.— Простите, что я вас зову Джейкобом. Я столько о вас слышала.— Глаза ее снова обратились к морю. Они казались стеклянными, когда она смотрела в окно.

— Раньше это была маленькая деревушка,— сказала она,— а теперь разрослась.— Она поднялась и, не выпуская салфетки из рук, подошла к окну.

— А вы не ссорились с Тимоти? — застенчиво спросила Клара.— Я думаю, я бы ссорилась.

Миссис Даррант вернулась от окна.

— С каждым днем все позднее и позднее,— произнесла она, сидя очень прямо и оглядывая стол.— Вам должно быть стыдно — вам всем. Мистер Клаттербак, вам должно быть стыдно.— Она повысила голос, потому что мистер Клаттербак был глуховат.

— Нам стыдно,— сказала какая-то девушка. Но старик с бородой продолжал есть пирог со сливами. Миссис Даррант засмеялась и откинулась в кресле, как будто прощая его.

— Мы взываем к вам, миссис Даррант,— сказал рыжеусый молодой человек в очках с очень толстыми стеклами.— Я утверждаю, что условия были выполнены. Она должна мне золотой.

— Не *до* рыбы, а *с* рыбой, миссис Даррант,— уточнила Шарлотта Уайлдинг.

— Да, такое было пари, с рыбой,— серьезно подтвердила Клара.— Мама, это про бегонии. Он обещал съесть их с рыбой.

— О, господи! — сказала миссис Даррант.

— Шарлотта вам не заплатит,— вставил Тимоти.

— Как ты смеешь! — закричала Шарлотта.

— Предоставьте эту возможность мне,— сказал галантный мистер Уэртли, доставая серебряную коробочку, набитую золотыми, и бросая монету на стол. Затем миссис Даррант поднялась и двинулась к выходу, держась очень прямо, за ней последовали девушки в желтой, голубой, серебряной кисее, и немолодая мисс Элиот в бархате, и маленькая женщина в розовом, замешкавшаяся в дверях, чистенькая, безупречная, наверное, гувернантка. Все вышли в открытую дверь.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне, Шарлотта...— говорила миссис Даррант, взяв девушку под руку и прогуливаясь вместе с ней взад и вперед по террасе.

— А почему вы так печальны? — вырвалось у Шарлотты.

— Я кажусь тебе печальной? Неужели? — сказала миссис Даррант.

— Нет, вот только сейчас. Вам ведь не так много лет.

— Достаточно, чтобы быть матерью Тимоти.— Они остановились.

В углу террасы мисс Элиот смотрела в телескоп мистера Клаттербака. Глухой старик стоял рядом с ней, поглаживая бороду и называя имена созвездий:

— Андромеда, Волопас, Сидония, Кассиопея...

— Андромеда,— прошептала мисс Элиот, слегка поворачивая телескоп.

Миссис Даррант и Шарлотта поглядели на небо, туда, куда указывала труба инструмента.

— Звезд — *миллионы,*— убежденно проговорила Шарлотта. Мисс Элиот отвернулась от телескопа. В столовой расхохотались молодые люди.

— Можно *мне* посмотреть? — горячо попросила Шарлотта.

— А мне звезды быстро наскучивают,— призналась миссис Даррант, проходя по террасе с Джулией Элиот.— Я как-то читала книгу о звездах... О чем они разговаривают? — Она остановилась перед окном столовой.— Тимоти,— сказала она.

— Этот молчаливый молодой человек,— произнесла мисс Элиот.

— Да, Джейкоб Фландерс,— сказала миссис Даррант.

— Ой, мама! Я тебя не узнала,— воскликнула Клара, подходя вместе с Элсбет с другой стороны.— Как пахнет,— выдохнула она, разминая лист вербены.

Миссис Даррант повернулась и отошла в сторону.

— Клара! — подозвала она. Клара направилась к ней.

— Как они непохожи,— заметила мисс Элиот.

Мимо прошел мистер Уэртли с сигарой.

— Я буквально каждый день обнаруживаю, что соглашаюсь...— говорил он, проходя мимо них.

— Так интересно угадывать,— пробормотала Джулия Элиот.

— Когда мы только вышли, видны были цветы на той клумбе,— сказала Элсбет.

— Сейчас почти ничего не видно,— отозвалась мисс Элиот.

— Она, наверное, была очень красива, и в нее все, конечно, были влюблены,— сказала Шарлотта.— Наверное, мистер Уэртли...— Она не кончила фразу.

— Смерть Эдварда была трагедией,— сказала мисс Элиот твердо.

Тут к ним подошел мистер Эрскин.

— Тишины в природе не существует,— заявил он.— В такой вечер, как сегодня, я могу различить два десятка разных звуков, не считая ваших голосов.

— Спорим,— предложила Шарлотта.

— Идет,— согласился мистер Эрскин.— Море — раз, ветер — два, собаки — три...

Остальные отошли.

— Бедный Тимоти,— сказала Элсбет.

— Чудесный вечер,— прокричала мисс Элиот в ухо мистеру Клаттербаку.

— Хотите посмотреть на звезды? — спросил старик, поворачивая телескоп к Элсбет.

— А вам не делается грустно, когда вы смотрите на звезды? — прокричала мисс Элиот.

— Господи помилуй, конечно нет,— засмеялся мистер Клаттербак, когда понял, о чем она спрашивает,— с чего это мне должно делаться грустно? Ни на одну секунду. Нет, конечно.

— Спасибо, Тимоти, но я иду в дом,— сказала мисс Элиот.— Элсбет, хочешь шаль?

— Я тоже иду,— пробормотала Элсбет, прильнув к телескопу.— Кассиопея,— прошептала она.— Где вы все? — воскликнула она, отрываясь от телескопа.— Как темно стало!

Миссис Даррант сидела в гостиной у лампы, сматывая клубок шерсти. Мистер Клаттербак читал «Таймс». В другом углу комнаты стояла вторая лампа, и вокруг нее молодые дамы блестели ножницами над расшитой серебром материей, готовясь к домашнему спектаклю. Мистер Уэртли читал книгу.

— Да, он совершенно прав,— сказала миссис Даррант, выпрямляясь и переставая сматывать шерсть, и пока мистер Клаттербак дочитывал речь лорда Лансдауна, она сидела прямо, не прикасаясь к клубку.

— А, мистер Фландерс,— произнесла она величественно, будто обращаясь к самому лорду Лансдауну. Затем вздохнула и снова стала сматывать шерсть.

— Сядьте туда,— велела она.

Джейкоб вышел из темноты у окна, около которого топтался. Свет заливал его, озаряя все поры на коже, но ни один мускул его лица не пошевелился, когда, усевшись, он стал глядеть в сад.

— Я хочу услышать рассказ о вашем путешествии,— сказала миссис Даррант.

— Да,— отозвался он.

— Двадцать лет назад мы тоже так плавали.

— Да,— повторил он. Она пристально посмотрела на него.

«Удивительно неловок,— подумала она, заметив, как он теребит носки.— Но какой благородный вид».

— В те дни...— продолжала она и рассказала ему, как они плыли...— мой муж замечательно в этом разбирался, у него была яхта еще до того, как мы поженились — ...и как необдуманно они решили тягаться с рыбаками, и чуть не поплатились за это жизнью, но были так горды собой! — Она выбросила вперед руку, держащую клубок.

— Подержать вам шерсть? — скованно предложил Джейкоб.

— Вы дома помогаете матери,— догадалась миссис Даррант, передавая моток и снова внимательно поглядев на него.— Да, так, конечно, гораздо удобнее.

Он улыбнулся, но ничего не сказал.

Элсбет Сиддонс, перекинув через руку что-то серебряное, кружила рядом с ними.

— Мы хотели бы,— пролепетала она.— Я пришла..— Она не договорила.

— Бедный Джейкоб,— сказала миссис Даррант негромко, как будто знала его всю жизнь.— Они собираются вас заставить принять участие в спектакле.

— Как я вас люблю! — закричала Элсбет, опускаясь на колени рядом с креслом миссис Даррант.

— Давайте сюда шерсть,— сказала миссис Даррант.

— Пришел! Пришел! Пришел! — завопила Шарлотта Уайлдинг.— Я выиграла!

— Там еще одна гроздь, выше,— пробормотала Клара Даррант, поднимаясь на следующую ступеньку стремянки. Джейкоб внизу держал стремянку, а она встала на цыпочки, чтоб дотянуться до высоко висевшей грозди винограда.

— Вот,— сказала она, перерезая стебель. Там, среди виноградных листьев и желтых и фиолетовых гроздей, среди плавающих вокруг островков света, она казалась полупрозрачной, бледной, восхитительно прекрасной. На толстых подставках стояли герани и бегонии в горшках, по стене взбирались помидоры.

— Листья, конечно, пора прореживать,— размышляла она, и один зеленый лист, распластанный как ладонь, полетел вниз, прокружившись над головой Джейкоба.

— Мне все равно уже столько не съесть,— проговорил он, глядя вверх.

— Это все же так нелепо,— начала Клара,— ехать сейчас в Лондон.

— Дико,— подтвердил Джейкоб.

— Тогда,— сказала Клара,— вы непременно должны приехать на будущий год, и по-настоящему,— добавила она, быстрым движением отхватив еще один виноградный лист, выбранный, пожалуй, наобум.

— Если только... если...

Ребенок с криком пробежал мимо оранжереи. Клара медленно спустилась со стремянки, держа корзинку с виноградом.

— Одна гроздь белого и две розового,— сказала она, укладывая поверх теплых, свернувшихся в корзинке гроздей два огромных листа.

— Мне было у вас очень хорошо,— произнес Джейкоб, обводя взглядом оранжерею.

— Да, мы замечательно провели время,— отозвалась она уклончиво.

— Ах, мисс Даррант,— проговорил он, забирая у нее корзинку с виноградом, но она быстро прошла мимо него к выходу из оранжереи.

«Ты очень хороший, очень»,— повторяла она про себя, думая о Джейкобе, думая, что он не должен говорить, что любит ее. Нет, нет, нет.

Дети вихрем пронеслись мимо двери, подбрасывая что-то в воздух.

— Безобразники! Что это у них? — спросила она Джейкоба.

— По-моему, луковицы,— ответил Джейкоб. Он смотрел на них не шевелясь.

— Не забудьте, Джейкоб, на будущий год в августе,— сказала миссис Даррант, пожимая ему руку на террасе, а над ее головой свисала фуксия, похожая на алую серьгу. Мистер Уэртли вышел на террасу в желтых шлепанцах, волоча за собой «Таймс», и очень дружески протянул ему руку.

— До свидания,— произнес Джейкоб.— До свидания,— повторил он.— До свидания,— сказал он еще раз. Шарлотта Уайлдинг распахнула окно своей комнаты и крикнула: — До свидания, мистер Джейкоб!

— Мистер Фландерс! — закричал мистер Клаттербак, пытаясь встать из своего круглого кресла.— Джейкоб Фландерс!

— Вы опоздали, Джозеф,— сказала миссис Даррант.

— Так мне и не попозировал,— вздохнула мисс Элиот, устанавливая на лужайке треножник.

V

— По-моему, все же,— сказал Джейкоб, вынимая трубку изо рта,— это Вергилий,— и, отодвинув стул, подошел к окну.

Самые бесшабашные водители на свете — это водители почтовых фургонов. Выезжая на Лэмз-Кондуит-стрит, ярко-красный фургон так завернул у почтового ящика за угол, что задел край тротуара, и маленькая девочка, поднявшаяся на цыпочки, чтобы бросить письмо, оглянулась на него со смесью ужаса и любопытства. Она замерла, держа руку у щели ящика, затем бросила письмо и убежала. Как редко вид ребенка на цыпочках вызывает у нас жалость, чаще смутное неудовольствие, камешек в ботинке, который можно и не вытряхивать,— вот что мы ощущаем, и потому...— Джейкоб повернулся к книжному шкафу.

Когда-то здесь жила знать, и, возвращаясь за полночь от Двора, дамы ждали у резных дверей, подобрав атласные юбки, пока привратник поднимался с матраса на полу, застегивал второпях нижние пуговицы жилета и отворял им. Проливной дождь восемнадцатого века бурлил в водостоке. Сейчас, однако, Саутгемптон Роу в основном примечательна тем, что там непременно встретишь человека, который уговаривает портных купить у него черепах: «Сэр, смотрите, так подходит к твиду; то, что нужно господам,— оригинально и броско, а какие они у меня чистоплотные, сэр!» Так они расхваливают своих черепах.

На Оксфорд-стрит на углу около библиотеки Мюди все красные и синие бусины, съехав по нитке, жались друг к другу: там застряли омнибусы. Мистер Сполдинг, едущий в Сити, смотрел на мистера Чарльза Баджена, направляющегося в Шепард Буш. Близость омнибусов давала возможность тем, кто сидел у окна, рассматривать друг друга. Но мало кто ею пользовался. Каждый думал о своем. В каждом было заперто его прошлое, подобное страницам книги, знаемой наизусть; друзья читали на обложке название «Джеймс Сполдинг» или «Чарльз Баджен», а пассажиры, едущие в противоположную сторону, вообще ничего не могли прочитать, кроме «мужчина с рыжими усами» или «молодой человек в сером с трубкой». Октябрьское солнце застыло на этих неподвижно сидящих мужчинах и женщинах, а маленький Джонни Стерджон со своим огромным таинственным свертком, недолго думая, соскользнул со ступе-

нек омнибуса, и вот, прошмыгнув между колесами, он выбрался на тротуар, принялся что-то насвистывать и скоро исчез из виду — навсегда. Омнибусы рывком двинулись, и все пассажиры до единого почувствовали облегчение от того, что немножко приблизились к цели своей поездки; правда, некоторых манило не само предстоящее дело, а обещанное себе вслед за ним удовольствие — пирог с мясом и почками, кружка пива или партия в домино в прокуренном углу ресторана в Сити. Да, на империале омнибуса на Холборне, когда полицейский поднимает руку, а солнце бьет тебе в спину, жизнь человеческая даже весьма сносна, и если есть у человека панцирь, им самим сотворенный и для него подходящий, вот он здесь, на берегах Темзы, где сходятся великие улицы, и собор Святого Павла венчает его как завиток на панцире улитки. Джейкоб, выйдя из омнибуса, помедлил на ступеньках, взглянул на часы и, в конце концов, решил войти... Неужели это требует усилия? Да. Как нас изматывают эти перемены настроений.

Полумрак, и витают призраки из белого мрамора, и вечно поет для них орган. Ужасно, если скрипнет ботинок, и снова порядок, дисциплина. Жизнь разглаживается под жезлом служителя. Нежны и святы ангельские лица певчих. И, подымаясь над мраморными плечами, пробиваясь между сложенными пальцами, вечно звучат тоненькие высокие голоса и орган. Вечный реквием — покой. Уставшая от надраивания ступенек страховой компании «Пруденшл», которым она занималась вот уже сколько лет, миссис Лиджетт села у гробницы великого Герцога, сложила руки и прикрыла глаза. Хорошо отдыхать здесь старухе, совсем рядом с прахом великого Герцога, победы которого ничего для нее не значат, имени которого она не знает, хотя, направляясь к выходу, она никогда не забудет поприветствовать ангелочков напротив, мечтая о таких же на своей могиле, потому что кожаный занавес ее сердца широко распахнулся и на цыпочках вылезли мысли об отдохновении, нежные мелодии... А вот старый Спайсер, торговец джутом, ни о чем подобном не думал. Как ни странно, последние пятьдесят лет он в Соборе не бывал, хотя окна его конторы выходят на церковный двор. «Это что — все? Да, мрачно тут... А где могила Нельсона? Сейчас некогда — как-нибудь в другой раз,— надо бросить монетку в кружку. А что на улице — дождь или солнце? Хоть бы уж, наконец, погода установилась!» Бесцельно заходят дети — служитель их выпроваживает,— идут, идут, идут люди... мужчина, женщина, мужчина, женщина, мальчик... возводя глаза кверху, поджимая губы; одинаковые тени пробегают по одинаковым лицам; кожаный занавес сердца распахивается широко.

Когда глядишь со ступенек собора Святого Павла, кажется, нет ничего более достоверного, чем то, что чудесным образом каждый человек снабжен сюртуком, юбкой, ботинками, доходом, каким-нибудь предметом в руках. Только Джейкоб, державший «Византийскую империю» Финлея, которую он купил на Ладгейт-хилл, несколько отличался от остальных, потому что в руках у него была книга, и эту книгу он у своего камина откроет ровно в девять тридцать и начнет изучать, и сделает это только он, и больше никто из огромного множества людей. У них нет домов. Им принадлежат улицы, магазины, церкви; еще — бесчисленные столы и длинные лампы в учреждениях; кроме того, фургоны и железная дорога, подвешенная высоко над землей. Если присмотреться, видно, как три старика на некотором расстоянии друг от друга устраивают на тротуаре паучьи бега, словно они не на улице, а дома; а тут, около стены, сидит, уставясь в пространство, женщина, а рядом разложены шнурки, которые она никому не предлагает. И объявления принадлежат им, и то, что они сообщают. Разрушенный город, выигранные скачки. Бездомные, они кружат под небом, синеву или белизну которого скрывает плотный потолок из металлических опилок и лошадиного навоза, превратившегося в пыль.

Там, под зеленым абажуром, склонившись над белым листом бумаги, мистер Сибли переносит цифры в бухгалтерские книги, и на всех

столах — груды бумаг, словно разложенный корм, дневной рацион, медленно поглощаемый трудолюбивыми перьями. Бесчисленные пальто установленного качества целый день висят пустые, но как только часы пробьют шесть, они аккуратно заполняются, и фигурки, расходящиеся книзу в брюки или отлитые в виде единой массы, угловатым движением подавшись вперед, проворно высыпают на тротуар и теряются в темноте. А под тротуарами глубоко в земле полые трубы, освещенные рядами желтых огней, вечно несут их туда и сюда, и большие буквы на эмалированных табличках означают в подземном мире парки, скверы и площади наземного. Марбл-Арч — Шепард Буш, для большинства и то, и другое навсегда остается лишь белыми буквами на голубом фоне. И только в одном месте — это может быть Эктон, Холлоуэй, Кенсал Райз, Калидониан-роуд — название означает магазины, куда ты ходишь за покупками, и дома, в одном из которых, на правой стороне, там, где из булыжника поднимаются подстриженные деревья, есть квадратное занавешенное окошко и твоя комната.

Уже совсем вечером у каменной стены Лондонского Союза и банка Смита сидит на складном табурете слепая старая женщина, прижимает к себе коричневую дворняжку и горланит песни не ради медяков, нет, а просто из глубины своего веселого, буйного сердца — грешного, задубевшего сердца, потому что девочка, приходящая ее забрать,— плод греха и давно уже должна была бы спать в своей постельке за занавесками, вместо того чтобы слушать при свете фонаря буйное пение своей матери, которая опирается спиной о стену банка и распевает песни вовсе не ради медяков и прижимает собаку к груди.

Они идут домой. Их принимают серые шпили церквей, седая столица, старая, грешная и величественная. На берегу, круглые и остроконечные, пронзающие небо и вторгающиеся в него всей своей массой, как парусники, как гранитные утесы, бок о бок теснятся шпили и конторы, верфи и фабрики; денно и нощно плетутся паломники; на середине реки покоятся груженые баржи; столица, как полагают некоторые, любит своих проституток.

Вообще-то, этой чести, кажется, мало кто удостаивается. Из всех экипажей, отъезжающих от оперного театра, ни один не сворачивает в восточном направлении, и когда на пустой рыночной площади поймают воришку, не будет никого в черно-белом или розовом вечернем туалете, кто, остановив экипаж и держа руку на дверце, вмешается, чтобы помочь или осудить, хотя леди Чарльз, надо отдать ей должное, вернувшись домой, вздыхает, поднимаясь по лестнице, достает с полки Фому Кемпийского и не может уснуть, пока сознание наконец не заблудится, прорывая туннели в запутанности бытия. «Почему? Почему? Почему?» — вздыхает она. В общем, ходить пешком из театра полезно. Усталость — лучшее снотворное.

Осенний сезон был в самом разгаре. Дважды в неделю Тристан подтягивал плед повыше под мышками, а Изольда махала платком в чудесном единодушии с дирижерской палочкой. В театре куда ни глянь обнаруживались розовые лица и сверкающие груди. Когда внезапно протягивалась королевская рука, принадлежащая невидимому телу, и забирала с алого выступа ложи красно-белый букет, за английскую королеву хотелось умереть. Красота в ее тепличной разновидности (вовсе не самой худшей) цвела во всех ложах, и хотя ничего особо важного сказано не было, хотя единодушно признано, что остроумие покинуло прекрасные уста примерно ко времени смерти Уолпола, тем не менее, когда Виктория в своем капоте спускалась, чтобы встретить министров, губы ее (в бинокль) все-таки были розовые, прелестные. Лысые благородные господа, держа трости с золотыми набалдашниками, прогуливались по малиновым проходам в партере, и общение с ложами прекращалось лишь в тот миг, когда гас свет и дирижер, сперва поклонившись королеве, затем лысым господам, поворачивался на каблуках и поднимал палочку.

Тогда две тысячи сердец в полутьме вспоминали, предчувствовали, принимались плутать по темным лабиринтам, и Клара Даррант навсегда прощалась с Джейкобом Фландерсом и вкушала сладость ненастоящей гибели, а миссис Даррант, сидящая за ней в темноте ложи, привычно горько вздыхала, а мистер Уэртли, ерзая, чтобы лучше видеть из-за спины супруги итальянского посла, думал, что Брангена чуть хриплова-та, а высоко над их головами, подвешенный где-то на галерке, Эдвард Уиттакер украдкой подносил фонарик к своей крошечной партитуре, а... а...

Одним словом, наблюдатель захлебывается от впечатлений. Правда, чтобы не дать нам потонуть в хаосе, природа и общество, объединив-шись, придумали систему классификации, изумительную по своей про-стоте,— партер, ложи, амфитеатр, галерка. Углубления заполняются ежевечерне. Входить во всякие тонкости необязательно. Но главная трудность остается — надо выбирать. Потому что, хоть я и не испытываю никакого желания стать английской королевой — ну, разве что только на минутку,— я совсем не прочь посидеть с ней рядом, послушать, о чем сплетничает премьер-министр и что шепчет графиня, погружаясь в вос-поминания о залах и садах; ведь массивные головы знати таят, наверное, какой-то только им понятный язык, иначе почему они столь непроницаемы? И потом, так интересно, отбросив свое собственное со-знание, примерить на секунду какое-нибудь другое, чье угодно — стать доблестным мужем, который правит империей; перебирать в памяти во время пения Брангены отрывки из Софокла; или, когда пастух играет на дудочке, увидеть на одно мгновение мосты и акведуки. Но нет — надо выбирать. Нет и не было более жестокой необходимости! Необходимо-сти, влекущей за собой бо́льшую боль, более неотвратимое несчастье, потому что куда ни сядешь, все равно умираешь в изгнании — как Уит-такер в меблированных комнатах, как леди Чарльз у себя в по́местье.

Молодой человек с веллингтоновским профилем, который сидел в театре на месте за семь с половиной шиллингов, спустился, когда опера кончилась, по каменным ступенькам, как будто все еще силою музыки отделенный от остальных.

В полночь Джейкоб Фландерс услышал стук в дверь.

— Вот это да! — воскликнул он.— Тебя-то мне и нужно!— и без осо-бых затруднений они отыскали те строчки, которые он весь день не мог найти; только это был не Вергилий, а Лукреций.

— Да, от этого он взовьется,— сказал Бонами, когда Джейкоб кон-чил читать. Джейкоб был возбужден. Он в первый раз прочитал вслух свою статью.

— Вот мерзавец, а! — произнес он, хватая, пожалуй, через край, но похвала вскружила ему голову. Профессор Бултил из Лидса издал пьесы Уичерли, нигде, однако, не указав, что он выбросил, обессмыслил или просто обозначил звездочками ряд неприличных слов и несколько неприличных выражений. Это преступление, говорил Джейкоб, это под-лог, не что иное, как ханжество, свидетельство порочного ума и гнусной душонки. Приводились цитаты из Аристофана и Шекспира. Разоблача-лась современная жизнь. Всячески обыгрывалось профессорское звание, а Лидс, как цитадель учености, с презрением высмеивался. Что здесь было примечательно — это абсолютная правота молодых людей, приме-чательно, поскольку, уже переписывая рукопись набело, Джейкоб пони-мал, что никто ее не напечатает, и, разумеется, она вернулась из «Форт-найтли», из «Контемпорари», из «Найнтинс сенчури», и тогда Джейкоб бросил ее в черный деревянный сундук, где у него лежали письма от матери, старые летние брюки и несколько писем с корнуолльским штем-пелем. Над правдой захлопнулась крышка.

Черный деревянный сундук, на котором еще можно было различить его имя, написанное белой краской, стоял в простенке между двумя высокими окнами в гостиной. Они выходили на улицу. Спальня, естественно, помещалась в глубине. Мебель — три плетеных кресла и раздвижной стол — переехала из Кембриджа. Эти дома (один из них принадлежал миссис Уайтхорн, дочери миссис Гарфит) были построены лет полтораста назад. Комнаты приятной формы, высокие потолки, над дверью роза или баранья голова, вырезанные из дерева. У восемнадцатого века есть какое-то особое благородство. Даже панели, покрашенные в малиновый цвет, выглядят благородно...

«Благородство» — миссис Даррант говорила, что у Джейкоба «благородный вид». «Удивительно неловок,— говорила она,— но какой благородный вид». Это слово, несомненно, очень точно соответствует первому впечатлению. Откинувшись в кресле и вынимая трубку изо рта, он говорит Бонами:

— А что касается оперы (потому что с непристойностями они уже покончили)... У этого типа Вагнера...

Благородство — слово, которое напрашивается само собой, хотя, пожалуй, глядя на него, трудно сказать, где его место в театре — в партере, на галерке или в бельэтаже. Писатель? Но он не мнителен. Художник? Что-то в форме рук (по материнской линии он принадлежал к роду вполне древнему и вполне безвестному) указывало на тонкий вкус. А рот... но, разумеется, из всех бесплодных занятий подобное перечисление черт — самое неразумное. Хватило бы одного слова. Но где его взять?

«Мне нравится Джейкоб Фландерс,— записала Клара Даррант в своем дневнике.— Он такой несветский. Он не важничает, и ему можно сказать все, что взбредет в голову, хотя иногда я его боюсь, потому что...» Но мистер Леттс в своих шиллинговых дневниках отводит для записей довольно мало места. А Клара была не из тех, кто залезет на среду. Скромнейшая, правдивейшая из женщин! «Нет, нет, нет,— вздыхала она, стоя у дверей оранжереи,— не разрушь, не испорть» — что? Что-то бесконечно прекрасное.

Но это, конечно, всего лишь слова молодой женщины, к тому же женщины, которая любит или не позволяет себе любить. Ей хотелось, чтобы мгновение того июльского утра длилось вечно. А мгновения не длятся. И сейчас, например, Джейкоб рассказывал, как он однажды путешествовал пешком, и гостиница, где он остановился, называлась «Кипящий горшок», что, если учесть фамилию хозяйки... Они дико захохотали. Шутка была неприличной.

Потом еще Джулия Элиот сказала «молчаливый молодой человек», а так как ей случалось обедать с премьер-министрами, то, разумеется, она имела в виду «если он захочет чего-нибудь добиться в жизни, ему придется обрести дар речи».

Тимоти Даррант вообще никак не высказывался.

Горничная осталась очень довольна чаевыми.

Мнение мистера Сопвита было столь же сентиментально, сколь Кларино, но при этом гораздо ловчее выражено.

Бетти Фландерс обожала Арчера, с нежностью относилась к Джону — в Джейкобе ее необъяснимо раздражала его неуклюжесть.

Капитану Барфуту он нравился больше Арчера и Джона; но вот сказать почему...

Наверное, здесь в равной степени повинны и мужчины и женщины. Наверное, глубоких, беспристрастных и абсолютно справедливых суждений о себе подобных вообще не существует. Либо мы мужчины, либо — женщины. Либо равнодушны, либо увлечены. Либо молоды, либо стареем. В любом случае жизнь — это лишь шествие теней, и одному только Богу известно, почему мы так горячо их обнимаем и с таким страданием с ними расстаемся, если все мы тени. И почему, если

это, а также многое, многое другое верно, почему же все-таки мы, сидя в углу у окна, внезапно с удивлением осознаем, что на всем белом свете нет для нас никого реальнее, осязаемее и понятнее, чем вон тот молодой человек в кресле,— в самом деле почему? Ведь через секунду мы опять о нем ничего не знаем.

Таковы особенности нашего зрения. Таковы условия нашей любви.

(Мне двадцать два года. Кончается октябрь. Жизнь вполне приятна, хотя, к сожалению, вокруг невероятное количество дураков. Надо чем-нибудь заниматься — бог его знает чем. Вообще-то все ужасно весело, кроме того, что приходится утром рано вставать и еще носить фрак.)

— Слушай, Бонами, а что ты думаешь о Бетховене?

(Бонами — удивительный тип. Он знает все на свете — в английской литературе я, конечно, разбираюсь не хуже, но зато он читал всех этих французов.)

— По-моему, Бонами, ты говоришь чушь. Ведь бедняга Теннисон, наоборот...

(Дело в том, что французскому толком не учили. Сейчас, наверное, старина Барфут сидит и разговаривает с матерью. Странные, конечно, у них отношения. Но что-то я не вижу внизу Бонами. Проклятый Лондон!) — под окном громыхали повозки, едущие с рынка.

— А что, если в субботу поехать прогуляться?

(Что у нас в субботу?)

Затем, вытащив записную книжку, он удостоверился, что к Дарантам зван на следующей неделе.

И хотя очень может быть, что все это так в самом деле и было,— так Джейкоб думал и говорил — так клал ногу на ногу — набивал трубку — потягивал виски и один раз заглянул в записную книжку, ероша при этом волосы,— все равно остается что-то, чего никто никому не сумеет передать, разве что сам Джейкоб. Более того, часть этого чего-то — вовсе никакой не Джейкоб, а Ричард Бонами, комната, повозки, едущие с рынка, время суток, данный момент истории. Учтите еще разницу полов — как между мужчиной и женщиной повисает нечто переменчивое, зыбкое, и потому кажется, будто здесь низина, там возвышенность, а на самом деле все, может быть, плоское, как моя ладонь. Даже точно воспроизведенные слова получают неправильные акценты. Но все-таки что-то заставляет нас кружить, как гудящая сумеречная бабочка у входа в таинственную пещеру, и наделять Джейкоба Фландерса всевозможными качествами, которых, наверное, у него и в помине нет,— потому что, хотя он, конечно, сидел и разговаривал с Бонами, половина из того, что он сказал, была так скучна, что повторять не хочется, многое просто непонятно (о незнакомых людях и о парламенте), а остальное — по большей части домысел. И все-таки мы кружим и кружим над ним.

— Да,— сказал капитан Барфут, выбивая трубку о полку в камине Бетти Фландерс и застегивая сюртук,— работы вдвое больше, но я не против.

Он стал теперь членом городского совета. Они посмотрели в окно, за которым был вечер, такой же, как в Лондоне, только прозрачнее. Церковные колокола внизу, в городе, пробили одиннадцать. Дул ветер с моря. Окна в спальнях у всех были темны — спали Пейджи, спали Гарфиты, спали Крэнчи,— а в это время в Лондоне на Парламент-хилл сжигали чучело Гая Фокса.

VI

Пламя пылало вовсю.

— Смотрите, собор видно! — крикнул кто-то.

Когда дрова вспыхнули, на секунду озарился город; с трех других

сторон костер окружали деревья. Среди лиц, выхваченных из тьмы,— молодых, живых, как будто написанных желтыми и красными красками,— самым примечательным было лицо одной девушки. Свет падал так, что казалось, у нее нет тела. Овал лица и волосы висели рядом с костром в темной пустоте. Словно завороженные блеском зелено-голубые глаза пристально смотрели в огонь. Все мускулы лица были напряжены. В том, как она смотрела, ощущалось что-то трагическое; на вид ей было лет двадцать — двадцать пять.

Чья-то рука, возникнув из подвижной темноты, надела ей на голову белый колпак Пьеро. Она дернула головой, не сводя глаз с огня. Над ней появилось лицо с бакенбардами. В костер бросили две ножки от стола и охапку сучьев и листьев. Все это, разгораясь, высветило множество лиц в глубине — круглых, бледных, гладких, бородатых, в котелках, внимательно вглядывающихся; высветило и собор Святого Павла, плывущий в клочковатом белесом тумане, и несколько узких белых как бумага церковных шпилей, похожих на огнетушители.

Огонь продирался сквозь сучья и гудел, когда вдруг взявшиеся бог знает откуда ведра выплеснули воду красивыми выгнутыми струями, похожими на отполированные черепашьи панцири, потом плеснули еще раз и еще, и, в конце концов, раздалось шипение, напоминающее пчелиный улей, и все лица погасли.

— Ах, Джейкоб,— сказала девушка, когда они в темноте поднимались вверх по холму,— я так ужасно несчастна!

Отовсюду доносились раскаты хохота — заливистого, басовитого, кто-то вырывался вперед, кто-то отставал.

Зал в отеле был ярко освещен. Гипсовая оленья голова стояла на одном конце стола, на другом — какой-то римский бюст, размалеванный черным и красным. Он должен был изображать Гая Фокса, которому посвящался праздник. Сидящих за столом соединяли гирлянды бумажных роз, так что когда они, скрестив руки, пели «Забыть ли старую любовь», желто-розовая цепь поднималась и опускалась вдоль всего стола. Страшно громко звенели зеленые бокалы. Встал какой-то молодой человек, и Флоринда, схватив один из огромных фиолетовых шаров, лежащих на столе, швырнула его прямо ему в голову. Шар рассыпался в порошок.

— Я так ужасно несчастна,— сказала она Джейкобу, который сидел с ней рядом.

Стол отправился как будто на невидимых ножках в угол зала, и шарманка, украшенная красной тканью и двумя вазами с бумажными цветами, раскручиваясь, заиграла вальс.

Джейкоб танцевать не умел. Он стоял, прислонившись к стене, и курил трубку.

— Мы считаем,— сказали двое танцующих, отделившись от остальных и низко ему кланяясь,— что вы самый красивый человек на свете.— И они возложили ему на голову бумажные цветы. Потом кто-то принес белый с позолотой стул и усадил его. Проходя мимо, все вешали ему на плечи стеклянные побрякушки, и в конце концов он стал похож на носовое украшение затонувшего корабля. Потом Флоринда взобралась к нему на колени и спрятала лицо в его жилете. Одной рукой он придерживал ее, в другой была трубка.

— Давай поговорим,— сказал Джейкоб, шагая в пятом часу утра шестого ноября вниз по Хаверсток-хилл под руку с Тимми Даррантом,— о чем-нибудь серьезном!

Древние греки — да, вот о чем они говорили — о том, что в конечном счете, когда распробованы все литературы на свете, включая китайскую и русскую (хотя славяне, конечно, все-таки дикари), во рту остается вкус древнегреческой. Даррант цитировал Эсхила, Джейкоб — Софокла. Разумеется, ни один древний грек их бы не понял, и ни один

профессор не удержался бы, чтобы не указать на...— но какое это имеет значение: для чего же еще существует древнегреческий, как не для того, чтобы декламировать стихи, стоя на рассвете на Хаверсток-хилл? И Даррант при этом прислушивался к Софоклу не больше, чем Джейкоб — к Эсхилу. Оба хвастались, ликовали, им обоим казалось, что они прочли все книги на свете, познали все грехи, страсти и радости. Цивилизации стояли вокруг как цветы, готовые к тому, что их вот-вот сорвут. Века плескались у ног как волны, по которым хоть сейчас отправляйся в плавание. И внимательно оглядев все это, маячащее в тумане, в свете фонарей, в сумеречном Лондоне, два молодых человека решили в пользу Древней Греции.

— Может быть,— сказал Джейкоб,— мы единственные люди на земле, которые по-настоящему понимают древних греков.

Они выпили кофе у стойки, где блестели кофейники и вдоль прилавка горели лампочки. Приняв Джейкоба за военного, хозяин рассказал ему про своего сына, который воюет в Гибралтаре, а Джейкоб обругал английскую армию и похвалил герцога Веллингтонского, и они стали дальше спускаться с холма, разговаривая о древних греках.

Странная вещь — если подумать — эта любовь к Древней Греции, расцветающая тайком, исковерканная, подавляемая, но прорывающаяся вдруг, особенно когда выходишь из комнат, набитых людьми, или когда надоедают все печатные тексты, или когда луна плывет по волнам холмов, или в пустые желтоватые бесплодные лондонские дни как спасительное снадобье, блестящий клинок, вечное чудо. Джейкобу его знания древнегреческого хватало лишь на то, чтобы с грехом пополам продраться сквозь пьесу. Из древней истории он вообще ничего не знал. Однако когда они, печатая шаг, входили в Лондон, ему казалось, что у них под ногами звенят каменные плиты на пути в Акрополь и что, если бы Сократ увидел, как они приближаются, он воспрянул бы и сказал «любезные мои друзья», потому что им был так близок самый дух Афин — свободный, бесстрашный, пылкий... Она называла его Джейкобом, не спросив, можно ли. Она сидела у него на коленях. В Древней Греции так поступали все порядочные женщины.

В этот момент воздух взорвался от дрожащего, вибрирующего, жалобного стона, который, казалось, никак не мог набрать полную силу, но протяжно длился, и на этот звук в проулках мрачно распахивались двери, и тяжелой поступью выходили рабочие.

Флоринду тошнило.

Миссис Даррант, как всегда мучаясь бессонницей, поставила значок на полях против каких-то строчек «Ада».

Клара спала, зарывшись головой в подушки, на ее туалетном столике лежали облетевшие розы и пара длинных белых перчаток.

Флоринду, которая так и осталась в белом колпаке Пьеро, тошнило.

Комната ее казалась как будто нарочно созданной для такого рода неприятностей — дешевая, оклеенная обоями горчичного цвета, не то чердак, не то мастерская, причудливо украшенная звездами, вырезанными из серебряной бумаги, валлийскими шляпками и четками, свисающими с газовых рожков. Что касается истории самой Флоринды, то именем своим она была обязана одному художнику, стремившемуся подчеркнуть, что цветок ее девичества еще не сорван. Как бы то ни было, она обходилась без фамилии, а родителей ей заменяла фотография надгробья, под которым, если верить Флоринде, лежал ее отец. Иногда она рассказывала, какого оно размера, кроме того, молва гласила, что отец Флоринды умер от увеличения костей, рост которых ничто не могло остановить, тогда как мать пользовалась расположением кого-то при Дворе,

а порой и сама Флоринда оказывалась королевских кровей, правда, главным образом когда была пьяна. Предоставленная сама себе, к тому же хорошенькая, с трагическим взглядом и детским ртом, она говорила о девственности больше, чем обычно склонны женщины, и обнаруживалось, что либо она ее утратила только накануне, либо все еще дорожит ею больше, чем сердцем в груди, в зависимости от того, с каким мужчиной она разговаривала. Что же, она разговаривала только с мужчинами? Вовсе нет, у нее была задушевная подруга — матушка Стюарт. Стюарты, как указывала эта дама,— фамилия королевской династии, но что отсюда следовало и чем она занималась, никому известно не было; знали только, что по понедельникам миссис Стюарт получает почтовые переводы, что у нее есть попугай и что она верит в переселение душ и умеет гадать по чаинкам. Рядом с целомудрием Флоринды она была как грязные обои в меблированных комнатах.

Утром Флоринда поплакала, а потом целый день гуляла по улицам; постояла в Челси, глядя, как течет река; послонялась у магазинных витрин; несколько раз в омнибусах открывала сумочку и пудрила щеки; читала любовные письма в кондитерской, прислонив их к кувшину с молоком; обнаружила в сахарнице стеклышко; обвинила официантку в том, что та хочет ее отравить; заявила, что молодые люди пялят на нее глаза, а ближе к вечеру вдруг заметила, что бредет по улице, на которой живет Джейкоб, и тут ее осенило, что этот человек, Джейкоб, нравится ей гораздо больше, чем какие-нибудь грязные евреи, и, подсев к его столу (он переписывал свою статью об Этике Непристойности), она стянула перчатки и рассказала ему, как матушка Стюарт ударила ее по голове чехольчиком для чайника.

Джейкоб поверил ей, когда она сказала, что целомудренна. Сидя у камина, она лепетала что-то о знаменитых художниках. Было упомянуто отцовское надгробье. Она казалась сумасбродной, хрупкой, красивой, и такими были женщины в Древней Греции, думал Джейкоб, и это и есть жизнь, а он мужчина, и Флоринда целомудренна.

Она ушла от него, зажав под мышкой томик стихов Шелли. Миссис Стюарт, сказала она, часто говорит о нем.

Как прекрасны простодушные! Верить, что девушка сама по себе стоит выше любой лжи (потому что Джейкоб был не такой дурак, чтобы верить всему), завистливо удивляться ее неприкаянной жизни, по сравнению с которой его собственная кажется такой изнеженной и даже затворнической,— ведь у него под рукой, как дешевые снадобья от всяческих душевных недугов, Адонаис [1] и пьесы Шекспира; воображать себе дружбу, такую пылкую с ее стороны, такую великодушную с его, но в которой оба равны, ведь женщины, думал Джейкоб, такие же люди, как и мужчины,— подобное простодушие и в самом деле прекрасно и, может быть, вовсе не так глупо.

Потому что когда Флоринда вечером пришла домой, она сперва вымыла голову, потом съела несколько штучек шоколадных помадок, затем открыла Шелли. Разумеется, ей стало страшно скучно. Господи, да *о чем* это все? Ей пришлось держать с собой пари, что она сумеет дочитать страницу до конца, прежде чем возьмет еще одну помадку. В результате она уснула. Но ведь у нее был такой длинный день. Матушка Стюарт бросила в голову чехольчик... и на улицах всякие ужасающие сцены; и хотя Флоринда была чудовищно невежественна и вряд ли могла научиться читать как следует даже любовные письма, все-таки она испытывала какие-то чувства, предпочитала одних мужчин другим и вся без остатка отдавалась течению жизни. А сохранила она девственность или нет, видимо, вообще нисколько не важно. Если только, конечно, это не самое важное на свете.

После ее ухода Джейкоб не находил себе места.

---

[1] «Адонаис» — поэма Шелли, посвященная памяти Китса.

Всю ночь неистовствовали мужчины и женщины, взлетая и падая во всем известном ритме. Те, кто поздно возвращались домой, видели тени за шторами и в самых респектабельных предместьях. Не было скверика в снегу или в тумане, в котором не сидели бы парочки. Все пьесы сводились к одному сюжету. В гостиничных номерах почти каждую ночь кто-нибудь пускал себе пулю в лоб по этой самой причине. Но даже если телу удается избежать увечья, редкое сердце уходит в могилу без шрамов. В театрах и романах ни о чем другом практически не говорится. А мы утверждаем, что это не важно.

Да еще тут Шекспир, Адонаис, Моцарт, епископ Беркли — на любой вкус, и факт этот утаивается, и вечера у большинства из нас проходят весьма благопристойно, может быть, только с едва заметной дрожью, как бывает, когда змея проползает в траве. Но и само утаивание отвлекает голову от текстов и звуков. А вот если бы Флоринда соображала хоть немного, она бы, наверное, могла читать внимательнее, чем мы. Она и ей подобные разрешили этот вопрос, превратив его в пустяк вроде ежевечернего мытья рук перед сном, когда единственное, что надо решить — холодной водой их мыть или горячей, а справившись с этим, голова может спокойно заниматься своим делом.

Но Джейкобу вдруг посреди ужина случилось-таки задуматься над тем, соображает ли она вообще.

Они сидели за маленьким столиком в ресторане.

Флоринда поставила локти на стол, устроив подбородок в чашечке ладоней. Плащ ее соскользнул на пол. Она возвышалась над столом, золотая с белым, в ярких бусах, лицо вырастало из тела, как цветок на стебле, невинное, чуть подрумяненное, взгляд, не таясь, блуждал по залу или медленно останавливался на Джейкобе. Она говорила:

— Ты помнишь тот большой черный сундук, который когда-то забыл у меня в комнате австралиец?.. По-моему, меха женщину старят... А вот идет Бехштейн... Я все пыталась себе представить, каким ты был в детстве, Джейкоб.

Она отщипнула кусочек булки и взглянула на него.

— Джейкоб. Ты похож на одну статую... По-моему, в Британском музее есть прелестные вещи. Правда? Там полно прелестных вещей,— говорила она мечтательно. Зал заполнялся, становилось жарко. Разговор в ресторане — все равно что разговор оглушенных сомнамбул: так много всякого вокруг, такой шум, другие разговоры. Можно подслушивать? Да, только *нас* нельзя.

— Она похожа на Эллен Нейгл, вон та девушка...— и так далее.

— Я ужасно счастлива, что с тобой познакомилась, Джейкоб. Ты такой хороший.

Народу в зале все прибывало, разговоры становились громче, ножи звенели сильней.

— Вот знаешь, почему она это говорит...

Флоринда замерла. Все остальные тоже.

— Завтра... воскресенье... мерзкий... врешь... убирайся! — Бац! И выбежала вон.

Голос, взвивавшийся все выше и выше, звучал за соседним с ними столиком. Внезапно женщина сбросила тарелки на пол. Мужчина остался сидеть. Все вокруг жадно глазели.

Затем: «Вот бедняга. Не надо на него смотреть! Ну и дела! Слышала, что она сказала? Да, вид у него дурацкий. Наверное, не оправдал надежд. Вся горчица на скатерти. Даже официанты смеются».

Джейкоб не сводил глаз с Флоринды. Что-то страшно бессмысленное было у нее в лице, когда она так сидела и пялилась.

Она выбежала вон, эта черная женщина с пляшущим пером на шляпе.

Но куда-то она должна была деться. Ночь — ведь это не черный

бурный океан, в котором тонешь и все или плывешь как звезда. Собственно говоря, стояла сырая ноябрьская ночь. Фонари в Сохо отбрасывали на тротуар жирные пятна. В переулках было темно, и, прислонившись к дверям, мужчина или женщина становились невидимыми. Когда Джейкоб с Флориндой приблизились, кто-то двинулся прочь.

— Она уронила перчатку,— сказала Флоринда.

Джейкоб, бросившись вперед, отдал женщине перчатку. Она рассыпалась в благодарностях, пошла в другую сторону, снова уронила перчатку. Но зачем? Для кого?

Куда же тем временем пропала та, другая женщина? А мужчина?

Фонари не настолько мощны, чтобы нам об этом поведать. А голоса, сердитые, похотливые, отчаянные, страстные, едва ли отличаются от ночных голосов запертых в клетках зверей. Но ведь они не в клетках и не звери. Остановите человека, спросите его, как пройти, он вам скажет, но боязно его спрашивать. Чего мы боимся? Человеческого взгляда. Тротуар сразу делается у́же, бездна — глубже. Вот! Они растворились в ней — и мужчина, и женщина. А дальше, назойливо выставляя напоказ свою добродетельную солидность, некий пансион, не задергивая шторы на окнах, приглашает всех желающих удостовериться в здоровье города. Вот они сидят, ярко освещенные, одетые как господа, в бамбуковых креслах. Вдовы коммерсантов старательно доказывают, что они в родстве с судьями. Жены торговцев углем незамедлительно отвечают, что их отцы держали свой выезд. Слуга приносит кофе, и приходится отодвигать корзиночку с вышиваньем. И дальше — сквозь темноту, мимо девушки, торгующей собой, мимо старухи, продающей спички и ничего больше, мимо толпы, выходящей из метро, мимо женщин в вуалях и, наконец, уже мимо одних только запертых дверей с резными косяками и одинокого полицейского Джейкоб с Флориндой под руку вернулся к себе и зажег свет, не говоря ни слова.

— Мне не нравится, когда ты такой,— сказала Флоринда.

Эта проблема неразрешима. Тело привязано к мозгу. Красота сочетается с глупостью. Вот она сидит, уставясь в огонь так же, как тогда уставилась на разбитую горчичницу. Несмотря на то, что он выступал в защиту непристойности, Джейкоб не был уверен, так ли она ему по душе на самом деле. Его вдруг сильно потянуло в мужское общество, к затворническому существованию, к сочинениям классиков. Он готов был гневно обрушиться на того, кто бы он ни был, кто так устроил жизнь.

Потом Флоринда положила ему руку на колено.

В общем-то, она была не виновата. Но эта мысль опечалила его. Вовсе не несчастья, не убийства, не смерти и болезни старят и убивают нас, а то, как люди смотрят, и смеются, и взбираются по ступенькам омнибусов.

Во всяком случае, для глупой женщины сойдет любая отговорка. Он сказал, что у него болит голова.

Но когда она взглянула на него, безмолвно, не то догадываясь, не то что-то поняв, может быть прося прощения, но так или иначе говоря теми же словами, что и он, «Я не виновата», такая стройная и красивая, с лицом под шляпкой словно в ракушке, тогда он понял, что затворничество и классики помочь тут никак не могут. Проблема эта неразрешима.

VII

В это самое время одна торговая фирма, связанная деловыми отношениями с Востоком, выпустила в продажу маленькие бумажные цветы, которые распускались, соприкоснувшись с водой. А так как после еды было принято пользоваться чашами для ополаскивания рук, новинка пришлась как нельзя более кстати. Пестрые цветочки плавали и скользили по поверхности спокойных озер, а иногда, размокнув, тонули и лежали камушками на стеклянном дне. За их судьбой следили внима-

тельные прелестные глаза. Изобретение, которое приводит к союзам сердец и образованию семей, смело можно назвать великим. А ведь именно это и делали бумажные цветы.

Разумеется, не следует думать, что они вытеснили цветы живые. Розы, лилии и, конечно, гвоздики, выглядывая из-за ободков ваз, наблюдали за яркой, но скоротечной жизнью своих искусственных собратьев. Это соображение высказал мистер Стюарт Ормонд, и оно было сочтено очаровательным, вследствие чего полгода спустя Китти Крастер вышла за мистера Ормонда замуж. Но без живых цветов никак не обойтись. Если бы только это удавалось, жизнь человеческая была бы совсем иной. Ведь цветы вянут, особенно хризантемы: вечером выглядят прекрасно, а наутро — желтые, поникшие, смотреть невозможно. В общем, хоть цена, конечно, немыслимая, гвоздики выгоднее всего; единственное, что все-таки непонятно — следует ли скреплять их проволокой. В некоторых магазинах советуют это делать. На балу, естественно, нет другого способа их сохранить, но нужно ли так поступать, когда устраиваешь прием, если в комнатах не очень жарко,— вопрос спорный. Старая миссис Темпл говаривала, что лучше всего взять лист плюща — одного достаточно — и бросить в вазу. Она уверяла, что он целую неделю не дает воде застаиваться. Но есть некоторые основания полагать, что старая миссис Темпл ошибалась.

Визитные карточки, однако, с выгравированными на них именами, представляют собой проблему еще более серьезную, нежели цветы. Из-за них истоптано больше конских ног, истрачено больше кучерских жизней и изведено больше прекрасного послеполуденного времени, чем нам потребовалось, чтобы выиграть битву при Ватерлоо и вдобавок за это поплатиться. Безобразные эти карточки — источник такого же числа роковых отсрочек, бедствий и тревог, как и сама битва. Бывает, миссис Бонем только что вышла, в другой раз она, наоборот, дома. Но даже если от визитных карточек когда-нибудь откажутся, хотя непохоже, все равно останутся необузданные силы, которые ураганами врываются в жизнь, губят утреннее прилежание и возмущают спокойствие полуденных часов,— это, конечно, портнихи и кондитерские магазины. На платье нужно шесть ярдов шелка, но если необходимо выбрать из шестисот фасонов, да еще из тысячи расцветок? И в ту же секунду надо срочно решить, как быть с пудингом с розочками из зеленого крема и бортиками из миндальной пастилы. Его должны были доставить — и не доставили.

По небу мягко, как красно-желтые фламинго, скользили вечерние часы. И неизменно их крылья погружались в полную темноту, например, в Ноттинг-хилле или в окрестностях Клеркенуэлла. Неудивительно, что итальянский язык так и оставался тайной за семью печатями, а рояль всегда играл одну и ту же сонату. Для того чтобы приобрести резиновые чулки для миссис Пейдж, вдовы шестидесяти трех лет, которая получает пятишиллинговое пособие для неимущих и то немногое, чем может помочь ей единственный сын, работающий в красильне мсье Маки и в холодную погоду страдающий грудной болезнью, приходилось писать письма и заполнять колонки тем же круглым разборчивым почерком, которым в дневнике, выпущенном мистером Леттсом, было написано, что погода стоит чудесная, дети — безобразники, а Джейкоб Фландерс — человек несветский. Клара Даррант раздобывала чулки, играла сонату, ставила цветы в вазу, занималась пудингом, оставляла визитные карточки, а когда появилось великое изобретение — бумажные цветы, плавающие в чашах для ополаскивания рук,— была одной из тех, кто особенно восхищался их недолгой жизнью.

Нашлись и поэты, отметившие это событие. Например, Эдвин Маллет написал стихи, которые кончались:

Прочесть ответ во взгляде Хлои,

и которые заставили Клару покраснеть при первом чтении и рассмеяться при втором, потому что это было так похоже на Эдвина — назвать ее Хлоей, когда ее зовут Клара. Эдвин такой смешной! Но когда в одиннадцатом часу дождливого утра Эдвин Маллет принес свою жизнь к ее ногам, она выбежала из комнаты и заперлась в спальне, и Тимоти все утро не мог работать из-за ее рыданий.

— Вот что бывает, когда слишком много развлекаешься,— сурово сказала миссис Даррант, просматривая ее бальную книжечку, всю исчирканную одними и теми же инициалами — на сей раз, правда, другими, Р. Б. вместо Э. М., теперь это был Ричард Бонами, молодой человек с носом как у Веллингтона.

— Но я никогда не выйду замуж за человека, у которого такой нос,— сказала Клара.

— Чушь,— отрезала миссис Даррант.— «Однако я, наверное, чересчур строга»,— подумала она про себя. Потому что Клара, потеряв всю свою веселость. разорвала бальную книжечку и бросила ее в камин.

Вот какие серьезные последствия имело изобретение бумажных цветов, плавающих в чашах.

— Пожалуйста,— сказала Джулия Элиот, занимая место у шторы почти напротив входа,— не знакомьте меня ни с кем. Я люблю быть зрителем. Самое занятное,— продолжала она, сбращаясь к мистеру Салвину, которому из-за его хромоты поставили кресло,— самое занятное на вечере — наблюдать за людьми, как они приходят, уходят, приходят, уходят...

— Прошлый раз мы с вами встречались,— произнес мистер Салвин,— у Фаркуаров. Вот бедняжка, а? С чем только ей приходится мириться!

— Правда, очаровательна? — воскликнула мисс Элиот, когда Клара Даррант проходила мимо них.

— А кто из них?..— спросил мистер Салвин, понижая голос и принимая шутливый тон.

— Их так много,— отвечала мисс Элиот. В дверях стояли три молодых человека, ища глазами хозяйку.

— Вы не помните Элизабет в ее годы, а я помню,— сказал мистер Салвин,— как она водила шотландские хороводы в Банхори. Кларе не хватает материнского темперамента. Она чуть вяловата.

— Какие разные люди здесь бывают! — проговорила мисс Элиот.

— К счастью, мы не обязаны слушаться наших вечерних газет,— сказал мистер Салвин.

— Я их никогда не читаю,— призналась мисс Элиот.— Я ничего не смыслю в политике,— добавила она.

— Рояль настроен,— сообщила Клара, проходя мимо них,— наверное, надо будет кого-нибудь попросить его передвинуть.

— Что, танцевать собираются? — спросил мистер Салвин.

— Вас никто не потревожит,— властным тоном сказала миссис Даррант на ходу.

— Джулия Элиот. Это действительно Джулия Элиот,— произнесла старая леди Хибберт, протягивая обе руки.— И мистер Салвин. Скажите, что с нами будет, мистер Салвин? При всем моем знании английской политики... Боже мой, мистер Салвин, я вспоминала вчера вечером вашего отца, он был одним из старейших моих друзей. Не говорите мне, что десятилетние девочки не влюбляются. Мне не было и тринадцати, когда я знала наизусть всего Шекспира, мистер Салвин!

— Вы шутите! — сказал мистер Салвин.

— Нисколько,— отвечала леди Хибберт.

— Ой, мистер Салвин, простите, пожалуйста...

— Я пересяду, если вы любезно согласитесь дать мне руку,— сказал мистер Салвин.

— Вы будете сидеть рядом с мамой,— заверила его Клара.— По-моему, все перешли сюда... Мисс Эдвардс, позвольте вам представить мистера Калторпа.

— Вы куда-нибудь уезжаете на Рождество? — спросил мистер Калторп.

— Если брат получит отпуск,— ответила мисс Эдвардс.

— В каком он полку? — спросил мистер Калторп.

— В двадцатом гусарском,— ответила мисс Эдвардс.

— Может быть, он знает моего брата? — спросил мистер Калторп.

— Простите, я, кажется, не расслышала вашу фамилию,— ответила мисс Эдвардс.

— Калторп,— сказал мистер Калторп.

— Но где доказательства, что обряд венчания был действительно совершен? — спросил мистер Кросби.

— Нет никаких оснований сомневаться в том, что Чарльз Джеймс Фокс...— начал мистер Берли, но тут миссис Стреттон поведала ему, что хорошо знает его сестру, гостила у нее всего полтора месяца назад и находит ее дом очаровательным, только для зимы чуть холодноватым.

— При том, как нынче девушки себя ведут...— говорила миссис Форстер.

Мистер Боули огляделся, заметил Роуз Шоу, подошел и, простирая к ней руки, спросил: «Ну?»

— Ничего,— ответила она.— Ничего не вышло, хотя я нарочно оставляла их весь день наедине.

— Боже мой, боже мой,— вздохнул мистер Боули.— Я приглашу Джимми к себе завтракать.

— Но кто может устоять перед ней! — воскликнула Роуз Шоу.— Милая Клара, мне не хотелось бы тебя задерживать...

— Вы с мистером Боули о чем-то сплетничаете, я уверена,— сказала Клара.

— Жизнь — ужасна, жизнь — отвратительна! — воскликнула Роуз Шоу.

— В общем, ничего хорошего в этом нет, правда? — говорил Тимми Даррант Джейкобу.

— Женщинам нравится.

— Что нравится женщинам? — вмешалась Шарлотта Уайлдинг, подходя к ним.

— Откуда ты взялась? — удивился Тимоти.— Наверное, была уже где-нибудь в гостях...

— А почему бы и нет? — сказала Шарлотта.

— Спускайтесь все вниз,— велела Клара на ходу.— Веди Шарлотту, Тимоти. Здравствуйте, мистер Фландерс.

— Здравствуйте, мистер Фландерс,— сказала мисс Элиот, протягивая ему руку.— Как вы поживаете?

— Сильвия! Ах, кто ж она,
Та, что всех пленила? —

запела Элсбет Сиддонс.

Все застыли на своих местах или сели, если рядом был свободный стул.

— Ах,— вздохнула Клара, которая на полпути из комнаты остановилась возле Джейкоба.

— Так споем хвалу мы ей,
Сильвии прелестной,
Что пастушек всех милей

В стороне окрестной,
Ей — венки с полей [1],—

пела Элсбет Сиддонс.

— Ах,— воскликнула Клара громко и захлопала в ладоши, не снимая перчаток, и Джейкоб, без перчаток, тоже хлопал, а потом она пошла вперед, чтобы пригласить тех, кто толпился в дверях, пройти в комнату.

— Вы теперь живете в Лондоне? — спросила мисс Джулия Элиот.

— Да,— сказал Джейкоб.

— Снимаете что-нибудь?

— Да.

— А вон мистер Клаттербак. Он всегда здесь бывает. Ему, к сожалению, не очень уютно дома. Говорят, миссис Клаттербак...— Она понизила голос.— Вот почему он так часто гостит у Даррантов.

— Вы ведь были у них, когда ставили пьесу мистера Уэртли? Ах, нет, нет, конечно же, в последний момент вы, кажется, получили... да, вы должны были встретиться с матерью в Харрогите, насколько я помню. В последний момент, да, да, да, когда все уже было готово, и костюмы сшиты, и все... Сейчас Элсбет опять будет петь. А Клара, наверное, будет ей аккомпанировать или переворачивать страницы мистеру Картеру. Ах, нет, мистер Картер играет один... Это Бах,— прошептала она, когда мистер Картер сыграл первые такты.

— Вы любите музыку? — спросила миссис Даррант.

— Да, слушать люблю,— ответил Джейкоб.— Но я совсем в ней не разбираюсь.

— Это очень мало кто умеет,— сказала миссис Даррант.— Вас просто, наверное, этому не учили. Почему это так, сэр Джаспер?.. Сэр Джаспер Бигем — мистер Фландерс. Почему это, сэр Джаспер, никого не учат самым необходимым вещам? — Она ушла, оставив их стоять у стены.

В течение следующих трех минут ни один из джентльменов не произнес ни слова; Джейкоб, правда, двинулся дюймов на пять влево, а потом на столько же вправо. Затем что-то буркнул и быстро пересек комнату.

— Вы не хотите пойти что-нибудь съесть? — спросил он Клару Даррант.

— Да. Мороженое. Немедленно. Сейчас.

Они пошли вниз.

Но на лестнице они встретили мистера и миссис Грешем, Герберта Тернера, Сильвию Рашли и приятеля из Америки, которого те позволили себе привести.— Зная, что миссис Даррант... Чтобы показать мистеру Пилчеру... Мистер Пилчер из Нью-Йорка... А это мисс Даррант.

— О которой я столько слышал,— сказал мистер Пилчер, низко кланяясь.

И Клара его бросила.

VIII

Около половины десятого Джейкоб выходил из дому, хлопала его дверь, хлопали другие двери, покупал газету и садился в омнибус или, если была хорошая погода, шел пешком вместе с другими прохожими. Склонившаяся голова, письменный стол, телефон, книги в зеленых кожаных переплетах, электрический свет... «Подбросить угля, сэр?»... «Чаю, сэр?»... Разговоры о футболе: «Сорвиголовы», «Арлекины»; рассыльный приносит первый вечерний выпуск «Стар», грачи из Грейз инн пролетают в вышине; веточки в тумане тоненькие, ломкие; и сквозь шум машин то и дело доносится голос: «Вердикт!.. — Вердикт!..— Выиг-

[1] Песенка из комедии Шекспира «Два веронца», акт IV, сц. 2.

рано дело!..— Выиграно дело!..» — а письма в корзинке накапливаются. Джейкоб их подписывает, и к вечеру, когда он снова надевает пальто, у него в мозгу оказывается разработана еще одна извилина.

Потом иногда партия в шахматы, иной раз синематограф на Бонд-стрит или просто возвращение домой под руку с Бонами, самой длинной дорогой, чтобы прогуляться: размеренная походка, голова откинута назад, весь мир — зрелище; молодая луна над колокольнями напрашивается на комплименты, высоко парят чайки, Нельсон на своей колонне глядит за горизонт, и мир — наш корабль.

А тем временем письмо бедной Бетти Фландерс, которое успело к вечерней почте, лежало на столе в прихожей — бедной Бетти Фландерс, выводившей на конверте: Джейкобу Алану Фландерсу, эсквайру,— как матери пишут имя сына — жирными голубыми буквами, напоминающими о том, как матери далеко в Скарборо строчат у камина, поставив ноги на решетку, когда после чая уже все убрано, и никак, никак не могут выразить того, что... ну, хотя бы вот этого: «Не знайся с дурными женщинами, будь хорошим мальчиком, носи теплое белье и приезжай, приезжай ко мне».

Но она ничего подобного не писала. «Помнишь ли ты старую мисс Уоргрейв, которая ухаживала за тобой, когда ты болел коклюшем? — писала она.— Она, бедняжка, наконец скончалась. Хорошо было бы, если бы ты им черкнул. Не так давно меня навестила Эллен, мы вместе ходили за покупками и чудесно провели день. Старый Маус еле-еле волочит ноги, приходится помогать ему взбираться даже на небольшие холмики. Ребекка, наконец, после того как не знаю уж сколько мы ее уговаривали, все-таки собралась к мистеру Адамсону, который сказал, что три зуба придется удалить. В этом году такая теплая весна — на грушевых деревьях уже самые настоящие почки. А миссис Джарвис рассказывала...» Миссис Фландерс любила миссис Джарвис, неизменно повторяла, что та пропадает в их глуши, и хоть к сетованиям миссис Джарвис она никогда не прислушивалась, а когда та замолкала, говорила в ответ (подняв глаза, слюня нитку или снимая очки), что если корни ирисов укутать торфом, то мороз им не страшен или что Парроты в следующий вторник устраивают распродажу белья — «не забудьте»,— чувства миссис Джарвис миссис Фландерс понимала прекрасно; а какие интересные письма она о ней писала, если бы можно было прочитать их по порядку, год за годом — неопубликованные сочинения женщин, написанные у камина жирными голубыми буквами, высушенные у огня, потому что промокашка истерлась до дыр, а перо треснуло и засорилось. Потом о капитане Барфуте. Его она называла Капитан, рассказывала о нем без утайки, но все же не вполне свободно. Капитан наводил для нее справки насчет земли у Гарфитов, советовал, каких цыплят приобрести, предсказывал доход или мучился от радикулита, или миссис Барфут неделями оставалась дома, или Капитан считал, что дела — в смысле политики — плохи, потому что, как прекрасно знал Джейкоб, иногда поздним вечером Капитан начинал рассказывать об Ирландии или об Индии, и тут миссис Фландерс погружалась в размышления о Морти, о своем брате, который так давно пропал — схватили ли его туземцы, затонул ли корабль? — тогда бы, наверное, Адмиралтейство поставило ее в известность?.. Капитан, как прекрасно знал Джейкоб, выбивал трубку, подымаясь, чтобы уйти, и с трудом наклонялся за клубком шерсти, закатившимся под стул. Снова и снова обсуждался вопрос о ферме, и она, душой все еще пылкая, хотя ей было уже за пятьдесят, рисовала себе будущие стаи леггорнов, кохинхинок, орпингтонов, подернутых, как Джейкоб, дымкой ее воображения, но таких же крепких, как и он; и, живая, энергичная, она сновала по дому и отчитывала Ребекку.

Письмо лежало на столе в прихожей; Флоринда, придя вечером, захватила его с собой наверх и, целуя Джейкоба, положила на стол; а Джейкоб, узнав почерк, так и оставил его лежать там, под лампой, ме-

жду коробкой с печеньем и табакеркой. Они закрыли за собой дверь спальни.

Гостиная ничего не знала и знать не хотела. Дверь была закрыта, а думать, что скрип означает что-нибудь кроме крысиной возни и пересохшего дерева — просто ребячество. Старые дома — это всего-навсего кирпич и дерево, пропитанные человеческим потом, пронизанные человеческой грязью. Но если бледно-голубой конверт, лежащий около коробки с печеньем, хранил какие-то чувства матери, то этот скрип и внезапный шорох надрывал ей сердце. За дверью была непристойность, там происходило что-то страшное, и ее охватывал ужас, какой бывает при смерти или при родах. Лучше, может быть, ворваться туда и все увидеть своими глазами, чем оставаться за дверью и прислушиваться к тихому скрипу, к внезапному шороху, потому что сердце ее ныло и боль пронзала его. «Сын мой, сын мой»,— закричала бы она, лишь бы только не видеть его распростертым с Флориндой, хотя, конечно, непростительно и неразумно так кричать матери троих детей, живущей в Скарборо. А виновата во всем Флоринда. Когда дверь отворилась и они вышли, миссис Фландерс чуть было на нее не набросилась, только первым показался Джейкоб — в халате, веселый, властный, здоровый и потому красивый, как нагулявшийся младенец, с чистым, незамутненным взглядом. За ним вышла Флоринда, лениво потягиваясь и позевывая, и стала перед зеркалом приводить в порядок волосы, пока Джейкоб читал материнское письмо.

Поговорим о письмах — как они приходят за завтраком или вечером, с желтыми или зелеными марками, которым штемпель дарует бессмертие,— ведь увидеть свое письмо на чужом столе — значит осознать, как скоро наши поступки отделяются и отдаляются от нас. Тут-то, наконец, и становится явной способность сознания жить независимо от тела, и мы боимся своего двойника, лежащего на столе, ненавидим его и даже хотели бы уничтожить. Конечно, есть письма, которые всего лишь сообщают, что ужин в семь, или просят прислать уголь, или назначают встречу. В них и почерк-то едва ощутим, не то что голос или выражение лица. Ах, но всякий раз, когда почтальон стучит в дверь и приходит письмо, кажется, что повторяется чудо — попытка что-то сказать. И письма чтимы от века, бесконечно отважны, одиноки и обречены.

Жизнь без них развалилась бы на части. «Приходите чай пить, приходите ужинать, в чем там дело? слышали новости? весело жить в столице, русский балет...» Вот наши подпорки и корсеты. Они шнуруют наши дни и превращают жизнь в безупречный шар. И все же, все же... когда мы идем в гости, когда, пожимая кончики пальцев, надеемся вскоре увидеться снова, вдруг закрадывается сомнение: а так ли мы проводим свои дни — драгоценные дни, число которых ограничено, и так скоро обнаруживается, что колода уже вся сдана,— пьем чай? ходим в гости? А приглашения накапливаются. А телефоны звонят. И куда бы мы ни поехали, провода и тоннели окружают нас и доносят голоса, которые стараются прорваться, пока не сдана последняя карта и дни не кончились. «Стараются прорваться», потому что, когда мы поднимаем чашку, пожимаем руку, выражаем надежду, что-то нам шепчет: и это все? Я так никогда и не пойму, не овладею, не буду знать наверняка? Неужто мне суждено до конца моих дней лишь писать письма, посылать голоса, которые падают на накрытый стол и замирают в коридоре, договариваясь о встрече, пока жизнь убывает, все ходить в гости и пить чай? А все же письма чтимы от века и телефоны доблестны, потому что наш путь сиротлив, но раз мы связаны письмами и телефонами — значит, мы идем не одни и, пожалуй,— кто знает? — могли бы поговорить по дороге.

Что ж, некоторые пытались. Байрон писал письма. И Купер[1]. Сто-

[1] Уильям Купер (1731—1800) — английский поэт. Его переписка принадлежит к лучшим образцам английского эпистолярного стиля.

летьями письменный стол хранил бумагу, предназначенную специально для общения друзей. Мастера слова, поэты на все времена откладывали нетленные листы ради тех, что обречены на гибель, и, отодвинув поднос с чаем, подсаживались к камину (потому что письма пишутся в тот час, когда темнота сгущается над ярко-красной пещерой) и стремились добраться, дотянуться, прорваться к одному-единственному сердцу. О, если бы только это было возможно! Но слова износились от частого употребления, их хватают, вертят и бросают прямо на пыльную мостовую. Слова, которые мы ищем, висят ближе к стволу. Мы придем на рассвете и увидим — вот они, сладкие, спрятавшиеся в листве.

Миссис Фландерс писала письма; их писала миссис Джарвис; и миссис Даррант тоже; а матушка Стюарт буквально поливала письма духами, добавляя тем самым аромат, которого так недостает нашему языку; Джейкоб в свое время писал длинные письма об искусстве, нравственности и политике товарищам по университету. Письма Клары Даррант были совсем детские. Флоринда... но препятствие, которое вставало между Флориндой и ее пером, было совершенно непреодолимо. Представьте себе бабочку, муху или какое-нибудь другое насекомое с крылышками, прилепившееся к прутику, облепленному грязью, который оно катает по странице. Орфографические ошибки она делала чудовищные. Чувства обнаруживала самые примитивные. Потом почему-то в письмах она оказывалась невероятно набожной. Кроме того, все было перечеркнуто, закапано слезами, несвязно, и оправдать ее могло только одно — что, впрочем, всегда оправдывало Флоринду — ее это волновало. Выразить чувство, которого она не испытывает,— к шоколадным ли помадкам, к теплой ли ванне или к собственному лицу в зеркале — для Флоринды было столь же невозможно, как глотнуть виски. Протест проявлялся бурно. Великие люди говорят правду, и эти шлюшки, которые таращатся на огонь, вытаскивают пудреницы и подкрашивают губы перед зеркальцем, являются (так думал Джейкоб) образцом нерушимой верности.

Потом он увидел, как она сворачивает на Грик-стрит под руку с другим.

Свет дугового фонаря заливал его с головы до ног. Секунду он стоял под ним неподвижно. По мостовой пробегали тени. Другие фигуры порознь и парами текли, переплетались и вытеснили Флоринду и ее спутника.

Свет заливал Джейкоба с головы до ног. Можно было разглядеть узор брючной материи, утолщения на трости, шнурки в ботинках, руки без перчаток и лицо.

Как будто камень размалывался в порошок, как будто белые искры сыпались с лилового точильного камня, помещавшегося у него в позвоночнике, как будто кабинка в американских горах, ухнув в глубину, так и летела, летела, летела вниз. Вот что было у него на лице.

Знаем ли мы, что было у него на душе, другой вопрос. Будучи на десять лет старше и другого пола, прежде всего пугаешься, затем охватывает страстное желание помочь, опрокидывающее здравый смысл, доводы разума и представление о времени суток, вслед за тем — гнев на Флоринду, на судьбу, а дальше ключом бьет ни на чем не основанный оптимизм: «На улице сейчас столько света, что все наши горести можно потопить в золоте!» Какой смысл говорить это? Ведь пока говоришь и оглядываешься назад на Шафтсбери авеню, судьба выдалбливает в нем отметину. Он повернулся, чтобы уйти. Последовать за ним в его комнату... нет, этого мы делать не будем.

Однако именно это мы, разумеется, и делаем. Он вошел и запер дверь, хотя городские часы поблизости едва пробили десять. В десять никто спать не ложится. Но никто и не собирался. Был темный январский вечер, но миссис Уагг стояла у себя на пороге, как будто ожидая, что что-то произойдет. Как бесстыжий соловей в мокрой листве, пела

шарманка. Дети перебегали дорогу. Кое-где за входными дверьми видна была коричневая панельная обшивка... Странно движется мысль под чужими окнами. То ее отвлекает коричневая обшивка, то папоротник в горшке, то она делает несколько тактов вместе с шарманкой, то заражается бесшабашной веселостью пьяного, то просто впитывает в себя слова, которые бедняки кричат друг другу через улицу (так откровенно, так зычно),— но все время словно центр, словно магнит ее притягивает молодой человек, один в своей комнате.

«Жизнь ужасна, жизнь — отвратительна»,— кричала Роуз Шоу.

Что в жизни странно — так это то, что, хотя природа ее, казалось бы, уже сотни лет должна быть очевидна всем и каждому, до сих пор не существует удовлетворительного ее описания. Имеются планы лондонских улиц, но нет карты, на которую нанесены наши страсти. Что будет, если вот здесь завернуть за угол?

«Прямо перед вами — Холборн»,— говорит полицейский. Ах, но куда же попадешь, если, вместо того чтобы пробежать мимо седобородого старика с серебряной медалью и дешевой скрипкой, станешь, не перебивая, слушать его рассказ, который завершится приглашением зайти куда-то, очевидно, в его каморку рядом с Куинз-сквер, и там он покажет тебе коллекцию птичьих яиц и письмо от секретаря принца Уэльского, после чего (пропуская промежуточные этапы) оказываешься однажды зимним днем на Уэссекском побережье, откуда маленькая лодочка направляется к кораблю, а корабль отплывает, и на горизонте видишь Азорские острова, и фламинго подымаются в воздух, и вот уже сидишь, потягивая ромовый пунш, у самого болота, изгнанный цивилизацией, потому что совершил преступление или подцепил, почти наверняка, желтую лихорадку... заканчивайте сами как хотите.

Подобные бездны на нашем непрерывном пути столь же часты, как перекрестки на Холборне. И все-таки мы стараемся двигаться вперед.

Роуз Шоу, немного возбужденно разговаривавшая с мистером Боули на вечере у миссис Даррант несколько дней тому назад, сказала, что жизнь ужасна, потому что мужчина по имени Джимми не хотел жениться на женщине, которую звали (если память не изменяет) Элен Эйткен.

Оба были красивы. Оба предельно скучны. Овальный чайный столик неизменно разделял их, и блюдо с печеньем было единственное, что он за все время ей преподнес. Он кланялся, она склоняла голову. Они танцевали. Танцевал он божественно. Они сидели вдвоем в нише, не произнося ни слова. Ее подушка была мокрой от слез. Добрый мистер Боули и милая Роуз Шоу изумлялись и расстраивались. У Боули была квартира в Олбани [1]. Роуз возрождалась каждый вечер, когда часы били восемь. Все четверо воплощали высшую ступень цивилизации, а если вы станете утверждать, что владение языком тоже входит в наше культурное наследие, вам можно лишь ответить, что красота почти всегда нема. Мужская красота в соединении с женской рождает в наблюдателе чувство страха. Мне часто доводилось встречать их — Элен и Джимми, и сравнивать с плывущими кораблями, и опасаться за свое скромное ремесло. Или, скажем, случалось ли вам видеть великолепных колли, лежащих с поднятыми головами в двадцати ярдах друг от друга? Подавая ему чашку, она ощущала знакомый трепет в бедрах. Боули все понимал и приглашал Джимми к себе на завтрак. Элен, наверное, изливала свои чувства Роуз. Что касается меня, то мне, признаюсь, чрезвычайно трудно разбираться в песнях без слов. А сейчас Джимми кормит ворон во Фландрии, а Элен ходит по госпиталям. Ах, жизнь страшна, жизнь ужасна, как сказала Роуз Шоу.

---

[1] Олбани — фешенебельный дом на Пиккадилли, построенный в 1770 г. и в 1812-м превращенный в «апартаменты для холостых джентльменов». Обитателями Олбани были Байрон, Маколей, Гладстон, а в наше время Дж. Б. Пристли и Грэм Грин.

Лондонские фонари словно подпирают темноту кончиками горящих штыков. Желтый полог провисает и вздувается над огромной кроватью. Пассажиры в почтовых каретах, въезжавшие в Лондон в восемнадцатом веке, глядели вниз сквозь безлиственные ветви и видели, как он пылает под ними. Свет горит за желтыми шторами, за розовыми шторами, и наверху, в полукруглых окошках над дверьми, и внизу, в окнах подвалов. Огни буйствуют на уличном рынке в Сохо. В их полыханье видны кружки из грубого фарфора, куски сырого мяса и шелковые чулки. Грубые голоса вьются вокруг пылающих газовых рожков. Вот они стоят, подбоченясь, и горланят — господа Кеттл и Уилкинсон, а их жены сидят в лавках, укутав шеи в меха, скрестив руки на груди, и презрительно глядят вокруг. Каких только лиц тут нет. Маленький человечек, щупающий мясо, наверное, грелся у огня в бесчисленных ночлежках, и слышал, и видел, и знает столько, что кажется, оно само — причем очень живо — говорит о себе его темными глазами и толстогубым ртом, пока он молча щупает мясо, а лицо его печально как у поэта, хотя он не сложил ни единой песни. Женщины в шалях проносят младенцев с багряными веками, на углах стоят мальчишки, девушки смотрят через дорогу — грубые иллюстрации, картинки в книге, которую мы листаем и листаем, как будто должны, в конце концов, найти то, что ищем. Каждое лицо, каждый магазин, окно комнаты, пивная и темный сквер — лишь лихорадочно перелистываемые картинки — в поисках чего? И с книгами то же самое. Что мы ищем в этих миллионах страниц? И все же, с надеждой переворачивая страницу,— а, вот оно — комната Джейкоба.

Он сидел за столом и читал «Глоб». Розоватый газетный лист растилался перед ним. Он подпирал щеку рукой, так что кожа лица собралась в складки. Он казался страшно суровым, непреклонным и неустрашимым. (Что человеку случается пережить в течение получаса! Но уже ничто не могло его спасти. Такие события определяют особенности нашего ландшафта. Едва ли приезжий не заметит в Лондоне собор Святого Павла.) Он всматривался в жизнь. Эти розоватые и зеленоватые газеты, как тоненькие желатиновые пластинки, ежевечерне накладываемые на мозг и сердце мира. Они вбирают отпечатки со всего. Джейкоб скользил по ним взглядом. Забастовка, убийство, футбол, обнаруженные трупы, крики со всех концов Англии одновременно. Как жаль, что газета «Глоб» не может предложить Джейкобу Фландерсу ничего лучшего! Когда ребенок начинает учиться истории, мы с печальным изумлением слушаем, как своим юным голосом он выговаривает древние слова.

Изложение речи премьер-министра занимало пять с лишним колонок. Порывшись в кармане, Джейкоб вытащил трубку и стал ее набивать. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Джейкоб перешел с газетой к камину. Премьер-министр предлагал меры по введению в Ирландии самоуправления. Джейкоб выбил трубку. Он наверняка думал о самоуправлении Ирландии — это очень сложная проблема. Очень холодный вечер.

Снег, который накануне шел всю ночь, в три часа дня покрывал поля и холм. На вершине холма торчали пучки прошлогодней травы, чернели кусты дрока, то и дело черный озноб пробегал по снегу, когда ветер порывами гнал перед собой смерзшиеся кучки. Свистело, как будто мела метла — шварк, шварк...

Вдоль дороги, никем не видимый, полз ручей. Сучки и листья застряли в замерзшей траве. Небо было угрюмым, а деревья казались сделанными из черного железа. Неколебимой суровостью веяло от всей местности. В четыре часа опять пошел снег. День кончился.

Окошко, светящееся желтым, футах в двух от холма одиноко сражалось с белыми полями и черными деревьями... В шесть часов мужская фигура с фонарем пересекла поле... Плот из веточек, наткнувший-

ся на камень, внезапно оторвался и поплыл к трубе... Снежный ком заскользил и сорвался с еловой ветви... Позже раздался скорбный крик... По дороге проехала машина, расталкивая темноту перед собой... За ней темнота опять сомкнулась.

Периоды полной неподвижности разделяли эти события. Казалось, земля была мертва... Затем старый пастух напряженной походкой пошел назад через поле. Жестко, мучительно ступалось по мерзлой земле, которая отзывалась на каждый шаг словно топчак. Усталые голоса часов всю ночь монотонно отмеряли время.

Джейкоб тоже слышал их, он поворошил уголь в камине. Поднялся. Потянулся. И пошел спать.

IX

Графиня Роксбиер сидела во главе стола наедине с Джейкобом. Вскармливаемая деликатесами и шампанским по меньшей мере двести лет (а если считать по женской линии, то и все четыреста), графиня Люси выглядела вполне откормленной. Нос ее, разборчивый на запахи, был удлинен, словно постоянно принюхивался, нижняя губа выступала узенькой красной полочкой, вместо бровей над маленькими глазками торчали песчаного цвета пучки, а подбородок тяжело повисал. За ее спиной (окно выходило на Гроувнор-сквер) на мостовой стояла Молл Пратт и торговала фиалками, а миссис Хильда Томас, подобрав юбки, собиралась пересечь улицу. Одна жила в Уолуорте, другая — в Патни. Обе были в черных чулках, но при этом миссис Томас еще куталась в меха. Сравнение с ними, безусловно, оказывалось в пользу леди Роксбиер. С чувством юмора у Молл обстояло лучше, но она была вспыльчива, к тому же глупа. Хильда Томас была насквозь фальшива, серебряные рамочки у нее на стенках висели косо, в гостиной стояли рюмки для яйца, а шторы на окнах никогда не поднимались. А вот леди Роксбиер, несмотря на некоторые недостатки своего профиля, когда-то замечательно охотилась с гончими. Она властно держала нож, а курицу, извинившись перед Джейкобом, ела руками.

— Кто это там проезжает? — спросила она Боксалла, своего дворецкого.

— Карета леди Фиттлмир, миледи,— это напомнило ей, что надо оставить визитную карточку и осведомиться о здоровье его светлости. «Грубая старая дама»,— подумал Джейкоб. Вино было превосходно. Она называла себя старухой — «были так любезны пообедать со старухой»,— ему это польстило. Она рассказывала о Джозефе Чемберлене, которого когда-то знала. Сказала, что Джейкоб должен прийти еще раз и познакомиться с... одной нашей знаменитостью. Тут вошла леди Алиса с тремя собаками на поводке, и Джекки бросился обнимать бабушку, а Боксалл принес телеграмму, и Джейкоба угостили отличной сигарой.

За секунду перед прыжком лошадь замедляет шаг, пятится, собирается в комок, вздымается как чудовищная волна и приземляется уже с другой стороны. Полукруг неба и изгородей ухает вниз. Затем, как будто твое тело слито с телом лошади и прыгали твои ноги, сросшиеся с ее передними ногами, ты летишь; разрезая воздух, земля упруга, тела превратились в сплошные мышцы, и при этом ты правишь, застыв с прямой спиной, зорко примериваясь взглядом. Затем качание сменяется нестройными вертикальными ударами молотка, и резким толчком ты останавливаешься, слегка откинувшись назад, разгоряченный, со звоном в ушах, чувствуя, как колотящиеся артерии покрываются льдом, и выдыхаешь: «Уф! Фу! Ох!» — и пар идет от лошадей, когда они толкутся на развилках у столбов с указателями, и женщина в переднике стоит в дверях и смотрит, и мужчина подымается от капустных грядок и тоже смотрит.

Так Джейкоб скакал по эссекским полям, шлепнулся в грязь, отстал от охоты и поехал один, поедая сандвичи, заглядывая за изгороди, впитывая краски, как будто только что положенные, проклиная свое невезение.

Чай он пил в гостинице, и там уже были все, и похлопывали друг друга по спине, и притоптывали, и пропускали друг друга вперед, подстриженные, грубоватые, балагурящие, красные как индюшачьи бородки, не стесняющиеся в выражениях, пока на пороге не появилась миссис Хорсфилд и ее приятельница мисс Даддинг с подобранными юбками и одинаково опущенными на уши волосами. Затем Том Даддинг забарабанил в окно кнутовищем. Во дворе застукал мотор автомобиля. Джентльмены, нащупывая в карманах спички, вышли, и Джейкоб с Брэнди Джонсом пошли в буфет покурить с местными. Там они увидели старого одноглазого Джевонса, с мешком за спиной, в лохмотьях цвета дорожной грязи, мозги которого, казалось, были зарыты глубоко в земле среди корней фиалок и крапивы, Мэри Сандерс с деревянным сундучком и Тома — полоумного сына дьячка, которого послали за пивом,— и все это в тридцати милях от Лондона.

Миссис Папуорт с Энделл-стрит, Ковент-Гарден, приходила убирать к мистеру Бонами на Нью-сквер, Линкольнз инн, и когда она после обеда мыла посуду на кухне, она слышала, как за стеной в комнате разговаривают молодые господа. Опять там был мистер Сандерс, она имела в виду Фландерс; и если старуха, полная любопытства, не может даже имя запомнить правильно, есть ли хоть какой-то шанс, что она сумеет верно изложить суть спора? Споласкивая тарелки под струей воды и составляя их в стопку под шипящим газом, она прислушивалась — до нее долетало, как Сандерс громко говорит тоном, не допускающим возражений,— «добро», говорил он, и «абсолют», и «справедливость», и «возмездие», и «воля большинства». Затем вступил ее хозяин, в споре она болела за него, против Сандерса. Хотя и Сандерс был симпатичный молодой человек (тут остатки еды закружились в раковине, которую выскабливали ее багровые пальцы почти что без ногтей). «Женщины»,— пришло ей в голову, и она задумалась над тем, как дела у Сандерса и ее хозяина по *этой* части, одно веко у нее заметно опустилось, пока она размышляла,— она рожала девять раз — трое родились мертвыми и один глухонемым. Расставляя тарелки на полке, она снова услышала Сандерса. («Не дает Бонами слова вставить»,— вздохнула она.) «Объективное что-то»,— говорил Бонами, и «общность взглядов», и еще что-то — она отметила, что все слова очень длинные. «Из книжек нахватались»,— подумала она и, всовывая руки в рукава кофты, услышала, как что-то — похоже, столик у камина — упало, а затем топ-топ-топ, вроде стали носиться друг за другом по всей комнате, так что зазвенели тарелки.

— Ваш завтрак на завтра, сэр,— сказала она, открывая дверь, и увидела Сандерса и Бонами, которые как два Васанских[1] быка гоняли друг друга туда-сюда и подняли страшный тарарам, двигая попадающиеся под руку стулья. Они и не слыхали, как она вошла. «Дети»,— подумала она.— Ваш завтрак, сэр,— сказала она еще раз, когда они оказались поближе к ней. И Бонами с взлохмаченными волосами и развевающимся галстуком остановился, толкнул Сандерса в кресло и сказал, что мистер Сандерс разбил кофейник и он хотел проучить мистера Сандерса...

И точно, на коврике у камина лежал разбитый кофейник.

«В любой день недели, кроме четверга»,— писала мисс Перри, и это было далеко не первое приглашение. Неужели все дни недели, за исключением четверга, мисс Перри совсем ничего не делала и единственным ее желанием было увидеть сына давней приятельницы? Богатым старым девам время отпускается в виде длинных белых лент. Они их скручивают,

---

[1] См. Псалтирь, 21, 13.

скручивают, скручивают, скручивают с помощью пяти горничных, дворецкого, красивого мексиканского попугая, регулярного питания, библиотеки Мюди и наведывающихся друзей. Она уже была немножко обижена, что Джейкоб так долго не появлялся.

— Ваша матушка,— сказала она,— одна из старейших моих подруг.

Мисс Россетер, которая сидела у камина, защищая щеку от пламени журналом «Спектейтор», все отказывалась взять каминный экран, но в конце концов согласилась. Затем обсудили погоду, потому что из почтения к Парксу, расставлявшему столики, более серьезные темы были отложены. Мисс Россетер обратила внимание Джейкоба на то, как красив шифоньер мисс Перри.

— Так прекрасно умеет выбрать вещь,— сказала она. Мисс Перри отыскала его в Йоркшире. Обсудили север Англии. Когда говорил Джейкоб, они обе внимательно слушали. Мисс Перри как раз старалась припомнить что-нибудь подходящее к случаю и интересное мужчине, когда отворилась дверь и доложили о приходе мистера Бенсона. Теперь в комнате сидело четверо: мисс Перри, шестидесяти шести лет, мисс Россетер, сорока двух, мистер Бенсон, тридцати восьми, и Джейкоб, двадцати пяти.

— Мой друг в порядке, как всегда,— произнес мистер Бенсон, постучав по прутьям попугаевой клетки; одновременно мисс Россетер похвалила чай; Джейкоб протянул не те тарелки, а мисс Перри дала понять, что хочет познакомиться с ним поближе.

— Ваши братья...— начала она неуверенно.

— Арчер и Джон,— подсказал Джейкоб. Затем, к своему огромному удовольствию, она вспомнила имя Ребекки и как однажды, «когда вы все были маленькими мальчиками и играли в гостиной...».

— У мисс Перри ведь есть держалка для чайника,— вмешалась мисс Россетер, и действительно мисс Перри прижимала ее к груди. (В отца Джейкоба она была влюблена, что ли?)

«Так умно» — «хуже чем обычно» — «по-моему, просто несправедливо»,— говорили мистер Бенсон и мисс Россетер, обсуждая субботний «Вестминстер». Ведь они были постоянными участниками конкурсов на приз газеты! Ведь мистер Бенсон трижды выигрывал по гинее, а мисс Россетер один раз десять с половиной шиллингов! Конечно, у Эдварда Бенсона было больное сердце, но участвовать в конкурсах, ласкать попугая, подольщаться к мисс Перри, презирать мисс Россетер, устраивать у себя чаепития (в комнатах в стиле Уистлера, с хорошенькими книжечками на столиках) — все это,— так думал Джейкоб, хотя он совершенно его не знал,— изобличало в нем болвана и ничтожество. Что касается мисс Россетер, она прежде ходила за раковым больным, а теперь писала акварелью.

— Вы так рано убегаете,— неуверенно произнесла мисс Перри.— Я дома каждый день, и если у вас найдется свободная минутка... кроме четверга.

— Я знаю, что вы не забудете ваших старых приятельниц,— проговорила мисс Россетер, а мистер Бенсон наклонился над клеткой с попугаем. И мисс Перри протянула руку к колокольчику...

Огонь горел между двумя колоннами из зеленоватого мрамора, а на каминной полке стояли зеленые часы, которые охраняла Британия, опирающаяся на копье. Что касается картин — девица в большой шляпе протягивала через калитку розы джентльмену, одетому по моде восемнадцатого века. Дог растянулся у обшарпанной двери. Окна внизу были из матового стекла, а шторы — плюшевые и тоже зеленые — аккуратно подвязаны.

Лоретта и Джейкоб сидели рядом на широченных стульях, обитых зеленым плюшем, положив ноги на каминную решетку. На Лоретте была

короткая юбка, а ноги у нее были длинные, худые, в прозрачных чулках. Пальцами она поглаживала лодыжки.

— Не то что я их не понимаю,— говорила она задумчиво.— Надо пойти посмотреть еще раз.

— Когда ты там будешь? — спросил Джейкоб.

Она пожала плечами.

— Завтра?

Нет, не завтра.

— Такая погода, что хочется за город,— сказала она, поглядев через плечо на окно, в котором виднелись задворки высоких домов.

— Жаль, что тебя не было со мной в субботу,— произнес Джейкоб.

— Я когда-то ездила верхом,— ответила она. Она поднялась изящно, спокойно. Джейкоб встал. Она ему улыбнулась. Когда она закрыла дверь, он оставил на каминной полке целую кучу шиллингов.

В общем, вполне осмысленный разговор, вполне пристойная комната, умная девушка. Только в самой мадам, когда она провожала Джейкоба, ощущались та плотоядность, то распутство, та дрожь (в основном в глазах), которая грозит паденьем прямо на мостовую с трудом удерживаемого мешка с грязью. Короче говоря, что-то все-таки было не так.

Совсем недавно рабочие покрыли золотом последнюю букву в имени лорда Маколея, и имена под сводом Британского музея сомкнулись в кольцо. Под ними, довольно далеко внизу, у спиц огромного колеса, сидели сотни живых людей, превращая печатные тексты в рукописные; они иногда поднимались, чтобы справиться в каталоге, и крадучись возвращались на свои места, а молчаливый человек время от времени пополнял запасы в их ячейках.[1]

Случилась небольшая катастрофа. Стопка книг мисс Марчмонт закачалась и упала в ячейку Джейкоба. С мисс Марчмонт такое бывало. Что она искала в миллионах страниц, сидя в своем старом плюшевом платье, в парике бордового цвета, вся в украшениях и вся в цыпках? Порой одно, порой другое — для доказательства ее собственной теории, что цвет есть звук, или, кажется, там было что-то про музыку. И если она никогда не знала, как ответить на этот вопрос, то уж, во всяком случае, не потому, что мало старалась. К себе она вас пригласить не могла — «там, к сожалению, неприбрано»,— поэтому, чтобы изложить свою теорию, ей приходилось либо ловить вас в проходе, либо занимать стул в Гайд-парке. Ритм души объяснялся этой теорией (какие грубияны эти мальчишки! — говорила она) и политика мистера Асквита по ирландскому вопросу, и с Шекспиром это тоже было связано, «а королева Александра однажды милостиво приняла в дар мою книжечку»,— говорила она, величаво отгоняя мальчишек. Но чтобы напечатать ее труд, нужны средства, ведь «издатели — капиталисты, издатели — трусы». И вот, задев локтем стопку книг, она ее опрокинула.

Джейкоб и бровью не повел.

Но Фрейзер, атеист, сидевший с другой стороны, ненавидящий плюш и неоднократно отбивавшийся от попыток всучить ему всякие брошюрки, раздраженно заерзал. Ему была отвратительна любая неопределенность — христианство, например, или идеи настоятеля Паркера. Настоятель Паркер писал книги, а Фрейзер изничтожал их силой логики, и детей своих он не крестил — это тайком в тазике для умывания делала его жена,— но он не обращал на нее внимания и продолжал поддерживать богохульников, распространять брошюры, подбирать факты в Британском музее — всегда в одном и том же клетчатом костюме и оранжевом галстуке, бледный, прыщавый, раздражительный. Да и впрямь, уничтожить религию — дело непростое!

---

[1] Речь идет о Круглом читальном зале в библиотеке Британского музея, оборудованном в 1857 г., когда над открытым внутренним двором Музея был возведен огромный купол.

Джейкоб переписывал большой отрывок из Марло.

Мисс Джулия Хедж, феминистка, ждала, когда ей принесут книги. Их все не несли. Она пососала ручку. Осмотрелась. Взгляд ее упал на последние буквы имени лорда Маколея. Она прочитала их все по кругу — имена великих людей, напоминающие нам... «Черт побери,— сказала Джулия Хедж,— ну вот почему бы им не оставить место для какой-нибудь Джордж Элиот или Бронте?»

Бедная Джулия! Она с горечью сосет ручку и никогда не завязывает шнурки на ботинках. Когда принесли книги, она взялась за свой титанический труд, но все же успела заметить краем воспаленного сознания, как спокойно, бесстрастно и в то же время внимательно трудятся за своими столами мужчины вокруг. Например, этот молодой человек. Но что ему еще делать, кроме как списывать стихи? А она должна изучать статистику. Женщин больше, чем мужчин. Да, но если они станут работать наравне с мужчинами, они будут раньше умирать. Их просто не останется на белом свете. Так она рассуждала. Смерть, и желчь, и горечь тления были на кончике ее пера, и, по мере того как день близился к концу, краска выступала у нее на скулах, глаза разгорались все ярче.

Но что заставило Джейкоба Фландерса читать в Британском музее Марло?

Юность, юность, в чем-то неистовая, в чем-то педантичная. Вот, например, существует мистер Мейсфилд, существует мистер Беннет. Да затолкать их в пламя Марло и сжечь там дотла. Чтоб ни клочка не осталось. Не возиться с посредственностями. Возненавидеть свое время. Создать лучшее. И для осуществления этой цели читать друзьям невыносимо скучные статьи о Марло. Для чего и требуется сличать издания в Британском музее. И сделать это надо самому. Нельзя же доверять викторианцам, которые выхолащивают самую суть, или нынешним — эти просто газетчики, и больше ничего. Плоть и кровь будущего целиком зависят от шести молодых людей. И так как Джейкоб был одним из них, нет ничего удивительного, что, переворачивая страницу, он выглядел величественно и весьма высокомерно и, разумеется, никак не мог понравиться Джулии Хедж.

Но тут мужчина с толстым мучнистым лицом передал Джейкобу записку, и Джейкоб, откинувшись на стуле, стал неловко шепотом с ним разговаривать, а потом они вместе вышли (Джулия Хедж за ними следила) и громко рассмеялись (представила она себе), как только оказались за дверью.

В читальном зале никто не смеялся. Там ерзали, шептались, сконфуженно чихали и внезапно беззастенчиво оглушительно кашляли. Час урока подходил к концу. Служители собирали работы. Лентяям хотелось потянуться. Хорошие ученики продолжали усердно скрипеть перьями — ах, еще один день прошел, а сделано так мало! И время от времени в этом огромном людском собрании раздавался тяжелый вздох, после чего суровый старичок, не стесняясь, кашлял, а мисс Марчмонт испускала лошадиное ржанье.

Джейкоб вернулся как раз, чтобы успеть сдать книги.

Их расставляли по местам. Под сводами было разбросано несколько букв алфавита. Тесным кольцом под куполом расположились Платон, Аристотель, Софокл и Шекспир, литературы Рима, Греции, Китая, Индии, Персии. Одна страница стихов была крепко прижата к другой, одна блестящая буква аккуратно ложилась на другую в плотности смысла, в сосредоточении прекрасного.

— Хочется чаю,— проговорила мисс Марчмонт, забирая свой потертый зонтик.

Мисс Марчмонт хотелось чаю, но она все-таки, как всегда, поддалась искушению взглянуть перед уходом на элгиновские мраморы [1]. Она

---

[1] Коллекция античных скульптур, вывезенных из Афин в 1903 г. графом Элгином.

посмотрела на них сбоку, помахала рукой и пробормотала несколько приветственных слов, отчего Джейкоб и его спутник оглянулись. Она ласково им улыбнулась. Все это входило в ее теорию, что цвет есть звук, или, кажется, там было что-то про музыку. И, исполнив свой обряд, она, прихрамывая, побрела пить чай. Музей закрывался. Посетители стягивались в вестибюль, чтобы взять зонтики.

Читатели, как правило, ждут своей очереди очень терпеливо. Стоишь и ждешь, пока кто-то другой изучает белые кружочки, и отдыхаешь. Зонтик наверняка найдется. А пока вспоминаешь весь день — Маколея, Гоббса, Гиббона, книги в восьмушку, в четверть, в пол-листа, погружаешься все глубже и глубже сквозь пожелтевшие страницы и сафьяновые переплеты в саму плотность мысли, в сосредоточение прекрасного

Трость Джейкоба ничем не отличалась от других — они, наверное, просто перепутали отверстия.

Британский музей похож на гигантскую голову. Представьте себе, что Платон существует там бок о бок с Аристотелем, а Шекспир — с Марло. Эта огромная голова набита такими сокровищами, какие не в силах вместить ни один отдельный ум. Тем не менее (раз они так долго ищут трость) трудно удержаться от мысли, что завтра можно прийти сюда с тетрадью, сесть за стол и все прочитать. Ученых людей всегда уважают — людей вроде Хакстэбла из колледжа Тринити, который, говорят, все письма пишет по-древнегречески и, наверное, сумел бы переспорить Бентли[1]. А ведь есть еще точные науки, живопись, архитектура — гигантская голова.

Трость бросили на стойку. Джейкоб стоял под портиком Британского музея. Шел дождь. Грейт-Рассел-стрит блестела и сияла — тут желтым, там, около аптеки,— красным и голубым. Прохожие, пробегая, жались к стенам, экипажи довольно суматошно грохотали по мостовой. Ну, под таким дождичком пройтись не страшно. Джейкоб шел так, как шел бы за городом, и вечером он уже сидел за столом с трубкой и книгой.

Лил дождь. Британский музей возвышался огромной плотной горой, очень бледный, очень гладкий и блестящий под дождем, меньше чем в четверти мили от него. Огромная голова была покрыта камнем, и в каждой ячейке в ее недрах было сухо и спокойно. Ночные сторожа, направляя фонарики на обложки Платона и Шекспира, следили за тем, чтобы двадцать второго февраля ни пожар, ни крысы, ни грабители не потревожили бы этих сокровищ,— бедные, почтенные сторожа, которые живут с женами и детьми в Кентиш Тауне и десятилетиями беззаветно пекутся о Платоне и Шекспире, а потом покоятся на Хайгейтском кладбище.

Плотно лежит камень над Британским музеем, как прохладная кость над видениями и жаром ума. Только тут ум — это разум Платона и Шекспира; разум, который создал все эти горшки и статуи, огромные печати и маленькие драгоценности и бессчетное число раз пересек туда и сюда реку смерти, ища себе пристанища, то крепко-накрепко спеленывая тело для долгого сна, то кладя монеты на глаза, то обращая ноги к востоку. Платон тем временем продолжает свой диалог, несмотря на дождь, несмотря на свистки экипажей, несмотря на то, что где-то рядом с Грейт-Ормонд-стрит женщина вернулась пьяная домой и кричит целый вечер: «Отоприте! Отоприте!»

Под окнами Джейкоба громко спорили.

Но он читал не отрываясь. Ведь Платон невозмутимо продолжает свой диалог. И Гамлет произносит «Быть или не быть». И лежат всю ночь элгиновские мраморы, и фонарь старого Джонса то высветит Одиссея, то лошадиную морду, а то блеснет золото или впалая желтая щека мумии. Платон и Шекспир не прерываются, и Джейкоб, читая «Федра»[2], слышал людей, горланящих у фонаря, и женщину, которая билась о

---

[1] Ричард Бентли (1662—1742) — ученый и критик, магистр Тринити-колледжа в Кембридже в 1699—1742 гг.

[2] **«Федр»** — диалог Платона.

дверь и кричала «Отоприте!», так, как слышат стук угля, вывалившегося из камина, или мухи, что, упав с потолка, лежит на спинке и никак не может перевернуться.

«Федра» читать очень трудно. Поэтому, когда, в конце концов, начинаешь двигаться свободно, попадая в ритм, шагая вперед, становясь на мгновенье (как кажется) частью этой невозмутимой силы, которая катится, расталкивая темноту перед собой, еще с тех пор как Платон бродил по Акрополю, следить за камином невозможно.

Диалог завершается. Закончено Платоново рассуждение. Оно хранится теперь в голове Джейкоба, и минут пять разум Джейкоба сам двигается вперед в темноту. Затем, поднявшись, он раздвинул шторы и увидел с удивительной ясностью, что Спрингеты напротив уже легли спать, что идет дождь, что у почтового ящика в конце улицы евреи спорят о чем-то с иностранкой.

Всякий раз, когда отворялась дверь и входили новые люди, те, кто уже был в комнате, легонько двигались — стоявшие оглядывались, сидевшие замолкали посредине фразы. А еще свет, вино, гитарные переборы — что-то восхитительное происходило всякий раз, когда отворялась дверь. Кто это там вошел?

— Это Гибсон.

— Художник?

— Ну, рассказывай дальше.

Они рассказывали что-то очень, очень сокровенное, что не могло быть сказано так, сразу. И гул голосов казался маленькой миссис Уидерс трещоткой, вспугивающей стаи птичек, которые взлетали в воздух,— потом снова усаживались, но ей делалось страшно, она трогала рукой волосы, обвивала руками колени и, взволнованно поглядывая на Оливера Скелтона, говорила:

— Обещай, *обещай* мне, что никому не скажешь,— он был так внимателен, так чуток. Она рассказывала о своем муже. Ей казалось, он охладел к ней.

На них обрушилась роскошная Магдалена, загорелая, живая, необъятная, едва касающаяся травы ногами, обутыми в сандалии. Волосы ее разлетались, булавки едва скрепляли развевающиеся шелка. Конечно актриса, непрестанно ощущающая свет рампы. Она произнесла только «милый», но голос ее йодлем разнесся по альпийским ущельям. И она плюхнулась на пол и запела — а что ей было говорить? — посреди восхищенного аханья и оханья. Мангин, поэт, подошел к ней и стоял, глядя на нее сверху вниз, раскуривая трубку. Начались танцы.

Седая миссис Кимер попросила Дика Грейвза объяснить ей, что за человек Мангин, и прибавила, что она столько такого повидала в Париже (Магдалена забралась к нему на колени и сунула трубку себе в рот), что теперь ее ничем не удивишь.

— А это кто? — спросила она, поправляя очки, когда они проходили мимо Джейкоба, потому что он действительно стоял спокойно, но не безразлично, а так, как стоят на пляже, разглядывая людей.

— Ой, милый, можно я на тебя обопрусь? — прыгая на одной ноге, попросила Элен Аскью — у нее на лодыжке развязался серебряный шнурок. Миссис Кимер отвернулась и стала рассматривать картину на стене.

— Погляди на Джейкоба,— сказала Элен (ему для какой-то игры завязывали глаза).

И Дик Грейвз, уже немножко захмелевший, очень верный и очень простодушный, сообщил ей, что, по его мнению, Джейкоб самый великий человек на свете. И они сели, скрестив ноги, на подушки, сброшенные на пол, и поговорили о Джейкобе, и голос Элен дрожал, потому что они оба казались ей героями и их дружба в тысячу раз прекраснее, чем дружба между женщинами. Тут Энтони Поллет пригласил ее танцевать,

и, танцуя, она оглядывалась и смотрела, как они вместе стоят у стола и пьют.

Великолепный мир — живой, нормальный, веселый.

...Эти слова, сказанные в третьем часу январской ночи, были обращены к деревянной мостовой на пути от Хаммерсмита к Холборну. Она стучала под ногами Джейкоба. Мир был великолепным и здоровым, потому что в одной комнате, в бельэтаже, неподалеку от реки, собрались пятьдесят возбужденных, разговорчивых, приветливых людей. А кроме того, быстро идти по улице (вокруг не было ни экипажей, ни полицейских) само по себе упоительно. Длинная петля Пиккадилли, простроченная бриллиантами, лучше всего выглядит, когда на ней ни души. И молодому человеку нечего опасаться. Наоборот, хотя, может быть, он и не сказал ничего блестящего, он уверен, что может за себя постоять. Он был рад, что познакомился с Мангином, восхищен молодой женщиной, сидевшей на полу; они все ему понравились; ему вообще такое нравилось. Короче говоря, били барабаны и пели трубы. На улицах встречались одни только уборщики мусора. Надо ли говорить, как симпатичны были они Джейкобу; с каким удовольствием он отпирал собственную дверь; как ощущал, что с ним в пустой комнате еще человек десять-одиннадцать, которых он не знал, выходя из дому; как он поискал чего-нибудь почитать и нашел, но читать не стал и заснул.

Действительно, барабаны и трубы — это не пустые слова. Действительно, Пиккадилли, и Холборн, и пустая комната, и комната, набитая пятьюдесятью людьми, способны в любую секунду наполнить воздух музыкой. Ну, может быть, женщины впечатлительнее мужчин. Однако ведь об этом вообще редко говорят, и, глядя на толпы, спешащие по мосту Ватерлоо, чтобы успеть на экспресс в Сербитон, можно предположить, что они повинуются голосу рассудка. Нет, нет. Конечно, барабанам и трубам. Правда, если свернешь в маленькую нишу на мосту Ватерлоо, чтобы как следует это обдумать, все, наверное, покажется крайне запутанным и непостижимым.

Они идут по мосту непрекращающимся потоком. Иногда среди телег и омнибусов появится грузовик, который тащит из лесу огромные деревья. Потом, может быть, повозка каменотеса, а в ней надгробия с только что выбитыми надписями, сообщающими, как кто-то любил кого-то, похороненного в Патни. Затем автомобиль впереди резко трогается, и надгробия проскакивают так быстро, что больше ничего не успеваешь прочитать. Все это время безостановочно идет людской поток, он движется со стороны Суррея к Стрэнду и со Стрэнда в сторону Суррея. Кажется, что бедняки совершали набег на город, а теперь тащатся восвояси, как жуки, семенящие в свои норки; вот эта старушка едва ковыляет в направлении Ватерлоо, прижимая к себе блестящую сумочку, словно она выползала на свет, а теперь, прихватив какие-то обглоданные куриные косточки, спешит в свое подземное убежище. А рядом, хотя дует сильный ветер, и к тому же в лицо, идут девушки, которые держатся за руки, и громко поют, и, кажется, не ощущают ни холода, ни стыда. Они простоволосы. Они ликуют.

Ветер вздувает волны. Река мчится внизу, и тем, кто стоит на баржах, приходится всем телом наваливаться на румпель. Черный непромокаемый брезент покрывает выступающую под ним груду золота. Черным поблескивают лавины угля. И, как всегда, на зданиях больших прибрежных отелей подвешены маляры в люльках, а на оконных стеклах уже зажглись точечки света. Другая сторона города побелела, словно от времени, и белый собор Святого Павла нависает над резными, остроконечными или прямоугольными соседними зданиями. Только крест блестит розовой позолотой. Но в каком мы столетии? Или процессия со стороны Суррея к Стрэнду движется вечно? Этот старик идет по мосту

вот уже шестьсот лет, и мальчишки гурьбой бегут за ним следом, потому что он пьян или ослеп с горя и обмотан старыми лохмотьями, какие, наверное, носили еще паломники. Шаркая, он все идет и идет. Никто не стоит на месте. Похоже, мы шагаем под музыку, может быть, ветра и реки, а может быть, опять те самые барабаны и трубы — восторг и шум души. Господи, ведь смеются даже несчастные, и полицейский, нисколько не осуждая пьяницу, добродушно его разглядывает, и снова бегут мальчишки, подпрыгивая на ходу, и служащий из Сомерсет-хауса [1] настроен снисходительно, и человек у книжного лотка, уткнувшийся с середины страницы в «Лотарио» [2], подняв глаза от книги, полон благожелательности, и девушка, поколебавшись на перекрестке, обращает к пьяному ясный, но невидящий взгляд юности.

Ясный, но невидящий. Ей года двадцать два. Одета она бедно. Она переходит улицу, глядя на нарциссы и красные тюльпаны в витрине цветочного магазина. Поколебавшись, направляется к Темпл-Бар. Она идет быстро, но беспрестанно отвлекается. То словно видит все, то ничего не замечает.

X

На заброшенном кладбище прихода Сент-Панкрас Фанни Элмер побродила между белыми надгробиями, привалившимися к стене, ступая на траву, чтобы прочитать фамилии; стремительно двинулась прочь, завидев кладбищенского сторожа; стремительно выбралась на улицу и пошла по ней, то застывая у витрины с синим фарфором, то, как будто чтобы наверстать потраченное время, врываясь в булочную за булочками, потом вернувшись еще и за кексами и снова идя вперед, да так, что, захоти кто за ней угнаться, ему пришлось бы бежать трусцой. Она казалась одетой бедно, но не убого. На ней были шелковые чулки и туфли с серебряными пряжками; правда, красное перо на шляпке повисло и сумочка, видимо, плохо закрывалась, потому что оттуда выпала программка из Музея мадам Тюссо. Ее лодыжки напоминали оленьи. Лица видно не было. Конечно, проворные движения, быстрые взгляды и взмывающие надежды вполне естественны в таких сумерках. Она прошла прямо под окном Джейкоба.

Дом был гладкий, темный, молчаливый. Джейкоб сидел у себя и решал шахматную задачу, поставив доску на табуретку между коленями. Одной рукой он ерошил волосы на затылке. Затем медленно протянул руку, поднял над полем белого ферзя, но поставил его на то же самое место. Набил трубку, подумал, передвинул две пешки, сделал ход белым конем, потом задумался, касаясь пальцем слона. В этот момент Фанни Элмер прошла под его окном.

Она шла позировать художнику Нику Брамему.

Она сидела в цветастой испанской шали, держа в руке желтую книгу.

— Чуть ниже, посвободнее... так... уже лучше... хорошо,— бормотал Брамем; он рисовал ее, и одновременно курил, и, естественно, не мог говорить. Голова его казалась вылепленной скульптором, который сделал ему квадратный лоб, растянул рот и оставил на глине вмятины и полоски от пальцев. Но глаза всегда были открыты. Чуть навыкате, чуть воспаленные, словно от постоянного всматривания, они на секунду встревожились, когда он заговорил, но продолжали всматриваться. Над головой Фанни висела голая электрическая лампочка.

А женская красота подобна солнечному блеску на море, который не может принадлежать одной-единственной волне. Все они загораются,

---

[1] Сомерсет-хаус — Управление налоговых сборов.
[2] «Лотарио» — роман Дизраэли (1870).

все они гаснут. То женщина скучна и толста, как ветчина, то прозрачна, как подвешенное стеклышко. Скучны застывшие лица. Вот леди Венис — выставленная для всеобщего восхищения, но гипсовая и словно пылящаяся на каминной полке. А брюнетка, одетая с иголочки, само совершенство с головы до ног, кажется просто картинкой, положенной в гостиной на стол. Женские лица на улице напоминают игральные карты — внутри ровненько закрашено розовым или желтым и резко обведено по контуру. И вдруг видишь настоящую красоту — она смотрит, высунувшись из чердачного окошка, или прячется в углу омнибуса, или сидит на корточках в канаве,— сияющую красоту, внезапно явившуюся и тут же исчезающую. На нее нельзя рассчитывать, ее нельзя схватить или завернуть в бумагу. И магазины здесь бессильны — видит бог, уж лучше сидеть дома, чем торчать у зеркальных витрин, надеясь, что вот эту ослепительность зеленого или пыланье алого удастся вынести оттуда не погубив. Шелка теряют блеск, как морское стеклышко на блюдце. Так что когда говоришь о красивой женщине, говоришь лишь о том мимолетном, что на секунду выбрало глаза, губы, лицо, скажем, Фанни Элмер, чтобы там просиять.

Она не была красива, пока сидела неподвижно,— нижняя губа выпячена, нос великоват, глаза посажены слишком близко друг к другу. Худенькая, с горящими щеками, темноволосая, сейчас она хмурилась, или просто оцепенела от долгого сидения. Когда Брамем с треском разломил уголь, она вздрогнула. Брамем злился. Он присел у газовой горелки погреть руки. Она тем временем посмотрела на рисунок. Он захмыкал. Фанни накинула халат и поставила чайник.

— Господи, до чего же плохо,— произнес Брамем.

Фанни опустилась на пол, обхватила руками колени и поглядела на него своими прекрасными глазами — да, красота, пролетая по комнате, зажглась на секунду в ее глазах. Глаза Фанни, казалось, спрашивали, жалели, даже — пусть на секунду — любили. Но старалась она напрасно. Брамем ничего не заметил. А когда закипел чайник, она поднялась на ноги, напоминая скорее жеребенка или щенка, чем любящую женщину.

Джейкоб в этот момент подошел к окну и стоял там, засунув руки в карманы. Мистер Спрингет, из дома напротив, вышел на улицу, посмотрел на свою витрину и возвратился обратно. Мимо пробрели дети, заглядываясь на сладкие розовые палочки. Почтовый фургон Пикфорда заворачивал за угол. Маленький мальчик увильнул от кнута. Джейкоб отвернулся. Две минуты спустя он открыл входную дверь и направился в сторону Холборна.

Фанни Элмер сняла с крючка плащ. Ник Брамем отколол свой рисунок и, свернув его трубочкой, сунул под мышку.

Они потушили свет и зашагали по улице, пробираясь среди людей, автомобилей, омнибусов, повозок, пока не оказались на Лестер-сквер пятью минутами раньше, чем туда подошел Джейкоб, потому что ему было чуть дальше идти и на Холборне его задержала толпа, ожидавшая проезда королевского экипажа, так что Ник и Фанни уже стояли, облокотившись о барьер в фойе «Эмпайра»[1], когда Джейкоб, пройдя через распашные двери, стал неподалеку от них.

— Привет, я тебя только сейчас заметил,— сказал Ник еще пять минут спустя.

— Черт возьми,— сказал Джейкоб.

— Мисс Элмер,— представил Ник.

Джейкоб очень неловко вынул трубку изо рта.

Он был очень неловок. И когда они сидели на плюшевом диване, и пускали дым в пространство между собой и сценой, и слушали доносящиеся издалека высокие голоса и заигравший в положенное время ве-

---

[1] Большой концертный зал на Лестер-сквер (сейчас кинотеатр).

селый оркестр, он по-прежнему был неловок, но Фанни только думала: «Какой красивый голос!» Она думала, как мало он сказал, а при этом как уверенно. Она думала, с каким достоинством и отчуждением держатся молодые люди, как они погружены в себя и как можно тихонько сидеть рядом с Джейкобом и смотреть на него. А как он, наверное, похож на маленького мальчика, когда вечером усталый приходит домой, и одновременно как величествен и даже, возможно, чуть деспотичен. «Но я бы не стала уступать»,— думала она. Он поднялся и облокотился о барьер. Дым окутывал его.

А красота молодых людей спокон веку кажется неотъемлемой от дыма даже тогда, когда они со страстью носятся по футбольному полю, гоняют мячик в крикете, танцуют, бегают или шагают по дорогам. Может быть, им суждено вскоре ее потерять. Может быть, они смотрят в глаза далеким героям и лишь полупрезрительно снисходят до нас, думала она (трепеща как скрипичная струна, готовая отдаться музыке и разорваться). Как бы то ни было, они предпочитают молчать, а говорят красиво, каждое слово падает, словно только что вырезанная пластинка, а не дзинь-дзинь-дзинь маленьких гладких монеток, как у девушек; и двигаются так решительно, будто твердо знают, где сколько постоять и когда отойти,— ах, мистер Фландерс просто ходил покупать программки.

— Балет будет в самом конце,— объявил он, возвращаясь к ним.

И правда же славно, продолжала думать Фанни, что молодые люди не засовывают мелочь в кошелек, а достают ее из карманов брюк и рассматривают?

Потом она сама кружилась в белой пачке по сцене, и музыка была танцем и порывом ее собственной души, и в эти стремительные вихри и падения с легкостью вкручивались все механизмы, все шестеренки мира, так казалось ей, когда она стояла неподвижно, облокотившись о барьер в двух футах от Джейкоба Фландерса.

Ее стиснутая в комок черная перчатка упала на пол. Когда Джейкоб протянул ей эту перчатку, она негодующе вздрогнула. Потому что никогда еще на свете не было страсти более безрассудной. И Джейкоб на секунду ее испугался — так отчаянно, так грозно выглядят молодые женщины, когда стоят неподвижно; хватаются за барьер; когда ими овладевает любовь.

Была середина февраля. Крыши Хампстед-Гарден-Саберба[1] тонули в дрожащей дымке. Было так жарко, что не хотелось двигаться. Внизу, в лощине, все лаяла и лаяла собака. Прозрачные тени пробегали по равнине.

Тело, после долгой болезни истомленное, безвольное, тянется к сладкой свежести, но не в силах вобрать ее. Слезы накапливаются и падают, а в лощине лает собака, и дети несутся за обручем, и земля темнеет и светлеет. И все это словно завешено вуалью. Ах, если бы только вуаль была плотнее, а то я сейчас упаду в обморок от этой сладости. Фанни Элмер, сидевшая на скамейке на Джаджес-уок, вздохнула, глядя на Хампстед-Гарден-Саберб. Но собака все лаяла. На дороге гудели автомобили. Она слышала доносившиеся издалека движение и гул. Волнение переполняло ее. Она поднялась и пошла. Трава была молодая, зеленая, солнце припекало. Вокруг пруда дети, наклоняясь, пускали кораблики или ревели, оттаскиваемые няньками.

В полдень на улицу выходят молодые женщины. Мужчины заняты в городе. А они стоят у края синего пруда. Свежий ветер разносит повсюду голоса детей: «*Моих* детей»,— подумала Фанни Элмер. Женщины стоят вокруг пруда, отгоняя больших приплясывающих пуделей. Тихо качается младенец в коляске. Взгляды всех нянек, матерей, прогуливающихся женщин слегка затуманенные, отрешенные. Они тихо кивают, не

[1] Район вблизи парка Хампстед-Хит в Лондоне.

отвечая, когда маленькие мальчики теребят их за юбки и просят идти дальше.

И Фанни пошла дальше и услышала непонятный звук — может быть, свист какого-нибудь рабочего — высоко в воздухе. Нет, в деревьях — это был дрозд, заливающийся в нагретом воздухе, трепещущий от ликованья, но как будто движимый страхом, подумала Фанни; как будто он сам тревожится, что в сердце у него такая радость,— как будто за ним следят, пока он поет, и петь его заставляет смятение. Вон он! Не находя себе места, он перелетел на соседнее дерево. Ей стало чуть хуже слышно. Теперь его пение смешивалось с гулом колес и шумом ветра.

На ленч она потратила десять пенсов.

— Ой, девушка зонтик забыла,— запричитала рябая женщина в стеклянной кабинке у двери в молочном кафе «Экспресс».

— Может, догоню,— ответила Милли Эдвардс, официантка с белесыми косичками, и ринулась к двери.

— Куда там! — сказала она, вернувшись через секунду с дешевым зонтиком Фанни. Она провела рукой по волосам.

— Пропади пропадом эта дверь! — заворчала кассирша.

Ее руки прятались в черных митенках, а распухшие кончики пальцев были похожи на сосиски.

— Одна запеканка с овощами. Кофе большой и оладьи. Яичница с гренками. Два фруктовых кекса.

Все это пронзительными голосами выпаливали официантки. Посетители кафе с одобрением слушали, как повторяется их заказ; нетерпеливо посматривали на соседний столик, куда уже принесли еду; наконец и они получали свою яичницу с гренками. Взгляды их больше не отвлекались.

Влажные сладкие кубики падали в раскрытые рты, словно в треугольные сумки.

Нелли Дженкинсон, машинистка, крошила свой кекс довольно равнодушно. Каждый раз, когда открывалась дверь, она подымала глаза. Что она рассчитывала увидеть?

Торговец углем, не отрываясь, читал «Телеграф»; не глядя, он пошарил чашкой и, не найдя блюдечка, поставил ее прямо на скатерть.

— Вы видели когда-нибудь подобную наглость? — завершила свой рассказ миссис Парсонс, стряхивая крошки с меха.

— Одно молоко с блинчиками. Один чай. Булочка с маслом,— кричали официантки.

Дверь открывалась и закрывалась.

Такова жизнь старших.

Забавно, лежа в лодке, наблюдать за волнами. Вот идут три, ровно, одна за другой, все довольно крупные. Затем вслед за ними торопливо набегает четвертая, огромная, грозная, приподымает лодку, идет дальше и как-то растворяется, ничего не совершив, распластывается вместе с другими.

Что может быть неистовее порыва деревьев в бурю, когда дерево, подаваясь всем стволом снизу доверху, до самых кончиков веток, развевается, и дрожит под обрушивающимся ветром, и, совершенно всклокоченное, никуда, однако, не улетает?

Рожь гнется и ложится на землю, как будто собирается оторваться от своих корней, но не может.

Господи, да прямо из окошка, даже в сумерки видно, как по улице, раскинув руки, с горящими глазами и раскрытым ртом несется что-то набухающее, стремящееся. А потом мы мирно стихаем. Потому что, если бы возбуждение длилось дольше, нас бы сдуло в воздух как пену. Сквозь нас сияли бы звезды. В бурю мы бы падали на землю солеными каплями — такое иногда бывает. Потому что безудержный дух не выносит ни-

какого убаюкивания. Никакого раскачивания, никакого бессмысленного сидения. Никакого притворства, никакого уютного полеживания в добродушной уверенности, что, в сущности, все похожи, камин потрескивает, вино приятно на вкус, всякая чрезмерность — порок.

— Люди ведь в общем такие славные, когда узнаешь их поближе.

— Я не могу думать о ней дурно. Надо же иметь в виду...

Но, например, Ник или Фанни Элмер, безоговорочно доверяя правде данного мгновения, отскакивают прочь, больно задев щеку, и исчезают как маленькие твердые градины.

— Ох,— сказала Фанни, врываясь в мастерскую на сорок пять минут позже назначенного срока потому только, что она слонялась в окрестностях Приютской больницы в надежде увидеть, как Джейкоб пройдет по своей улице, вытащит ключ от входной двери и откроет ее.— Извини, я опоздала,— на что Ник ничего не ответил и Фанни стало все нипочем.

— Я больше не приду! — закричала она в конце концов.

— Ну и не приходи,— сказал Ник, и она убежала, даже не попрощавшись.

Как изящно оно выглядело — это платье в магазине Эвелины неподалеку от Шафтсбери авеню! Было четыре часа дня, прекрасная погода, начало апреля, и неужели Фанни в такую погоду в четыре часа дня станет сидеть в помещении? Другие девушки на этой же самой улице склонялись над бухгалтерскими книгами, устало тянули длинные нити, пришивая кисею к шелку, или под гирляндами в магазине «Суон энд Эдгар»[1] проворно складывали столбиком на обороте счета, пенсы и фартинги, закатывали ярд и три четверти в оберточную бумагу и спрашивали «Что вам угодно?» у следующего покупателя.

В магазине Эвелины неподалеку от Шафтсбери авеню женщина демонстрировалась по частям. В левой руке она держала юбку. Вокруг шеста посредине обвивалось боа из перьев. В строгом порядке, как головы преступников на Темпл-Бар, располагались шляпы — изумрудные, белые, с легкими веночками или кренящиеся под тяжестью ярко покрашенных перьев. А на ковре стояли ее ноги — остроносые золотые или кожаные лакированные с пурпурными прорезями.

Услаждавшая взгляды стольких женщин, одежда к четырем часам дня была засижена мухами ничуть не меньше, чем сахарные кексы в витрине булочной. Ими Фанни тоже полюбовалась.

Но по Джеррард-стрит шагал высокий мужчина в потрепанном пальто. На витрину упала тень — тень Джейкоба, хотя это был не он. И Фанни повернулась и пошла по Джеррард-стрит, расстраиваясь, что так мало читала. Ник вообще ничего не читал и никогда не говорил ни об Ирландии, ни о палате лордов, а уж на его ногти просто смотреть страшно! Она выучит латынь и будет читать Вергилия. Раньше она много читала. Вальтера Скотта, Дюма. В Слейде[2] никто не читает. Но Фанни в Слейде никто не знает и не догадывается, каким пустым ей все там кажется — эта страсть к сережкам, к танцам, к Тонксу и Стиру[3],— тогда как писать картины умеют только французы, говорит Джейкоб. Потому что современные художники ничтожны; живопись — самое презренное из искусств; и стоит ли читать что-нибудь, кроме Марло и Шекспира, говорит Джейкоб, ну и Филдинга, если уж так хочется романы.

— Филдинг,— ответила Фанни. когда продавец на Чаринг-Кросс-роуд спросил, какая книга ее интересует.

Она купила «Тома Джонса».

---

[1] Большой лондонский магазин преимущественно женской одежды на Пиккадилли-серкус.

[2] Школа Слейда — художественное училище при Лондонском университете.

[3] Генри Тонкс (1862—1937) и Филип Уилсон Стир (1860—1942) — английские художники.

В десять часов утра в комнате, которую она снимала вместе с одной учительницей, Фанни Элмер читала «Тома Джонса» — эту загадочную книгу. Ведь эта скучища (думала Фанни) про людей со странными именами и есть то, что нравится Джейкобу. То, что нравится порядочным людям. Небрежно одетые женщины, которые сидят как попало, читают «Тома Джонса» — эту загадочную книгу, потому что в книгах, думала Фанни, есть что-то такое, что, если бы я была образованная, мне бы, наверное, нравилось — нравилось бы гораздо больше, чем сережки и цветы, вздохнула она, вспоминая коридоры Слейда и бал-маскарад на следующей неделе. Ей нечего было надеть.

Есть настоящие люди, думала Фанни Элмер, кладя ноги на каминную полку. Их немного. Может быть, и Ник один из них, только он очень глупый. А женщин таких нет, кроме мисс Сарджент, но она всегда в обед уходит и слишком уж задается. Они тихо сидят по вечерам и читают, думала она. Не ходят в мюзик-холл, не разглядывают витрины, не меняются одеждой, как они с Робертсоном, когда она надевала его жилет, а он ее шаль, а Джейкобу сделать это было бы очень неловко, потому что ему нравился «Том Джонс».

Вот она лежит у нее на коленях, напечатанная в два столбца, купленная за три с половиной пенса, загадочная книга, в которой Генри Филдинг много-много лет назад выговаривал Фанни Элмер за ее любовь к роскоши, да к тому же превосходной прозой, подчеркивал Джейкоб. Ведь он не читал современных романов. Ему нравился «Том Джонс».

— Мне так нравится «Том Джонс»,— сказала Фанни в половине шестого того же апрельского дня, когда Джейкоб, сидящий в кресле напротив, вынул трубку изо рта.

Увы, женщины лгут! Кроме Клары Даррант. Безупречная душа, сама искренность, дева, пригвожденная к скале (где-то рядом с Лаундс-сквер), вечно разливающая чай старичкам в белых жилетах, голубоглазая, глядящая прямо тебе в лицо, играющая Баха. Из знакомых женщин Джейкоб почитал ее больше всех. Но сидеть со знатными дамами в бархате за столом, где стоят бутерброды, и не иметь возможности сказать Кларе Даррант больше того, что говорил мистер Бенсон попугаю, покуда старая мисс Перри разливала чай,— вот уж воистину вопиющее поругание человеческого достоинства и нарушение всяческих приличий или что-то в этом духе. Потому что Джейкоб молчал. Он не сводил глаз с огня. Фанни отложила «Тома Джонса».

Она что-то шила или вязала.

— Что это такое? — спросил Джейкоб.

— В Слейде устраивают маскарад.

И она достала свой головной убор, брюки, туфли с красными кисточками. Что ей надеть?

— А я буду в Париже,— сказал Джейкоб.

Но зачем тогда вообще маскарады, подумала Фанни. Встречаешь одних и тех же людей, надеваешь тот же самый костюм. Мангин напивается, Флоринда сидит у него на коленях. Как она бесстыдно флиртует — сейчас, например, с Ником Брамемом.

— В Париже? — переспросила Фанни.

— По пути в Грецию,— ответил он.

Потому что, добавил он, нет ничего отвратительнее, чем Лондон в мае.

Он забудет ее.

Воробей пролетел за окном, таща соломинку из стога, стоящего у амбара на ферме. Старый коричневый спаниель обнюхивает землю, ища крысу. Уже верхние ветви вязов усыпаны гнездами. Каштаны обмахиваются своими веерами. И бабочки красуются над дорожками в лесу. Может быть, нимфалина пирует, как пишет Моррис, на куче гниющей падали у подножия дуба.

Фанни думала, что все это идет из «Тома Джонса». Он мог один пойти с книжкой в кармане и любоваться барсуками. Садился на поезд

в восемь тридцать и шел пешком всю ночь. Он видел светящихся жуков и приносил домой светлячков в коробочках из-под лекарств. Охотился с шотландскими борзыми. Это все идет из «Тома Джонса», и он поедет в Грецию с книжкой в кармане и забудет ее.

Она потянулась за зеркальцем. Вот ее лицо. А что, если нарядить Джейкоба в чалму? Вот его лицо. Она зажгла лампу. Но так как за окном был день, лампа мало что освещала. И хотя Джейкоб казался грозным и величественным, и готов был вырубить лес, говорил он, и прийти в Слейд и быть турецким рыцарем или римским императором (и дал ей покрасить себе губы черным, и стискивал зубы, и гримасничал перед зеркалом), все-таки рядом лежал «Том Джонс».

XI

— Арчер,— сказала миссис Фландерс с той нежностью, с какой матери обычно говорят о первенцах,— завтра будет в Гибралтаре.

Почта, которую она ждала (прогуливаясь по холму Додс, в то время как разрозненные церковные колокола вызванивали над ее головой мелодию псалма; часы, рассекая кружащийся мотив, пробили четыре раза; трава полиловела под грозовой тучей, а два десятка деревенских домиков бесконечно жалобно съежились под набежавшей тенью), почта со всем разнообразием писем, конвертов, написанных четкими и летящими почерками, то с английскими, то с колониальными марками, а то с поспешно оттиснутой желтой полосой, почта вот-вот должна была разбросать по свету мириады посланий. Есть ли какая-нибудь польза от принятой у нас столь обильной переписки или нет, судить не нам. Но то, что в наши дни письма и в особенности письма молодых людей, путешествующих в чужих краях, как правило, лживы — факт совершенно неоспоримый.

Вот, например, такая сцена.

Перед нами Джейкоб Фландерс, отправившийся за границу и остановившийся на несколько дней в Париже. (В июне прошлого года умерла кузина его матери, старая мисс Бербек, и оставила ему сто фунтов в наследство.)

— Не надо повторять весь этот бред сначала, Краттендон,— рассердился Маллинсон, маленький лысый художник, сидящий за мраморным столиком с лужицами пролитого кофе и кружочками от винных бутылок; он говорил очень быстро и вне всякого сомнения был изрядно пьян.

— Что, Фландерс кончил писать своей барышне? — спросил Краттендон, когда подошел Джейкоб и уселся рядом с ними, держа в руке конверт, адресованный миссис Фландерс, в окрестностях Скарборо, Англия.

— Ты признаешь Веласкеса? — спросил Краттендон.

— Разумеется, признает, а то нет! — сказал Маллинсон.

— Вот, вечно он так,— раздраженно произнес Краттендон.

Джейкоб с подчеркнутой невозмутимостью поглядел на Маллинсона.

— Я тебе назову три величайших произведения из всех когда-либо созданных мировой литературой,— снова заговорил Краттендон.— «Душа моя, виси, как плод»[1],— начал он.

— Что слушать человека, который не любит Веласкеса,— перебил Маллинсон.

— Адольф, больше мистеру Маллинсону вина не приноси,— распорядился Краттендон.

— Ты не прав, ты не прав,— сказал Джейкоб тоном третейского судьи.— Пусть человек напивается, если ему хочется. Это Шекспир,

---

[1] «Цимбелин», акт V, сц. 5.

Краттендон. Тут я с тобой согласен. Шекспир, разумеется, выше всех этих лягушек вместе взятых. «Душа моя, виси, как плод»,— певуче и с выражением начал декламировать он, размахивая бокалом. «Чтоб черт тебя обуглил, беломордый!»[1] — воскликнул он, и вино выплеснулось через край.

— «Душа моя, виси, как плод»,— начали Краттендон с Джейкобом одновременно, и оба расхохотались.

— Проклятые мухи,— проворчал Маллинсон, хлопая себя по лысине,— за кого они меня принимают?

— За какое-нибудь благовоние,— ответил Краттендон.

— Прекрати, Краттендон,— велел Джейкоб.— Он у нас неважно воспитан,— очень любезно пояснил он Маллинсону.— Не дает людям выпить. Слушайте! Я хочу отбивную. Как по-французски отбивная? Отбивную, Адольф! Ты что, балбес, не понимаешь?

— А вторая прекрасная вещь в мировой литературе, скажу я тебе, Фландерс...— проговорил Краттендон, опуская ноги на пол, ставя локти на стол и почти касаясь лицом лица Джейкоба.

— Хи-хи-хи, ха-ха-ха, кошка съела петуха,— перебил Маллинсон, барабаня пальцами по столу.— Самая изы-скан-но прекрасная вещь в мировой литературе... Краттендон — парень очень хороший,— продолжал он доверительно,— но дурачок.— И мотнул головой.

И ни слова об этом не было рассказано миссис Фландерс, и ничегошеньки о том, что происходило потом, когда они, расплатившись, ушли из ресторана и двинулись по бульвару Распай.

А вот еще один отрывок разговора: время действия — около одиннадцати утра; место действия — мастерская, день — воскресенье.

— Уверяю тебя, Фландерс,— говорил Краттендон,— я действительно ставлю эти маленькие вещи Маллинсона не ниже Шардена. И когда я так говорю...— Он надавил на кончик истощавшего тюбика.— Шарден был молодчина... Сейчас он продает их, чтобы расплатиться за обед, но увидишь, что будет, когда за него ухватятся торговые агенты. Он — молодчина, правда, просто молодчина.

— Жизнь, конечно, у вас восхитительная,— сказал Джейкоб,— возиться тут, наверху, с красками. И все-таки, Краттендон, искусство ваше дурацкое.— Он побродил по комнате.— А кстати, этот человек, Пьер Луис[2]...— Он взял в руки книжку.

— Послушайте, сударь, вам не надоело ходить из угла в угол?— спросил Краттендон.

— Вот отличная работа,— произнес Джейкоб, ставя картину на стул.

— А, этим я сто лет назад занимался,— ответил Краттендон, поглядев через плечо.

— По-моему, ты настоящий художник,— сказал Джейкоб спустя некоторое время.

— Если хочешь, я тебе покажу, что я сейчас делаю,— предложил Краттендон, ставя перед Джейкобом картину.— Вот. Вот это. Скорее даже вот это. Вот...— большим пальцем он обвел шар лампы, написанный белым.

— Отличная работа,— сказал Джейкоб, который стоял перед ней, широко расставив ноги.— Но объясни мне, пожалуйста...

В комнату вошла мисс Джинни Карслейк, бледная, веснушчатая, болезненного вида.

— О, Джинни, познакомься Фландерс. Англичанин. Богатый. Со связями. Давай дальше, Фландерс.

Джейкоб молчал.

---

[1] «Макбет», акт V, сц. 3. Перев. Б. Пастернака.

[2] Пьер Луис (1870—1925) — французский писатель.

— Вот *это* — совсем не то, что здесь надо,— заметила Джинни.

— Нет,— ответил Краттендон решительно.— Тут уж ничего не поделаешь.

Он снял картину со стула и поставил на пол, тыльной стороной к ним.

— Прошу садиться, леди и джентльмены. Фландерс, мисс Карслейк из ваших краев. Из Девоншира. Да? А мне показалось, ты говорил Девоншир. Чудесно. Она к тому же дочь церкви. Паршивая овца в своей семье. Мать ей пишет такие письма. Слушай,— у тебя, может, есть с собой? Они обычно по воскресеньям приходят. Знаешь, впечатление как от колокольного звона.

— Вы со всеми художниками познакомились? — спросила Джинни.— Маллинсон, наверное, был пьян? Если пойдете к нему в мастерскую, он вам подарит какую-нибудь картину. Послушай, Тедди...

— Секунду,— сказал Краттендон.— Какое там у нас время года? — Он выглянул в окно.

— По воскресеньям, Фландерс, мы не работаем.

— А он...— спросила Джинни.— Вы...

— Да, он поедет с нами,— сказал Краттендон.

А потом — Версаль.

Джинни стояла на каменном парапете, склонившись над прудом, а Краттендон поддерживал ее, чтобы не свалилась.

— Вон там, вон! — закричала она.— Вон, на самом верху! — Несколько вялых рыбин с покатыми спинами поднялись из глубины, чтобы проглотить крошки, которые она им бросала.— Посмотрите теперь вы,— сказала она, спрыгивая. А затем ослепительно белая вода, бурная, сдавленная, вырвалась в воздух. Заработал фонтан. Сквозь его шум издали донеслись звуки марша. Вся поверхность пруда сморщилась от падающих капель. Голубой воздушный шарик мягко стукнулся о воду. Как сразу же столпились у пруда няньки, дети, и старики, и молодые люди, как они наклонялись и размахивали тростями! И маленькая девочка, протягивая руки, побежала к своему шарику, но он утонул около самого фонтана.

Эдвард Краттендон, Джинни Карслейк и Джейкоб Фландерс шагали втроем по желтой гравиевой дорожке, потом прямо по траве, прошли под деревьями и оказались у беседки, в которой Мария Антуанетта имела обыкновение пить шоколад. Эдвард и Джинни вошли внутрь, а Джейкоб остался стоять, усевшись на ручку трости. Скоро они вышли.

— Ну? — сказал Краттендон, улыбаясь Джейкобу.

Джинни ждала, Эдвард ждал, и оба смотрели на Джейкоба.

— Ну? — сказал Джейкоб, улыбаясь и опираясь о трость обеими руками.

— Пошли,— решил он и двинулся вперед. Остальные двое, улыбаясь, последовали за ним.

А потом они завернули в маленькое кафе, в каком-то переулке, где люди сидели и пили кофе, разглядывали военных и задумчиво стряхивали пепел в пепельницы.

— Нет, он совсем другой человек,— говорила Джинни, сцепив пальцы над своим бокалом.— Вы, наверное, себе не очень представляете, о чем говорит Тед,— сказала она, глядя на Джейкоба.— А я его понимаю. Я иногда готова с собой покончить. Бывает, он лежит в постели целый день — просто лежит... Еще не хватало, прямо на стол! — Она замахала руками. Жирные переливчатые голуби вразвалку ходили у их ног.

— Смотрите, какая у той женщины шляпа,— сказал Краттендон.— Надо же такое придумать... Нет, Фландерс, я бы, наверное, не смог жить, как ты. Ходить по этой улице напротив Британского музея — как она называется? — понимаешь, о чем я? Там все такое... Эти толстые

женщины, и этот, который стоит посреди улицы, как будто с ним сейчас припадок будет...

— Их все здесь кормят,— сказала Джинни, отмахиваясь от голубей.— Дурацкие птицы.

— Не знаю, конечно,— произнес Джейкоб, затягиваясь сигаретой.— А зато там есть собор Святого Павла.

— Я говорю про то, что ты ходишь в свою контору.

— Да черт с ней, с конторой! — запротестовал Джейкоб.

— Нет, ну про тебя что говорить,— сказала Джинни, глядя на Краттендона.— Ты же сумасшедший, ты же только о живописи и думаешь.

— Да, так оно и есть. Ничего не поделаешь. Послушай-ка, а как там насчет пэров, уступит король или нет?

— Да уж ему придется уступить,— ответил Джейкоб.

— Видишь! — воскликнула Джинни.— А он в этом разбирается.

— Понимаешь, я б и жил так, если б мог,— сказал Краттендон,— но я просто не могу.

— Я бы, наверное, смогла,— сказала Джинни,— только так живут все, кто мне не нравится. Я имею в виду — дома. Они же ни о чем другом не разговаривают. Даже люди вроде моей матери.

— Если бы я сюда переехал и стал бы жить здесь...— начал Джейкоб.— Сколько я тебе должен, Краттендон? Ну, ладно. Как хочешь. Вот глупые птицы, когда нужно, так их и нет,— улетели.

И наконец, под дуговыми фонарями у Гар-дез-инвалид, одним из тех непостижимых движений, которые почти неощутимы, но вполне определенны, которые могут либо обидеть, либо остаться незамеченными, но, как правило, вызывают ощущение неловкости, Джинни и Краттендон потянулись друг к другу. Джейкоб остался в стороне. Они должны были проститься. Следовало что-то сказать. Сказано ничего не было. Мимо прошел человек с тележкой, и так близко, что тележка чуть не проехалась по ногам Джейкоба. Когда Джейкоб вернул себе утраченное равновесие, те двое уже отворачивались, хотя Джинни оглядывалась через плечо, а Краттендон, помахав рукой, исчез, как и подобает настоящему гению.

Нет, Джейкоб ничего не рассказал об этом миссис Фландерс, хотя чувствовал — совершенно точно,— что важнее этого ничего на свете нет; а Краттендон и Джинни казались ему самыми замечательными людьми, каких он когда-либо видел,— ведь он, конечно, не мог представить себе, как оно потом обернулось — что Краттендон стал писать фруктовые сады и ему поэтому пришлось жить в Кенте; и хотя теперь он, как будто, мог бы уже распрощаться с яблоневым цветом, потому что жена, ради которой все это делалось, ушла от него к одному писателю,— но нет, Краттендон по-прежнему, свирепо, в одиночестве, пишет фруктовые сады. А Джинни Карслейк, после романа с Лефаню, американским художником, зачастила к индийским философам, а сейчас живет в Италии по разным пансионам и бережно хранит шкатулку для драгоценностей, в которой лежат обыкновенные камушки, подобранные на дороге. Но если внимательно в них вглядеться, говорит она, разнообразие переходит в единство, и это каким-то образом оказывается тайной жизни, что отнюдь не мешает ей следить за тем, как миска с макаронами обходит стол в пансионе, а иногда весенними вечерами она ошарашивает застенчивых молодых англичан своими признаниями.

Джейкобу нечего было скрывать от матери. Просто он сам не мог разобраться в своем удивительном волнении, а уж перенести его на бумагу...

— Письма Джейкоба так на него похожи...— отметила миссис Джарвис, складывая письмо.

— Да, кажется, ему там...— сказала миссис Фландерс и остановилась, потому что кроила платье и ей надо было разгладить выкройку,— ...очень весело.

Миссис Джарвис думала о Париже. Окно за ее спиной было открыто — вечер стоял теплый, безветренный, луна словно была чем-то окутана и яблони застыли совершенно неподвижно.

— Мне не жаль мертвых,— произнесла миссис Джарвис, поправляя у себя за спиной подушку и сплетая руки на затылке. Бетти Фландерс ее не расслышала из-за громкого лязганья ножниц над столом.

— Они обрели покой,— продолжала миссис Джарвис.— А мы проводим дни, занимаясь бессмысленными, никому не нужными вещами, и сами не знаем зачем.

В деревне миссис Джарвис не любили.

— Вы в такое время не ходите гулять? — спросила она у миссис Фландерс.

— Вечер, конечно, удивительно теплый,— ответила миссис Фландерс.

И впрямь, она давным-давно не выходила по вечерам через садовую калитку на холм Додс.

— Совсем сухо,— сказала миссис Джарвис, когда они закрыли за собой калитку и ступили на дерн.

— Я далеко не пойду,— предупредила Бетти Фландерс.— Да, в среду Джейкоб уезжает из Парижа.

— Из них троих Джейкоб всегда был моим любимцем,— проговорила миссис Джарвис.

— Ну, дорогая, я дальше не иду,— сказала миссис Фландерс. Они взобрались на темный холм и оказались у римского лагеря.

У их ног подымался крепостной вал — гладкий, опоясывающий лагерь или могилу. Сколько иголок потеряла здесь Бетти Фландерс! И гранатовую брошку.

— Бывает гораздо лучше видно,— сказала миссис Джарвис, стоя на возвышении. Небо было чистое, но над морем и над пустошами поднималась какая-то дымка. В Скарборо мерцали огни, как будто женщина в бриллиантовом ожерелье поворачивала голову туда-сюда.

— До чего тихо! — вздохнула миссис Джарвис.

Миссис Фландерс носком поводила по дерну, вспоминая гранатовую брошку.

Сегодня миссис Джарвис не хотелось думать о себе. Было так покойно. Ветер улегся, ничто не неслось, не летело, не исчезало. Черные тени неподвижно застыли над серебристыми пустошами. Кусты дрока стояли совершенно неподвижно. И о Боге миссис Джарвис не думала. За ними, впрочем, была церковь. Церковные часы пробили десять. Донеслись ли удары часов до дрока, услышал ли их терновник?

Миссис Фландерс нагнулась и подобрала камушек. Бывает же, что люди что-то находят, подумала миссис Джарвис, однако при таком тусклом лунном свете ничего невозможно разглядеть, только кости и обломки мела.

— Джейкоб купил ее на свои деньги, а потом я повела сюда мистера Паркера полюбоваться видом и, наверное, ее обронила,— бормотала миссис Фландерс.

Что это пошевелилось — кости или заржавевшие мечи? Значит, дешевенькая брошка миссис Фландерс стала навсегда частью этого огромного скопища? И если бы сюда явилась толпа призраков и окружила миссис Фландерс плотным кольцом, разве она не оказалась бы совершенно на своем месте, живая английская матрона, полнеющая с годами?

Часы пробили четверть.

Часы делили время на четверти, и хрупкие волны звука замирали в суровом утеснике и ветках боярышника.

Застывшие широкогрудые вересковые пустоши выслушали утверждение «прошло пятнадцать минут», но сами безмолвствовали, разве что чуть шелестели куманикой.

Но даже и при таком тусклом свете можно прочитать надписи на гробницах, разобрать голоса, слышные лишь мгновение: «Я Берта Рук», «Я Том Гейдж». И еще они сообщают, какого числа умерли, и тут же Новый Завет говорит что-то очень величавое, очень выразительное или утешительное.

И вересковые пустоши принимают и это тоже.

Лунный свет бледной страницей падает на церковную стену и озаряет коленопреклоненную семью в нише и мемориальную доску, установленную в 1780 году в честь сквайра этого прихода, который помогал беднякам и верил в Бога,— так, двигаясь по мраморным скрижалям, повествует размеренный голос, как будто пытающийся запечатлеться во времени и в вольном воздухе.

Из-за кустов утесника крадучись выходит лиса.

Часто, даже по ночам, кажется, что церковь полна народу. Скамьи потерты и засалены, и священники на своих местах, и псалтыри на полочках. Корабль со всей командой на борту. Балки силятся удержать всех мертвых и живых, пахарей, плотников, джентльменов, охотившихся на лис, и крестьян, пахнущих дорожной грязью и спиртным. Их языки хором выговаривают по складам отчетливо звучащие слова, которые испокон веков отсекают время от широкогрудых пустошей. Жалоба и вера, и скорбный напев, отчаяние и ликование, но в основном здравый смысл и хмельное безразличие тяжелой поступью выходят из окон в любое время суток последние пятьсот лет.

И все же, как сказала миссис Джарвис, выйдя на пустоши: «До чего тихо!» Тихо в полдень, если только по вереску не рассыпается во все стороны охота; тихо во второй половине дня, когда слышно лишь, как перегоняют овец; и совсем тихо на пустошах ночью.

Гранатовая брошка упала в траву. Бесшумно крадется лиса. Лист поворачивается ребром. Миссис Джарвис, которой уже пятьдесят, отдыхает в римской крепости в тусклом лунном свете.

— ...а мне,— проговорила миссис Фландерс, выпрямляясь,— никогда не нравился мистер Паркер.

— Мне тоже,— согласилась миссис Джарвис. Они двинулись к дому.

Но над лагерем еще некоторое время витали их голоса. Лунный свет ничего не разрушал. Вересковые пустоши принимали все. И пока стоит надгробье, кричит Том Гейдж. В целости и сохранности пребывают скелеты римлян. И штопальные иглы Бетти Фландерс тоже целы, и ее гранатовая брошка. А иногда в полдень, когда светит солнце, пустошь как нянька перебирает эти маленькие сокровища. Но в полночь, когда никто не разговаривает, и не скачет верхом, и терновник застыл совершенно неподвижно, глупо было бы досаждать пустошам вопросами — что и почему?

Часы, однако, бьют двенадцать.

XII

Вода падала с уступа отвесно как свинец — как цепь с толстыми белыми звеньями. Поезд вылетел на крутой зеленый луг, и Джейкоб увидел тюльпаны с яркими полосами и услышал пение птицы — уже в Италии.

Автомобиль, набитый итальянскими офицерами, катился по ровной дороге, не отставая от поезда и поднимая за собой пыль. Деревья были перевиты виноградными лозами — как у Вергилия. Мелькнула станция, на которой шли пышные проводы, там были женщины в высоких желтых сапожках и странные бледные мальчики в полосатых носках. Вергилиевы пчелы остались где-то над равнинами Ломбардии. Древние

вообще всегда выращивали виноград между вязами. Потом около Милана появились острокрылые ястребы, ярко-коричневые, выделывающие пируэты над крышами.

Итальянские вагоны жутко накаляются под полуденным солнцем, и когда паровоз карабкается на вершину ущелья, кажется, что лязгающая цепь вот-вот не выдержит и разорвется. Выше, выше, выше ползет поезд, как в игрушечной железной дороге. Горные пики покрыты остроконечными деревьями, и на уступах теснятся удивительные белые деревушки. На самом верху непременно какая-нибудь белая башня, плоские крыши с красной оборкой, а под ними малюсенькие домики. Вот уж страна, где не пойдешь прогуляться после чая. Во-первых, травы нет и в помине. По всему склону холма рядами посажены оливковые деревья. Еще только апрель, а земля между ними уже сбилась в сухие, пыльные комья. И нет ни приступок у изгородей, ни тропинок, ни аллей, испещренных лиственной тенью, ни невысоких гостиниц с эркерами, построенных в восемнадцатом веке, в которых подают яичницу с ветчиной. Нет, нет. Италия — это сама жесткость, скудость, нагота и черные священники, шаркающие по дорогам. И еще странно, что то и дело попадаются виллы.

И все же путешествовать одному с сотней фунтов в кармане — прекрасно. А если деньги кончатся, что, вероятно, и произойдет, он двинется в путь пешком. Будет есть хлеб и пить вино — вино в оплетенных соломой бутылках,— потому что, осмотрев Грецию, он собирался еще заскочить в Рим. Римская цивилизация, конечно, не идет ни в какое сравнение с греческой. Но все равно, Бонами сплошь и рядом говорит ерунду. «Надо бы тебе побывать в Афинах»,— скажет он Бонами, когда вернется.— «Стоишь у Парфенона...» — скажет он или: «Развалины Колизея наводят на чрезвычайно возвышенные размышления», которые он подробно станет излагать в письмах. А может даже из этого выйдет статья о цивилизации. Сравнение древних с нынешними, уснащенное убийственными выпадами против мистера Асквита — что-нибудь в духе Гиббона.

Полный человек с трудом протиснулся в дверь купе, весь пропылившийся, мешковатый, увешанный золотыми цепями, и Джейкоб, пожалев о своем нелатинском происхождении, стал смотреть в окно.

Странно, если подумать, что, проехав два дня и две ночи, оказываешься в самом сердце Италии. Среди оливковых деревьев вдруг вырастают виллы; лакеи, поливающие кактусы. Черные экипажи въезжают между помпезными колоннами с налепленными на них гипсовыми щитами. Всего лишь на мгновенье, но с поразительной откровенностью встает жизнь перед глазами иностранца. А вот одинокая вершина, на которую никто никогда не подымается, но ее вижу я, еще совсем недавно кативший в омнибусе по Пиккадилли. И так бы мне хотелось выйти в эти поля, усесться там, и слушать кузнечиков, и набрать пригоршню земли — итальянской земли, ведь даже мои ботинки покрыты итальянской пылью.

Ночью Джейкоб слышал, как выкрикивают названия незнакомых станций. Поезд остановился, и он услышал, что совсем рядом квакают лягушки, и, осторожно оттянув занавеску, увидел огромное странное болото, все белое в лунном свете. В купе пахло сигарным дымом, который плавал вокруг шара с зеленым абажуром. Итальянец храпел, сбросив башмаки и расстегнув жилет... И вдруг вся эта затея с поездкой в Грецию показалась Джейкобу исполненной невыносимой тоски — сидеть одному в отелях и осматривать памятники,— лучше бы он поехал с Тимми Даррантом в Корнуолл...

— М-м,— запротестовал Джейкоб, когда темнота вокруг начала рассеиваться и стал пробиваться свет, но человек тянулся через него, чтобы что-то достать... толстый итальянец в манишке, небритый, потный, тучный, открывал дверь и шел умываться.

Тогда Джейкоб сел и увидел, как по дороге в раннем утреннем свете идет с ружьем поджарый итальянский охотник, и все, что он знал о Парфеноне, вернулось к нему в мгновение ока.

«Вот это да! — сообразил он.— Мы же почти приехали!» И он высунулся из окна, и воздух что есть мочи ударил ему в лицо.

Очень противно, когда двум с лишним десяткам твоих знакомых ничего не стоит с места в карьер сказать что-нибудь существенное о пребывании в Греции, а ты, оказавшись там, решительно никаких чувств не испытываешь. Потому что, умывшись в отеле в Патрах, Джейкоб прошел около мили вдоль трамвайных путей, а затем так же вдоль трамвайных путей вернулся обратно; навстречу ему попадались индюшечьи стаи, вереницы осликов; потом он заблудился на каких-то задворках; ознакомился с рекламой корсетов и консоме Магги; дети наступали ему на ноги; в городе пахло протухшим сыром; и он обрадовался, когда внезапно вышел прямо к своему отелю. Там среди кофейных чашечек лежала старая «Дейли мейл»; он ее прочитал. А чем заняться после обеда?

Несомненно, в целом нам было бы гораздо хуже, чем теперь, не будь у нас этой удивительной способности к иллюзиям. Лет в двенадцать или около того, когда куклы заброшены, а паровозики переломаны, Франция, а еще вероятнее, Италия, а уж Индия почти наверняка, поражает наше воспаленное воображение. Тетушки бывали в Риме, и у всех, разумеется, есть дядя, последние вести о котором — вот бедняга! — дошли из Рангуна. Он теперь не приедет никогда. Но миф о Греции начинают гувернантки. Посмотри, что за голова (говорят они), видишь, нос прямой как стрела, кудри, брови — все такое мужественное, красивое, а на ногах и на руках у него линии, которые означают высшую ступень развития,— ведь для древних греков тело было не менее важно, чем лицо. А еще древние греки умели так писать фрукты, что птицы пытались их клевать. Сначала читаешь Ксенофонта, потом Еврипида. И однажды — господи, какое это было событие! — все, о чем ты раньше слышал, наполняется для тебя смыслом, «греческий дух», греческое то, другое, третье; хотя, конечно, просто нелепо полагать, будто кто-нибудь из древних греков может сравниться с Шекспиром. Суть, однако, в том, что мы получаем воспитание, основанное на иллюзиях.

Джейкоб, несомненно, думал что-то подобное, держа в руке скомканную «Дейли мейл», вытянув ноги, являя собой олицетворение скуки.

«Но так нас воспитывают»,— продолжал думать он.

И все это показалось ему омерзительным. Следовало что-то с этим делать. И если сперва у него было просто подавленное настроение, то теперь он затосковал так, как тоскуют смертники. Клара Даррант бросила его тогда на вечере и стала разговаривать с американцем по имени Пилчард. А он зачем-то уехал в Грецию и бросил ее. Там у них все были в вечерних туалетах и несли чушь — боже, какую страшную чушь,— и он потянулся к «Глоб троттеру», международному журналу, который владельцы отелей получают бесплатно.

Несмотря на весь свой упадок современная Греция чрезвычайно продвинулась в развитии трамвайной сети, так что, пока Джейкоб сидел в гостиной отеля, трамваи под окнами лязгали, тренькали, повелительно звонили, звонили, звонили, чтобы прогнать с дороги осликов или старуху, не желавшую пошевелиться. Проклятье относилось к цивилизации в целом.

Но служитель отеля и на проклятье никакого внимания не обратил. Грязный тип по имени Аристотель, плотоядно интересующийся телом единственного жильца, занимающего сейчас единственное кресло, нарочито шумно зашел в гостиную, что-то поставил, что-то подправил и убедился, что Джейкоб все еще сидит там.

— Мне нужно, чтобы завтра меня рано разбудили,— бросил Джейкоб через плечо.— Я еду в Олимпию.

Это уныние, эта капитуляция перед темными водами, захлестывающими нас,— порождение наших дней. Может быть, как говорит Кратендон, мы мало во что верим. Отцам нашим по крайней мере было что разрушать. Нам, впрочем, тоже кое-что осталось,— подумал Джейкоб, комкая «Дейли мейл». Он станет членом парламента и будет выступать с блестящими речами... но разве могут помочь блестящие речи и парламент, если ты хоть на дюйм отступил перед черными водами. Конечно, еще никто не сумел объяснить эти приливы и отливы в наших жилах — ощущения счастья и несчастья. Джейкоб совсем не исключал, что за ними кроется благопристойность, и вечера, на которые надо специально одеваться, и страшные трущобы за Грейз инн — нечто прочное, неподвижное, абсурдное. Да и Британская империя начинала его озадачивать, и не вполне он был уверен в правильности решения о самоуправлении Ирландии. Что там об этом пишет «Дейли мейл»?

Он стал взрослым мужчиной и вот-вот должен был с головой уйти во всякие дела — даже горничная, которая выливала за ним тазик для умывания и трогала ключи, запонки, карандаши и пузырьки с лекарствами, разбросанные на туалетном столике, ощущала это.

То, что он стал взрослым мужчиной, понимала Флоринда, так, как она понимала и все остальное,— интуитивно.

И Бетти Фландерс немедленно это заподозрила, читая его письмо, отправленное из Милана, в котором говорилось «вовсе не о том,— жаловалась она миссис Джарвис,— что мне хотелось бы знать», но она долго над ним размышляла.

Фанни Элмер чувствовала это очень остро. Он ведь возьмет трость и шляпу и отойдет к окну с таким рассеянным, но страшно суровым видом, представляла себе она.

— Пойду,— скажет он,— напрошусь на угощение к Бонами.

— Во всяком случае, у меня всегда остается возможность утопиться в Темзе,— заплакала Фанни, стремительно проходя мимо здания Приютской больницы.

«Но «Дейли мейл» доверять нельзя»,— сказал себе Джейкоб, ища глазами, чего бы еще почитать. И он снова вздохнул, потому что действительно был в таком глубоком унынии, что, наверное, оно уже давно сидело в нем, готовое в любую минуту подступить к сердцу, и это, в общем, не могло не удивлять в человеке, который так умел наслаждаться жизнью, не обнаруживал особой склонности к самоанализу, но, конечно, был до мозга костей романтиком,— размышлял Бонами, сидя у себя в Линкольнз инн.

«Влюбится там,— размышлял Бонами,— в какую-нибудь гречанку с прямым носом».

Потому что из Патр Джейкоб написал Бонами — Бонами, который не влюблялся в женщин и никогда не читал дурацких книжек.

Ведь хороших книг, в сущности, очень мало; не станем же мы относить к ним пространные исторические повествования, записки о путешествиях к истокам Нила в повозках, запряженных мулами, или болтливую беллетристику.

Мне нравятся книги, достоинства которых все собраны на одной-двух страницах. Мне нравятся фразы, которые с места не сойдут, хотя бы сквозь них шагали армии. Мне нравится, когда слова жестки,— таковы были взгляды Бонами,— и они обеспечили ему неприязнь тех, кто предпочитает свежую утреннюю поросль, кто распахивает окно и видит маки, распустившиеся на солнце, и не может сдержать ликующие возгласы по поводу поразительного богатства английской литературы. Но это было Бонами глубоко чуждо. А то, что его литературные пристрастия влияли и на отношения с людьми, делая его молчаливым, скрытным, привередливым и не испытывающим стеснения лишь в обществе

нескольких молодых людей, которые думали так же, как и он, ставилось ему в вину.

Но при этом Джейкоб Фландерс думал вовсе не так, как он,— далеко не так, вздохнул Бонами, откладывая в сторону тонкие листы почтовой бумаги и погружаясь в размышление о характере Джейкоба,— уже не в первый раз.

Самое ужасное заключалось в этой его романтической жилке. «Но в сочетании с глупостью, которая доводит его до таких нелепых мучений,— думал Бонами,— есть что-то, что-то такое...» — он вздохнул, потому что никого на свете не любил так сильно, как Джейкоба.

Джейкоб подошел к окну и остановился, держа руки в карманах. Он увидел трех греков в юбочках, корабельные мачты, праздных и озабоченных людей из низшего сословия, которые прогуливались, или деловито куда-то шли, или, собравшись в кружок, энергично жестикулировали. Им не было до него никакого дела, но не это порождало его уныние, а другое, более глубокое ощущение — то есть не то, что ему случилось испытать одиночество, а то, что люди вообще одиноки.

И все же на следующий день, когда поезд медленно объезжал холм по дороге в Олимпию, в виноградниках видны были греческие крестьянки, а на станциях сидели старые греки и потягивали сладкое вино. И хотя Джейкоб по-прежнему пребывал в унынии, он никогда раньше не подозревал, как восхитительно быть совсем одному, за пределами Англии, когда ты ни с кем и ни с чем не связан и сам себе хозяин. По дороге в Олимпию видишь голые остроконечные холмы и синее море в треугольных пространствах между ними. Немножко похоже на корнуолльское побережье. А что, если пройтись денек пешком, выбраться на эту дорогу и шагать по ней между кустами — или здесь такие маленькие деревья? — и подняться на гору, с которой можно разглядеть половину народов античности...

— Так,— сказал Джейкоб вслух, потому что ехал в пустом вагоне,— посмотрим-ка на карту.

Хорошо это или плохо, но невозможно отрицать, что внутри у нас живет дикая лошадь. Скакать, не зная удержу, упасть в изнеможении на песок, почувствовать, как вращается земля, испытать — буквально — прилив любви к камням и травам, как будто с человечеством покончено, и пусть мужчины и женщины катятся ко всем чертям,— что ни говори, а подобное желание охватывает нас довольно-таки часто.

Вечерний воздух слегка поколебал грязные занавески в окне отеля в Олимпии.

«Я всех люблю,— думала миссис Уэнтуорт-Уильямс,— и больше всех — бедняков... крестьян, бредущих вечером с ношей. И все так нежно, туманно и очень грустно. Грустно, грустно. Но все имеет смысл»,— думала Сандра Уэнтуорт-Уильямс, чуть поднимая голову, очень красивая, печальная и взволнованная. «Нужно все любить».

Она держала в руках книжечку, удобную в дороге — рассказы Чехова,— и стояла, опустив вуаль, одетая в белое, у окна отеля в Олимпии. Какой прекрасный был вечер, и красота его сливалась с ее красотой. Трагедия Греции — трагедия всех возвышенных душ. Неизбежный компромисс. Казалось, она поняла что-то важное. Она это запишет. И, подсев к столу, за которым, читая, сидел ее муж, она подперла подбородок ладонями и задумалась о крестьянах, о страдании, о своей красоте, о неизбежном компромиссе и о том, как она это запишет. И Эван Уильямс, закрывая книгу и откладывая ее в сторону, чтобы освободить место для тарелок с супом, которые сейчас ставили перед ними, не сказал ничего грубого, ничего банального или неумного. Только его потупленный взгляд, похожий на собачий, и обвисшие желтовато-бледные щеки выражали скорбное терпение и убежденность в том, что, хотя он живет осмотрительно и осторожно, ему все же никогда не удастся до-

стичь ни одной из тех целей, которые, по его мнению, относятся к достойным. Предупредительность его была безупречна, молчание — неколебимо.

— Кажется, что все исполнено глубокого смысла,— сказала Сандра. Но как только она заговорила, чары рассеялись. Она забыла о крестьянах. Осталось лишь ощущение собственной красоты — и, к счастью, перед ней висело зеркало.

«Я очень красива»,— подумала она.

Она слегка сдвинула шляпу. Ее муж увидел, что она смотрится в зеркало, и признал, что красота важна, она передается по наследству, ее невозможно игнорировать; но она же и разобщает, и, по правде говоря, она скучна. И он доел свой суп, по-прежнему глядя в окно.

— Куропатки,— лениво сказала миссис Уэнтуорт-Уильямс.— А потом, наверное, козленок, а еще...

— Очевидно, карамелевый крем,— в тон ей продолжал ее муж, уже держа наготове зубочистку.

Она опустила ложку в тарелку, и суп унесли недоеденным. Все она делала с достоинством, поскольку принадлежала к тому английскому типу, который очень похож на греческий, с той только разницей, что перед ним снимают шляпу деревенские жители, и его почитают в семействе священника, и старшие и младшие садовники уважительно вытягиваются, когда воскресным утром она, прогуливаясь у каменных ваз с премьер-министром, спускается с широкой террасы сорвать розу,— и, может быть, именно это она и пыталась забыть, когда взгляд ее блуждал по столовой в гостинице в Олимпии, отыскивая окно, где лежала ее книжка, где всего несколько минут назад она что-то для себя открыла — что-то очень-очень глубокое о любви, и грусти, и крестьянах.

Однако вздохнула не она, а Эван, и это не был вздох отчаяния или, например, возмущения. Но будучи одновременно самым честолюбивым и самым инертным человеком на свете, он еще ничегошеньки не совершил, хотя знал политическую историю Англии как свои пять пальцев и, проводя немало часов в обществе Чатама, Питта, Бёрка и Чарльза Джеймса Фокса [1], не мог не сравнивать себя и свое время с ними и с их временем. «И все же никогда прежде великие люди не были нужны так, как сегодня»,— обычно говорил он себе со вздохом. И вот он сидел, ковыряя в зубах, в гостинице, в Олимпии. Наконец он покончил с этим. А взгляд Сандры все еще блуждал.

— Розовые дыни наверняка опасны для желудка,— произнес он мрачно. На этих его словах дверь распахнулась и вошел молодой человек в сером клетчатом костюме.

— Красивы, но опасны,— отозвалась Сандра, в присутствии третьего лица немедленно принимаясь беседовать с мужем. («Ага, английский мальчик путешествует»,— подумала она про себя.)

И Эван все это понял.

Да, он все понял и восхитился ею. Очень приятно, подумал он, иметь романы. Но для него с его ростом (он не забывал, что в Наполеоне было пять футов и четыре дюйма), с его весом, с его неспособностью воздействовать на других (и все же великие люди нужны сейчас больше, чем когда бы то ни было, вздохнул он) это занятие пустое. Он отбросил сигару, подошел к Джейкобу и спросил его в своей простой и прямодушной манере, которая Джейкобу понравилась, давно ли он из Англии.

— Как это по-английски! — рассмеялась Сандра, когда на следующее утро служитель отеля сообщил им, что молодой джентльмен в пять утра отправился на гору.— И он еще наверняка просил, чтобы ему при-

---

[1] Граф Чатам (Уильям Питт-старший, 1706—1778); Уильям Питт-младший (1759—1806); Эдмунд Бёрк (1729—1797); Чарльз Джеймс Фокс (1749—1806) — английские государственные деятели.

готовили ванну, да? — на что служитель покачал головой и сказал, что обратится к хозяину.

— Вы не поняли,— засмеялась Сандра.— Но это не важно.

Растянувшись на вершине горы, в полном одиночестве, Джейкоб был совершенно счастлив. Пожалуй, еще никогда в жизни ему не было так хорошо.

Но в этот же день за ужином мистер Уильямс предложил ему свою газету, затем миссис Уильямс спросила (когда они, куря, прогуливались по террасе,— а как он мог отказаться от его сигары?), видел ли он театр при лунном свете, не знаком ли он случайно с Эверардом Шерборном, читает ли он по-древнегречески и, если бы пришлось решать (Эван тихонько поднялся и пошел в дом), какой литературой пожертвовать, назвал ли бы он русскую или французскую?

«И теперь,— писал Джейкоб Бонами,— мне придется читать ее проклятую книжку»,— он имел в виду одолженного ею Чехова.

Хотя эту точку зрения мало кто разделяет, все-таки очень и очень вероятно, что пустые пространства — поля, непригодные для вспашки из-за обилия камней, и колышущиеся луговины моря где-нибудь между Англией и Америкой — подходят нам больше, чем города.

Есть в нас что-то непреложное, презирающее уступки обстоятельствам. Именно оно и подвергается в обществе постоянным насмешкам и мучениям. Люди собираются в комнате. «Мне так приятно,— говорит кто-нибудь,— с вами познакомиться», а это ложь. И потом: «Сейчас я стала больше любить весну, чем осень. Наверное, все приходит с возрастом». Потому что женщины всегда, всегда. всегда рассуждают о чувствах, и если они говорят «с возрастом», то значит, ждут от тебя ответа, который бы не имел никакого отношения к сути дела.

Джейкоб уселся в каменоломне, где древние греки вырубали мрамор для театра. Тяжело и жарко подниматься по греческим холмам в полдень. Повсюду цвели дикие красные цикламены; у него на глазах маленькие черепашки переваливались с одной глыбы на другую; в воздухе ощущался терпкий, внезапно сладковатый запах; и солнце, заливающее зубчатые осколки мрамора, слепило глаза. Собранный, властный, надменный, немного печальный и величественно скучающий, он сидел там и курил свою трубку.

Бонами сказал бы, что вот это-то его и тревожило,— когда на Джейкоба нападала хандра и он становился похож на рыбака из Маргита, вынужденного сидеть на берегу, или на британского адмирала. Когда он бывал в таком настроении, втолковать ему что-нибудь оказывалось совершенно невозможно. Лучше всего было оставить его в покое. Он делался скучен. Его все раздражало.

Встал он очень рано и ходил с Бедекером осматривать статуи.

Сандра Уэнтуорт-Уильямс, до завтрака перебрав имеющиеся возможности в поисках приключения или нового взгляда на мир, вся в белом, может, и не такая высокая, но зато поражающая превосходной осанкой,— Сандра Уильямс поймала тот миг, когда голова Джейкоба оказалась вровень с головой Гермеса, созданной Праксителем. Сравнение безусловно было в пользу Джейкоба. Но не успела она и слова вымолвить, как он вышел из музея и покинул ее.

Однако в багаже путешествующей светской дамы, разумеется, хранится не одно платье, и если белое скорее подходит к утреннему часу, то, быть может, песчано-желтое в лиловую крапинку с черной шляпой и томиком Бальзака соответствует вечернему. Такой она предстала глазам Джейкоба, когда он вошел на террасу. Очень красивой. Сцепив пальцы, она размышляла, и, кажется, слушала мужа, и, кажется, наблюдала за тем, как крестьяне с вязанками хвороста за спиной спускаются с гор, и, кажется, замечала, как холм из голубого становится черным, и, кажется, разбиралась, где истина, а где ложь, думал Джейкоб,

и, внезапно заметив, насколько потрепаны его брюки, положил ногу на ногу.

«Но у него очень благородный вид»,— решила Сандра.

А Эван Уильямс, откинувшись в кресле с газетой на коленях, позавидовал им. Лучше всего, конечно, было бы напечатать в издательстве «Макмиллан» монографию о внешней политике Чатама. Но будь проклято это нарывающее тошнотворное чувство — эта тревога, распирание и жар — ревность! ревность! ревность! — которую он поклялся никогда больше не испытывать.

— Фландерс, поехали с нами в Коринф,— произнес он с необычной для себя настойчивостью, останавливаясь над креслом Джейкоба. Ответ Джейкоба его успокоил, вернее, не сам ответ, а то, как серьезно, прямо, хотя и несколько застенчиво Джейкоб сказал, что ему очень бы хотелось поехать с ними в Коринф.

«Вот,— подумал Эван Уильямс,— кто прекрасно мог бы заниматься политикой».

«Я собираюсь теперь каждый год до самой смерти приезжать в Грецию,— писал Джейкоб Бонами.— Это, на мой взгляд, единственная возможность спастись от цивилизации».

«Бог его знает, что он этим хочет сказать»,— вздохнул Бонами. Сам он никогда не выражался неуклюже, и темные высказывания Джейкоба его пугали и поражали одновременно, потому что ему был свойствен совсем иной способ мышления — определенный, конкретный, рациональный.

Ничего не могло быть проще того, что говорила Сандра, когда они спускались с Акро-Коринфа, она — по узенькой тропинке, а Джейкоб рядом с ней по бугристой земле. В четыре года она потеряла мать и парк был огромен.

— Казалось, из него никогда не выберешься,— засмеялась она. Конечно, существовала библиотека, и добрый мистер Джонс, и складывались понятия о разных вещах.— Я забиралась в кухню и сидела на коленях у дворецкого,— она засмеялась, впрочем, довольно грустно.

Джейкоб подумал, что, окажись он там, он бы ее спас, потому что — он это чувствовал — она подвергалась страшным опасностям, а еще, подумал он про себя: «Женщину, которая так говорит, обычно никто не понимает».

Ее не смущали ухабы, попадающиеся на пути, а под короткой юбкой, он заметил, у нее были надеты бриджи.

«Женщины вроде Фанни Элмер не такие,— подумал он,— и эта, как ее там... Карслейк тоже, они только притворяются...»

Миссис Уильямс обо всем говорила прямо. Он был поражен тем, как он сам, оказывается, хорошо воспитан; насколько больше можно выразить словами, чем он раньше думал; каким откровенным можно быть с женщиной и как плохо он прежде знал себя самого.

Эван нагнал их на дороге, и пока они ехали вверх и вниз по холмам (ведь Греция вся как будто вспенена и одновременно удивительно резко очерчена — безлесая страна, где видна земля между былинками, где холмы словно вырезаны, вылеплены и почти всегда выделяются на фоне сверкающих глубоких синих вод; где белые как песок острова плывут на горизонте, а редкие пальмовые рощицы растут в долинах, которые усыпаны черными козами, усажены маленькими оливами, а иногда и рассечены по бокам скрещивающимися и расходящимися в стороны белыми оврагами), пока они ехали вверх и вниз по холмам, он куксился в углу кареты, так крепко сжав в кулак свою ручищу, что кожа между костяшками пальцев натянулась, а волоски встали дыбом. Сандра сидела напротив, торжествующая, словно Ника, готовая вот-вот воспарить.

«Бессердечная»,— думал Эван (что было неправдой).

«Безмозглая,— подозревал он (и это тоже было неправдой).— Однако!..» Он ей завидовал.

Когда настало время ложиться спать, Джейкоб обнаружил, что ему трудно что-нибудь написать Бонами. А ведь он повидал Саламин и издалека Марафон. Бедный Бонами! Нет, что-то в этом было странное. Не мог он писать Бонами.

«А в Афины я все равно поеду»,— произнес он с очень решительным видом, ощущая, как в боку защемил крючок.

Уильямсы в Афинах уже побывали.

Афины до сих пор способны поразить молодого человека сочетанием самых разнородных вещей, немыслимым их соединением. Порой город провинциален, порой бессмертен. То на плюшевых подушках разложены дешевые европейские украшения. То статная женщина стоит, обнаженная, лишь волна ткани покрывает колено. Ему никак не разобраться в своих ощущениях, когда ослепительным полднем он прогуливается по Парижскому бульвару и едва увертывается от королевского ландо, неописуемо ветхого, которое дребезжит по колдобинам дороги,— под приветственные возгласы горожан обоего пола в небогатых европейских костюмах и котелках; меж тем как пастух в юбочке, кепке и гамашах гонит стадо коз чуть не между королевскими колесами, и тут же в воздух взмывает Акрополь, подымающийся над городом как огромная застывшая волна с неколебимо стоящими на ней желтыми колоннами Парфенона.

Желтые колонны Парфенона, неколебимо стоящие на Акрополе, видны в любое время дня; впрочем, на закате, когда корабли в Пирее палят из пушек, звенит колокольчик и появляется человек в форме (но в расстегнутом жилете), и тогда женщины прячут черные чулки, которые они вяжут в тени колонн, зовут детей и, спустившись толпой с холма, расходятся по домам.

Вот они опять — колонны, фронтон, храм Ники и Эрехтейон, стоящие на желто-коричневой скале, рассеченной тенями, видные сразу, как раскроешь утром ставни и высунешься наружу, и с улицы внизу донесутся грохот, гул и щелканье кнута. Вот они.

Необычайная определенность, с которой они стоят, то блистательно-белые, то снова желтые, а при некотором освещении красные, наводит на мысль о прочности, о появлении из-под земли некоего сгустка духовной энергии, которая в других местах рассеивается на элегантные пустячки. И прочность эта существует совершенно независимо от нашего восхищения. Хотя красота достаточно очеловечена, чтобы расслабить нас, растормошить глубокие залежи грязи — воспоминания, разрывы, сожаления, сентиментальные привязанности,— Парфенон отделен от всего этого, и если представишь себе, как он простоял здесь всю ночь, все эти столетия, то блеск его (в полдень солнце сияет так ослепительно, что фриза почти не видно) постепенно связывается с ощущением, что, пожалуй, только красота бессмертна.

А если к этому добавить, сопоставляя со вздувающейся лепниной, современные песенки о любви, звучащие под бренчание гитары и граммофон, и неинтересные, хоть и подвижные лица на улицах, Парфенон и в самом деле потрясает своим безмолвным спокойствием, столь напряженным, что вовсе не разрушенным он кажется, а, напротив, способным пережить все на свете.

«И греки, будучи разумными людьми, никогда не беспокоились об отделке статуи сзади»,— думал Джейкоб, заслоняя глаза от солнца рукой и отмечая, что та сторона фигуры, которая скрыта от взора, осталась незавершенной.

Он обратил внимание на неодинаковую высоту ступенек, которую,

как он вычитал в путеводителе, «художественное чутье древних греков предпочитает математической точности».

Он постоял на том самом месте, где когда-то находилась великая статуя Афины, отыскивая взглядом достопримечательности раскинувшегося внизу города.

Короче говоря, он был внимателен и прилежен, но бесконечно угрюм. Кроме того, ему досаждали гиды. Так прошел понедельник.

Однако в среду он сочинил телеграмму Бонами, призывавшую его немедленно приехать. А потом скомкал ее и выбросил в канаву.

«Во-первых, он не приедет,— подумал он.— А потом, я думаю, это скоро пройдет». Под «этим» подразумевалось смутное, болезненное чувство, немного похожее на себялюбие,— уже почти просишь, чтобы его не стало, а оно растет и растет, выходя за все разумные пределы,— «если так будет продолжаться и дальше, я уже не смогу с ним совладать... но если бы здесь был еще кто-нибудь... Бонами заперся в своей каморке в Линкольнз инн... ох, проклятье, прекрати, слышишь»,— с одной стороны вид на Гиметт, Пентеликон, Ликабетт, с другой — на море, а ты стоишь у Парфенона на закате, небо в розовых перьях, равнина всех цветов радуги, темная желтизна мрамора перед глазами — вот отчего так тягостно. К счастью, Джейкоб не обладал особым чувством личной причастности; он редко представлял себе Платона или Сократа во плоти; вместе с тем у него было развито чутье к архитектуре; статуи нравились ему больше картин; и он начинал по-настоящему задумываться над проблемами цивилизации, которые, конечно, древние греки разрешили замечательно, но их решение, увы, непригодно для нас. Затем, в ночь со среды на четверг, когда он уже лег спать, крючок у него в боку сильно дернулся, и он в отчаянии резким движением перевернулся на другой бок, вспоминая Сандру Уэнтуорт-Уильямс, в которую был влюблен.

На следующий день он поднимался на Пентеликон.

Через день он пошел наверх к Акрополю. Время было раннее, места вокруг почти пустынные; где-то далеко как будто гремел гром. Но над Акрополем ярко сияло солнце.

Джейкоб намеревался посидеть наверху и почитать, и, обнаружив удобно расположенный мраморный цилиндр, с которого был виден Марафон и который к тому же оставался в тени, хотя прямо перед ним светился белизной Эрехтейон, он там и устроился. Прочитав страницу, он заложил книгу пальцем. Почему бы не управлять государствами как следует? И он продолжал читать.

Место, выбранное им, с видом на Марафон, несомненно, улучшило его настроение. А может быть, подобные взлеты вообще свойственны медлительному, но крупному интеллекту? Или за то время, что он был за границей, он незаметно для себя втянулся в размышления о политике?

Но когда он поднял глаза и увидел резкие контуры, его размышления приобрели неожиданную остроту; с Древней Грецией все было кончено; Парфенон лежал в руинах; однако сам он был здесь.

(По двору проходили дамы с зелеными и белыми зонтиками, француженки, остановившиеся в Афинах на пути к мужьям в Константинополь.)

Джейкоб продолжал читать. И потом, положив книгу на землю, как будто вдохновленный тем, что прочел, он принялся писать заметки о значении истории, о демократии — один из тех набросков, которые могут стать основанием для главного труда жизни или, напротив, вывалиться из книжки двадцать лет спустя, и ни единого слова из них не вспомнишь. Это довольно неприятно. Пожалуй, их лучше всего сжечь.

Джейкоб писал, потом стал рисовать прямой нос; внизу под ним француженки, открывая и закрывая зонтики, восклицали, глядя на небо, что не знаешь, чего ждать — будет дождь или нет?

Джейкоб поднялся и побрел к Эрехтейону. Там еще осталось несколько кариатид, держащих свод на головах. Джейкоб слегка выпрямился, потому что устойчивость и равновесие в первую очередь воздействуют на тело. Как ничтожно все вокруг, рядом с этими статуями! Он всмотрелся в них, потом повернулся и увидел мадам Люсьен Граве, которая, взгромоздившись на мраморную глыбу, направила на него фотоаппарат. Она, конечно, немедленно спрыгнула, несмотря на свой возраст, фигуру и тесные башмаки,— ведь теперь, выдав дочку замуж, она с великолепным безрассудством, по-своему даже замечательным, превратилась в толстую каракатицу; она спрыгнула, но не прежде, чем Джейкоб сумел ее заметить.

«Будь прокляты эти женщины! Будь они прокляты!» — подумал он. И пошел за своей книжкой, которую забыл на земле у Парфенона.

«Как они все портят!» — бормотал он, прислонившись к одной из колонн, крепко зажав книгу под мышкой. (Что же касается погоды, наверняка скоро будет гроза; над Афинами повисла туча.)

«Все из-за этих проклятых женщин»,— произнес Джейкоб без тени горечи, но скорее с грустью и досадой, ибо никогда не будет того, что могло бы быть.

(Такое острое разочарование довольно часто ощущают молодые люди во цвете лет, здоровые душой и телом, которым вскоре предстоит стать отцами семейств и директорами банков.)

Затем, убедившись, что француженки ушли, и осторожно оглядываясь по сторонам, Джейкоб побрел к Эрехтейону, посматривая украдкой на богиню, которая слева от него держала свод на голове. Она напоминала ему Сандру Уэнтуорт-Уильямс. Он посмотрел на нее и отвернулся. Посмотрел и отвернулся. Он был необычайно взволнован и, думая о разбитом греческом носе, думая о Сандре, думая о тысяче разных других вещей, отправился прямо на вершину горы Гиметт, один, по жаре.

В этот самый день Бонами, специально чтобы поговорить о Джейкобе, поехал на чай к Кларе Даррант на площадь за Слоун-стрит, где окна фасада в жаркие весенние дни занавешены полосатыми шторами, у входа стоят одноконные экипажи и лошади бьют копытом о щебенку, а пожилые господа в желтых жилетах звонят в звонок и чрезвычайно вежливо входят в дом, когда воспитанная горничная отвечает, что миссис Даррант дома.

Бонами сидел с Кларой в залитой солнцем гостиной; на улице сладко пела шарманка; медленно катилась поливальная повозка, орошая мостовую; позвякивали кареты, а все серебро, мебельная обивка, синие и коричневые ковры и вазы с зазеленевшими ветками были рассечены трепещущими желтыми полосами.

Вряд ли стоит приводить их совершенно бесцветную беседу. Бонами негромким голосом учтиво отвечал на вопросы и все больше и больше изумлялся столь обескровленному, втиснутому в белую атласную туфельку существованию (в соседней комнате тем временем пронзительно звучали политические суждения, излагаемые миссис Даррант сэру Такому-то), пока наконец девственность Клариной души не показалась ему искренней, а глубины ее бездонными, и он только потому не произнес имя Джейкоба, что к этому моменту уже был совершенно уверен, что в Джейкоба она влюблена и абсолютно ничего не может с этим поделать.

— Абсолютно ничего! — воскликнул он, когда дверь за ним захлопнулась, и, проходя по парку, вдруг почувствовал — что было очень странно для человека его склада,— как неудержимо влекутся куда-то кареты, как строго геометрично разбиты клумбы и как некая сила пробивает эту геометрическую правильность совершенно безумным способом. «Неужели Клара,— подумал он, останавливаясь, чтобы поглядеть на мальчишек, купающихся в озере Серпантин,— это та самая безмолвная женщина? Неужели она станет женой Джейкоба?»

Но в Афинах, в ярком солнечном свете, в Афинах, где почти невозможно добиться, чтобы днем подали чай, и пожилые господа, рассуждающие о политике, рассуждают о ней шиворот-навыворот, в Афинах, вытянув ноги и положив локоть на ручку бамбукового кресла, сидела Сандра Уэнтуорт-Уильямс с опущенной вуалью, одетая в белое, и голубые клубочки дыма, колыхаясь, уплывали прочь от ее сигареты.

Апельсиновые деревья, которые растут на площади Конституции, оркестр, шарканье ног, небо, дома лимонного и розового цвета — все это после второй чашки кофе приобрело такую значительность для миссис Уэнтуорт-Уильямс, что она стала разыгрывать сама с собой историю о благородной и пылкой англичанке, которая в Микенах пригласила к себе в карету старую американскую даму (миссис Дагган),— историю не вполне вымышленную, хотя и умалчивающую об Эване, который стоял сперва на одной ноге, потом на другой и ждал, пока женщины наговорятся.

— Я перелагаю стихами жизнь отца Дамьена [1],— сказала тогда миссис Дагган, потому что она потеряла все, все на свете — мужа, ребенка и все вообще, но сохранила веру.

Сандра, переносясь от частного к всеобщему, лежала, откинувшись в забытьи.

Бег времени, так трагически подгоняющий нас; вечное напряжение и гудение, вдруг взрывающееся огненными вспышками, как эти недолговечные оранжевые шарики в зеленой листве (она глядела на апельсиновые деревья); поцелуи на губах, которым суждено так скоро растаять; мир, вертящийся в сумятице жары и шума,— хотя вечер, конечно, выдался тихий, с очаровательной этой блеклостью. «Потому что я все ощущаю и с той и с другой стороны,— думала Сандра,— и миссис Дагган теперь всегда будет мне писать, и я буду отвечать ей». Тут от музыки королевского оркестра, марширующего мимо с национальным флагом, разошлись еще более широкие круги чувства, и жизнь предстала чем-то таким, куда взбираются смельчаки, чтобы уйти в далекое море,— и волосы их развеваются (так она себе это представляла, а ветерок чуть шевелил апельсиновые деревья), и она сама возникала из россыпи серебряных брызг — в этот момент она увидела Джейкоба. Он стоял на площади с книгой под мышкой, рассеянно озираясь. Что он крепко сложен, а со временем может и погрузнеть, было очевидно.

Но она-то полагала, что он просто-напросто неотесанный медведь.

— Вон этот молодой человек,— недовольно сказала она, отбрасывая сигарету,— этот мистер Фландерс.

— Где? — спросил Эван.— Я не вижу.

— Ну, вон там, уходит, сейчас он за деревьями. Нет, тебе не видно. Но мы наверняка еще его встретим,— и, разумеется, так и случилось.

Но насколько он был просто-напросто неотесанный медведь? Насколько туповат был Джейкоб Фландерс в возрасте двадцати шести лет? Бессмысленно пытаться понять людей. Надо схватывать намеки — не совсем то, что говорится, однако и не вполне то, что делается. Правда, есть люди, которые постигают характер мгновенно и навсегда. Другие мешкают, медлят, их заносит то туда, то сюда. Добрые старые дамы убеждены, что лучше всех разбираются в людях кошки. К хорошему человеку кошка всегда пойдет, уверяют они; однако хозяйка Джейкоба, миссис Уайтхорн, терпеть не могла кошек.

Есть еще одно весьма почтенное мнение, что нынче уж слишком много копаются в чужих характерах. Неужели так важно в конце концов, что Фанни Элмер — это сплошь чувства и переживания, что миссис Даррант тверда как камень, что Клара, главным образом из-за

[1] Отец Дамьен (настоящее имя Джозеф Войстер, 1840—1888) — бельгийский католический священник, миссионер в колонии прокаженных в Молокае, на Гавайских островах.

материнской властности (так утверждают знатоки характеров), еще ни разу в жизни не имела возможности поступить как ей вздумается, и только очень пристальному взгляду удавалось различить в ней глубину чувства, от которой можно; не на шутку встревожиться; и что ей, очевидно, предстоит растратить себя на человека недостойного, если только она (так рассуждали знатоки) не унаследовала хоть искру материнского духа,— в общем, не была в некотором роде личностью героической. Боже, какое слово в применении к Кларе Даррант! Простодушной до крайности считали ее другие. И именно поэтому, так рассуждали они, Клара нравится Дику Бонами — этому молодому человеку с носом, как у Веллингтона. А вот уж он действительно темная лошадка. И здесь сплетники внезапно останавливались. Очевидно, они собирались намекнуть на некоторые странности его натуры, давно уже ими обсуждаемые.

— Но случается, что человеку такого типа как раз нужна женщина вроде Клары...— размышляет, бывало, мисс Джулия Элиот.

— Что ж,— отвечает ей мистер Боули,— может быть, и так.

Потому что, как бы долго сплетники ни сидели, сколько бы ни потрошили характеры своих жертв, пока те не станут распухшими и нежными, как гусиная печенка над пылающим огнем, к окончательному выводу они никогда не приходят.

— Вот этот молодой человек, Джейкоб Фландерс,— говорят они,— так благородно выглядит — и так неловок.— Затем они прилепляются к Джейкобу и бесконечно раскачиваются между этими двумя полюсами.— Охотился с гончими, но всего раз-другой, потому что у него нет ни пенса.

— Вы когда-нибудь слышали, кто был его отец? — поинтересовалась Джулия Элиот.

— Говорят, что его мать в каком-то родстве с Роксбиерами,— ответил мистер Боули.

— Нельзя сказать, что он чересчур утруждает себя работой.

— Друзья очень его любят.

— Вы о Дике Бонами?

— Нет, я не это имел в виду. С Джейкобом, наверное, все наоборот. Он как раз из тех, кто в юности по уши влюбляется, а потом всю жизнь об этом жалеет.

— Мистер Боули,— сказала миссис Даррант, по обыкновению решительно наступая на них.— Вы, конечно, помните миссис Адамс? Ну, так это ее племянница.— И мистеру Боули пришлось подняться, любезно раскланяться и принести клубнику.

А мы, стало быть, снова пытаемся понять, что имеет в виду другая сторона — мужчины в клубах и Кабинетах,— когда говорят, что изучение характера — пустячное домашнее развлечение, нечто вроде вышивания или возни с изящными силуэтами, пустыми внутри, всякими там завитушками и обыкновенными загогулинами.

Линейные корабли в Северном море лучами расходятся в стороны, держась на точно отмеренном расстоянии друг от друга. По сигналу все пушки наведены на цель, которая (сержант артиллерии с часами в руке отсчитывает секунды — на шестой он поднимает глаза) взлетает на воздух. Столь же невозмутимо десятки молодых людей в расцвете сил уходят со спокойными лицами в морские глубины, и там вполне бесстрастно (однако в совершенстве владея техникой), не жалуясь, все вместе задыхаются. Словно отряды оловянных солдатиков, армия занимает поле, взбирается по холму, останавливается, слегка откатывается в одну сторону, в другую и падает плашмя, и только в полевой бинокль видно, что одна-две фигурки еще двигаются вверх-вниз, как обломки спичек.

Говорят, что эти действия вместе с бесконечными сношениями между банками, лабораториями, канцеляриями и фирмами и есть те удары весла, которые двигают мир вперед. И производят их люди, вылеплен-

ные так же аккуратно, как бесстрастный полицейский на Ладгейт-Серкус. Однако поглядев на него, замечаешь, что лицу его вовсе не свойственна мягкая округлость, напротив, оно жесткое от волевого усилия и вытянутое от стремления остаться таким навеки. Когда вздымается правая рука, вся сила в жилах направляется прямо от плеча к кончикам пальцев; ни капли не уходит на внезапные порывы, сентиментальные сожаления, утонченные оттенки. Омнибусы послушно замирают.

Говорят, что так мы живем — движимые непостижимой силой. Говорят, и писателям никак ее не ухватить; она со свистом проносится сквозь все приготовленные для нее сети, разрывая их в клочья. Вот, говорят, что управляет нашей жизнью — эта самая непостижимая сила.

— Где солдаты? — спросил старый генерал Гиббонс, оглядывая гостиную, полную, как обычно воскресным вечером, хорошо одетых людей.— Где пушки?

Миссис Даррант тоже огляделась.

Клара, думая, что мать ищет ее, вошла в гостиную, затем снова вышла.

У Даррантов разговаривали о Германии, а Джейкоб (движимый все той же непостижимой силой) быстро шагал по улице Гермеса и нос к носу столкнулся с Уильямсами.

— Ах! — воскликнула Сандра, внезапно искренне обрадовавшись.

А Эван прибавил: — Как удачно!

Обед, которым они его потчевали в отеле с видом на площадь Конституции, был превосходен. В специальных корзинках лежали свежие булочки. Масло было настоящее. А мясо совершенно напрасно так стыдливо пряталось под желе, в котором застыли бесчисленные красные и зеленые овощи.

Но все это было странно. На багряном полу с монограммой греческого короля, выделанной желтым, на некотором расстоянии друг от друга стояли столики. Сандра обедала в шляпе, по обыкновению не поднимая вуали. Эван оглядывался по сторонам, непроницаемый и в то же время обходительный, и иногда вздыхал. Странно все это было. Они, англичане, встретились майским вечером здесь, в Афинах. Джейкоб, накладывая себе на тарелку то того, то другого, отвечал впопад, но голос его звенел.

На следующий день рано утром Уильямсы уезжали в Константинополь, сообщили они ему.

— Вы еще будете спать,— сказала Сандра.

Стало быть, они бросают его одного. Слегка обернувшись, Эван что-то заказал — бутылку вина, из которой он налил Джейкобу как-то очень заботливо, как-то по-отечески заботливо, если только это возможно. Молодому человеку полезно остаться одному. Никогда еще стране так не были нужны люди. Он вздохнул.

— А к Акрополю вы поднимались? — спросила Сандра.

— Да,— ответил Джейкоб. И они вдвоем отошли к окну, пока Эван договаривался с метрдотелем, чтобы их завтра рано разбудили.

— Он удивителен,— хриплым голосом произнес Джейкоб.

Глаза Сандры приоткрылись чуть шире. Ноздри ее, вероятно, тоже слегка раздулись.

— Значит, в полседьмого,— объявил Эван, подходя к ним так, словно видел что-то еще, а не только жену и Джейкоба, стоящих спиной к окну.

Сандра улыбнулась ему.

И так как он встал рядом с ними у окна и сказать ему было нечего, она добавила отрывисто, не кончая фраз:

— Это было бы замечательно... Правда же?.. К Акрополю, Эван... или ты устал?

Эван в ответ посмотрел на них или, вернее,— поскольку Джейкоб уставился в пространство — на жену, угрюмо, мрачно и при этом как-то страдальчески,— но вряд ли она его пожалеет. И что бы он сейчас ни сделал, вряд ли неумолимый дух любви прервет свою пытку.

Они ушли, а он остался сидеть в курительной комнате с видом на площадь Конституции.

— Эвану совсем неплохо одному,— сказала Сандра.— Мы все это время жили без газет. Лучше ведь, когда каждый делает то, что ему нравится... А вы с нашей последней встречи столько повидали... Такие чудесные впечатления... По-моему, вы переменились.

— Вы хотели подняться к Акрополю,— сказал Джейкоб,— тогда сюда, наверх.

— Такое запомнится на всю жизнь,— проговорила Сандра.

— Да,— согласился Джейкоб.— Жалко, что вы не были здесь днем.

— Так еще чудеснее,— ответила Сандра, взмахнув рукой.

Джейкоб рассеянно огляделся.

— Вам обязательно надо повидать Парфенон днем,— повторил он.— А завтра никак не получится? Вы совсем рано уезжаете?

— И вы сидели там несколько часов в полном одиночестве?

— Утром тут были жуткие женщины,— ответил Джейкоб.

— Жуткие женщины? — переспросила Сандра.

— Француженки.

— Но ведь все равно произошло какое-то чудо,— сказала Сандра. Десять минут, пятнадцать, от силы полчаса — вот все время, что было ей отпущено.

— Да,— отозвался он.

— В вашем возрасте... в юности... Что с вами будет? Вы полюбите — наверняка! Но не надо спешить. Я настолько старше вас.

Марширующие войска заставили ее сойти с тротуара.

— Пойдем дальше? — спросил Джейкоб.

— Пойдем, пойдем,— потребовала она.

Не могла же она остановиться, не сказав ему... или не услышав от него... или ей хотелось, чтобы он что-то сделал? Она различала нечто далеко на горизонте и не могла успокоиться.

— Англичане никогда не станут вот так сидеть на улицах,— заметил он.

— Конечно нет — ни за что. Вы вернетесь в Англию и будете все это вспоминать... или поедем с нами в Константинополь! — внезапно воскликнула она.

— Но тогда...

Сандра вздохнула.

— Конечно, вам непременно надо побывать в Дельфах,— сказала она. «Что же все-таки,— спросила она себя,— мне от него нужно? Может быть, что-то, что я упустила в жизни...»

— Приедете туда около шести вечера,— говорила она.— Увидите орлов.

В свете фонаря на углу Джейкоб казался решительным и даже готовым на все, но при этом спокойным. Наверное, он страдал. Он был доверчив. Но и едкость какая-то тоже в нем ощущалась. В него уже запали семена жесточайшего разочарования, до которого в зрелости доведут его женщины. Может быть, только если изо всех сил стараться достичь вершины горы, удастся как-то его избежать — этого разочарования, возникающего в зрелости из-за женщин.

— Отель наш ужасен,— сказала она.— Те, кто жили до нас, оставили в тазиках грязную воду. И вечно что-нибудь такое,— засмеялась она.

— Да, люди, которых здесь встречаешь,— отвратительны,— подтвердил Джейкоб.

Было заметно, что он крайне возбужден.

— Пишите мне об этом,— попросила она.— И о том, что вы думаете и чувствуете. Рассказывайте мне обо всем.

Ночь была темной. Зубчатым курганом вырисовывался Акрополь.

— Мне бы этого ужасно хотелось,— отозвался он.

— А когда вернемся, встретимся в Лондоне...

— Да.

— Ворота, я надеюсь, не запираются? — спросил он.

— А мы перелезем! — крикнула она бесшабашно.

Заслоняя луну и погружая Акрополь во мрак, с востока на запад плыли облака. Облака затвердевали, испарения делались гуще, стелющаяся дымка замерла на месте и начала разрастаться.

В Афинах стало совсем темно, если не считать тоненьких красных полосок, бегущих вдоль улиц, и мертвенно-бледного от электрического света фасада Дворца. В море здесь и там горели точки далеко уходящих пирсов, волны были невидимы, и темными горбами казались едва освещенные мысы и острова.

— Мне бы очень хотелось прийти с братом, если вы позволите,— прошептал Джейкоб.

— А потом, когда в Лондон приедет ваша матушка...— сказала Сандра.

Вся Греция была во тьме, а где-то около Эвбеи туча как будто коснулась волн и забрызгала их,— дельфины, кружась, уходили все дальше и дальше в море. Бешеный ветер неистовствовал сейчас в Мраморном море между Грецией и долинами Трои.

В Греции и в горных частях Албании и Турции ветер выскребывает песок и пыль и сам себя густо засевает сухими крупинками. А затем барабанит по гладким куполам мечетей и заставляет скрипеть и щетиниться суровые кипарисы, растущие у мусульманских гробниц с изображением чалмы.

Вуаль Сандры вихрем обвилась вокруг головы.

— Я дам вам свою книжку,— сказал Джейкоб.— Держите. Вы не расстанетесь с ней?

(Это были стихи Донна.)

Вот волнующийся воздух сделал видимой падающую звезду. Вот снова потемнело. Вот один за другим погасли огни. Вот великие столицы — Париж — Константинополь — Лондон — стали черными, как одиноко разбросанные скалы. Различимы были только линии рек. В Англии на деревьях шумела густая листва. А тут, может быть, в каком-нибудь южном лесу старик поджигал сухой папоротник и птицы испуганно взмывали вверх. Кашляли овцы; один цветок слегка склонялся к другому. Английское небо нежнее, молочнее восточного. Какая-то мягкость передается ему от округлых холмов, поросших травой, какая-то сырость. Соленый штормовой ветер подул в окно спальни Бетти Фландерс, и вдова, слегка приподнявшись на локте, вздохнула, как всякий, кто ощущает, но охотно отодвинул бы еще хоть ненадолго — ах! хоть ненадолго! — гнет вечности.

Но вернемся к Джейкобу и Сандре.

Они исчезли. Акрополь был там, где всегда, но добрались ли они до него? Колонны и храм остаются, а чувства живых разбиваются о них сызнова год за годом, и что остается от этих чувств?

А что касается того, добрались ли они до Акрополя, кто скажет, добираемся ли мы до него когда-нибудь вообще и обнаружил ли Джейкоб, проснувшись на следующее утро, что-нибудь осязаемое и прочное, что он бы мог сохранить навсегда? И все же он поехал с ними в Константинополь.

Впрочем, Сандра Уэнтуорт-Уильямс, проснувшись, нашла у себя на туалетном столике книжку стихов Донна. И книжка эта встанет на полку в английском загородном доме, где вскоре к ней присоединится стихотворное жизнеописание отца Дамьена, сочиненное Салли Дагган. Там уже стоит добрый десяток томиков. Забредя в комнату в сумерках,

Сандра откроет эти книги, глаза ее заблестят (отнюдь не под воздействием того, что там написано), и, опускаясь в кресло, она вновь будет вбирать в себя самую душу мгновения; или в те дни, когда ей никак не найти себе места, она станет вытаскивать книгу за книгой, перелетая над всем пространством своей жизни, как акробат с перекладины на перекладину. У нее в жизни были мгновения. Между тем на площадке тикают огромные часы, и Сандра, слушая, как накапливается время, вдруг спросит себя: «Зачем? Зачем?»

«Зачем? Зачем?» — будет повторять Сандра, ставя книгу на место, и медленно подойдет к зеркалу, и пригладит волосы. И мисс Эдвардс за обедом, собираясь положить в рот кусок жареной баранины, вздрогнет от ее внезапной участливости: «Вы счастливы, мисс Эдвардс?» — вот уж проблема, над которой Сисси Эдвардс давным-давно не задумывалась!

«Зачем? Зачем?» Джейкоб никогда не задавал себе таких вопросов, если судить по тому, как он шнуровал ботинки, как брился или как крепко спал в ту ночь, когда ветер теребил ставни и полдюжины комаров звенело у него над ухом. Он был молод — и мужчина. И вдобавок Сандра была права, когда считала его еще доверчивым. В сорок все могло бы быть по-другому. И сейчас уже те места, которые он отметил в Донне, потому что они ему нравились, были достаточно неистовы. Однако они выдерживали сравнение с образцами чистейшей поэзии у Шекспира.

Но ветер катил темноту по афинским улицам, катил ее, словно с каким-то все подавляющим напором, который не дает возможности разобраться в чувствах отдельного человека или разглядеть его черты. Все лица — греческие, левантийские, турецкие, английские — оказались бы похожи в темноте. Но наконец колонны и Храмы белеют, желтеют, розовеют; встают пирамиды и собор Святого Петра, и, в конце концов, подымается неповоротливый собор Святого Павла.

Христианам дано право будить большинство городов своим истолкованием значения наступающего дня. Затем, уже не столь мелодично, раскольники из разных сект вносят свои придирчивые поправки. Пароходы, гудящие как гигантские камертоны, сообщают старую, старую истину — что неподалеку колышется холодное и зеленое море. Но нынче самые большие массы людей собирает тоненький голос долга, со свистом вырывающийся белой нитью из верхушки трубы, и ночь — это всего лишь протяжный вздох между ударами молота, глубокое дыхание, слышное из открытого окна даже в центре Лондона.

Но кто, кроме людей с истощенными нервами, страдающих бессонницей, и мыслителей, закрывших глаза руками на каком-нибудь утесе над толпой, видит вот так — лишь остов вещей, скелет, лишенный плоти? В Сербитоне скелет облачен в плоть.

— Когда с утра солнце, чайник всегда медленнее закипает,— говорит миссис Грандидж, поглядывая на часы на каминной полке. Ее серый персидский кот потягивается на подоконнике и мягкой круглой лапой прихлопывает мотылька. Завтрак еще не кончен (они сегодня припозднились), а малыш уже сидит у нее на коленях, и она должна оберегать от него сахарницу, а Том Грандидж читает в «Таймс» статью о гольфе, прихлебывает кофе, утирает усы и отправляется в контору, где он главный авторитет по вопросам иностранной валюты и вот-вот получит повышение.

Скелет плотно облачен в плоть. Даже этой темной ночью ветер, катящий темноту по Ломбард-стрит, и по Феттер-лейн, и по Бедфорд-сквер, задевает (потому что лето и разгар сезона) платаны в блестках электричества и шторы, все еще защищающие комнаты от рассвета. Люди все еще шепотом повторяют последние слова, сказанные на лестнице, или напрягаются сквозь все свои сны, чтобы не пропустить звонок будильника. Точно так же, когда ветер прогуливается по лесу, шевелятся бесчисленные веточки, колышется пчелиный рой, раскачивают-

ся на былинках насекомые, паук спешит спрятаться в утолщение коры и весь воздух дрожит от дыхания, упругий от множества волокон.

Правда, здесь — на Ломбард-стрит, и на Феттер-лейн, и на Бедфорд-сквер — каждое насекомое держит в голове земной шар, и лесные паутины — это заговоры, плетущиеся, чтобы дела шли гладко, а мед — это какая-нибудь драгоценность, а шевеление воздуха — неописуемое волнение жизни.

Но возвращаются краски, взбегают по стебелькам травы, расцветают в тюльпанах и крокусах, прорезают аккуратные бороздки на стволах деревьев и пропитывают прозрачный воздух, луга и пруды.

Всплывает Английский банк и Монумент[1] со своим золотым ежиком волос, ломовые лошади, бредущие через Лондонский мост, оказываются серыми, малиновыми, стальными. Шелест крыльев наполняет здание вокзала, когда в него врываются пригородные поезда. И свет карабкается по фасадам всех высоких зашторенных домов, пролезая в щели и раскрашивая блестящие раздувающиеся алые занавески, зеленые бокалы, кофейные чашечки и косо стоящие стулья.

Солнце бьет в зеркальце для бритья и в тускло поблескивающие медные баночки, во все веселое снаряжение дня — ясного, любопытного, одетого в доспехи, сияющего летнего дня, который давно уже победил хаос, разогнал унылый средневековый туман, осушил болото и поставил на его месте камень и стекло, и снабдил наши головы и тела таким разнообразным вооружением, что просто глядеть на блеск и мельканье рук и ног, занятых повседневной жизнью, куда интереснее, чем на старинные парады армий, выстроившихся на равнине в боевом порядке.

XIII

— Разгар сезона,— сказал Бонами.

Солнце уже раскалило краску на спинках зеленых стульев в Гайд-парке так, что она пошла пузырями; содрало кожу с платанов и превратило землю в порошок и гладкие желтые камешки. По Гайд-парку беспрерывно кружили вращающиеся колеса.

— Разгар сезона,— сказал Бонами саркастически.

Он был настроен саркастически из-за Клары Даррант; из-за того, что Джейкоб вернулся из Греции очень загорелый и похудевший и вытащил из кармана кипу греческих банкнот, когда служитель парка подошел к нему, чтобы получить пенс за стул; из-за того, что Джейкоб все время молчал.

«Даже не сказал, что рад меня видеть»,— подумал Бонами с горечью.

Автомобили нескончаемым потоком неслись через мост над озером Серпантин, высшие сословия с безупречной осанкой прогуливались или грациозно облокачивались о перила; низшие сословия лежали на спине, выставив колени; овцы на остроконечных деревянных ножках щипали траву, маленькие дети разбегались, раскинув руки, по зеленому склону и падали.

— Очень изысканно,— наконец произнес Джейкоб.

«Изысканно» в устах Джейкоба таинственным образом отражало всю гармоничность характера, который с каждым днем казался Бонами еще более возвышенным, сокрушительным, ошеломляющим, чем когда-либо, хотя по-прежнему был и, наверное, так теперь и останется необузданным и темным.

Что за преувеличения! Что за эпитеты! Ну как не обвинять Бонами в самой жуткой сентиментальности; в том, что его несет, словно пробку по волнам; в том, что он совершенно не умеет разбираться в людях, не руководствуется доводами рассудка и не получает решительно никакого удовольствия от чтения классиков!

[1] Монумент — колонна, воздвигнутая в лондонском Сити в 1671—1677 гг. в память о Великом лондонском пожаре.

— Разгар цивилизации,— сказал Джейкоб.

Он любил высокие слова.

Великодушие, добродетель — когда Джейкоб в разговоре с Бонами начинал употреблять такие слова, это обычно означало, что он хозяин положения, что Бонами будет прыгать вокруг него как преданный спаниель и что (почти наверняка) они кончат катаньем по полу.

— Ну, а Греция? — спросил Бонами.— Парфенон и все прочее?

— Чего там нет, так это нашего европейского мистицизма,— ответил Джейкоб.

— Наверное, все дело в атмосфере,— проговорил Бонами.— А ты и в Константинополе побывал?

— Да,— сказал Джейкоб.

Бонами помолчал, переложил камешек с места на место и вдруг рванулся вперед, проворно и уверенно, как язычок ящерицы.

— Ты влюбился! — выпалил он.

Джейкоб покраснел.

Острейший нож не мог бы вонзиться так глубоко.

Вместо того чтобы ответить или по крайней мере как-то отреагировать, Джейкоб уставился прямо перед собой, неподвижный, монолитный,— очень-очень красивый! — точь-в-точь британский адмирал,— в ярости воскликнул Бонами, вскакивая со своего места и уходя прочь,— ожидая все же услышать хоть что-нибудь, однако ничего не последовало, а гордость мешала ему обернуться,— все убыстряя и убыстряя шаг, пока наконец не обнаружил, что разглядывает тех, кто сидит в автомобилях, и проклинает женщин. Какое личико у этой красотки? Кларино? — Фаннино? — Флориндино? Кто же эта прелесть?

Во всяком случае не Клара Даррант.

Скотч-терьера надо выгуливать, а так как мистер Боули именно в эту минуту собрался уходить и просто мечтал пройтись — они вышли вместе: Клара и добрый, милый Боули — Боули, который жил в Олбани, посылал в «Таймс» шутливые заметки о заграничных отелях и северном сиянии, Боули, который любил молодежь и шел по Пиккадилли, держа правую руку на пояснице.

— Безобразник! — закричала Клара и взяла Троя на поводок.

Боули предвкушал — рассчитывал — услышать признание. Клара души не чаяла в матери, но все же иногда ощущала, что та немножечко, ну настолько уверена в себе, что ей трудно понять других людей, таких — «таких несуразных, как я», вырвалось у нее (собака тянула ее вперед). И Боули подумал, что Клара сейчас похожа на охотницу, и попытался сообразить, на какую же — на какую-нибудь бледную деву с лунным серпом в волосах, что для Боули было воистину взлетом воображения.

Щеки ее стали пунцовыми. Так прямо говорить о матери — правда, только с мистером Боули, который очень ее любит, дай бог, чтобы все ее так любили; но говорить ей было неловко, хотя весь день она промучилась, чувствуя, что ей просто необходимо с кем-нибудь поделиться.

— Подожди, сейчас перейдем дорогу,— сказала она, наклонившись к собаке.

К счастью, к этому моменту она овладела собой.

— Мама так много думает об Англии,— сказала она.— Так беспокоится...

Боули, как обычно, остался в дураках. Клара никогда ни с кем не откровенничала.

«Да почему молодые люди не могут все это уладить? — хотелось ему спросить.— Ну что, что такого с Англией?» — Вопрос, на который бедная Клара не могла бы ему дать ответа, потому что, пока миссис Даррант обсуждала с сэром Эдгаром политику сэра Эдварда Грея, Клара думала о том, почему шкафчик опять весь в пыли, а Джейкоб все

не приезжает и не приезжает. А тут как раз пришла миссис Каули Джонсон...

И Клара подала очаровательные фарфоровые чашечки и улыбнулась, услышав комплимент,— никто в Лондоне не умеет заваривать чай так, как она.

— Мы покупаем у Броклбанка,— сказала она,— на Керзитор-стрит.

Может ли она не быть благодарна? Может ли она не быть счастлива? Особенно когда мама так хорошо выглядит и так наслаждается беседой с сэром Эдгаром о Марокко, Венесуэле или каком-то другом похожем месте.

«Джейкоб! Джейкоб!» — думала Клара, и добрый мистер Боули, который чрезвычайно любезно беседовал со старыми дамами, взглянул на нее, замолчал, спросил себя, не слишком ли Элизабет строга с дочерью; спросил себя, который же из молодых людей — Бонами, Джейкоб?— и подскочил в ту самую секунду, когда Клара сказала, что пойдет выгуливать Троя.

Они дошли до места, где когда-то была Выставка [1]. Полюбовались тюльпанами. Прямые и изгибающиеся палочки, гладкие, словно восковые, поднимались из земли, ухоженные, но строгие, залитые алым и коралловым цветом. У каждого была своя тень, каждый рос аккуратно, в ромбовидном клинышке, как задумал садовник.

«У Барнса никогда не получается, чтобы так росли»,— подумала Клара; она вздохнула.

— А вы не замечаете знакомых,— проговорил Боули, когда кто-то из идущих навстречу приподнял шляпу. Она вздрогнула, ответила на поклон мистера Лайонела Парри, потратив на него то, что предназначалось Джейкобу.

(«Джейкоб! Джейкоб!» — подумала она.)

— Тебя же задавят, если я тебя отпущу,— сказала она собаке.

— С Англией, по-моему, все в порядке,— произнес мистер Боули.

Внутри кольца, которое описывали перила вокруг статуи Ахиллеса [2], было полно зонтиков и жилетов; браслетов и цепочек; гуляющих дам и господ, изящных, небрежно-внимательных.

«Статуя воздвигнута женщинами Англии...» — прочитала Клара вслух, глуповато хихикая.— Ой, мистер Боули, ой! — Скок-скок-скок — мимо проскакала лошадь без всадника. Болтались стремена, камешки брызгами летели из-под ног.

— Остановите! Остановите ее, мистер Боули! — кричала она, бледная, дрожащая, схватив его за руку, ничего вокруг не замечая, и слезы лились у нее из глаз.

— Ай-ай-ай! — говорил мистер Боули у себя в гардеробной час спустя.— Ай-ай-ай! — что было достаточно глубоким замечанием, хотя и не очень внятно выраженным, поскольку в этот момент камердинер подавал ему запонки.

Джулия Элиот тоже видела убежавшую лошадь и поднялась с места, чтобы посмотреть, чем кончится происшествие, которое ей, выросшей в семье, где все занимались спортом, показалось немного комичным. И разумеется, вслед за лошадью появился запыхавшийся человечек в запыленных бриджах, чрезвычайно раздраженный, и полицейский стал помогать ему взобраться на лошадь, а Джулия Элиот, презрительно усмехаясь, повернула в сторону Марбл-Арч, куда ее вел долг милосердия. Ей предстояло всего лишь проведать больную старую даму, которая знала еще ее мать и, кажется, герцога Веллингтонского тоже; ибо Джулия разделяла свойственное ее полу пристрастие к несчастным; лю-

[1] Выставка («Великая выставка») — первая международная промышленная выставка, организованная в 1851 г.

[2] Статуя, установленная в Гайд-парке в честь герцога Веллингтонского.

била посещать умирающих; бросала башмачки на свадьбах; выслушивала сотни сердечных тайн; знала больше родословных, чем ученый знает дат; и была одной из самых отзывчивых, самых великодушных и наименее чопорных женщин.

И все же через пять минут после того, как она прошла мимо статуи Ахиллеса, она уже казалась погруженной в себя, как всякий, кто продирается летом сквозь толпу, когда шелестят деревья, а из-под колес взвивается желтизна, и сегодняшняя сутолока подобна элегии об ушедшей юности и ушедших летних днях, и в душе у нее росла какая-то непонятная печаль, словно время и вечность просвечивали сквозь жилеты и юбки, и люди у нее на глазах обреченно двигались к концу. Однако, видит бог, Джулия была не дура. Ни одна женщина не могла сравниться с ней по части деловой сметки. К тому же она отличалась пунктуальностью. Часы у нее на запястье отводили ей двенадцать с половиной минут на то, чтобы добраться до Брутон-стрит. Леди Конгрив ждала ее к пяти.

Позолоченные часы у Верри били пять.

Флоринда с тупым, животным выражением посмотрела на них. Она посмотрела на часы; посмотрела на дверь; посмотрела в длинное зеркало напротив; сняла плащ; придвинулась поближе к столу, потому что была беременна — и сомневаться нечего, говорила матушка Стюарт, предлагая средства, советуясь с приятельницами; Флоринда, так легко ступавшая по земле и вот споткнувшаяся, упавшая.

Фужер со сладкой розовой жидкостью, принесенный официантом, стоял перед ней, и она пила через соломинку и смотрела то в зеркало, то на дверь глазами, чуть подобревшими от сладкого напитка. Когда вошел Ник Брамем, даже официанту, молодому швейцарцу, стало ясно, что между ними какие-то отношения. Ник неуклюже одернул одежду, провел рукой по волосам и, волнуясь, сел за столик, готовый к терзаниям. Она посмотрела на него и принялась смеяться; смеялась... смеялась... смеялась... Молодой официант-швейцарец, который стоял у колонны, скрестив ноги, тоже рассмеялся.

Открылась дверь; ворвался рев Риджент-стрит; рев машин, равнодушный, безжалостный, и солнечный свет, пропитавшийся грязью. Официанту-швейцарцу пришлось уйти обслуживать новых посетителей. Брамем поднял бокал.

— Похож на Джейкоба,— сказала Флоринда, всматриваясь в только что вошедшего человека.

— Что-то во взгляде.— Она перестала смеяться.

Джейкоб, склонившись, рисовал на пыльной земле Гайд-парка план Парфенона, вернее, это была сеть черточек, которая, может быть, изображала Парфенон, а может, напротив, математический график. А для чего в углу так выразительно торчал камешек? Он вытащил из кармана ворох бумаг, но деньги пересчитывать не стал, а погрузился в чтение длинного, текучего письма, два дня тому назад написанного Сандрой, которая сидела у себя в Мильтон-Дауэр-хаус, держа в руках подаренную им книгу и вспоминая то, что было сказано, или то, что едва намечалось, какое-то мгновение в темноте по дороге в Акрополь, из тех, что останется (таково было ее глубокое убеждение) важным навсегда.

«Он похож,— размышляла она,— на этого мольеровского героя».

Она хотела сказать на Альцеста. Она хотела сказать, что он суров. Она хотела сказать, что смогла бы его обманывать.

«Или не смогла бы? — задумалась она, ставя стихи Донна обратно в книжный шкаф.— Для Джейкоба,— продолжала размышлять она, подходя к окну и глядя поверх усеянных цветами клумб за луг, туда, где под буками паслись пегие коровы,— для Джейкоба это было бы ударом».

Сквозь воротца в ограде въезжала детская коляска. Сандра послала воздушный поцелуй, и ручка Джимми, направляемая няней, помахала ей в ответ.

— Он просто маленький мальчик,— сказала она, думая о Джейкобе.

И при этом — Альцест?

— Как вы мне надоели! — рассердился Джейкоб, вытягивая сперва одну ногу, потом другую и роясь в карманах в поисках квиточка, удостоверяющего, что он уплатил за пользование стулом.

— Его, наверное, овцы съели,— произнес он.— Зачем у вас тут овцы?

— Прошу прощения, сэр, что побеспокоил,— отвечал контролер, держа руку в огромном мешке, наполненном пенсами.

— Надеюсь, что вам за это хотя бы платят,— сказал Джейкоб.— Вот, пожалуйста. Нет, не нужно. Оставьте себе. Можете выпить на эти деньги.

Он расстался с полукроной снисходительно, сочувственно, испытывая изрядное презрение к роду человеческому.

А бедная Фанни Элмер, идя по Стрэнду, как раз пыталась по мере сил осмыслить вот эту самую небрежную, равнодушную, возвышенную манеру разговаривать с кондукторами и носильщиками или с миссис Уайтхорн, когда та советовалась с ним по поводу сынишки, которого побил учитель.

Воображение Фанни, последние два месяца питавшееся исключительно открытками с видами, рисовало Джейкоба еще более величавым, благородным и безглазым, чем прежде. Чтобы видеть его яснее, она теперь ходила в Британский музей, где шла, опустив голову, до разбитой статуи Одиссея, там поднимала глаза и от присутствия Джейкоба заново испытывала потрясение, которого ей хватало на полдня. Но и это постепенно притуплялось. Еще она начала писать — стихи, письма, которые никогда не отправляла; видела его лицо на афишах, покрывающих заборы вокруг строительных площадок, и специально переходила дорогу, чтобы шарманка превратила ее мечтания в мелодию. Но за завтраком (она снимала квартиру вместе с одной учительницей), когда масло было размазано по тарелке, а между зубьями вилки обнаруживался застывший яичный желток, она в ярости перечеркивала все нарисованные картины; и впрямь, стала очень раздражительна; у нее испортился цвет лица — об этом твердила ей Марджери Джексон, которая (зашнуровывая свои огромные ботинки) относилась ко всему этому по-женски трезво, вульгарно и сентиментально, потому что тоже когда-то любила и вела себя как дура.

— О таком надо предупреждать при рождении,— сказала Фанни, разглядывая витрину Бэкона, продавца географических карт на Стрэнде. Предупреждать, что нечего сходить с ума, что такова жизнь, вот что следовало сказать, как говорила сейчас Фанни, рассматривая большой желтый глобус с обозначенными на нем пароходными линиями.

— Такова жизнь. Такова жизнь,— повторяла Фанни.

«Какое жесткое лицо,— подумала мисс Баррет, которая по ту сторону витрины собиралась купить карту Сирийской пустыни и нетерпеливо дожидалась, чтоб ее обслужили.— Как теперь девушки быстро старятся!»

Экватор расплылся в слезах.

— До Пиккадилли доедет? — спросила Фанни у кондуктора омнибуса, взбираясь наверх. И все-таки он обязательно, он непременно к ней вернется.

Но Джейкоб, наверное, думал в это время о Риме, об архитектуре, о юриспруденции и по-прежнему сидел в Гайд-парке под платаном.

Омнибус остановился у Чаринг-Кросс; за ним скопились другие омнибусы, фургоны, автомобили, потому что по Уайтхоллу проходила процессия со знаменами и пожилые люди чинно спускались между лапами отполированных львов[1], оттуда, где они свидетельствовали преданность своей вере, громко пели и, отрывая глаза от нот, глядели на небо; к небу же были устремлены глаза и сейчас, когда они шли под золотыми буквами, выражающими их убеждения.

Транспорт остановился; и солнце, уже не остужаемое ветерком, стало почти невыносимо жарким. Но процессия прошла; знамена блестели теперь далеко, в другом конце Уайтхолла; транспорт ожил, рванулся, возобновил ровный, непрерывный гул и, описав кривую по Кокспер-стрит, покатил по Уайтхоллу мимо правительственных учреждений и конных статуй к острым шпилям, серой застывшей флотилии каменных зданий и большим белым часам Вестминстера.

Пять раз звучно пропел Биг Бен; Нельсон принял его приветствие. Провода Адмиралтейства содрогнулись от какой-то бегущей издалека вести. Некий голос не переставая сообщал, что в рейхстаге состоялись выступления премьер-министров и наместников короля, что войска вошли в Лахор, что император путешествует, что в Милане восстание, извещал, что в Вене ходят слухи, докладывал, что посла в Константинополе принял султан, что флот находится сейчас в Гибралтаре. Этот голос все говорил и говорил, отпечатывая на лицах чиновников в учреждениях Уайтхолла (одним из них был Тимми Даррант) свою собственную неумолимую серьезность, а они слушали, расшифровывали, записывали его донесения. Накапливались бумаги, заполненные высказываниями кайзеров, статистикой по рисовым полям, недовольством сотен рабочих, готовящих мятежи на каких-нибудь задворках, или собирающихся на калькуттских базарах, или стягивающих силы к предгорьям Албании, где холмы песчаного цвета и где не хоронят мертвецов.

Голос был слышен в тихой квадратной комнате с массивными столами, где в одиночестве сидел пожилой человек и делал записи на полях отпечатанных листов, а его зонтик с серебряной ручкой стоял прислоненный к книжному шкафу.

Голова его — лысая, с красными прожилками, кажущаяся пустой внутри — была представительницей всех голов учреждения. Голова эта с любезными тусклыми глазами переносила бремя знания через улицу и выкладывала его перед коллегами, которые приходили с такой же ношей, а затем эти шестнадцать человек, поднимая перья или, может быть, несколько утомленно поворачиваясь в креслах, постановляли, что история должна пойти в ту или иную сторону, ибо они мужественно решили — это было написано на их лицах — внести какой-то порядок в дела раджей и кайзеров, и в волнения на базарах, и в тайные сходки крестьян в юбочках на албанских предгорьях, так явственно различимые с Уайтхолла, и управлять течением событий.

Питт и Чатам, Бёрк и Гладстон[2] глядели из стороны в сторону застывшими, мраморными глазами, с тем видом бессмертного покоя, которому, наверное, завидовали живые, потому что воздух сотрясался от толчков и свиста, когда по Уайтхоллу проходила процессия со знаменами. Более того, некоторые из них страдали расстройством желудка, у одного в этот самый момент треснуло стекло в очках, другой завтра должен был выступать в Глазго, и в общем все они казались слишком красными, толстыми, бледными и худощавыми, чтобы подобно мраморным головам направлять ход истории.

---

[1] Имеются в виду скульптуры львов у подножия колонны Нельсона на Трафальгарской площади, откуда начинается улица Уайтхолл, идущая к зданию парламента.

[2] Уильям Юарт Гладстон (1809—1898) — английский государственный деятель.

Тимми Даррант в своей маленькой комнатке в Адмиралтействе, собираясь справиться о чем-то в Синей книге [1], застыл на секунду у окна, рассматривая плакат, прикрепленный к фонарному столбу.

Мисс Томас, машинистка, говорила своей приятельнице, что, если заседание Кабинета кончится еще не скоро, она не увидится со своим молодым человеком, который ждет ее у входа в «Гейети» [2].

Тимми Даррант, вернувшись с Синей книгой под мышкой, увидел на углу кучку людей, собравшихся там с таким видом, будто один из них что-то знал, а остальные, сгрудившись вокруг, смотрели вверх, смотрели вниз, смотрели вдоль улицы. Что же это он такое знал?

Тимоти, разложив перед собой Синюю книгу, изучал бумагу, по которой пришел запрос из Министерства финансов. Мистер Кроли, чиновник, сидевший рядом с ним, наколол письмо на штырь.

Джейкоб поднялся со стула в Гайд-парке, разорвал в клочья квиточек и ушел.

«Такой закат,— писала миссис Фландерс Арчеру в Сингапур.— Невозможно решиться уйти в дом,— писала она.— Кажется преступлением упустить хоть секунду».

Длинные окна Кенсингтонского дворца ярко розовели, когда Джейкоб уходил из парка; стая диких уток пролетала над озером Серпантин, а деревья выступали на фоне неба, черные, величественные.

«Джейкоб,— писала миссис Фландерс, и красный отсвет ложился на страницу,— после своего чудесного путешествия снова принялся за работу».

«Кайзер,— сообщал в Уайтхолле далекий голос,— дал мне аудиенцию».

— Так, знакомое лицо...— сказал преподобный Эндрю Флойд, выходя из магазина Картера на Пиккадилли.— Но кто бы это...— И он внимательно посмотрел на Джейкоба, обернулся, чтобы разглядеть как следует, но все же никак не мог...

— А, Джейкоб Фландерс! — осенило его.

Но до чего высокий, до чего погруженный в себя, до чего красивый молодой человек.

«Я подарил ему Байрона»,— пробормотал Эндрю Флойд и направился к Джейкобу, когда тот стал переходить улицу, но как-то заколебался, замешкался и упустил возможность.

Еще одна процессия, на сей раз без знамен, загораживала Лонг-Акр. Кареты с важными дамами в аметистах и господами с пятнышками гвоздик, застрявшие экипажи и автомобили разворачивались и ехали в другую сторону, туда, куда брели утомленные люди в белых жилетах, направляющиеся домой, к скверам и бильярдным Патни и Уимблдона.

Две шарманки играли у края тротуара, и лошади, выходящие от Олдриджа [3], с белыми наклейками на крупах, рванулись через дорогу, но их ловко оттянули назад.

Миссис Даррант, сидевшая в автомобиле рядом с мистером Уэртли, нервничала, что они пропустят увертюру.

Но мистер Уэртли, всегда галантный, ни разу в жизни не опоздавший к увертюре, застегнул перчатки и сделал комплимент мисс Кларе.

— Жалко проводить такой вечер в театре! — сказала миссис Даррант, увидев, как пылают окна в домах каретников на Лонг-Акре.

— А представьте себе ваши вересковые пустоши! — обратился к Кларе мистер Уэртли.

---

[1] Любой документ значительного объема, изданный с санкции парламента, например отчеты министерств и т. п.

[2] Лондонский мюзик-холл.

[3] «Конный рынок Олдриджа» — место, где с конца XVIII до начала XX в. продавали лошадей и давали напрокат экипажи.

— Да, но Кларе здесь нравится больше,— рассмеялась миссис Даррант.

— Я не знаю, правда...— сказала Клара, глядя на пылающие стекла. Она вздрогнула.

Она увидела Джейкоба.

— Кто там? — резко спросила миссис Даррант, подавшись вперед.

Но она никого не увидела.

У сводчатого входа в Оперу все лица — крупные и худые, напудренные и бородатые — одинаково пламенели в лучах заката; и, приходя в возбуждение от огромных люстр с тусклым нежно-желтым светом, от топота ног, от алого цвета и нарядной толпы, некоторые дамы на секунду заглядывали в окна ближайших домов, откуда шел пар и высовывались женщины с распущенными волосами и девушки... и дети...— в длинных зеркалах отражались застывшие фигуры дам, но надо было уже идти, нельзя же загораживать проход.

Кларины вересковые пустоши в самом деле были прекрасны. Финикийцы спали под грудами серых камней; трубы старых шахт врезались в небо; первые мотыльки, садясь на колокольчики, сливались с ними; слышно было, как далеко внизу на дороге скрипят колеса телеги и море словно всасывает что-то и вздыхает — нежно, настойчиво, вечно.

Заслонив глаза рукой, миссис Паско стояла в огороде, где росла капуста, и глядела на море. Два парохода и парусник прошли навстречу друг другу и разошлись в стороны; чайки в заливе садились на бревно, взмывали вверх и опять опускались на бревно, а другие качались на волнах или стояли у кромки воды, пока луна не отбелила все добела.

Миссис Паско давно ушла в дом.

Но на колоннах Парфенона еще лежал красный отсвет, и гречанки, которые вязали чулки, иногда подзывая детей, чтобы поискать у них в волосах, были веселы, как береговые ласточки в жаркий день, ссорились, ругались, кормили грудью младенцев, пока, наконец, корабли в Пирее не выстрелили из пушек.

Звук сперва распространялся ровно, а затем судорожными взрывами стал пробиваться в проливах между островами.

Темнота падает на Грецию как нож.

— Пушки? — спросила Бетти Фландерс спросонья, вылезая из постели и подходя к окну, окаймленному темными листьями.

«Не может быть на таком расстоянии,— подумала она.— Это море».

Снова она услышала глухой звук вдалеке, как будто женщины во тьме выбивали огромные ковры. Морти пропал без вести; Сибрук умер; сыновья ее сражались за родину. Но как там цыплята? Кто-то, кажется, ходит внизу? Опять у Ребекки зуб болит? Нет. Это женщины во тьме выбивают огромные ковры. На насесте тихо шевелились куры.

XIV

«Все оставил как было,— изумлялся Бонами.— Ничего не разобрал. Письма валяются повсюду, читайте кто хочет. На что он рассчитывал? Неужели думал, что вернется?» — размышлял он, стоя посредине комнаты Джейкоба.

У восемнадцатого века есть какое-то особое благородство. Эти дома были построены лет полтораста назад. Комнаты приятной формы, высокие потолки, над дверью роза или баранья голова, вырезанные из дерева. Даже панели, покрашенные в малиновый цвет, выглядят благородно.

Бонами подобрал счет за охотничий хлыст.

— Этот, кажется, оплачен,— сказал он.

Лежали письма Сандры.

Миссис Даррант устраивала поездку в Гринвич.

Леди Роксбиер надеялась иметь удовольствие...

Воздух в пустой комнате неподвижен, лишь чуть надувает занавеску, цветы в кувшине подрагивают. Скрипит перекладина в плетеном кресле, хотя там никто не сидит.

Бонами подошел к окну. Почтовый фургон заворачивал за угол. На углу около Мюди застряли омнибусы. Стучали моторы, и возчики жали на тормоза, круто вздыбливая лошадей. Резкий несчастный голос выкрикивал что-то неразборчивое. И вдруг словно взметнулись все листья.

— Джейкоб! Джейкоб! — закричал Бонами, стоя у окна. Листья снова опустились.

— Всюду такой беспорядок! — воскликнула Бетти Фландерс, распахивая дверь спальни.

Бонами отвернулся от окна.

— Что мне делать с этим, мистер Бонами?

Она держала в руках старые ботинки Джейкоба.

■

ЭРВЕ ГИБЕР

Другу, который не спас мне жизнь

РОМАН

Перевод с французского М. ВОЛКОВОЙ и А. ВОЛКОВА

45

Стефан с головой погрузился в работу основанной им ассоциации — после смерти Мюзиля, надо признать, он нашел в этом смысл жизни: оставшись в одиночестве, превозмогая боль, Стефан смог в полной мере реализовать свой нравственный и интеллектуальный потенциал, свое умение организатора — до сих пор его способности, при всем их разнообразии, томились под спудом, чахли; раньше Мюзиля очень раздражали его суетливость, леность, бесконечные телефонные разговоры; статьи Стефана вечно оставались неоконченными — словом, его окружал неописуемый беспорядок. Проблема СПИДа изменила общественное положение многих людей, они надеялись сделать на нем карьеру и заслужить признательность сограждан, особенно врачи пытались таким образом вырваться из рутинной медицинской практики. Доктор Насье сам вступил в ассоциацию Стефана и ввел туда своего приятеля Макса (я прежде работал с ним в газете) — Мюзилю почему-то он напоминал «жареный каштан». Доктор Насье с Максом оба имели дурную репутацию и потому прекрасно спелись. Стефану, видимо, они раньше очень нравились, особенно «жареный каштан», в результате он сделал их ближайшими помощниками. При этом Стефан повторял на все лады: «Я скоро передам вам дела, я создал ассоциацию, но теперь заниматься ею некогда, надоело выступать и рассказывать о ней по телевидению, пожалуйста, сходите в студию вместо меня...» На самом деле Стефану только чудилось, будто Макс и доктор предали его: так старикам доставляет болезненное удовольствие выдумывать, будто их наследники страдают алчностью, и, посулив тем сказочные богатства — бриллиантовое ожерелье или антикварную посудную горку,— они в последнюю минуту завещают все своему массажисту или мусорщику. Я в то время часто встречался и со Стефаном, и с доктором Насье и очень забавлялся, когда слышал от первого: «Глаза у них завидущие, руки загребущие!» —а от второго: «Нам приходится бороться с двумя напастями разом — со СПИДом и со Стефаном». Лишь эту шутливую «двойную игру» Давид и я позволяли себе с другом Мюзиля — Мюзиль, вот уж кто наверняка порадовался бы нашему коварству! Мы, однако же, сообщали Стефану обо всех попытках доктора Насье и Макса организовать бунт или переворот в ассоциации, ведь Насье простодушно делился со мной всеми замыслами. Поэтому Стефану удалось провести голосование и забаллотировать самонадеянную пару. Макс написал Стефану письмо, обвиняя его в нагнетании «атмосферы гомосексуальности» в ассоциации,— это привело к окончательному разрыву. Несколько месяцев спустя Стефан, все еще переживая стычку с Насье, но главным образом — предательство «жареного каштана», вскричал, встретив меня на улице: «Только не говори, что ты по-прежнему лечишься у этого Насье,— я и слышать о нем не хочу!» Я не сказал ему, кто мой новый врач,— ведь и тот был близок к Насье. Давид однажды пошутил: если найдут средство от СПИДа, Стефан в тот же день с горя повесится. Я повидался с одним старым другом, психиатром,— он тоже работал в ассоциации,— и он придумал, что́ надо говорить на сеансах больным СПИДом: «До болезни вы наверняка искали смерти, может быть и не раз! Развитие СПИДа в организме действительно определяется психическими факторами. Вы сами хотели смерти — вот она и пришла к вам».

Окончание. Начало см. в № 8, 1991.

46

В последние месяцы жизни Мюзиль медленно, но упорно отдалял от себя любимого человека, желание уберечь его превратилось в рефлекс, в бессознательную осторожность: ведь к тому времени его собственный организм — сперма, слюна, слезы, пот и что еще точно не знали — уже стал средоточием заразы. Все это мне позднее рассказал Стефан, не преминув заметить, что он здоров, избежал опасности — впрочем, здесь он мог и приврать, хотя он же, узнав, каким недугом на самом деле страдал Мюзиль, хвастался, будто незаметно пробрался к нему, умирающему, в больничную палату и жаркими, страстными поцелуями покрыл все его тело, напоенное ядом. Я не смог повторить подвиг Мюзиля — не уберег Жюля, а может быть, Жюль — меня, мы оба не уберегли Берту, но иногда в душе у меня еще теплится надежда, что детей или хотя бы одного ребенка болезнь пощадила.

47

Просматриваю свой ежедневник за 1987 год: 21 декабря, когда я разглядывал в зеркале ванной комнаты свой язык, бесстрастно, словно по привычке, копируя доктора Шанди, даже не зная толком, что́ именно там ищу, но стараясь разглядеть грозные симптомы, загадочные для меня, я увидел маленькие беловатые волоконца, тонкие папилломы, покрывавшие кое-где нижнюю поверхность языка. Глаза у меня остекленели, и на следующий день, во вторник утром, во время очередной консультации на сто двадцать пятую долю секунды остекленели глаза у доктора Шанди, когда он увидел мой язык: я следил за ним и поймал его взгляд — так сыщик ловит преступников с поличным. Доктор Шанди заметил роковой признак и не мог солгать, молод был хитрить, не то что Леви, Нокур и Арон, старые пройдохи; он еще не научился лгать в открытую, не моргнув глазом, перед лицом истины, зрачок его расширился на сто двадцать пятую долю секунды, словно диафрагма фотоаппарата, схватывающая изображение и жадно прячущая свою добычу. В тот день я должен был обедать с Эжени — и ничего ей не сказал, в этот миг я напрочь позабыл об окружающих меня людях, о дружбе, тревожные мысли захватили меня полностью. Накануне я провел вечер с Грегуаром, тогда я еще не знал уготованной мне участи, обманывал самого себя, но чувствовал — меня вот-вот охватит отвращение и к Грегуару, и к его ласкам. Жюля тогда не было в Париже, но когда он вернулся, я и ему сначала ничего не сказал. Доктор Шанди вовсе не хотел оглушать меня смертельным приговором, хотя вполне ощущал жуткую реальность моего диагноза, так как восемью месяцами раньше, до знакомства с ним, у меня уже был опоясывающий лишай. Он просто собирался очень осторожно подвести меня к новому уровню осознания болезни и при этом оставить мне, как говаривал Мюзиль, свободу выбора — либо прозрение, либо самообман. Предельно осторожно, едва ощутимо — словно смещалась то влево, то вправо на тысячную долю миллиметра стрелка осциллометра — доктор Шанди выяснял, изучая меня взглядом, готовый пойти на попятный, лишь только дрогнут мои ресницы, отдаю ли я себе отчет в надвигающейся опасности. Он говорил мне: «Нет, я же не сказал вам, что это решающий признак, но не стану вас обманывать — статистически он довольно значим». Когда же четверть часа спустя я, содрогаясь от ужаса, спрашивал: «Значит, это все-таки решающий признак?» — он отвечал: «Нет, я бы так не сказал, но все же он достаточно характерен». Доктор Шанди выписал мне фонгилон — густую тошнотворную жидкость желтого цвета, и в течение трех недель, утром и вечером, мне надо было полоскать ею язык; я привез с собой в Рим с десяток флаконов, сначала прятал их в чемоданах, а потом за другими склянками и коробками, на полках шкафчика в ванной и в кухонном буфете; по утрам и вечерам приходилось делать унизительную и гадкую процедуру, тайком от Жюля и Берты. Они вскоре приехали ко мне в Рим, мы жили там вместе: Жюль с Бертой спали наверху, в мезонине, а я один, на первом этаже. Рождественским утром я сообщил Жюлю по телефону, что́ случилось со мной (и по воле рока — с нами); Берте мы в этом не признались, чтобы не омрачать ей праздник. Жюль с беззаботным видом строил несбыточные планы и увлекал ими ничего не подозревавшую Берту: ближайшие несколько лет нам обязательно надо пожить за городом, Берте хорошо бы на время оставить свой пост в министерстве народного образования, взять отпуск на год — короче, я понял, негоже впустую расточать недолгие годы, что нам осталось прожить, ведь они уже сочтены. Между тем я продолжал писать свою заранее обреченную книгу, в ней шла речь как раз о поре нашей юности, когда мы — Жюль, Берта и я — встретили и полюбили друг друга. Я попытался сочинить нечто вроде по-

хвального слова Берте, Мюзиль перед смертью тоже собирался то ли всерьез, то ли в шутку воздать хвалу мне, и каждый день я дрожал от страха — а вдруг Берта наткнется на рукопись, которую я привык спокойно оставлять на письменном столе?

48

В полночь 31 декабря 1987 года в баре ресторана «Алиби» мы с Бертой и Жюлем расцеловались, глядя друг другу в глаза. Странно желать счастливого Нового года тому, кто вряд ли доживет до его конца, ситуация хуже некуда; чтобы пережить ее, нужна отвага и еще умение держаться непринужденно, будут и обоюдоострые откровения, и умолчания, общие думы, тревога, которую не скрыть улыбкой, не прогнать смехом; пожелания счастья исполнены горькой, но светлой торжественности. Прошлое Рождество я встречал в деревушке на Эльбе, в обществе кюре, приговоренного врачами к смерти, у него был рак лимфатических узлов; эта лимфома, без обиняков заявил мне доктор Насье,— неопознанный СПИД, кюре делали лишь обычную рентгенотерапию — то ли пытались спасти репутацию пациента и в ущерб его здоровью выдавали СПИД за рак, то ли итальянские медики оказались слишком нерадивыми. Кюре вернулся из Флоренции после долгого пребывания в клинике, еле живой, чтобы в последний раз отслужить мессу в своей деревне. Я не видел его уже несколько месяцев; меня сопровождал некий юноша по прозвищу Поэт, он то тупо молчал, то истерически хохотал. Рождественским вечером Густав решил пойти с кюре на эту последнюю мессу, собираясь потом доставить его к нам на машине: кюре уже не под силу было взбираться по многочисленным ступеням и крутым улочкам к «самой заднице» деревни, как выражаются итальянцы,— ее дальней и бедной околице, где мы жили. Поэт возлежал на диване в гостиной, то ли случайно, то ли бессознательно копируя сладострастную позу натурщика на одной из картин прошлого века, которая ныне находится в Брюссельском музее изящных искусств; доктор Насье однажды преподнес нам ее черно-белую репродукцию старинной печати — сейчас она стояла на круглом столике возле дивана, рядом с французским изданием Дантова «Ада». Это совпадение навело меня на мысль поставить нечто вроде живой картины, правда, если учитывать состояние кюре, сказал Густав, такие номера вовсе не к месту: ведь, появившись у нас, гость застанет Поэта в костюме Адама и совершенно в той же позе, что у натурщика. Никто из нас не должен обращать ни малейшего внимания на наготу Поэта, он, сохраняя вполне естественный вид, примет участие в нашем праздничном ужине; сам Поэт от этой бредовой идеи пришел в восторг. Я втайне надеялся порадовать кюре: ведь он давным-давно признался нам, что неравнодушен к мальчикам. Внешне Поэт являл собой страшное, фантастическое, почти дьявольское сочетание несочетаемого: лицо — ребенка, тело — хрупкого подростка, а фаллос — мощный и огромный, словно у крестьянина. Густав на машине отправился в церковь, там его взору предстало плачевное зрелище: кюре не мог даже поднять дароносицу — певчим пришлось поддерживать ее снизу, а потом попросту нести. Густав сразу понял, что шутка наша — гадость, вышел вон из церкви и бросился искать телефон, чтобы дать отбой. В это время обнаженный Поэт, раскинувшись на диване, весь содрогался от взрывов безумного хохота, нервничал, ему хотелось помочиться. Дабы успокоить Поэта, я сомкнул губы на его мощном крестьянском орудии. Ближайшие телефоны либо не работали, либо были заняты, когда же Густав отыскал-таки единственный свободный и действующий автомат, оказалось, что у него нет с собой жетона, а торгующая ими ближайшая лавка закрыта, к тому же он должен был быстрее возвратиться в церковь. Появился у нас кюре — и чуть ли не с порога увидел такую картину: точно против распахнутой двери восседал на диване обнаженный Поэт. Он встал и поздоровался с кюре за руку, церемонно и холодно. Я искоса наблюдал за гостем — безусловно, впервые за долгие годы служения церкви ему было ниспослано истинное ви́дение, очарованный и уязвленный разом кюре внезапно впал в экстаз и уже готов был пасть ниц. Дабы вернуть себе душевное спокойствие, он взял с круглого столика Дантов «Ад» — на обложке книги изображалось падение в бездну ангелов согрешивших[1] — и изрек: «Дьявола не существует, выдумать его мог только человек». Кюре предложил отправиться к нему домой, выпить шампанского по случаю праздника — справить Рождество. Его матушка, высохшая старушка (она была у кюре экономкой, он говорил о ней: «Несу свой крест»), подала на стол «панеттоне» — традиционный сдоб-

[1] Аллюзия на слова из послания св. Апостола Петра: 2 Пет., 2 : 4. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ный пирог. Мы пожелали друг другу счастливого Рождества, кюре смотрел на меня благодарным взглядом, а я умирал со стыда. Кюре заранее приготовил ракеты и петарды, и мы устроили фейерверк, церковь окутало розовато-серое облако и повисло плотной пеленой, точно в пороховом погребе.

49

Вернувшись в Париж, я понял: фонгилон не поможет мне избавиться от белых папиллом, напрасно я три недели подряд подвергал себя унижениям, прятался в туалете и втайне от всех полоскал язык густой желтой микстурой, давясь ею натощак и сажая на одежду пятна; я перестал воспринимать свой язык как орган чувств, возненавидел его, хотя доктор Шанди утверждал, будто грибковые заболевания не передаются половым путем, и прописал мне другое средство, дактарин,— белое, вязкое вещество, липкую массу с металлическим привкусом, им я тоже лечился три недели, но и оно язык не очистило, я больше не мог вступать в эротические контакты и почти свел на нет редкие интимные встречи с двумя партнерами, одного из них я предупредил о своей болезни, другого — нет. Мы с Жюлем решили в конце концов сделать пресловутый серодиагностический тест; за последние несколько лет доктор Насье уже не раз направлял меня на этот анализ, однако я так и не сподобился пойти. В январе 1988 года Жюль уверял меня, что ни он, ни я не инфицированы — ему нужна была эта уверенность — и что доктор Шанди просто паникер и псих, никудышный врач, напрасно пугает своих пациентов. Потому Жюль очень хотел, чтобы мы сделали этот анализ, особенно я — Жюль хорошо знал мой характер,— нам, точнее мне, надо было успокоиться. Давид никогда не принимал всерьез мои болячки и теперь, посмеиваясь, сказал: ну и погано же тебе станет, когда выяснится, что ты здоров, а значит, напрасно свел свою половую жизнь к столь убогим проявлениям; мне останется лишь оплакать свое избавление от СПИДа и наложить на себя руки. Я позвонил доктору Шанди, сообщил ему о нашем намерении, и он захотел встретиться со мной и с Жюлем до анализа. Встреча оказалась важной и, кажется, решающей! «Важной», «решающей» — эти слова доктор Шанди повторял вновь и вновь — в основном из-за Жюля, тот пытался отрицать очевидную истину, которой тем не менее суждено было совершенно изменить окружавший нас мир и, если можно так сказать, самое нашу жизнь. Доктор Шанди знал: нет необходимости рассказывать о немногих доступных средствах предохранения и защиты от вируса: мы с Жюлем и так уже давно ими пользовались — и вместе и порознь. Посему он сразу приступил к разбору возможных ситуаций: у одного анализ положительный, у другого — отрицательный, или же у обоих положительный, рассказывал, что́ в каком случае делать, а варианта всего два, тут обольщаться не стоит. Мы хотели сделать анализ анонимно, мне и Жюлю это казалось совершенно необходимым — надо же учитывать наши профессиональные и дружеские связи. Не то в Баварии, не то в Советском Союзе поговаривали о принудительных проверках на СПИД при въезде в страну, пересечении государственной границы, а также о тестировании людей, представляющих «группы риска», о том же рассуждал в газетах и советник по медицине при фашиствующем Ле Пене. Я объяснил доктору Шанди, что мне постоянно приходится ездить из Франции в Италию и обратно — для меня крайне важно сохранить свободу передвижения через франко-итальянскую границу. Он посоветовал нам сделать анализы анонимно и бесплатно — каждую субботу по утрам их проводила организация «Врачи мира» в лаборатории на углу маленькой улочки Юра́, неподалеку от памятника Жанне д'Арк на бульваре Сен-Марсель; потом я долгое время не мог спокойно смотреть в ту сторону, когда ездил на 91-м автобусе ужинать к Давиду,— меня сразу же начинала бить дрожь. Январским субботним утром мы с Жюлем отправились туда и встали в огромную очередь: здесь были негры и негритянки, люди разных возрастов и обличий, проститутки, гомосексуалисты и какие-то непонятные личности. Очередь тянулась вдоль тротуара до самого бульвара Сен-Марсель: ведь там стояли и те, кто пришел за результатами анализов, сделанных на прошлой неделе. У нас взяли кровь — к моему громадному удивлению, без резиновых перчаток, без всяких мер предосторожности,— и, выйдя на улицу, мы с Жюлем заметили одного юношу — бедный, вид такой потерянный, словно тротуар бульвара Сен-Марсель вот-вот разверзнется у него под ногами и весь мир разом рухнет; юноша не знал, куда бежать, как быть дальше, его шатало от страшной новости, это совершенно очевидно, он вдруг закинул голову назад и метнул взгляд ввысь, но и небеса отвернулись от него. Нас с Жюлем эта сцена привела в ужас — мы вдруг увидели себя самих через шесть дней,— но одновременно и

приняли эту чудовищность: глядя на несчастного юношу, мы ощутили себя не просто свидетелями, но участниками какого-то захватывающего обряда заклинания злых духов. Доктор Шанди не ожидал хороших результатов, и, поскольку приближался срок моего отъезда в Рим, торопил события — он направил нас в институт имени Альфреда Фурнье, на дополнительный анализ крови, чтобы узнать, насколько вирус иммунодефицита завладел организмом. Институт прославился еще в эпоху сифилиса; медсестры здесь орудовали в резиновых перчатках, а пациентам предлагали самим бросать в пакет для мусора окровавленную ватку, которой прижимали место укола на локтевой вене. Жюль решил пройти все обследования одновременно со мной, но этот анализ был вынужден перенести на другое время, поскольку не выполнил главного условия — ничего не есть с утра. Ему оставалось только злиться да ждать меня. Прочитав мое направление, медсестра поинтересовалась: «Вы давно знаете, что инфицированы?» Я остолбенел и даже не нашелся что ответить. Результаты анализа мы должны были получить дней через десять, прежде теста «Врачей мира», это будет время не то подлинной, не то мнимой неопределенности; я дал медсестре адрес Жюля: ведь на свой собственный получать ничего не мог — мою корреспонденцию регулярно переправляли в Рим. До самого последнего дня Жюль не давал мне результатов анализа, он разбирал их и расшифровывал. А когда мы поехали наконец на улицу Юра, в лабораторию «Врачей мира», в такси Жюль объявил мне: институтские анализы у нас плохие, по ним уже можно определить роковые признаки независимо от того, что покажет тест. И я вдруг понял: нас поразило горе, началась эпоха страшных бед, и не будет ей конца. Я чувствовал себя так же, как тот бедняга, ошарашенный страшной новостью, полуживой от страха: казалось, тротуар вот-вот пойдет трещинами, разверзнется у меня под ногами. На меня нахлынула ужасная жалость к Жюлю, к себе. Самое страшное оказалось вот в чем: Жюль пытался подготовить меня к худшему, однако сам, конечно, надеялся, что наши анализы, по крайней мере его собственный, окажутся хорошими. У каждого из нас в кармане лежала карточка с номером — всю неделю мы старались не предаваться суеверным догадкам, не принимать эту цифру за доброе или же дурное предзнаменование. Врач должен был вскрыть нумерованный конверт с результатом анализа, при этом ему вменялось в обязанность использовать определенные психологические приемы. Одна ежедневная газета сообщила, что около 10% пациентов, проходящих проверку на СПИД в лаборатории «Врачей мира», оказываются вирусоносителями, однако для населения в целом это вовсе не характерный показатель — на улицу Юра приходят в основном представители так называемых «групп риска». Мне объявлял результат анализа довольно неприятный субъект, и я выслушал его, разумеется, холодно — хотелось поскорее уйти, забыть про этот медицинский конвейер: здоровым — полминуты внимания, улыбка и памятка по азам профилактики, вирусоносителям — от пяти до пятнадцати минут «доверительной» беседы; он осведомился, один я живу или у меня есть партнер, нагрузил меня рекламными проспектами новой ассоциации доктора Насье и посоветовал, дабы смягчить удар, через неделю сделать повторное исследование — оно якобы может опровергнуть полученный анализ; во всяком случае, один шанс из ста есть. Что произошло в другом кабинете, куда вошел Жюль, я не знаю, да и не хотел бы знать; я уже вышел в коридор и ждал его там. Однако в лаборатории вдруг начался переполох: в кабинет вбегали и выбегали люди, двери без конца хлопали, регистраторша позвала еще одного врача, а затем медсестру. Похоже, Жюль, с виду такой спокойный, упал в обморок, когда узнал от постороннего человека, в общем, уже известный ему результат, который теперь официально подтвердился, пусть даже фамилии Жюля никто здесь не знал, вынести правды он не смог. Ужаснее всего в неумолимо надвигавшейся эпохе ужаса было то, что муку терпел твой друг, твой брат — вот тут и охватывало омерзение. После лаборатории, когда Жюль пришел в себя, мы отправились на бульвар Монпарнас — приближался карнавал, и Жюлю надо было купить для детей маскарадные костюмы и хлопушки.

50

Всего за неделю обстоятельства резко переменились: когда мы с Жюлем впервые пришли в лабораторию «Врачей мира» делать анализ, меня посетила постыдная мысль — в самом деле, выпавшие на нашу долю страдания и невзгоды я принимаю радостно, однако разделить свое чувство с Жюлем, мучить его своей радостью я не мог — было бы омерзительно. С двенадцати лет я начал ощущать страх перед смертью, она сделалась для меня наваждением. Я не

знал, что такое смерть, пока мой одноклассник Бонкарер не посоветовал мне сходить в кинотеатр «Стикс» — в то время сиденья там были в виде гробов — и посмотреть фильм Роджера Кормена «Заживо погребенный» по новелле Эдгара Аллана По. Смерть открылась мне в ужасном обличье: в гробу лежит живой человек, он не может высвободиться и испускает душераздирающие вопли; эта сцена стала источником упоительных кошмаров. Я безумно увлекался всяческими символами смерти: упросил отца отдать мне череп, который он приобрел в бытность студентом для занятий медициной; как завороженный смотрел фильмы ужасов, начал даже сочинять рассказ о смертных муках призрака, заточенного в подземелье замка Гогенцоллернов, и псевдоним себе придумал — Гектор Мрак; зачитывался разными «страшными историями», новеллами, по которым ставил свои фильмы Хичкок; бродил по кладбищам, запечатлевая на первых своих фотоснимках надгробья младенцев; съездил в Палермо только затем, чтобы взглянуть на мумии из монастырей ордена капуцинов; собирал чучела хищников, как и Антони Перкинс в «Психозе»[1]. Смерть казалась мне ужасающе-привлекательной, сказочно-чудовищной, а потом я возненавидел весь этот потусторонний хлам, вернул череп отцу, кладбищ избегал как чумы; теперь любовь к смерти вступила в новую стадию, захватила меня целиком, теперь мне были нужны не внешние ее атрибуты, но глубочайшая внутренняя связь с ней; я неустанно добивался слияния с ее тайной, самой драгоценной и самой отвратительной на свете, томился страхом и ожиданием ее.

51

Результаты анализа подтвердили, что я инфицирован, потом доктор Шанди прочел тест «Врачей мира» и сообщил: ничего особо тревожного нет, но часть моих кровяных телец, точнее — лимфоциты, разрушается под действием вируса. За минувшую неделю я сделал все неотложные дела, причем самым методичным образом: подготовил к печати окончательный вариант рукописи, над которой уже столько месяцев трудился, дал ее перечитать еще раз Давиду и затем отнес издателю; вспомнил кое о ком из знакомых, ненадолго или вовсе потерянных, мне вдруг страшно захотелось с ними встретиться; собрал пять тетрадей своих дневников, которые вел с 1978 года, и положил на хранение в сейф Жюля; подарил лампу и одну из рукописей тем, кому хотел их завещать; 27 января отменил в банке прежнее распоряжение о вкладе денег в недвижимость — теперь это просто глупо — и решил открыть общий счет либо с Жюлем, либо с Бертой; 28 января был у юриста в своем издательстве и выяснил, как оформляются права наследования — я собирался передать их Давиду; 29 января ходил на прием к финансовому инспектору и проверил, все ли налоги я уплатил; 31-го, впервые после долгого перерыва, ужинал со Стефаном — он стал просто специалистом по проблемам иммунодефицита и рассказывал леденящие кровь истории о больных СПИДом,— а на следующий день, тоже после долгого перерыва, позавтракал с доктором Насье — еще одним специалистом по СПИДу, противником Стефана, и за нашей совместной трапезой старался говорить, не слишком широко раскрывая рот, боясь, что он заметит мою лейкоплакию, хотя ее, разумеется, не видно, она под языком; наверное, со страху мне невольно захотелось досадить Насье — желая узнать, как умирают от СПИДа, я весь обед вытягивал из доктора самые неаппетитные подробности. А недавно я снова сходил на консультацию к доктору Шанди, подтвердил, что, разумеется, хочу умереть «вдали от любящих родителей», и, вспомнив, как лежал в коматозном состоянии Фишарт, приятель Билла, привел доктору слова Мюзиля из единственного собственноручно написанного им завещания: «Только смерть — никакой инвалидности». Никакого коматозного состояния, никакой слепоты — я просто и тихо отойду в мир иной, когда пробьет мой час. Однако доктор Шанди не стал делать записей в медицинской карте и ограничился кратким устным замечанием: по мере развития болезни отношение пациента к ней постоянно меняется — и невозможно предугадать, каким будет его окончательное волеизъявление.

52

Со своей стороны Жюль крайне тяжело переживал резкий переход от смутных, неопределенных догадок к полной ясности. Он восстал, но не против судьбы — против того, кто, по его мнению, вынудил нас неизвестно зачем окунуться с головой в этот омут, то есть против доктора Шанди; Жюль отказался идти к нему на прием, чтобы уточнить результаты своих анализов, и вообще

[1] Известный фильм А. Хичкока (1960).

не упускал случая обругать его и высмеять меня — ведь я-то хвалил его на все лады. Стоило мне после визита к доктору Шанди слегка воспрянуть духом, Жюль саркастически замечал: «Ну конечно, сначала он тебя довел до отчаяния, а теперь — что ему остается? — успокаивает». Если же доктор Шанди ввергал меня в ужас описанием того или иного симптома, конечно казавшегося мне признаком СПИДа, Жюль ерничал, возводя очи горе: «Честное слово, твой усатый дурак совсем рехнулся!» Доктор Шанди учуял это едкое презрение, и когда я принялся, было, упрашивать его принять Жюля, отрезал: «Знаете, в Париже много специалистов по СПИДу, я не единственный». Жюль, конечно, насмешник и за словом в карман не полезет, сказал я доктору Шанди, но если приглядеться, на самом деле он отличный парень; доктор Шанди улыбнулся, услышав, что мой друг «насмешник», а не придира. Помирить Жюля с доктором Шанди все не удавалось, но неожиданно помог случай. Я сто раз на дню болтал с Жюлем по телефону, но однажды вечером затосковал и не стал звонить Жюлю, чтобы не портить ему настроение. Он сам позвонил мне — его неотступно преследовали мрачные мысли; когда я положил трубку, к глазам подступили слезы, но плакать я не мог и, чтобы уснуть, принял снотворное. Жюль твердо решил бросить работу и посвятить остаток дней детям; он то и дело читал и перечитывал пункт за пунктом страховой полис (он застраховал свою жизнь шесть лет назад, примерно в начале инкубационного периода). Выплакаться мне так и не удалось. На следующий день позвонил Жюль. Он все обдумал: позволить Берте сделать анализ — равносильно самоубийству, этого допустить нельзя; нас — Берту, Жюля, детей и меня — внезапно и страшно связала одна судьба, и Жюль придумал всем нам прозвище «Клуб пяти». Еще через день я отправился к ним обедать; Берту немного знобило, она лежала в постели, читала книгу; я зашел к ней поздороваться, и она нежно мне улыбнулась: мы оба знали страшную тайну, но говорили совсем о другом. Берта давно сделалась для меня идеалом. В воскресенье утром у нее поднялась температура, Жюль не мог найти ни одного врача и в панике кинулся ко мне. Я нашел в телефонном справочнике домашний телефон доктора Шанди, вычислив код округа по давнишнему случайному упоминанию в разговоре. За последнее время я совершенно выдохся и раскис, но горе близких людей, как всегда, придало мне мужества. Через час прибыл доктор Шанди, и у Жюля сразу пропала неприязнь к нему. Оказалось, что у насмерть перепуганной Берты обыкновенный грипп. Любовные отношения с Жюлем у меня не ладились. Конечно, мы уже ничем не рисковали, разве что могли заразить друг друга повторно, но между нами призраком вставал вирус. Меня восхищало красивое, мощное тело Жюля, особенно когда я видел его нагим, однако сейчас Жюль исхудал и теперь внушал мне не любовь, а скорее жалость. Да и Берта, когда наличие вируса подтвердилось и он словно бы материализовался в облике Жюля, стала помимо своей воли испытывать к его телу отвращение. Мы с Бертой хорошо знали Жюля: он не смог бы пережить равнодушия партнера к его физическим достоинствам. Одно из побочных действий иммунодефицита, сексуальное охлаждение, Жюлю — по крайней мере поначалу — было бы тяжелее перенести, чем саму болезнь; моральный ущерб оказался для него серьезнее физического. Внешне Жюль производит впечатление крепкого парня, но в кино, как только на экране начинаются всякие ужасы, закрывает лицо руками, точно пугливый малыш или женщина. В тот день он записался на прием к глазному врачу, это недалеко от моего дома; ко мне специально зашел пораньше, и я решил сменить привычный способ траханья: прижался к нему со спины, задрал свитер, нащупал соски, начал нещадно их мять и терзать, до крови, до тех пор пока Жюль не повернулся ко мне лицом и со стоном не рухнул к моим ногам. Но ему уже пора было на прием к глазному врачу. Потом он снова вернулся ко мне и объявил, что у него не конъюнктивит, а помутнение роговицы — скорее всего, это проявление СПИДа; Жюль боялся ослепнуть, его охватила паника, а мне абсолютно нечем было рассеять его страхи, я готов был заплакать от бессилия и досады. Я опять набросился на его соски, и он мгновенно, машинально рухнул передо мной на колени, сцепив руки за спиной, будто их стягивала веревка, и принялся тереться губами о мою ширинку, стеная, вздыхая и тихо моля отдаться ему во избавление боли, которую я ему причинил. Сегодня Жюль далеко от меня, но когда я пишу эти строки, то чувствую, как напрягается мой фаллос, не знавший эрекции уже несколько недель. Та вспышка тоски и страсти меня измучила неизбывной тоской, мне подумалось: мы с Жюлем затеряны где-то между жизнью и смертью, точка нашего соприкосновения на этой прямой вдруг ясно обозначилась, и мы слились воедино, словно два скелета-содомита перед минутой возмездия. Жюль проник

в меня сзади и довел до оргазма, неотрывно глядя мне в глаза. Взгляд у него был немыслимо светлый и мучительный, уже беспредельно-далекий и отравленный беспредельностью. Я сдержал душившие меня рыдания, чтобы не испугать Жюля, и они прорвались глубоким вздохом в конце соития.

53

В основу разработанной доктором Шанди программы по исследованию крови пациента легло его предположение о существовании молекулы, которая должна замедлять разрушающее действие вируса на лимфоциты — гаранты иммунной защиты. Как только догадка подтвердилась и процент риска удалось свести к минимуму, доктор Шанди предложил мне войти в состав экспериментальной группы по испытанию препарата, получившее название «дефентиол». В США такие опыты провели, но не сумели соблюсти необходимые клинические условия, а во Франции неверно определили исходные статистические данные — и зазря потеряли полгода: ведь можно было сразу установить, эффективна молекула или нет. Доктор Шанди сделал вид, что внимательно изучает мою медицинскую карту, и якобы рассеянно заметил: «Сначала опоясывающий лишай, теперь узел саркомы... Да и по показателю Т4 [1] вы имеете право быть зачисленным в группу». Тогда же доктор Шанди объяснил мне, что́ такое принцип «слепого двойника» (разумеется, я о нем и понятия не имел). Поразительная вещь: ради чистоты эксперимента настоящее лекарство и совершенно нейтральный препарат — «слепой двойник» — вводят одинаковому числу иммунодефицитных больных; причем никто не знает, в какую группу попал — выбор производят по жребию. Затем, когда у больных одной группы уже проявляются явные признаки ухудшения, тайна «слепого двойника» раскрывается. Тогда этот метод показался мне чудовищным — сущая пытка для обеих групп. Теперь же, когда смерть преследует меня по пятам, а может быть, я сам ищу с ней встречи, я очертя голову бросился бы в омут неизвестности и побарахтался бы в его гибельных водах. «Значит, вы советуете мне войти в экспериментальную группу?» — спросил я доктора Шанди. «Я вам ничего не советую, зато почти убежден — это мое личное мнение,— что препарат во всяком случае безвреден»,— ответил доктор. Однако я не стал добиваться, чтобы меня включили в группу. Наши разговоры о дефентиоле на том и кончились бы, но вдруг несколько месяцев спустя в послеобеденной беседе доктор Шанди признался: уже тогда, предлагая мне испытать препарат, он был уверен — проку от него не больше, чем от двойника-пустышки. Тем не менее лаборатории, специализирующиеся на его изготовлении, во-первых, конкурировали со многими другими фирмами, во-вторых, не могли предложить ничего более эффективного, потому-то эксперимент не закрывали и врачей обязывали утверждать, что результаты обнадеживают, следовательно, препарат не следует снимать с производства. Я же сам ухитрился разузнать правду о реакции больных: размышляя, не войти ли мне в состав группы по испытанию лекарства, решил посоветоваться со Стефаном, напустил на себя равнодушный вид и притворился, будто по неведению спутал дефентиол с АЗТ; Стефан пояснил: те, кто рискнул испробовать лечение по методу «слепого двойника», чуть не сошли с ума — редко кто выдерживал больше недели, все они, измучившись вконец, кинулись в платные лаборатории проверить у фармацевтов, что им дают: «подопытные» страстно желали знать, что им досталось — настоящее лекарство или пустышка.

54

В газетах замелькали не встречавшиеся ранее сообщения: пострадавшие требуют взимания в судебном порядке денежных штрафов с проституток или случайных партнеров, которые, будучи инфицированы, тем не менее вступали с ними в сексуальные отношения. Власти Баварии предложили делать соответствующую буквенную татуировку на ягодицах вирусоносителей. Меня встревожило и другое: мать Поэта давным-давно велела ему провериться на СПИД, поскольку догадывалась о нашей близости. С Поэтом я всегда соблюдал меры предосторожности, даже когда он молил меня обращаться с ним как со шлюхой и еще когда я просил его отдаться Жюлю, а сам, не желая быть орудием наслаждений, передал эту роль Жюлю и удовольствовался амплуа пассивной жертвы. В предвкушении оргазма я вдруг почувствовал странный аромат пота от наших трех тел, черепицей наслоившихся друг на друга: этот запах будил во мне неутолимое сладострастие, кружил голову; мне вдруг подумалось — мы

[1] Лимфоцитов-помощников.

с Жюлем попросту два душегуба, ни стыда, ни совести. Да нет, волноваться нечего: я аккуратно надевал Жюлю новый презерватив всякий раз, когда юноша отдавался ему, да и сам старался не кончать Поэту в рот, хотя больше всего этот гетеросексуальный тип возбуждался, видимо, тогда, когда обхватывал губами что-нибудь наподобие бейсбольной биты; Поэт постоянно сокрушался — женщины, мол, абсолютно ничего не умеют делать ртом, и в результате, безнадежно запутавшись в своих ощущениях, позволял взять себя как шлюху. Мать Поэта сама мне рассказывала — ее сын запросто мог отдаться первому встречному, задницу он подставлял черт-те кому, всяким мерзким старикам, которые подбирали его на шоссе между Марселем и Авиньоном,— ведь он часто путешествовал автостопом. Подозрения матери Поэта — вопиющая несправедливость, и ничего более: единственным известным ей любовником сына, то есть потенциальным губителем, был я! В конце концов Поэт сообщил мне в письме: «Судя по анализам, СПИДа у меня нет». Сказано почти с сожалением — юноша мечтал либо покончить жизнь самоубийством, либо прославиться.

55

Я пишу эти строки здесь, в обители несчастий, все еще будучи пансионером академии, где рождаются дефективные дети, а неврастеники-библиотекари вешаются на черной лестнице, где живут художники, уже побывавшие в психушке — теперь они снова в лечебницах обучают помешанных рисованию; где писатели, утратив вдруг всякую индивидуальность, начинают бездарно подражать своим предшественникам, рассказывает забавы ради Томас Бернхард, желая приукрасить повествование о завоеванном у публики призвании, столь же неотвратимом, сколь и разрушительное действие ВИЧ-вируса в крови и в клетках. У одной обитательницы нашего пансиона — ее вместе с двумя детьми бросил муж — помутился рассудок; сначала она незаметно переложила заботы о младшем сынишке на нас, сотоварищей мужа по пансиону, хотя раньше ни с кем даже не здоровалась; а затем просто тронулась умом и принялась донимать всех беспрестанными звонками и в дверь, и по телефону в самое неподходящее время, а однажды целую ночь выла от страха: ведь рядом с ней такие чудовища, как мы,— оказывается, мы похитили ее мужа и хотим изнасиловать ее детей — да-да, несчастная Жозиана совсем спятила. Приступами безумия она в конце концов обратила на себя внимание; ее все считали обыкновенной бабой, ей бы только рожать и выкармливать детей, но она бутылочку-то дать не умеет, ребенку все лицо молоком зальет; тот, сто́ит ей приблизиться, со страху заходится криком, а нам, растлителям младенцев, улыбается! Все боятся, что она выкинет ребенка в окно; я раньше никогда не заглядывал в тот угол сада, но сегодня утром подошел к ее окнам, будто ноги сами привели меня туда, в зону высокой концентрации всяческих бед; я из укрытия наблюдал за ней — расстелив на балконе одеяло, Жозиана принимала солнечные ванны. Я испугался — вдруг безумная обернется ко мне и сбросит на меня ребенка,— но вообще я был готов к этому, представить себе подобную картину было несложно. Как и остальные, я рад был бы поверить в страдания Жозианы; да, она еще вообразила себя художницей и малюет на стенах губной помадой имя одного из пансионеров, зациклилась на нем, потому что он был единственным другом ее мужа. А нас, прочих обитателей (мы между собой и словом ни разу не перемолвились, даже гулять по дорожкам сада предпочитали в одиночестве),— нас теперь объединило горе этой женщины; со стороны могло показаться, будто мы заботимся о ее благополучии, на самом же деле мы, кажется, с диким упорством подталкивали несчастную к верному концу. И жизнь нашей заброшенной обители наконец озарилась смыслом, лелея горе этой женщины, мы нашли свое призвание, цель бытия; вот так сирая обитель превратилась в работающую на полную мощность фабрику несчастья.

56

Я вернулся в Рим, оставив тайну своей болезни в Париже. Однако пришлось выкручиваться, объяснять Коту, отчего я так помрачнел, иначе он извел бы меня расспросами. Не было дня, чтобы Кот не приставал ко мне: «Эрвелино, да что с тобой? Ты какой-то странный... Совсем изменился... О чем ты все время думаешь? Я ведь тебя люблю, и, конечно, волнуюсь...» Поначалу я делал вид, будто не понимаю, о чем он, потом послал его к черту, но Кот все упорствовал. И однажды, с глазу на глаз, я открыл ему правду, сказал открытым текстом — у меня, мол, очень плохо со здоровьем; он умолк и больше ни о чем не спрашивал. Чудовищное признание — когда я сказал, что болен, болезнь

материализовалась, обрела мощь и разрушительную силу. Мы сделали первый шаг к отчуждению, которому суждено было завершиться трауром и слезами. Вечером Кот пришел ко мне и принес подарок — звездообразный светильник, я уже давно и безуспешно искал такой, а Кот вдруг достал его, точно фокусник или волшебник; он как бы заклинал меня: не бойся, наперекор всем тревогам и бедам лампа-звезда долго будет тебе сиять. Мы пошли в дансинг и танцевали там, пока совсем не выбились из сил,— хотелось доказать самим себе, что есть еще порох в пороховницах, что мы еще поживем. Правду сказать, и я беспокоился о Коте — ведь прежде чем стать моим ближайшим другом, пять лет назад он был моим любовником, примерно в период моего заражения. Его нынешняя подружка постоянно кашляла, болела и к тому же ждала ребенка. Она была уже на четвертом месяце, а потому я как можно деликатнее предупредил Кота — надо бы ему провериться, но ей ничего не говорить, не тревожить зря. После нашего разговора Кот впал в страшное уныние, к тому же ему приходилось скрывать тревогу; он вернулся на родину и бессонными ночами, стоя у окна, за которым шелестел листвой огромный ясень, думал — делать анализ или нет, терзался собственной нерешительностью, то жаждал провериться, то отказывался от этой мысли. Утром, в день отъезда в Рим, Кот, доведенный до крайности, все же пошел в лабораторию: так, заплутав в колючем кустарнике, не найдя дороги, человек взбирается на высокую стену и решает прыгнуть вниз, чтобы выйти из тупика. Коту тоже достался какой-то номер, как в лотерее,— уезжая, он сообщил его одному надежному человеку. Теперь Кот вернулся в Рим, мы шли по аллее, немного поотстав от его подружки и незнакомого мне приятеля, в тот вечер Кот надел синее габардиновое пальто и шляпу, после возвращения он все время нервничал, куксился, раздражался по пустякам, а сейчас в парке прошептал мне: «Слушай, я проверился...» Я, затаив дыхание, с нетерпением ждал, что он скажет. «Ну и как?» Ситуация не из легких — мы оба могли в эту минуту сомневаться во взаимной приязни. Тот, кому Кот оставил свой номер, сходил вместо него узнать результат и только что позвонил. «У меня все хорошо»,— ровным голосом ответил Кот. Я улыбнулся, новость принесла мне — пусть это не покажется ложью — глубокое, искреннее облегчение.

57

Я точно знал: в глубине моего тела притаился ВИЧ; может, в лимфатической системе, может, в нервной, может, в головном мозге, и там он набирает силу, готовится к смертельной атаке — его часовой механизм установлен на взрыв — правда, через шесть лет; я уже не говорю об узле саркомы под языком, от этой напасти избавиться невозможно, мы махнули на нее рукой; потом у меня начали появляться побочные недомогания — доктор Шанди пытался их лечить, нередко прямо по телефону: очаги экземы на плечах — локоидом, однопроцентной кортизоновой мазью, диарею — эрцефурилом-200 (по капсуле через четыре часа в течение трех дней), страшно беспокоивший меня ячмень — с помощью глазных капель «Дакрин» и ауреомициновой мази. Во время первого приема доктор Шанди говорил мне: «На сегодняшний день СПИД еще не лечится, лечить можно лишь отдельные симптомы по мере их появления, а на последней стадии больным дают АЗТ, но с одним условием — начав принимать, принимать до самого конца». Он не хотел сказать «до смерти», а только — «до полной непереносимости». Сейчас, будучи в Риме, я обнаружил на шее справа от кадыка слегка болезненный, припухший желвак, и в то же время у меня стала повышаться температура. Газсты уже несколько лет твердили: увеличение лимфатических узлов — главный признак СПИДа, я встревожился и позвонил в Париж доктору Шанди, он рекомендовал противовоспалительное средство типа нифлурила, но забыл сообщить мне его состав, чтобы я нашел итальянский аналог. Беспрестанно ощупывая желвак, я в панике помчался в аптеку на площади Испании, потом — в международную, на площади Барберини, оттуда пришлось бежать в Ватикан, и я против воли попал еще и в это невероятное государство: здесь, чтобы купить лекарство, надо прежде ответить на вопросы педантичного чиновника, отстоять очередь перед окошечком, подать паспорт, дождаться, пока в пропуске, дубликате и множестве копий поставят печати, потом предъявить этот пропуск грозному стражу — и наконец войти в святой город. Его улицы напоминают подступы к супермаркету на окраине провинциального городка: покупатели толкают тележки, набитые подгузниками для грудных детей и ящиками с освященной минеральной водой,— ясно, набитые доверху, ибо в святом городе вещи и продукты дешевле — в городе-государстве внутри другого города; Ватикан соперничает с Римом, у

него есть собственная почта, собственный суд, тюрьма, кинотеатр, игрушечные церкви, куда заходят помолиться между делом; я заблудился и аптеку нашел с трудом — ослепительно белую аптеку будущего, готовую декорацию для съемок «Механического апельсина» Стэнли Кубрика: на одном конце прилавка монахини в белых блузах поверх обычных серых одеяний торговали беспошлинной косметикой и духами «Опиум» фирмы «Ив Сен-Лоран», на другом — священники в серых воротничках, выглядывающих из ворота блуз, торговали аспирином и презервативами; я понял — нет, мне не раздобыть нифлурил ни в римских аптеках, ни даже в ватиканской. В Рим на неделю приехал Жюль, и от того, что он был рядом, я запаниковал еще больше. Два СПИДа на одного — это уж слишком: ведь мне теперь казалось, будто мы с Жюлем не собратья по несчастью, а единое существо, и когда я говорю с ним по телефону, то слышу еще один свой голос, и когда обнимаю Жюля, то вновь обретаю свое же собственное тело; двум очагам скрытой инфекции тесен один организм. Будь один из нас болен, а другой здоров, создалось бы некое защитное равновесие, и наше несчастье уменьшилось бы вдвое. Вместе же мы погружались в двойную болезнь, окончательно и бесповоротно тонули в ней, шли прямо на дно, в самую глубь. Жюль отчаянно боролся, он не хотел становиться моей сиделкой — сыт по горло; я кипятился, обижал его, даже радовался всякому поводу возненавидеть его. Жюль признался, что месяц назад у него по всему телу — на шее, под мышками, в паху — вспухли лимфатические узлы, через неделю все прошло само; он вообще привык справляться с болью и тревогой без посторонней помощи, а вот я, дескать, поступаю наоборот, выплескиваю свои страхи на друзей, тут мне нет равных, даже Давид говорит, что это отвратительно. Нас с Жюлем доконали выходные, мы проводили их в Ассизи и Ареццо, двух вымерших городах, дождь лил не переставая, я то стучал зубами, то дремал в холодном гостиничном номере, с балкона открывался неуместно роскошный вид, Жюль дни и ночи напролет бродил по мокрым улицам — лучше уж мелкий, затяжной, ледяной дождь, чем мои слезы. Мы вернулись в Рим, а там Жюль заторопился домой, нам тошно было друг от друга, Жюль собирался на вокзал, и тут я скрючился на постели, в тоске, молил не бросать меня, отвезти в больницу. Когда он ушел, мне полегчало, я был лучшей сиделкой самому себе, никто иной не мог понять моих мук. Опухоль на шее опала сама; как Мюзиль для Стефана, так и Жюль для меня стал олицетворением болезни, я для него, несомненно,— тоже. Оставшись в одиночестве, присмирев, большую часть времени я отдыхал и ждал некоего избавления свыше.

58

Жюль заметил: в вестибюле института имени Альфреда Фурнье постелили новый ковер; после того как с эпидемией сифилиса покончили, институт долго бедствовал, но потом дела его внезапно пошли в гору, словно на фабрике по производству презервативов. Институт раздобрел на крови инфицированных клиентов — контрольные анализы сдают каждые три месяца. Исследование крови на ВИЧ-вирус стоит пятьсот двенадцать франков, расплачиваться теперь можно не наличными, а по кредитной карточке. Медсестры там шикарные: чулки светлые, туфли без каблуков, юбки прекрасно сшиты, строгие воротнички выглядывают из-под халата, с виду — то ли преподавательницы музыки, то ли банковские служащие. Девушки натягивают резиновые перчатки, словно бархатные — будто собираются в оперу. Мне попалась на редкость деликатная медсестра — делая укол, она замечает даже, насколько сильно пациент бледнеет. Изо дня в день у нее перед глазами льется зараженная кровь, и хотя на ней тонкие резиновые перчатки, опасность подстерегает ее на каждом шагу; сестра с шумом сдергивает перчатки и, взяв голыми пальцами лейкопластырь, налепляет его на ранку. «У вас какой одеколон? «Красный фрак?» — вдруг спрашивает она.— Я его сразу узнала. Пустяк, конечно, но мне было приятно. Утро нынче выдалось хмурое, а тут вдруг — любимый аромат, ну просто нечаянная радость!»

59

18 марта 1988 года я снова в Париже и ужинаю у Робина вместе с Густавом, завтра они уезжают в Таиланд; точно помню: с нами были еще — по порядку, как мы сидели за столом,— Поль, Диего и Жак-Жак, а также Билл, он прилетел утром из Сосдиненных Штатов. В тот вечер мы вшестером слушаем монолог Билла. Он в состоянии неописуемого возбуждения и буквально не закрывает рта, все другие разговоры сразу прекращаются. Билл, захлебываясь, рассказывает: в Америке начали выпуск эффективной вакцины против СПИДа,

точнее, не совсем вакцины, поскольку вообще-то вакцина — средство профилактическое, а это, если так можно выразиться, лечебная вакцина, которую получают на основе ВИЧ и вводят инфицированным пациентам, не имеющим симптомов болезни (их назвали «здоровыми вирусоносителями»), итак, вакцину вводят до тех пор, пока не восстановятся силы зараженного СПИДом организма, пока вирулентность не будет подавлена и разрушительное действие вируса не блокировано. Сведения эти, по словам Билла,— совершенно секретные, он надеется на наше благоразумие: ведь нельзя раздавать обещания направо и налево и понапрасну обнадеживать несчастных больных — они могут впасть в состояние аффекта и невольно помешают тщательному проведению эксперимента (он вот-вот начнется во Франции); конечно, у всех присутствующих есть заболевшие знакомые, но, разумеется, мы здесь все здоровые. Из числа присутствующих я, возможно, единственный больной — хотя как знать? СПИД всегда скрывают... Да, рассказ Билла взволновал меня не на шутку, ибо поколебал нерушимую уверенность: я ведь уже свыкся с мыслью о болезни и близкой смерти. Я испугался, что выдам себя — побледнею как полотно или зальюсь краской, и чтобы враз покончить со страхом, насмешливо бросил Биллу: «Так ты что же — собираешься всех нас спасти? Всех до одного?» — «Не говори глупостей! — отрезал Билл, прервав на минуту свой рассказ.— Ты же не инфицирован». И вновь обратился к остальным: «А вот больным — таким, как был Эрик или твой брат, это поможет». Билл (в присутствии пяти человек) говорил о брате Робина. Я и не знал, что скончавшийся прошлым летом Эрик и гетеросексуальный юноша, младший брат Робина, только сегодня отправившийся в кругосветное путешествие на паруснике, были, как и я, инфицированы. В США, продолжал тем временем Билл, уже получены предварительные результаты первой серии испытаний: 1 декабря прошлого года вирусоносителям без симптомов болезни ввели вакцину, после чего врачи три месяца продолжали наблюдение за испытуемыми. Судя по всему, вакцина полностью уничтожила вирус, присутствовавший в тканях организма и в физиологических жидкостях — крови, сперме, выделениях слезных и потовых желез. Результаты превзошли все ожидания, и с первого апреля решено начать вторую серию испытаний. Фактически это уже третья серия, потому что перед первой проводилась еще одна, но тогда взяли больных в слишком тяжелом состоянии — сейчас все они либо умерли, либо уже при смерти. Для новой серии отобрано шестьдесят вирусоносителей без симптомов болезни, их объединили в группу под названием «2В». Половине больных введут вакцину, другой — ее „слепой двойник". Результаты, в общем, будут получены где-то через полгода; затем, если они окажутся удовлетворительными, как позволяет надеяться исход серии «2А», подобные испытания будут проведены и во Франции; это может спасти больных — таких, как Эрик или любимый брат Робина. Оказалось, Билл непосредственно по своей работе связан с проектом изготовления вакцины и ее возможной продажи: ведь он — директор крупной французской лаборатории по производству вакцин и давнишний, близкий друг изобретателя нового препарата — Мелвила Мокни. Открытие Мокни сводилось к простой догадке: вакцину нужно синтезировать на основе ядра ВИЧ, тогда как его коллеги, зная схему строения вируса, пробовали использовать оболочку. Исследователи терпели неудачу за неудачей, причем с каждым разом дела шли все хуже и хуже, и теперь, по словам Билла, об этом узнают специалисты всего мира, в Стокгольме с 11 по 18 июня у них пройдет конференция; Билл без умолку стрекотал о вакцине, информация поступала к нему от самых близких друзей, он хотел знать всё — эти новости могли перевернуть всю его жизнь. В самом деле, Биллу надоела изнурительная работа, неизбежное одиночество, бесконечные поездки из Франции в Африку и обратно, в Африке он сотрудничал с общественными медицинскими организациями. Прежде Билл в сфере здравоохранения поддерживал политику правящей партии, но накануне очередных президентских выборов во Франции партия была на грани краха. Билл и сам подумывал о политической карьере; правда, его смущал расхожий взгляд на политических деятелей как на невежд и болванов. На сегодняшний день, считал он, нет дела серьезнее и важнее, чем борьба со СПИДом, потому что эпидемия катастрофически растет. И действовать надо очень быстро. Не исключено, что Биллу придется переехать в США, в Майами, где эту вакцину будут производить целыми чанами — огромными, столитровыми, сначала дезактивируя вирус, затем подвергая его криогенезу, оттаиванию и нейтрализации лучами лазера по всем правилам, соблюдая предосторожность, чтобы лаборанты не заразились. Билл как друг Мелвила Мокни — они знакомы уже лет двадцать — и одновременно директор крупной лаборатории по производству вакцин оказался причастным к откры-

тию, которое должно спасти человечество от самой страшной угрозы нашего столетия. Кроме того, откровенно признался Билл, на вакцине удалось бы нажить солидное состояние, хотя, сказать правду, распоряжаться деньгами он никогда не умел. Билл подвез меня домой на своем «ягуаре», всю дорогу я молчал; мне предстояло провести с ним наедине еще весь завтрашний вечер, а потом мы разъедемся, каждый в свою сторону: он — в Майами, я — в Рим. Всю ночь я не сомкнул глаз — страшно волновался. Я уже решил не рассказывать новостей Жюлю, а теперь решил и не посвящать Билла в тайну своей болезни. Я сосчитал дни по датам дневниковых записей: с 23 января, когда я побывал в лаборатории на улице Юра и узнал не подлежащий обжалованию приговор медиков, до 18 марта, сегодняшнего дня, принесшего мне другие вести (может статься, не так страшен тот диагноз, уже принятый мною как неизбежность), прошло пятьдесят шесть дней. Я прожил пятьдесят шесть дней, свыкаясь с мыслью о своей обреченности,— то храбрился, то отчаивался, то забывал о близком конце, то думал о нем неотступно. Теперь для меня начался новый период — время ожиданий, надежд и сомнений,— и, возможно, он даже ужаснее предыдущего.

60

В ту ночь я еще раз убедился, что надо мною властвует случай: почему именно я подцепил СПИД и почему именно Билл, мой друг Билл, одним из первых людей в мире узнал способ избавить меня от кошмара бытия или от желанной смерти? Почему в тот вечер осенью 1973 года, почти пятнадцать лет назад, когда я в одиночестве ужинал в кафе на бульваре Сен-Жермен, он подсел именно к моему столику? Мне едва исполнилось восемнадцать, а ему-то сколько? Тридцать, тридцать пять — столько сейчас мне самому. Я был страшно одинок, но он, конечно, тоже, еще больше, чем я,— одинок и беззащитен рядом с незнакомым юношей, как сегодня и я сам. Он вдруг ни с того ни с сего предложил мне отправиться с ним, пилотом, в Африку на служебном самолете. Именно от него в тот вечер я услышал фразу, которую годы спустя, сочиняя киносценарий, вложил в уста одного из героев, летчика по профессии: «Знаете, в Африку попасть очень просто, надо только сделать прививки — от тифа, от желтой лихорадки, а с завтрашнего дня начать принимать нивакин, такой противомалярийный препарат, две недели, по таблетке утром и вечером,— из Парижа нам вылетать как раз через две недели». Почему я в последний момент отказался от поездки, так ни разу и не встретился с Биллом за те две недели, хотя звонил ему и готовился к отъезду? А ведь собирался всерьез — сделал все прививки и даже начал принимать нивакин. Почему мы потеряли друг друга из виду и встретились лишь пять лет спустя, июльским вечером 1978 года, на выставке-коллоквиуме фотографов в Арле? Но разве жизнь Билла не более невероятный пример жестокой властности рока? Увы, судьба распоряжается людьми, вертит этими бессильными и жалкими существами как хочет, играет ими. И разве не сверхъестественны отношения Билла с ученым, на открытии которого он собирался нажить состояние? Кстати, и разница в возрасте у них была та же, что у нас с Биллом. Мелвил Мокни прославился в 1951 году, когда изобрел противополиомиелитную вакцину. После войны маленький Билл вслед за сестрой внезапно заболел полиомиелитом; вирус поражал один за другим основные мышечные центры, начиная с лицевых мышц (пол-лица у больного было перекошено), и кончая жизненно важными дыхательными органами, чье естественное функционирование полностью нарушалось. Несчастные жертвы — зачастую это были дети — оказывались заживо погребенными в печально известных камерах искусственного дыхания вплоть до смертельного удушья. СПИД при пневмоцистозе или поражении легких саркомой Капоши также приводит к смерти от удушья. У Билла уже была парализована часть лица, отчего один глаз не закрывался, нарушились двигательные рефлексы губ с правой стороны, мертвая половина его лица — слева от меня, если за ужином сижу напротив. Но исцелиться ему помогло вовсе не изобретение того, кто позднее стал его коллегой и другом. В 1948 году, за три года до разработки Мелвилом Мокни противополиомиелитной вакцины, мальчику удалось усилием воли — или это была счастливая случайность — обуздать мощный и разрушительный вирус, укротить его, точно разъяренного льва, и без помощи вакцины навсегда изгнать болезнь из организма. Билл рассказал мне, что Мелвил Мокни — так и не удостоенный Нобелевской премии, ибо знал о связанных с соискательством махинациях и даже не хотел выполнять обязательных правил оформления и подачи документов — удалился в научный центр в Рочестере, где занялся исследованием коры головного мозга, и вскоре доказал:

мозг рассылает по всему организму не только нервные импульсы, но и особые жидкие выделения, которые оказывают на его жизнедеятельность столь же решающее воздействие.

61

Итак, 19 марта, в субботу, я обедал с Биллом; с Жюлем я утром поговорил по телефону, и он велел мне рассказать Биллу о нашем положении, то же самое во время традиционного субботнего обеда горячо советовала мне сделать и Эдвиж. Однако я колебался: не столько сомневался в Билле, сколько не желал нарушать сговор с судьбой — видимо, окончательный, несущий избавление от мук бытия. Давным-давно Жюль, еще не зная, что мы инфицированы, сказал мне: СПИД — удивительная болезнь. Я и впрямь почувствовал во всех сопутствующих ей ужасах нечто поразительное, притягательное; да, она несет смерть, но не мгновенную, она плавно проходит иерархию степеней, и пусть в конце ждет неминуемая смерть, но каждая ступень — превосходный урок истинной онтологии; эта болезнь определяет человеку срок умирания, определяет срок наступления смерти, срок осознания феномена времени, жизни вообще; СПИД — гениальное достижение современности, которое нам досталось от африканских зеленых мартышек. Погибель, поселившись внутри человека, оказывается живучей и в результате не такой уж безжалостной. Если жизнь — всего лишь ожидание смерти и нас беспрестанно мучает неопределенность (когда придет страшная гостья?), то СПИД отмеряет нам точный срок: шесть лет вы — вирусоноситель, затем еще два года продержитесь с помощью АЗТ — это в лучшем случае, а без лекарства — несколько месяцев; жизнь становится четко обозримой, очерченной: отныне вы навсегда избавлены от неведения. Если Билл пустит в ход свою вакцину, от моей обреченности ничего не останется и я скачусь к прежнему неведению. Из-за СПИДа я за несколько месяцев словно бы прожил годы. Мы с Биллом договорились сходить в кино — на «Империю солнца»[1]. Паршивенький триллер о мальчишке, который потерял родителей и борется за жизнь в чудовищном мире: война, концентрационный лагерь, где сильный властвует над слабым, бомбежки, жестокость, голод, черный рынок и так далее — триллер, изобилующий американскими киношными штампами. Когда страсти на экране накалялись, Билл весь напрягался и судорожно сглатывал. Я тайком поглядывал на него: глаза горячечно блестят от навернувшихся слез, он буквально прирос к экрану и, возможно, не просто следил за маленьким актером, но проникал в символический смысл картины: удел людской — несчастье, но сильный духом всегда его побеждает. Я знал, что умница Билл при всем том — необычайно простодушный зритель и в кино все принимает за чистую монету, однако сейчас его простодушие было мне противно, а еще противнее становилось от другой мысли: внезапная, фантастическая, как сказал бы недруг, перспектива прозрения, которую открыл мне СПИД, несовместима с этим плебейским простодушием. Выходя из кинотеатра, я твердо решил: ничего Биллу не скажу — ни о том, что задумал, ни о том, к чему побуждал элементарный инстинкт самосохранения. Время было позднее, рестораны уже закрывались, да и машину толком негде было поставить — улицы в квартале Марэ такие тесные. Пришвартовались наугад у странного еврейского ресторанчика, куда зазывал клиентов какой-то чудной официант, переодетый казаком. На столиках ярко пылали свечи. Мы с грехом пополам втиснулись между парочками влюбленных, которые нежно ворковали, склоняясь над рыбным ассорти, и, разумеется, мешали нам перейти к делу. Но Билл сел-таки на своего конька после двух-трех пустых фраз о фильме, и я, вопреки собственному намерению не затрагивать больную тему (не зря, наверное, Билл говорил столь небрежным тоном), решил допросить его о том, что волновало нас обоих, но по разным причинам; я тут же засыпал его вопросами: кто изготовляет «как-его-там» и когда «как-их-там» смогут наконец получать «как-его-там»; сидевшие за соседними столиками, должно быть, принимали нас за главарей наркомафии. После ужина Билл повез меня домой, и уже в машине я спросил, умеет ли он хранить тайны. «Ягуар» бесшумно мчался по пустынным парижским улицам и, казалось, под звуки музыки парил в воздухе. Я выложил Биллу все, словно ведомый волею своих друзей и собственным здравым смыслом, выложил вопреки своей воле и данному самому себе зароку; по блеску глаз — он их не отрывал от дороги, бесконечной ленты, разматывающейся перед ветровым стеклом, похожей на ту, вьетнамскую, военных времен, что мы видели в кино,— я безошибочно понял: ужасная новость потрясла

[1] Фильм по книге английского писателя Дж. Балларда (1984).

Билла — что до нее недавно пережитым киношным страстям, обрушившимся на нас. «Я так и думал,— заговорил, придя в себя, Билл.— Еще когда у тебя был опоясывающий лишай, я предположил... Потому и направил тебя к доктору Шанди — в надежные руки... Теперь я точно знаю: надо спешить, надо торопиться». На следующий день Билл улетел в Майами. Перед отъездом он спросил меня: «Какой у тебя показатель Т4?» Уже меньше 500, хотя и больше 400; критическая отметка — 200.

62

После того вечера Билл исчез, перестал звонить, а ведь до этого просто мучил меня бесконечными ночными звонками, хотя обычно он деловит и краток, а тут звонил мне в Рим из Майами, прямо из конторы, после рабочего дня, они начинали в семь утра и сидели целый день, с перерывом всего на четверть часа, только бы успеть перехватить по бутерброду; но наступал вечер, и деловое возбуждение, весь день державшее Билла, уже казалось ему глупым, становилось невыносимым, ибо усиливало одиночество: коллеги отправлялись к домашним очагам, а Билл оставался в конторе один, брал записную книжку, пробегал ее глазами — листки виделись ему пустыми, чистыми, в конечном счете выходило, будто я у него чуть ли не единственный друг на всем белом свете; ничего особо важного Билл не говорил мне, жаловался, что устал, что его одолевают сомнения, что ему скучно так жить, и всякий раз довольно игриво предлагал мне рассказать о моих любовных приключениях, ибо собственных не имел; начинал выспрашивать, кто это у меня в постели — хотя я, конечно же, спал один; ему чудилось, что у меня перехватывало дыхание от невероятных телодвижений, а голос у меня попросту был хриплый со сна — в такие минуты я жалел Билла. Он никогда не брал на себя дружеских обязательств, даже когда не был связан работой, делами,— вот оно его проклятье, болезнь, недуг, губивший нормальные отношения с людьми. Билл хотел оставаться свободным, распоряжаться своими вечерами и приходить в гости в последний момент, словно испытывая весьма немногочисленных друзей на верность; он ни за что не соглашался твердо договариваться о времени встречи, если не сам организовывал ужин,— приходилось созваниваться второпях, между семью и восемью, даже если мы уже пытались обсудить все это заранее. Билл по-королевски помпезно являлся к друзьям, а иногда прилетал на своем «ягауре» точно вихрь и увозил кого-нибудь одного, руша отношения, сложившиеся внутри нашей компании, приглашал в дорогой ресторан или же вдруг приезжал с приношением — ящиком великолепного вина «мутон-ротшильд», купленным за пару миллионов, да еще с надбавкой. Но когда выяснялось, что после ужина Билл должен отвезти домой кого-либо из гостей, ему вдруг становилось дурно, тошно, муторно, в таком состоянии он готов был обухом хватить по своему «ягуару» — ведь его превращали в маршрутное такси — или по голове приятеля, посмевшего оскорбить мощную благородную серебристую машину, в которой он ездил под музыку Вагнера. Садясь за руль, Билл натягивал потертые кожаные перчатки; теперь ничто не должно мешать ему, пусть все, кто попадет в поле его зрения, в изумлении расступятся — как безупречно, плавно, легко ведет он машину! Если же пешеходы норовили перейти не по «зебре», а наглые, глупые водители не уступали Биллу дорогу, то он превращался во всевластного регулировщика движения в Париже, а я дрожал от страха — вдруг собьем какого-нибудь разиню. Однако с годами мы привыкли друг к другу. Меня чуть ли не единственного Билл соглашался отвезти домой после наших ужинов, в присутствии всей компании предлагая мне воспользоваться высокой привилегией, но я по крайней мере заслужил это право. Конечно, я мог бы с тем же успехом добраться и на такси, правда, не марки «ягуар», тем не менее услуги Билла я предпочитал еще и потому, что они дорого ему стоили: эта маленькая хитрость помогла мне переломить его неприятие обязанностей, налагаемых званием друга, я бросал вызов его непримиримой гордыне и низводил Билла — нет, не до положения шофера, каковым он, ворча, нехотя прикидывался, а просто-напросто до положения верного друга, чего я добивался несколько месяцев, с тех пор как посвятил Билла в тайну своей болезни,— и тут он вдруг как в воду канул. Я то мучился этим, терзался, то жалел, что доверился ему, но, если честно, его молчание меня не слишком удивило; скажу больше: я абсолютно все понимал и мысленного потирал руки — внезапное и долгое молчание, знак чудовищного предательства, доказывало — на сей раз Билл опустился до двуличия. Представляю себе, как у него голова кругом пошла: сперва возил меня на машине, а теперь, когда перед ним открывалась возможность (каким тяжким бременем

легла на его плечи эта невыносимая обязанность) спасти друга от смерти — Билл, наверное, весь извелся от страха. Было от чего дать тягу, сменить номер телефона и затаиться.

63

Несколько лет тому назад, кажется в 1983 или 1984 году, Билл, крайне скупой на дружеские излияния, прислал нам из Португалии длинное душераздирающее письмо. Оказывается, он серьезно заболел — у него болезнь печени, это какой-то непонятный африканский вирус,— и дни его, похоже, сочтены; Билл сообщал, что по возвращении обязательно ляжет в больницу на операцию, но прежде решил съездить в Португалию, о чем давно мечтал. И в письме, написанном на бумаге с грифом самого большого и роскошного лиссабонского отеля, дальше говорилось: он путешествует сейчас по курортам атлантического побережья в окрестностях Синтры — чудесные, сказочные места; там Билл вдруг вспомнил о нас, признавался он в своем пространном послании — прямо-таки декларации дружеских чувств. Болезнь и угроза смерти открыли ему глаза, и мы, друзья, бывшие для него дотоле на втором плане, стали важнее всего прочего. Письмо Билла взволновало меня, и я отправил в Лиссабон короткий, но очень сердечный ответ. Затем Биллу сделали операцию — удалили часть печени,— он скоро поправился и начисто забыл о летних терзаниях в чудесном курортном уголке на атлантическом побережье Португалии.

64

Я встретился с Биллом лишь вечером 14 июля в местечке Ла Кост, у нашего общего друга Робина; Билл прилетел из Майами утром того же дня, в больнице Валь-де-Грас успел переговорить со своим анестезиологом, а потом отправился высокоскоростным поездом в Авиньон, где взял напрокат машину. Вечером следующего дня Билл должен был вернуться и лечь на операцию: у него произошел разрыв брюшных мышц, это нередко случается у сорокалетних мужчин. Я тоже уехал из Парижа совершенно измученный. Душевная боль довершила мое отчаяние; все мои друзья покинули столицу, и я, оставшись в одиночестве, попал в руки двух двоюродных бабушек — они безжалостно, словно вампиры, высасывали из меня все соки, до последней капли, как только находили кровоточащую рану. Билл изнемог от бессчетных поездок, из-за разницы во времени превратился чуть ли не в лунатика; вероятно, он ошалел еще и от транквилизаторов, которые ему назначили перед операцией. Конечно, мне нужно было безотлагательно переговорить с ним, но в присутствии остальных я и виду не подавал, что нервничаю. Допрос вести даже не пришлось — друзья атаковали Билла. Мы узнали, что эксперименты продолжаются и результаты по-прежнему обнадеживающие. Стокгольмская конференция (за ней я следил по газетам, но о вакцине известий так и не нашел), вопреки ожиданиям, не принесла ничего нового; о докторе Мокни почти не упоминали; его выступление на конференции, по мнению совета старейшин, могло оказаться преждевременным, оно навредило бы ходу эксперимента. Коллеги доктора набросились на него, потому что первые положительные результаты испытаний вакцины, полученной на основе вирусного ядра, лишь подчеркивали крупный провал многочисленных экспериментов на оболочке вируса. Самое главное теперь, добавил Билл,— устоять перед натиском авантюристов-предпринимателей, дельцов, которые могут в мгновение ока пронюхать о новинке и взвинтить цену. «Если они доберутся до вакцины Мокни,— пояснил Билл,— то одна доза будет стоить тысячу долларов, а должна — всего десять; вот тут человечество и сойдет с ума». Мы ужинали на увитой зеленью террасе деревенского ресторанчика близ горы Ванту́ в обществе изумленных юнцов. Робин, как обычно, выбрал нам блюда из свежих овощей, на десерт мы ели клубнику, красную смородину, а еще — крохотными ложечками — кефир «Альпа», ароматизированный малиной, ванилью и какао. Нам с Биллом пришлось вернуться в гостиницу — в беседку нагрянула компания юных таиландцев; их, конечно же, послали сюда родители, заметил хозяин ресторанчика,— знакомиться с Францией. Билл от перенапряжения едва держался на ногах, однако, оставив в номере вещи, несмотря на поздний час, предложил выпить по бокалу вина в соседнем бистро или в кафе напротив, где играл небольшой оркестр, и там переговорить с глазу на глаз. Не успел я и рта раскрыть, как Билл, щурясь от усталости, забросал меня вопросами — как Жюль? как Берта? дети? Потом поинтересовался, как себя чувствую я и что показывают теперь мои анализы. «Если дела пойдут хорошо и дальше, то во Франции эксперименты начнутся в сентябре или в крайнем случае в начале декабря,— сказал Билл,— тогда по группе «2В» мы уже

будем получать действительно весомые результаты». Я спросил, может ли он, как и предлагал раньше, похлопотать, чтобы нас — Жюля, Берту и меня — включили в группу испытуемых, а еще — придется ли нам подвергнуться лечению по методу «слепого двойника». «Нет, конечно,— возмутился Билл.— Уж кому-кому, только не вам, но не стоит пока распространяться о деталях. Это мое предварительное условие черным по белому записано в договоре, который мы, производители вакцины, заключили с администрацией военного госпиталя — там мы проведем испытания».— «А ты возьмешь нас с ведома Шанди?» — спросил я. «Нет,— ответил Билл.— Ему придется только наблюдать за состоянием пациентов, вакцинированных в ходе эксперимента. Но было бы нечестно выделять вас до этой статистической лотереи по методу «слепого двойника». Более того, именно доктор Шанди будет убеждать вас согласиться, и нам придется делать вид, будто вы ничего не знаете.— Билл немного помолчал, а затем добавил: — Во всяком случае, если с экспериментом во Франции выйдет хоть малейшая заминка, я возьму всех троих — Жюля, Берту и тебя — в Майами и договорюсь с Мокни, чтобы он сам ввел вам вакцину».

65

В праздничные выходные 14 июля все билеты на самолеты уже были проданы, и мы с Биллом и Диего возвращались в битком набитом высокоскоростном поезде; там мы устроились довольно неплохо — чередовали походы в бар и отдых в закоулках купе, где можно было сидеть прямо на полу. Билл, смеясь, читал мою книгу; я только что получил ее от издателей и подарил ему, сделав глубокомысленную, серьезную и нежную дарственную надпись, какой не делал еще никогда,— кажется, я хватил через край. Мои пальцы хранили ощущение тепла и неги: вчера вечером я ласкал спину чудесного юноши по имени Лоран, волна радости поднималась до самого сердца; этот сеанс «безопасного секса» омыл мою душу чувственностью. Билл на следующий день должен был лечь в больницу в Валь-де-Грас на операцию брюшных мышц, мне же надо было каждое утро бегать вниз и смотреть — нет ли в почтовом ящике толстого конверта из института имени Альфреда Фурнье; письмо придет, как я договорился с врачом, на имя Густава, а поперек конверта поставят штамп «врачебная тайна» — свидетельство того, что болезнь может завершиться летальным исходом; я ждал результатов последних анализов, которые сделал перед отъездом в Ла Кост. Когда я пришел в тот день в институт как положено — натощак, а потом выскочил на улицу и ринулся в ближайшее бистро пить кофе чашку за чашкой и лихорадочно поедать рогалики и сдобные булочки, мне казалось, будто я страшно ослабел и болезнь прогрессирует, я не сомневался, что результаты анализа будут плохими, я приду в отчаяние и неудержимо покачусь вниз, тогда доктор Шанди и прочие медики будут принимать мои жалобы всерьез. Однако в сложенном вчетверо плотном листке, который я сначала судорожно, а потом очень медленно расправлял, стоя у почтового ящика, таился сюрприз; мне казалось, что я сильно ослаб из-за болезни, на самом же деле в развитии вируса наступила некая пауза, совершился чуть ли не возврат к прежнему состоянию, поскольку показатель клеток Т4 поднялся выше 550, то есть приблизился к норме; он ни разу не достигал этой отметки с тех пор, как я начал делать эти специальные анализы, связанные с воздействием ВИЧ на процесс снижения количества лимфоцитов у вирусоносителей; мой организм, по выражению доктора Шанди, познал внезапное оздоровление, хотя никаких лекарств — ни дефентиола, ни чего-либо другого — я не принимал. И вот, стоя в подъезде у ящика, я ощутил словно бы приток свежего воздуха — да, что-то изменилось, расширился мой жизненный горизонт; самое мучительное для умирающего от неизлечимой болезни — потеря будущего, окончательная и бесповоротная, будущего нет и не будет, время идет своим чередом и неумолимо сжимается, наступает конец, полный мрак. О результатах анализа я рассказал на приеме доктору Шанди, он радостно смеялся, говорил, что мне пошла на пользу поездка на Эльбу, морские ванны, солнце, отдых — спокойный образ жизни, но все же не следует злоупотреблять отдыхом, на его взгляд, излишнее расслабление угрожает снижению активной жизнедеятельности организма. Я поехал к Биллу в Валь-де-Грас рассказать о своих анализах; он с трудом приходил в себя от наркоза, его мучила жажда, а пить ему не разрешали, он просил меня говорить, говорить без умолку, иначе он опять уснет, но потом, не вынеся бессмысленной борьбы со сном, попросил меня замолчать, чтобы немного вздремнуть; я назвал ему свой новый показатель клеток Т4, и он улыбнулся. Я навещал Билла каждый день после обеда, приносил газеты — «Монд» и «Либерасьон»; и

нередко в палате уже кто-нибудь был, не друг, не член семьи, а сотрудник или деловой партнер; специалисты шли к нему один за другим — косяком, и Билл, лежа в постели, принимал их на работу, названивал в Майами и в Атланту, давал коллегам указания. Хирург предупредил его, что может случиться повторный разрыв брюшных мышц, поэтому необходимо поберечься. Билл нанял молодого человека, красивого молодого метиса,— тот помог ему переехать в отель из больницы, перевезти вещи, водил «ягуар» и всюду сопровождал Билла, а позже отправился с ним в Майами.

66

В конце сентября Билл позвонил мне из Парижа на Эльбу: фирма предоставила в его распоряжение небольшой самолет, и он хочет повидаться с нами, но по пути сделает посадку в Барселоне, где его ждет Тони — молодой чемпион по спортивной ходьбе, тогдашний «юноша его мечты». Билл сказал мне: «Вообще-то завтра утром я вылетаю в Барселону, если продержится хорошая погода; я только хотел знать наверняка, будете ли вы еще на острове ближайшие три-четыре дня; в любом случае я тебе позвоню из Барселоны». Но в конечном счете Билл не приехал на Эльбу и даже не счел нужным перезвонить; мы потом узнали — он, так сказать, во всех смыслах спустился с облаков на землю: ведь Тони от него сбежал. По-моему, Билл поступил с нами отвратительно, неумно и по-хамски, совершил чуть ли не преступление, а если бы это впрямь было преступление, то я, при моем-то характере само собой разумеется, потом укорял бы его этим еще больше. Робин раздобыл и через Густава передал нам и другие неутешительные сведения: эксперименты с вакциной дали не столь убедительные результаты, каких ожидал Билл.

67

Появился Билл лишь 26 ноября, уже трижды слетав из Майами в Париж и Марсель, где находился французский филиал его фирмы; мы вместе пообедали в кафе-гриле «Друан», я как раз получил выписку по результатам последнего анализа — пришлось самому идти в институт имени Альфреда Фурнье: в Париже началась всеобщая забастовка, не работали ни почта, ни транспорт; анализ оказался плохим, я вскрыл конверт прямо на бульваре и узнал, что мой показатель Т4 упал до 368, скоро я опущусь до отметки, ниже которой вакцину Мокни уже не вводят, меня не раз предупреждал Билл: «Мы берем для экспериментов только инфицированных вирусом СПИДа без клинических проявлений болезни и с показателем Т4 выше 300». К тому же я приближался к порогу, за которым начинались необратимые последствия — пневмоцистоз и токсоплазмоз (это при Т4 ниже 200), значит, чтобы замедлить их развитие, мне выпишут АЗТ. Когда солнечным июльским днем я шел натощак сдавать кровь, то чувствовал, что совершенно изнемогаю, но анализ показывал — все хорошо. Теперь же, зимой, идя сдавать кровь по заснеженной улице, я ощущал, что всесилен и бессмертен, анализ же показал — все эти четыре месяца мое состояние стремительно ухудшалось. Новость встревожила и доктора Шанди. Он послал меня на дополнительное обследование, так называемую «антигенемию», то есть выявление в крови антигена П24 — антитела, показывающего, что действие ВИЧ в организме из пассивного перешло в активное. Итак, в один и тот же день я сбе́гал сам — транспорт в Париже не ходил, продолжалась забастовка — в институт Альфреда Фурнье за выпиской с печальными результатами по показателю Т4, а позже, продиктовав их доктору Шанди по телефону, взял у него в кабинете назначение на исследование П24 и тут же, разумеется пешком, снова отправился в институт Фурнье сдавать кровь на анализ; с предыдущего раза едва минула неделя, у меня в локтевом сгибе еще синела гематома от укола, и грубая, неприятная медсестра опять воткнула сюда же иглу. Правда, в тот день я был готов на что угодно: пусть мне трепанируют череп, втыкают иглы в живот, в глаза — я бы стиснул зубы и вытерпел, я уже отдал свое тело во власть некой неведомой силы, и она распоряжалась им как хотела. Прочтя анализ, доктор Шанди объяснил мне дальнейший ход событий: если уровень антигена П24 будет по-прежнему возрастать, а показатель Т4 при этом резко снизится, то пора думать о лечении. Я знал, единственное лекарство — это АЗТ, доктор Шанди говорил мне год назад, тогда же он предупредил — к АЗТ прибегают только на последней стадии болезни, в самом крайнем случае, и принимают его до непереносимости, следовательно, до наступления смерти. Но нам обоим не хватало духу заговорить о зловещем препарате; доктор понял: мне не хотелось ни говорить, ни слышать о нем. Между получением плохого анализа Т4, но еще до получения результатов исследова-

ния по антигенемии мы однажды ужинали с Биллом. Я нарочито весело и много говорил, не желая погружаться в безысходность. На нашем столике горели свечи, в отблесках огоньков мое лицо розовело. Билл разглядывал меня. «Просто невероятно,— повторял он с удивлением,— ни за что не догадаешься — клянусь тебе, ни за что на свете,— какая страшная сила бушует у тебя внутри. Ни единого намека!» От таких мыслей у Билла, судя по всему, голова кру́гом шла: перед ним человек, дни которого сочтены, он носит в себе смерть и при этом прекрасно выглядит, пока что ничуть не изменился — Билла это изумляло и страшило. В тот же вечер он сам сообщил мне новость, которую я уже знал через Робина и Густава: результаты испытаний оказались хуже ожидаемых, ибо вирус сначала полностью исчез из организма вакцинированных — из мозга, нервной системы, крови, спермы и слезной жидкости,— однако через девять месяцев, появившись неизвестно откуда, начал действовать с прежней разрушительной силой. Больным сразу же ввели новую дозу вакцины, но что из этого выйдет, сказать трудно. Билл дал мне понять, что Мокни обескуражен таким исходом и полагает, будто это лишь временная неудача; теперь ученый намерен усовершенствовать вакцину, он добавит в нее антитела, полученные от неинфицированных людей из числа добровольцев, друзей или ближайших родственников вирусоносителей, которые участвуют в экспериментах, и тогда уже привьет добровольцам дезактивированный вирус. Я стал мысленно перебирать имена родственников и друзей, размышляя, кто бы мог мне помочь, но в осуществимость такой идеи я уже не верил, тем более что обратиться к человеку с подобной просьбой язык не повернется; едва в памяти всплывало чье-нибудь имя или лицо, во мне поднималась волна непреодолимого отвращения, словно мой организм заранее отвергал помощь любого другого, не зараженного организма. Любого другого, но только не Жюля, Берты и, может быть, их детей, ибо мы впятером составляли единый, совершенно цельный фантасмагоричный организм.

68

Антигенемия дала положительную реакцию, после десятидневного ожидания я узнал об этом одновременно с доктором Шанди, у него на приеме, догадался по голосу доктора — когда он позвонил в институт Фурнье и лаборант даже назвал ему по телефону точный показатель: 0,010. Наступательное действие вируса, пусть оно проявляется слабо, начинается при 0,009. Подобного результата мы, в общем, ждали и вместе с доктором Шанди исподволь подготавливали друг друга, но все же известие меня потрясло. Опять все рухнуло. Значит, теперь встанет вопрос об АЗТ, а может, у меня к препарату непереносимость, последуют бесконечные контрольные анализы крови — необходимо будет проверить, не вызывает ли химиотерапия анемию, не приведет ли сокращение числа красных кровяных телец к блокировке лимфопении; итак, новость означала следующее: смерть подошла почти вплотную, ходит совсем рядом, с сегодняшнего дня она наступает и настигнет меня через два года — если не произойдет чуда: ведь вакцина Мокни никуда не годится, а мое состояние может внезапно ухудшиться и меня уже не включат в экспериментальную группу. Я сказал доктору Шанди: прежде чем решиться на АЗТ, мне надо подумать. А по сути мне надо было выбрать: лечиться или покончить с собой, написать еще одну-две книги — благодаря отсрочке, которую даст мне препарат, или не дать этим ужасным книгам вовсе появиться на свет. Мне стало жаль себя, я готов был разрыдаться прямо на месте, сидя перед доктором, хотя вообще терпеть не могу слез. Напуганный этой показной решимостью доктор Шанди весь как-то сжался, увял и убитым голосом проговорил, что обязательно должен увидеть меня хотя бы раз перед моим отъездом в Рим. Пару дней назад, побывав в гостях у двоюродных бабушек, в прошлом фармацевтов, я уточнил по солидному медицинскому справочнику дозировку дигиталина в каплях: это снадобье, сулящее легкий переход к вечному забвению, посоветовал мне поискать доктор Насье.

69

Наконец 2 декабря мы с доктором Шанди отправились обедать в ресторан «Паланкин». Я выбрал столик в глубине зала, хотя у нас уже вошло в привычку говорить обо всем обиняками; правда, с некоторых пор я плевал на всякую скрытность и к тому же недавно передал своему издателю рукопись книги, где открыто говорилось о моем заболевании, а коли такая новость попала в рукопись, предназначенную для такого издателя, ее не замедлили — по секрету всему свету — распространить по Парижу с быстротой молнии; я этих

слухов ожидал спокойно и даже с некоторым безразличием — все в порядке вещей, я всегда во всех книгах выдаю собственные тайны, и эта мною же открытая людям тайна непоправимо и безвозвратно изгоняла меня из их общества. Как прежде, мы с доктором Шанди, дабы немного отвлечься от грустной цели нашей встречи, для начала завели светскую беседу о том о сем: о музыке — это конек доктора, о моих книгах, о делах вообще — его и моих. Он поведал мне, что оказался в затруднительном положении: приходится разрываться между двумя квартирами, да еще каждый день бегать подыскивать себе новую, надо переезжать, все книги упакованы, невозможно ни читать, ни заниматься; к тому же он оставил друга, с которым прожил больше десяти лет; покраснев, доктор добавил: «Моего нового друга зовут так же, как и вас»,— и назвал меня по имени. Стефан говорил, что самоубийство — рефлекс только вполне здорового организма, это меня тревожило, подталкивало к решению, вероятно, преждевременному; я страшился того мига, когда болезнь меня одолеет и отнимет свободу выбора — жизнь или смерть. Доктор Шанди отрицал мнение Стефана. «Не далее как в день последнего вашего визита ко мне я получил еще одно тому подтверждение: едва вы ушли, мне сообщили неприятное известие — один из моих пациентов, около года принимавший АЗТ, наложил на себя руки, а звонил его друг». Я спросил, как несчастный ушел из жизни. Повесился. «Но у меня есть другие пациенты, они тоже принимали АЗТ,— продолжал доктор Шанди,— и все в прекрасном состоянии, физическом и психологическом. Одному из них за пятьдесят, и дела у него идут как нельзя лучше, правда, вот эрекции прекратились, сам он видит причину в побочном действии лекарств — по-моему, странно, а вот психологические проблемы СПИДа — это ближе к истине; однако мой пациент весьма энергичен и не собирается мириться с импотенцией, говорит, у него появился новый партнер, которого он намерен ублажать, и теперь раз в неделю, помимо контрольного забора крови, его лечат — делают профилактические инъекции в половой член». Затем доктор Шанди рассказал мне о случае с инфицированным мальчиком, эпилептиком: во время припадка он укусил брата, который пытался вставить ему между зубами деревянную палочку, чтобы тот не подавился собственным языком. Кровь и сыворотку укушенного брата взяли на исследование — необходимо было проверить, не попала ли в его организм зараженная слюна; если так, в качестве профилактической меры врачи собирались назначить ему АЗТ.

70

В предпоследний раз я виделся с Биллом 23 декабря, на следующий раз после первого моего похода в клинику имени Клода Бернара, мы отправились обедать в итальянский ресторан на улице Гранж-Бательер — был у нас такой обычай. Мы сидели одни в пустом зале, прислуживал тот же сердитый официант, но ходили мы туда часто, и в конце концов он стал приветливее; официант считал Билла праздным миллиардером, порхающим с континента на континент вечно в поисках лета, солнца, в то время как Билл, бледный от усталости, вдобавок запутался в проблемах и условностях американского бизнеса и еще с тревогой ожидал результатов эксперимента с вакциной, на которую сделал ставку. В Атланте Билл видел испытуемых — молодых мужчин из «группы В», получавших вакцину Мокни, и встретил, сообщил он усталым голосом, сияющих и пышущих здоровьем юношей, которые вовсю занимались культуризмом. От подопытных кроликов потребовали полного молчания и заставили их подписать не только контракты на испытание вакцины, по которым фирма-изготовитель не несет никакой ответственности в случае ухудшения состояния пациента или его смерти, но и вообще обязали хранить строгую тайну относительно испытаний, под угрозой судебных преследований им запрещалось разглашать какие бы то ни было сведения о перенесенных ими опытах. Среди них был парень лет двадцати, по словам Билла, необычайно красивый, с идеальной фигурой, но, увы,— инфицированный. Во Франции апробация начнется в январе, Мокни решил в придачу к прививке вакцины делать больным внутривенное введение гаммаглобулина, полученного в Заире из плаценты инфицированных ВИЧ женщин. Билл добавил, что возглавляемая им лаборатория ведет крупнейшие в мире закупки плаценты, то есть сырья для производства гаммаглобулина. Однако переговаривались мы с Биллом вяло, без энтузиазма, словно уже не веря, что вакцина окажется действенной и остановит болезнь, будто нам вообще плевать было на все это, и не как-нибудь, а с высокого потолка.

Между тем мы с Жюлем отправились в Лиссабон — отпраздновать, как обычно, годовщину нашего знакомства. На сей раз поездка измучила нас обоих, я увлекал Жюля за собой все глубже и глубже, в бездонную пропасть, она разверзлась в моей душе оттого, что Жюль был рядом и я упорно, неослабно тянул его к удушью, к гибели; Жюль, по слабости своей или, наоборот, благодаря силе воли сам не знал, не ведал душевных мук: он страдал лишь тогда, когда у него на глазах мучился близкий человек, а Жюль, можно сказать, выбирал в друзья тех, кому суждены были величайшие страдания,— прошлым летом мне как-то пришлось успокаивать его любовника, ночь напролет рыдавшего в соседней комнате,— а теперь палачом стал я, из-за меня Жюль испытал гнетущую душевную муку, но и я видел страдания Жюля, они точно так же терзали мне душу и сливались с моими; обессиливали меня, целыми днями я лежал, прикованный болезнью к постели, превратившись в полутруп; у меня будто бы до срока началось умирание, да оно и без того должно было вскоре наступить, уже не хватало сил подняться ни по крутой улочке, ни по лестнице в гостинице, ложиться спать позже девяти вечера я не мог, днем тоже непременно нужно было прилечь. У нас совсем не осталось сил хоть на толику чувственности, пылкости. Я спросил Жюля: «Ты страдаешь от того, что нет любви?» Он ответил: «Нет, я просто страдаю». Ничего омерзительнее этих слов я никогда от него не слышал. Чаша страданий Жюля переполнилась в ясный, солнечный день, мы ехали поездом из Лиссабона в Синтру, сидели по разные стороны прохода, прильнув каждый к своему окну; когда поезд отошел от станции, вагоны были почти пустые, но очень скоро вошло множество пассажиров — линия-то пригородная, кому недалеко, те даже ходят прямо по путям; на одной скамейке могло уместиться человек шесть, но никто не хотел садиться рядом со мной или напротив, да вообще поблизости; на остановках я перестал смотреть на входящих, ибо меня терзал и смех и ужас: люди скорее будут сидеть друг у друга на голове, чем развалятся рядом со странным типом, да, я казался им странным, они готовы были бежать от меня как от чумы. Видимо, Жюль тоже заметил — люди отходили от моей скамейки, точно я смердел, и садились рядом с ним, но я не смел обернуться и взглянуть ему в глаза: я, мол, все понял и обвиняю Жюля в сговоре с ними,— не смел, ибо Жюль был совершенно раздавлен страданием. В лиссабонском квартале Граса, в крытой галерее дворика, к которой примыкала витрина бакалейной лавки, я увидел, стоя против света, выставленные в витрине полупрозрачные, словно бы леденцовые игрушки; я решил купить их и зашел в лавку — оказалось, это восковые детские головки; было время, родители приносили в церковь головки-посвящения, если ребенок болел менингитом. Но в квартале уже давным-давно ни у кого менингита не было, и пять головок разом бакалейщик сбыл мне не без удивления. Я поставил их на перила балкона — хотел сфотографировать на прекрасном фоне — феодальный замок с флагами, золотая лента реки, ажурный мост, исполинская статуя Христа на противоположном берегу, пронзающая пространство меж небоскребов, а Жюль вдруг заметил, что головок, которые я совершенно без задних мыслей по одной отобрал из великого множества, всего пять: это напомнило ему «Клуб пяти» — символ нашей семьи, спаянной горестными событиями. Я вдруг сообразил, что на сей раз, по сравнению с предыдущими традиционными поездками в Лиссабон, Жюль словно бы избегал разговоров о Берте, хотя надо же позвонить и узнать, как там с детьми. Дома у них был настоящий лазарет: дети пошли в школу, и за первую же четверть учебного года Берта совершенно вымоталась, в довершение всего у нее начался острый отит, по совету доктора Шанди она решилась-таки взять бюллетень на неделю, а дети между тем слегли с высокой температурой — эпидемия китайского гриппа уложила в постель уже два с половиной миллиона французов; малыш Тити, по-прежнему полупрозрачный почти до синевы, беспрестанно кашлял, ему регулярно делали рентгеновские снимки легких и массаж, чтобы отходила мокрота. В день нашего отъезда из Лиссабона я с утра упаковал пять восковых головок и решил позвонить Берте, узнать, как дела в Париже: меня встревожило то, что Густав на мои звонки не отвечал и не поздравил нас с Жюлем с годовщиной. К телефону подошла мать Берты, она всегда отвечала кисло-сладко, а сейчас в ответ на мое вежливое приветствие и вовсе издевательски расхохоталась: «Дорогой Эрве, у меня-то дела идут прекрасно! В Лиссабоне, должно быть, чудесная погода? А мы здесь, представьте себе, в панике: Берта — сама не своя, только что увезла Тити в больницу — он весь покрылся красной сыпью, веки распухли так, что не видно глаз, ноги в коленях ужасно отекли и не сгибаются; ну а как вы с

Жюлем, хорошо отдохнули?» Я повесил трубку, Жюль глядел на меня настороженно. Я признался ему сразу: новости, собственно говоря, не блестящие; стоило ли скрывать то, что расписывала по телефону мать Берты? Мне захотелось пойти в церковь и оставить там мои посвящения — ведь таков был обычай, для того и отлиты из воска эти фигурки, кстати, теперь я был уверен — все мы пятеро больны... Жюль заявил: он, дескать, во всю эту хреновину не верит, мы заспорили, но времени до отъезда оставалось в обрез, я схватил полиэтиленовый пакет с головками и поспешил в ближайшую церковь — она виднелась слева, если смотреть с балкона гостиничного номера (это базилика святого Винсента, я сейчас нашел ее на сохранившейся у меня дома карте Лиссабона). Возвращаясь в гостиницу, мы чуть ли не каждый вечер проходили мимо крыла базилики, в котором, судя по указателям, располагались ризница и помещение, где устанавливается гроб,— дверь этого придела часто оставляли открытой, только задергивали лиловой занавесью, однажды я заглянул внутрь и увидел покойника на обернутом белым атласом катафалке в окружении молящихся старух. Но не здесь я должен был оставить пять головок, их место — на жертвеннике, тут прихожане, как в японском Храме Мхов — монахи, стали бы возносить молитвы во исполнение моих желаний, и через главный вход я вошел в ледяную, совершенно безлюдную базилику святого Винсента, загроможденную строительными лесами — несколько рабочих, зубоскаля, что-то там подчищали и приколачивали. Я несколько раз обошел весь храм — Жюль в это время ждал меня снаружи,— но так и не нашел никакого подходящего места для приношений, был, правда, какой-то столик с горящими свечами, но рядом с ним мои полупрозрачные головки сразу истекли бы восковыми слезами. Из ризницы вышла неприветливого вида женщина, и принялась ставить новые свечи, и счищать натеки воска между металлическими колышками; она с подозрением уставилась на мой полиэтиленовый пакет, с которым я уже в третий раз прошел мимо, он казался ей подозрительным — и я покинул этот храм. Мы с Жюлем отправились дальше: он хотел купить детям игрушки, а я отыскал еще одну церковь — сейчас, разложив на письменном столе карту Лиссабона, я вижу, что она носит имя Святого Роха — и в ней тоже обошел один за другим все алтари, но церковный сторож уже гасил свечи, пришлось уйти из храма. Жюлю я сказал: «Мои приношения никому не нужны». И подумал, не бросить ли их в первую попавшуюся мусорную урну.

72

Я люблю его детей больше, чем самого себя, они — словно плоть от плоти моей, пусть это и не так, и конечно же, люблю больше, чем если бы они и в самом деле были моими собственными детьми; нас кровно породнил зловещий ВИЧ, частица меня попала в их кровь, и мы разделили общую участь, хотя я каждый день молился, чтобы этого никогда, ни за что не случилось, хотя неизменно заклинал: пусть у каждого будет своя кровь и никогда, никоим образом мы уже не соединимся в болезни; а между тем моя любовь к ним выливалась в кровавой вакханалии, и я с ужасом принял в ней участие. Когда медбрат психиатрической помощи прибыл в пансион, чтобы сделать укол обезумевшей жене одного из обитателей — а она после периодов прострации и агрессивности вдруг решила во что бы то ни стало броситься из окна, ее лишь в последнюю минуту остановили ударом в живот, а до того ей хотелось выкинуть вниз новорожденного сына, буквально все вещи из квартиры и мои книги тоже (у нее была их целая коллекция), да еще стены вымазала кровью от менструаций,— так вот, этот пришлый медбрат, едва переступив порог, получил от нее пощечину и после сказал родственникам сумасшедшей: «Вам осталось одно — молиться». Приходит беда — и кому угодно, даже атеисту, остается либо молиться, либо вовсе потерять свое «я». Я не верю в Бога, но молюсь за детей, чтобы они на много-много лет пережили меня, и прошу свою двоюродную бабушку Луизу, которая каждый вечер ходит к мессе, тоже молиться за них. Наибольший прилив сил я ощущаю тогда, когда пускаюсь на поиски подарков детям: для Лулу покупаю батистовые и шелковые платьица, «платья волшебницы», как она говорит; для Тити — купальные халатики и блестящие машинки. Когда я в очередной раз возвращаюсь из Рима и крепко обнимаю их, сажаю Лулу к себе на колени и читаю ей сказку, а она на ушко по секрету рассказывает мне какую-нибудь страшную их с братишкой тайну; когда Тити, поставив локти на стол и сжав виски кулачками, склоняет мне на плечо белокурую головку, я понимаю, что он устал, и мне страшно: неужели причина усталости — наша общая болезнь? Вот отчего болит у меня душа. Но какую радость приносит нежный голосок Тити, когда малыш узнает меня по

телефону и кричит в трубку: «Алло? Это кто — кокос-банан? Какунчик-попрыгунчик! Попка!» Я думаю, что удовольствие от общения с детьми далеко превосходит любые телесные удовольствия от томительно-сладостных ласк партнеров — пресытившись наслаждением, я теперь предпочитаю заниматься другим делом — окружаю себя новыми вещами и рисунками, подобно фараону, который воздвигает будущую гробницу, умножает число собственных изображений и тем самым указывает путь к себе или же, напротив, запутывает след, прибегая к обману, к уловкам и хитростям.

73

Поездка в Лиссабон и так нанесла Жюлю душевную рану, а вернувшись домой, он прямо с порога увидел и вовсе чудовищную картину: у его трехлетнего чада все тело покрылось красной сыпью, глаза опухли и почти не открывались, ноги в коленях ужасно отекли; врач констатировал: у ребенка — бронхопневмопатия, осложненная аллергической реакцией на антибиотики; я уехал в Рим и каждый день названивал Жюлю; Тити так и стоял у меня перед глазами; я был подавлен, за что ни возьмусь, все валится из рук — даже не мог читать «Потрясение» Томаса Бернхарда. Признаюсь, я в самом деле возненавидел Бернхарда. Спору нет: как писатель он гораздо интереснее, чем я, но при этом — всего лишь бумагомарака, щелкопер, умник, глубокомысленно изрекающий прописные истины, чахоточный девственник, ловкач и мастер заговаривать зубы, критикан, гроза зальцбургских зануд, бахвал, который, видите ли, все умеет делать лучше других: и на велосипеде ездить, и книги писать, и гвозди вбивать, и на скрипке играть, и петь, и философствовать, и язвить изредка — ну, раз в неделю; неотесанный грубиян, который привык непокорных прихлопывать лапой, огромной тяжелой лапой мужлана-голландца, он бьет по одним и тем же химерам, по родной стране и ее патриотам, по нацистам и социалистам, монахиням и посредственным актерам, по всем остальным писателям, особенно — по хорошим писателям, например, тем, что не брезгуют литературной критикой и то превозносят, то хулят его книги,— о бедный Дон Кихот, поглощенный самим собой, несчастный обитатель Вены, предатель, неустанно превозносящий достоинства собственных книг, всех без исключения; на самом же деле они — скопище мелких тем и мелких мыслей, мелкой злобы, мелких героев и мелких немощей, и об этом наш бездарный пиликальщик разливался на двухстах страницах, так и не дойдя до пассажа, который он решил одолеть с разбега, исполнить на своем бесподобном альте с немыслимым блеском или даже без особого старания, даже путая ноты и строки, терзая читателей бесконечными фальстартами пьесы, действуя ему на нервы легким порханием смычка, раздражающим слух не менее заезженной пластинки; в конце концов его маленькие зарисовки (во время войны приютский мальчик, забравшись в стенной шкаф для обуви, играет экзерсисы на скрипке), маленькие открытия характеров (горе-музыковед, исписав целый том, делает вывод: сочинить добротный очерк о Мендельсоне-Бартольди ему совершенно не под силу) превращаются в самостоятельные миры, в великолепные образы космологии, притом блистающие красотами стиля, и впрямь стоит снять шляпу перед этой сатирой. Лично я по неосторожности ввязался в острую шахматную партию с Томасом Бернхардом. Бернхардовские метастазы, надо сказать, сродни разрушениям, что произвел в моей крови вирус, убивающий лимфоциты, а значит, губящий мою иммунную защиту, мои Т4; кстати сказать, сегодня — 22 января 1989 года — истекли те десять дней, в течение которых я надеялся полностью осознать этот факт и покончить с тягостной неопределенностью своего положения; десять дней — так как 12 января доктор Шанди позвонил мне и сообщил, что показатель лимфоцитов упал до 291 (с 368 до 291 — всего за месяц), тогда я заключил: еще один месяц разрушительной работы вируса — и мой показатель клеток Т4 будет равняться лишь 213 (я подсчитал прямо на полях рукописи), следовательно, путь к вакцине Мокни и к чудесному исцелению для меня закрыт — если не считать надежды на переливание крови, практически нереальное,— вот тут я вплотную подхожу к критическому моменту; оттянуть конец, вероятно, поможет АЗТ, если я все же выберу его, а не дигиталин, однако я решил купить флакон дигиталина здесь, в Италии, где почти все лекарства продаются без рецептов; не знаю, выдержит ли мой организм такую химиотерапию; так вот — бернхардовские метастазы вместе с вирусом распространяются по тканям моего организма, охватывают важнейшие писательские рефлексы с огромной скоростью, пожирают, поглощают их, уничтожая мое естество, индивидуальность, подавляют мою личность безо всякой пощады. Я пока надеюсь (хоть в принципе уже плевать), что мне введут вак-

цину Мокни, чтобы избавиться от вируса, или же ее замену, «слепой двойник»; я пока надеюсь, что мне сделают эту инъекцию — где угодно, когда угодно, кто угодно, так со мной бывает в снах: мне впрыскивают какую-то подозрительную жидкость, я то колеблюсь, то уже твердо верю, будто это моя панацея, вакцина Мокни, вместе с ней делайте мне прививку хоть от чумы, хоть от бешенства и проказы; я с нетерпением жду литературной вакцины, дабы избавиться от обволакивающих чар Томаса Бернхарда, коим я добровольно поддался, полюбил и оценил его стиль — правда, я знаю всего три-четыре его книги, не успел обременить себя чтением всей его прозы,— восхищение вылилось у меня в пародию, в патетическую угрозу, в СПИД; в результате получается книга, типично бернхардовская по сути, некий очерк о Томасе Бернхарде под видом подражания его опусам; проще говоря, я постарался бросить вызов Томасу Бернхарду, застать его врасплох и превзойти его же собственную чудовищность, так сделал он сам в своих псевдоэссе о Гленне Гульде, о Мендельсоне-Бартольди и, кажется, о Тинторетто; в отличие от одного из его героев — Вертхаймера, который услышал, как Гленн Гульд исполняет «Гольберг-вариации», и отказался от карьеры пианиста, я не отступил перед гением — напротив, я бросил вызов виртуозу Бернхарду, и я, бедный Гибер, заиграл с новой силой, я вооружился до зубов, чтобы не ударить в грязь лицом в схватке с мастером современной прозы, я, бедный маленький Гибер,— бывший властелин мира, а мир-то этот вместе со СПИДом и Томасом Бернхардом оказался сильнее меня.

Я вот думаю, не подделать ли для себя рецепт — пропись я второпях нацарапал на каком-то клочке, названия компонентов я даю сокращенно, как профессионал, для вящего правдоподобия исправляю дозы и уточняю показания — все это продиктовал мне по телефону из Парижа знакомый кардиолог, я позвонил ему, испугавшись приступа тахикардии у моей двоюродной бабушки Сюзанны; по этому поддельному рецепту я мог бы раздобыть яд — дигиталин, радикальное средство против вируса иммунодефицита, оно прекращает не только губительное действие вируса — всего-навсего прекращает биение сердца, и я боюсь одного: стоит мне раздобыть, взять в руки этот флакон, как я немедля опустошу его до дна, причем вовсе не от отчаяния или упадка духа — просто накапаю в стакан воды необходимую дозу, семьдесят капель, выпью, а что дальше? Что надо делать: лечь в постель и лежать? Отключить телефон? А может быть, умереть под музыку? Но под какую? И сколько времени пройдет, пока сердце мое остановится? О чем я буду думать? О ком? А вдруг мне захочется услышать чей-нибудь голос? Но чей? А если это будет вовсе позабытый голос, но именно его я захочу услышать в такую минуту? Приятно ли будет содрогаться всем телом, пока кровь моя не застынет в жилах и рука не повиснет бессильной плетью? Не совершу ли я величайшую глупость? Не лучше ли будет повеситься? Кто-то говорил, сгодится даже радиатор, надо только поджать ноги. Но не лучше ли подождать? Дождаться естественно-противоестественной смерти от вируса? И по-прежнему писать книги и рисовать — и так и сяк и еще вот эдак — до потери рассудка?

«Взрослые!» — это моя дурацкая, проклятая книга, за которую я взялся осенью 1987 года, пока не знал или не желал знать того, что меня ожидало; так я назвал уже завершенную книгу, хотя завершить ее, казалось, было невозможно, у меня не хватало духу самому уничтожить ее, и я попросил Жюля о том, в чем когда-то посмел отказать Мюзилю; на страницах толстой, бесконечной, скучной и бесцветной, словно хронологический справочник, книги я описал всю свою жизнь с 18 до 30 лет. Эпиграфом я поставил фразу из неопубликованной записи беседы 1982 года с Орсоном Уэллсом — мы с Эдвиж как-то обедали с ним вместе в ресторане «Люка-Картон». Вот слова Уэллса: «В детстве я смотрел на небо, грозил ему кулаком и говорил: «А я — против». Теперь я смотрю на небо и говорю: «Как красиво!» В пятнадцать лет я хотел, чтобы мне сразу стукнуло двадцать,— миновать бы без забот переходный возраст! Быть подростком — это болезнь. Если я не пишу, не работаю, то снова превращаюсь в подростка, а мог бы и в преступника. Молодость — вот что меня восхищает. Пора, когда дети становятся женщинами и мужчинами, но не вся еще жизнь разом опрокидывается. Опасный возраст. Настоящая трагедия — ведь с детством расставаться не хочется. А вместо детства — пугающая пустота. Эту пору называют the bleeding childhood — кровоточащим детством. Сейчас толстая, бесцветная, скучная книга лежит передо мной, но давным-дав-

но, даже до начала работы, я уже чувствовал: она окажется несовершенной, ненастоящей, ибо у меня не хватит духу начать ее с первых попавшихся слов, я гоню их прочь из памяти — они приносят несчастье; я боялся накликать беду, перенеся это предсказание на бумагу. Начиналась книга так: «Надо же было, чтобы несчастье свалилось на нас как снег на голову». И, к ужасу моему, лишь благодаря несчастью она и увидела свет.

76

Утром 1 февраля 1989 года произошло то, чего я, собственно, и желал: клиника имени Клода Бернара окончательно закрылась; у меня даже не стали брать кровь — до того все были заняты переездом. В тумане летали чайки; я внимательно, словно запечатлевая на фотопленку, глядел на сваленный в кучи скарб: старые деревянные весы, тапочки, валявшиеся в ящике вместе с ампулами хлористого калия, стулья, матрацы, прикроватные столики, бачок из реанимационной палаты — на дне его тонким слоем лежал снег, кверху торчали трубки для вливаний. Но вот среди всеобщего разорения появилась машина «скорой помощи», остановилась возле двери отделения, и два санитара вынесли носилки с пациентом. Я свернул в сторону, только бы не столкнуться с ними — боялся узнать пациента, увидеть знакомое лицо. Но в коридоре меня все же догнал этот труп с живыми глазами — он, видно, не мог подождать до завтра и умереть на новом месте, в клинике «Ротшильд», почему-то хотелось ему отдать Богу душу в самый разгар переезда. Я боялся смотреть на него, но он сам поднял на меня глаза. Взгляд живого трупа — нечто незабываемое, уникальное в своем роде. Над грязными подушками красовались плакаты ассоциации Стефана, приглашавшие на встречи и сеансы расслабления, на завтраки и обеды. Когда я пришел на прием к доктору Шанди, он позвал коллегу, доктора Гюлькена,— пусть выскажется еще один медик. «Не стану скрывать правды: АЗТ — препарат крайне токсичный,— степенно промолвил доктор Гюлькен.— Он разрушающе действует на костный мозг и, останавливая размножение вируса, одновременно препятствует жизненно-важному воспроизводству красных кровяных телец, белых кровяных телец и тромбоцитов, необходимых для свертывания крови». Сейчас АЗТ выпускают серийно, а в 1964 году его изготавливали — из зародышей сельди и лосося — лишь для лабораторий, исследовавших препараты, применяемые против рака, а вскоре перестали выпускать — он был абсолютно неэффективен. «Отныне счет идет не на годы, а на месяцы»,— сказал мне доктор Шанди в декабре. «Теперь, если ничего не предпринимать, остается либо с десяток недель, либо несколько месяцев»,— сказал доктор Шанди в феврале. И точно назвал отсрочку, которую дает АЗТ: «От года до года трех месяцев». На первое февраля Томасу Бернхарду оставалось жить всего одиннадцать дней. 10 февраля я получил в аптеке клиники «Ротшильд» свой АЗТ и понес домой, спрятав под пальто, потому что перекупщики на улице посматривали на меня грозно, может, собирались напасть и забрать лекарство для своих африканских дружков. Однако на сегодня, 20 марта, когда я уже заканчиваю эту книгу, я не принял еще ни одной капсулы АЗТ. Читая инструкцию по его применению, каждый больной может ознакомиться с перечнем «более или менее серьезных» побочных эффектов: «Тошнота, рвота, потеря аппетита, головные боли, кожная сыпь, боли в желудке, боли в мышцах, зуд в конечностях, бессонница, чувство сильной усталости, недомогание, вялость, диарея, головокружение, потливость, затрудненность дыхания, затрудненность пищеварения, расстройство вкусовых ощущений, боли в груди, кашель, понижение умственной активности, тревожное состояние, частые позывы к мочеиспусканию, депрессии, боли во всем теле, крапивная лихорадка, чесотка, псевдогриппозный синдром». А также нарушение функций половых органов, расстройство сексуальных ощущений, импотенция.

77

28 января мы собрались у Жюля и Берты на праздничный обед по случаю пятидесятилетия Билла; в тот вечер Билл сказал: в Америке, в мире «авантюристов-предпринимателей», нет места неожиданностям, нет места мне, его обреченному другу; по словам Билла, в США пропасть социального неравенства постоянно углубляется, и люди состоятельные вроде него могут сделать так, что налогом не обложат ни их машину, ни яхту, ни квартиру, ни даже систему защиты от бедняков негров. «Вы только посмотрите на этих несчастных!» — восклицают мерзкие компаньоны Билла, когда возвращаются после мерзких вечерних трапез и, останавливаясь на красный свет, наглухо запирают на автоматическую защелку окна машин, чтобы не пришлось бросить

цент-другой темнокожему бродяге мойщику ветровых стекол, они все, как один,— негры, спят прямо на улице, в картонных коробках. Как же таким помогать — ведь они похожи на животных! В стране, где так говорят, человеку никогда и никоим образом не представить коллеге, крупному исследователю, своего обреченного друга, не помочь тому с лечением — тогда придется нарушить заведенный системой порядок, уронить себя в глазах крупного исследователя. Для Билла я уже умер. Тот, кто собирается принимать АЗТ, уже мертв, его не вытянуть. Жизнь и без того незавидный удел, а под конец нас ждет еще и агония. Послушать Билла, так лучше идти ей навстречу — если не хочешь, чтобы она наступала сама. Взять за руку еще одного друга, впавшего в кому, и, пожимая его руку, прошептать: «Я рядом»,— нет, это для Билла было слишком, и я на его месте, наверное, тоже не выдержал бы. Когда вечером 28 января мы ехали в «ягуаре» ко мне домой, он осчастливил меня двумя сентенциями: «Американцам нужны доказательства, потому что они без конца экспериментируют, а тем временем люди вокруг мрут как мухи» и еще: «Ты бы все равно не вынес старости». Но мне бы хотелось, чтобы Билл прикончил Мокни, выкрал бы у него вакцину, потом, положив ее в блестящий сейф, отправился ко мне на маленьком служебном самолете — том самом, что летает между Уагадугу и Бобо-Диуласо,— и рухнул в Атлантический океан вместе с самолетом и вакциной, которая могла бы меня спасти.

Утром 20 марта я закончил свою книгу. Тот день я отметил тем, что проглотил две голубые капсулы, о которых три месяца не хотел слышать. На оболочке капсул изображен мечущий молнии кентавр с раздвоенным хвостом; лекарство переименовали в «ретровир» — по евангельскому стиху: «Изыди, сатана!»[1] Утром 21-го я начал новую книгу, но в тот же день и бросил, по совету Кота. «Ты же так с ума сойдешь,— сказал он.— И перестань принимать лекарство, по-моему, это просто гадость какая-то!» 22-го я чувствовал себя отлично, а 23-го страшно разболелась голова, вскоре меня стало тошнить, появилось отвращение к еде и особенно к вину — до тех пор оно было для меня главным утешением по вечерам.

79

Запасшись АЗТ, я спрятал его в белый бумажный пакет, а пакет — в дальний угол платяного шкафа; теперь мне оставалось разузнать, с каких доз начинать прием. Доктор Гюлькен направил меня к доктору Отто — одному из своих римских коллег по клинике имени Спалланцани, там я должен сдавать анализ крови раз в две недели и пополнять запасы лекарства. Доктор Шанди утверждал, что надо начинать с двенадцати капсул в день, но доктор Отто считал, что достаточно и шести. «После приема 12 миллиграммов АЗТ у вас тут же пойдет анемия: то есть все впустую, придется делать переливание»,— объяснял он. «Используя препарат, нужно добиваться максимального эффекта»,— возражал доктор Шанди. Из-за этих споров я не торопился с лечением; нашлась и еще одна отговорка: нужно закончить книгу. Я позвонил Биллу в Майами — его не было, просьбу перезвонить я записал на автоответчик. Тем же вечером мы и поговорили. Я сделал вид, будто хочу проконсультироваться по части дозировки; на самом деле я, конечно же, в душе молил его: спаси меня, сделай что-нибудь, только бы я продержался еще девять месяцев до вакцины. Но Билл прикинулся, будто ничего не понял, и начал подробно обсуждать со мной дозировку: «Я не знаток по части АЗТ, но, по-моему, доктор Шанди слегка перегибает палку; на твоем месте я бы скорее послушался итальянца». В клинике имени Спалланцани мне выдали листок с перечнем контрольных анализов крови за несколько месяцев, но я все не начинал принимать АЗТ. Я снова пошел к доктору Отто и сознался, что у меня не хватает духу очертя голову броситься в пучину. «Вы можете начать прием лекарства сейчас или позже, можете завтра бросить, а послезавтра опять начать — это совершенно не важно, ведь ничего еще толком неизвестно: ни когда принимать, ни какими дозами,— ответил он.— И не верьте тому, кто скажет обратное. Ваш французский врач назначил двенадцать капсул в день, а я — шесть. Ну что ж, вот вам золотая середина: пусть будет восемь». Впоследствии доктор Шанди сказал мне, что такие решения «опасны».

---

[1] Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10.

80

В семь утра я повстречал на площади Сан-Сильвестро знакомую продавщицу газет. Увидев меня в столь ранний час, она удивилась. Потом крикнула в знак приветствия: «Хорошей вам работы!» Я шел в очередной раз сдавать кровь, и ее пожелание оказалось по-своему уместным. Моя учетная карта в клинике была пока не вполне оформлена: недоставало многих справок, надо было их выклянчивать у французских и итальянских властей. Доктор Отто велел мне все равно явиться к восьми часам и обещал предупредить медсестру, но забыл, и мне пришлось дожидаться ее. Я коротал время то на залитых солнцем ступенях отделения, то на втором этаже, на одной из двух скамеек, в виде восьмерки: здесь образовалось нечто вроде зала ожидания. Какая-то девица в черном, в черной шляпке, прижимала к щеке черный шарф, вздыхала, громко причитала при появлении врача. Когда у дверей кабинета показывается врач — то входит, то выходит,— очередь превращается в стайку встревоженных воробьев. Пожилой гомосексуалист, весь сморщенный, листает музыковедческий словарь — ищет статью о Прокофьеве. Угрюмый молодой наркоман — под глазами синие круги — стоит у лестницы, бросив на перила подбитую овчинкой куртку, с интересом поглядывает на ножки проходящих мимо медсестер. Большинство пациентов — постаревшие до срока наркоманы, им около тридцати, но на вид все пятьдесят; они с трудом, задыхаясь, поднимаются на второй этаж, у них дряблая, синеватая кожа, но взгляд — ясный, искрящийся смехом. В их кругу царит какой-то необъяснимый дух братства, они уже знают друг друга и встречаются здесь, дважды в месяц приходят сдавать кровь и взять свою дозу АЗТ; они не унывают, шутят с медсестрами. Девушка в черном, получив консультацию, торжественно выплывает из кабинета: шарф болтается на шее, щека открыта, ей больше нет нужды ломать комедию — она и так уже нас всех провела. Вот выкликнули молодого наркомана, прямо по имени — Раньери. А вот и за мной наконец-то пришла медсестра и повела меня в пустую палату, села рядом на кушетку, прилаживая на моей руке резиновый жгут. Кровь капля за каплей наполняет пробирку, а медсестра расспрашивает: «Ну и что же ты пишешь? Романы ужасов?» — «Нет, я пишу о любви». Она хохочет: «Врешь ты все, молод еще о любви писать». Я сам несу пробирку в лабораторию. Идя по аллее к выходу из клиники, я вижу свою медсестру в стареньком автомобильчике — она улыбается мне и нажимает на клаксон. Чуть дальше, шагая в сторону автобусной остановки, замечаю Раньери, иду за ним следом. Куртку он перекинул через плечо, рукав рубашки засучен; он срывает повязку и бросает в урну. В этом жесте столько энергии, я не хочу обгонять его, жду, пока он не исчезнет из виду.

81

Всякий раз когда я шел в клинику имени Спалланцани — а я посещал ее чаще чем следует и обычно торопился, словно на важное деловое свидание,— я отправлялся в путь ранним утром, когда воздух еще свеж, прохладен, садился на площади Венеции на 313 автобус и ехал по мосту через Тибр до улицы Портуэнсе, мне хотелось исподтишка понаблюдать за больничной жизнью: ведь и я вносил в нее свою лепту — пробирку с кровью; наслаждаясь душевным покоем, я бродил среди величайшего запустения, бродил по безлюдным отделениям, заваленным разным хламом, как и в клинике имени Клода Бернара, правда, обставлены они обе были с некоторым подобием комфорта — для полуденного отдыха: на окнах розовые и красновато-коричневые шторы, пальмы в кадках; на пути к клинике «Дей хоспитэл» я миновал, как всегда, лабораторию имени Флеминга. И всякий раз мимо меня скользил пустой похоронный автомобиль, приезжавший за очередным трупом. Я был рад вновь увидеть сотрудников клиники. Работала там толстуха монахиня в белом чистом облачении — лицо у нее бульдожье, в красных пятнах, губы растянуты в безмятежной улыбке; на монахине белые туфли, у нее плавная поступь, а в руках у нее всегда или рецепт, или новое свидетельство о смерти, или деревянный ящичек с наполненными кровью пробирками, болтающимися в гнездах. И старая лаборантка, похожая на сводницу, напудренная и нарумяненная, с виду вроде бы беззаботная, но ворчунья каких мало, зато добродушная, волосы у нее светлые, совсем жиденькие, туго завиты на бигуди; она всерьез переживает, что ее «дети» заболели все сразу. И смуглая медсестра с волнистыми темными волосами; по натуре не злая, но неумолимо требующая соблюдать распорядок, мастерица по уколам. И санитар — этакий детина, косая сажень в плечах: ворот халата расстегнут и видна волосатая грудь, на лапищи натянуты резиновые перчатки:

когда он усаживает или укладывает больного, лицо его не выражает ни малейшего отвращения, ни малейшей жалости — он раз и навсегда отгородился от болезни. И бойкий, сочувствующий беднягам неаполитанец — у него всегда наготове доброе слово по-французски. Доктор Отто повесил у себя над компьютером изречение святого Франциска Ассизского: «Помоги мне превозмочь то, чего мне не понять. Помоги мне изменить то, чего мне не превозмочь». Больные приходят сюда с родственниками: дочь — с отцом, сын — с матерью, и не важно, сколько пациентам лет — восемнадцать или тридцать пять. Они почти не разговаривают, сидят рядом на скамье и терпеливо ждут; несчастье сближает их, внезапно пробуждает в них бесконечную нежность, они берутся за руки, сын доверительно кладет голову на плечо матери. А вот живой труп сопровождать некому, все его бытие — переезды из больницы домой и обратно, с неподъемным чемоданом. К живому трупу приставили старую-престарую монахиню, одетую во все черное, тихую и благодушную, с неизменной улыбкой. Подбородок у старухи торчит кверху, она с шумом втягивает воздух беззубым ртом и, разглядывая комиксы, пожевывает губами. Сиделка и живой труп принадлежат к абсолютно разным мирам, но они понимают и даже, можно сказать, любят друг друга. Когда живой труп — плешивый, с клочьями волос, похожими на приклеенные к пластмассовому черепу серые комки ваты,— возвращается из столовой, где жена или сестра какого-нибудь другого живого трупа подает ему порцию пюре в плошке-лодочке и пол-апельсина, он дает монахине половину от своей половины, и старуха совсем не прочь положить в рот что-нибудь кисленькое и прохладное.

82

В пятницу 21 апреля мы с Биллом обедаем вдвоем в парижском ресторане «Водевиль». Билл изрекает: «Я думал, у тебя глаза пожелтеют — ан нет, ничего подобного; я бы даже сказал, и с кожей все в порядке, ты совсем неплохо переносишь лекарство...» — Затем добавляет: — Похоже, СПИД обернется геноцидом для американского народа. В Америке его жертвы — люди вполне определенных кругов: наркоманы, гомосексуалисты, заключенные, но только дай СПИДу время, и он тихой сапой проникнет во все слои. Исследователи просто понятия не имеют, что это за болезнь, корпят там над микробами, создают всякие схемы да теории. Они — солидные отцы семейств, с больными практически не сталкиваются и даже представить себе не могут, какой страх, какие страдания те испытывают; ученые не чувствуют, как стремительно летит для несчастных время. А они то составляют отчеты по конференции, причем делают это небрежно, второпях, то годами добиваются разрешений на эксперимент, а тем временем у них под боком мрут люди, которых можно было бы спасти... Я снова и снова вспоминаю Улафа — конечно, бросив меня, он поступил по-свински: ведь мы почти шесть лет прожили вместе,— но я все равно перед ним в неоплатном долгу. Не будь его, я по-прежнему предавался бы разгульной жизни и уж тогда непременно подцепил бы эту заразу — вот бы я нынче проливал слезы!» В тот же вечер Билл сообщил: они с Мокни решили привить себе инактивированный вирус и доказать скептикам, что бояться нечего.

83

Я видел Раньери, того самого наркомана из клиники имени Спалланцани: он приставал к немецким туристкам на площади Испании. Наши взгляды встретились, он тоже меня узнал, но я-то знаю его имя, а он мое — нет. Теперь я частенько вижу его, обычно по вечерам, когда мы с Давидом идем по виа Фраттина куда-нибудь поужинать. Раньери не один, с ним два приятеля. Стоит нам заметить друг друга, у обоих словно перехватывает дух, скрывать истину уже невозможно, мы — вливающийся в людской поток живой яд, несмываемый знак проступает на наших лицах. Кто же первым начнет шантажировать другого, чтобы получить выкуп — либо тело недруга, либо деньги, на которые можно купить наркотик? Совсем недавно я шел по опустевшей из-за летнего зноя улице и на углу столкнулся с Раньери; на нас обоих были темные очки, потому-то мы не сдрейфили, не свернули в сторону, не замедлили шаг — ни один не хотел уступать другому путь. Еще миг — и мы идем дальше бок о бок, один подобен тени другого, идем шаг в шаг, вперед, и разойтись теперь мы можем, только сделав резкий поворот или бросившись бежать. Я сказал себе: сама судьба толкает меня навстречу этому парню, значит, не нужно его избегать. Не сбавляя ходу, я повернулся к Раньери и хотел, было, с

ним заговорить. Лицо у него вдруг покрылось испариной, за темными очками я увидел остановившиеся, стеклянные зрачки. Но навстречу моему голосу Раньери выставил указательный палец, точно копье или щит, и, едва заметно погрозив, вдруг ткнул мне палец прямо в лицо, как бы говоря: «Нет!» Если бы он ударил меня кулаком в лицо или плюнул прямо в глаза, это было бы менее жестоко. И я подумал: несмотря ни на что судьба всегда хранит меня.

84

Билл приехал в Париж в мае и оттуда позвонил мне в Рим. Я с места в карьер заявил, что зол на него, но предпочитаю немедля в том признаться и, избавившись от злобы, возобновить былую дружбу. Прежде всего я упрекнул Билла в бесцеремонности многих его высказываний, например: «А кожа у тебя не так уж сильно пожелтела» или: «Как хорошо, что у меня был Улаф, не то я проливал бы горькие слезы». К тому же — и это гораздо важнее — ни одного из своих обещаний он не выполнил, уже полтора года водит меня за нос. Я напомнил Биллу: с ножом к горлу я к нему не приставал и в силу обстоятельств ничего сверхъестественного не просил, однако он обещал при составлении протокола поставить французским властям условие — включить его друзей в группу испытуемых, а если возникнут хоть малейшие препятствия, божился, что перебросит нас в США и там Мокни введет нам вакцину. Билл ничего не сделал, он оставил меня один на один с болезнью, и мне, вероятно, суждено пройти все круги ада. Мы проговорили с час, и откровенный разговор нас обоих просто умиротворил. Билл отвечал: он чувствует свою вину, понимает справедливость моих упреков, да, он плохо рассчитал сроки. Однако на следующий день вновь звонит мне — из автомобиля по пути в Фонтенбло — и возвращается к той же теме, только на сей раз обвиняет меня: «Я не понимаю, как ты можешь быть недоволен тем, что благодаря Улафу я не заразился?» Я ответил: «Этого я тебе не говорил, а ты, мой друг, сказал мне примерно следующее: ты вот в беде, а я, слава богу, нет... но я упрекаю тебя в более серьезных вещах...» Билл поспешно прервал разговор: «Я тебе завтра перезвоню, а то у меня прямо мороз по коже — вдруг нас кто-нибудь услышит...» Я удивился: «А кто, по-твоему, нас слушает? Да и на это в общем можно наплевать». Я подумал: Билл, должно быть, в машине не один — может, подключил к телефону наушники своего спутника. Больше Билл мне не звонил — ни на следующий день, ни потом — до самой осени.

85

Однажды утром я пришел в клинику имени Спалланцани сдавать кровь, назвал свое имя — и тут произошла непонятная заминка: медсестра отвернулась от меня, что-то пряча. Оказалось — приготовленные для меня десять пробирок с этикетками, где значились мои имя и фамилия. Пробирки, к моему удивлению, были уже наполнены и стояли в деревянном ящичке, готовые к отправке в лабораторию. Пришлось вместе с медсестрой искать, с кем меня перепутали. Перебрав множество пустых пробирок, мы установили истину — вместо Эрве Гибера анализ взяли у некой Маргериты. Ее этикетками мы закрыли мои на полных пробирках, и медсестра сделала мне новые этикетки для пробирок, помеченных именем Маргериты. Можно себе представить, какие бы возникли недоразумения из-за этой путаницы! Ящик столика, на который пациенты клали руку и сжимали кулак, никогда не закрывали: там лежали серо-зеленая от пыли марлевая подушечка, старый резиновый жгут и шприц с гибкой пластиковой трубкой, через которую под действием вакуумной пневмосистемы выкачивали кровь для анализа. «Приборы» неизменно были наготове, и я не мог удержаться от невеселой мысли: наверняка их меняли раз в сто лет, они послужили не одному больному — вот и я встал, уже пошел к двери, а медсестра что-то не спешила выбрасывать ни подушечку, ни жгут, ни шприц.

86

В одно из посещений клиники имени Спалланцани мне пришлось буквально требовать, чтобы у меня взяли кровь,— понимаете ли, я опоздал на десять минут,— раньше я о таком строгом распорядке не слыхал. Я спорил с медсестрами добрую четверть часа, однако пришлось фактически все проделать самому: среди неиспользованных пробирок я нашел помеченные моей фамилией, перетянул жгутом руку и, подойдя к медсестре, держал, пока та не взялась за шприц. В этот миг я случайно увидел себя в зеркале и сам себе показался необыкновенно красивым — а ведь уже сколько месяцев я просто был похож

на скелет. Вдруг меня осенило: надо привыкнуть к отражающемуся в зеркале худому лицу — это уже лицо моего трупа; надо полюбить его, не важно, будет это верхом нарциссизма или его закатом.

87

Я все еще не приобрел то лекарство, чтобы покончить с собой, всякий раз затея моя проваливалась: заходил я в аптеку, протягивал свой фальшивый рецепт — мне якобы продиктовал его по телефону врач двоюродной бабушки, с которой я приехал в Италию, и тут у нее случился приступ тахикардии; парижский номер телефона выглядел вполне правдоподобно (вообще-то номер был мой и, естественно, не отвечал), исправления в названии лекарства и дозировке — тоже, добросовестные провизоры, порывшись в справочниках, звонили на центральный склад или пристально всматривались в экран компьютера, но все мои попытки купить лекарство кончались неудачей — его перестали выпускать, и я снова и снова удрученно твердил: видно, не судьба. Но в один прекрасный день я зашел в аптеку с намерением купить только зубную пасту «Флуокарил» и мыло, как вдруг неожиданно для самого себя добавил: «Дигиталин в каплях». Женщина-фармацевт сразу ответила — лекарство больше не производят, а затем спросила, для кого и для чего оно мне понадобилось. «Для себя, сердце немного пошаливает»,— ответил я безразличным тоном (в сущности, я уже отказался от бредовой затеи и в глубине души даже желал, чтобы ничего не вышло). Фармацевт, подобно всем своим коллегам, просмотрела справочник, обратилась к компьютеру — и назвала мне два аналога, тоже в каплях. Я не спешил покупать заменители, и согласие подождать сыграло в мою пользу: когда человек жаждет что-нибудь заполучить, он нетерпелив — я же вел себя спокойно. Фармацевт попросила меня зайти на следующий день — может, удастся все же отыскать сам дигиталин. Я на всякий случай заглянул в аптеку, как договорились: не успел я переступить порог, как она тут же заметила и узнала меня, хотя в зале, загораживая проход, толпились клиенты, ожидая, когда их обслужат, а на мне вдобавок были темные очки. «Нашелся для вас дигиталин!» — победно возвестила она через весь зал. Никогда еще не доводилось мне встречать продавца, который так ликовал бы, предлагая свой товар. Она завернула пузырек в крафт-бумагу; моя смерть стоила меньше десяти франков. Женщина радостно и торжественно попрощалась со мной, словно сотрудница туристического бюро, пригласившая меня отправиться в кругосветное путешествие и только что вручившая мне билеты с пожеланием попутного ветра.

88

Четверг, 14 сентября: отправляюсь ужинать к Робину, мне не терпится познакомиться с Эдуардо — Билл прибрал к рукам молодого испанца, как только обнаружилось, что тот инфицирован. Эдуардо утром приехал из Мадрида, а на следующий день должен вылететь в США, к Биллу. Робин усадил меня рядом с испанцем, и я искоса, украдкой разглядываю его: хрупкий юноша, похожий на робкого олененка, легко заливается румянцем, одет не слишком элегантно, зато движения его полны томного изящества. Он молчит. Вообще его привлекает карьера писателя. В глазах Эдуардо теплится такой же страх, что и у меня, вот уже два года. Не успели мы приступить к ужину, как зазвонил телефон — Билл, наш властитель, словно наблюдал за нами издалека! Робин вышел из-за стола — на лестнице можно поговорить спокойно. Вернувшись, он объявил, что Билл зовет меня. С мая, с того памятного разговора, Билл мне не звонил. Я подумал, не попросить ли передать ему, что у меня совершенно пропал голос, но подобный поступок показался бы приятелям чересчур театральным. Робин вручил мне переносной телефон: «Иди на лестницу, там тебе будет удобнее говорить». Сквозь шум и гудение я слышу далекий, трескучий голос Билла: «Ну что, ты все еще злишься на меня?» Сказано настолько надменно, что я делаю вид, будто не расслышал, и говорю о другом: «Ты в Майами? Или в Монреале?» — «Нет, я в Нью-Йорке, на углу 42-й и 121-й, на семьдесят шестом этаже. Но ты не ответил — по-прежнему злишься, что ли?» Я снова пропускаю его вопрос мимо ушей: «Вы выиграли дело или проиграли?» (В газетах сообщалось о беспощадной борьбе между фирмой «Дюмонтель», в которой работает Билл, и английской фирмой «Милленд» — обе стремились выкупить одно канадское фармацевтическое предприятие, чтобы производить в огромном объеме сыворотку Мокни.) «Первый тур проигран,— отвечал Билл,— но последнее слово за нами. Я тебе завтра перезвоню, а сейчас дай мне, пожалуйста, Эдуардо». Вернувшись к сотрапезни-

кам с переносным телефоном в руках, я подумал, не сострить ли: «Просят ближайшего вирусоносителя». У меня в тот вечер появились кое-какие подозрения, но настолько невероятные, что просто голова шла кру́гом.

89

20 сентября ужинаю с Робином в ресторане «Китайский клуб»; Робин настроен очень сердечно, слушает на редкость внимательно, и мне впервые удается более или менее ясно изложить свои мысли насчет Билла: ведь Жюль до сих пор отказывался меня выслушивать — не стоит, мол, заглушать боль и тревогу типичными писательскими разглагольствованиями. Обрисовывая Робину свои предположения, я заметил: мне, например, СПИД дал возможность целиком раскрыть себя в творчестве, выразить несказанное, а вот Биллу СПИД дал вожделенный ключ к великой тайне. Благодаря этому он стал хозяином положения в нашей маленькой компании друзей и теперь вертит нами как хочет — мы превратились в подопытных кроликов. Доктору Шанди он отвел роль посредника между миром бизнеса и миром больных. Доктор лишь исполняет задуманное Биллом, он — хранитель сверхсекретных данных, которые никому не имеет права сообщать. Полтора года я, так сказать, спасая шкуру, вынужден был раскрывать Биллу всю свою подноготную, по первому требованию сообщать постоянно уменьшавшийся показатель клеток Т4, а это похуже, чем всякий раз предъявлять, что́ у тебя в штанах. С помощью приманки — вакцины Мокни — Биллу полтора года удавалось держать меня в стойке. Когда я открыто сказал ему об этом и попытался сбросить иго, Бил понял, что изобличен и теперь лишится главенства в нашей компании,— а ведь он так умело плел нити отношений в маленьком клане — между тобой и мной, твоим братом, Густавом, доктором Шанди, ибо доверял одним тщательно скрываемое от других и наоборот. Я думаю, особенно пристальное внимание он уделял тебе, пользуясь твоей тревогой за судьбу брата, и мне, как оказавшемуся под прямой угрозой; мы же с тобой люди творческие, а воплощенное творчество таит в себе погибель всякому бессилию. С другой стороны, подверженность смертельному заболеванию — верх человеческого бессилия. Сильные своей творческой потенцией люди, доведенные до бессилия,— вот таких фантастических существ мог бы создавать Билл и властвовать над ними, обещая спасение. Билла мои упреки испугали: расскажи я о них друзьям — и его затея рухнет. Однако он успел обратить эти доводы против меня самого, разболтав все доктору Шанди, тебе и Густаву, объявил мои упреки несправедливыми и отвел внимание от главного обвинения, критикуя мелочные претензии,— те и вправду могли показаться пустячными придирками. Потому-то мне и почудилось, что Билл был не один, когда звонил мне из автомобиля и, ужаснувшись, прервал разговор: «Страшно подумать, вдруг нас кто-нибудь услышит»; для полной перемены ролей — превращения из обвиняемого в обвинителя — ему нужны были свидетели. Под удобным предлогом Билл позже бросил бы меня на произвол судьбы, ничего не объясняя общим друзьям («Эрве просто спятил, помочь ему уже невозможно»), а затем подцепил бы новичка, заменил меня им — и все опять пошло бы как по маслу. Ближайшая к силкам дичь — Эдуардо, молодой испанец; благодаря ему игра продлится еще немного, а он — такое уж совпадение — идеален в этом амплуа. Возможно, я не совсем точно воспроизвожу свой монолог, но в конце его Робин промолвил: «До самой смерти не забуду ни единого слова из того, что ты сказал сегодня вечером».

90

В парке виллы Боргезе, как мне показалось, я заметил Раньери, наркомана: он промелькнул среди деревьев и, похоже, направлялся в сторону моего дома. А я вновь зашел в аптеку, после трехнедельного перерыва — за вторым пузырьком дигиталина: ведь для полной остановки сердца необходима двойная доза. На этот раз во взгляде женщины-фармацевта сквозило легкое беспокойство. «Вы довольны препаратом? Помогает?» — спросила она. «Да,— ответил я.— Прекрасно действует, правда, чуть-чуть слабоват».

91

Суббота, 7 октября, остров Эльба; не успели мы войти и поставить на пол коробки и прочую поклажу, привезенную из моего римского дома, как раздался звонок. К телефону подошел Густав. «Да-да, Билл»,— услышал я. Оказалось, Билл получил хорошую взбучку от Робина, всполошился, забегал, как курица с яйцом,— позвонил нам из Нью-Йорка и сообщил: наконец-то несговорчивые люди из весьма солидной организации выдали им патент на внед-

рение вакцины Мокни, значит, масштабы экспериментов в США можно расширить. «И если только у тебя будут какие-либо недоразумения с французскими медиками, приедешь на три-четыре дня в Лос-Анджелес, а повторную вакцинацию пройдешь потом в Париже». Билл должен лететь в Женеву, а в конце недели будет в Париже и предлагает нам троим — мне с ним и Шанди — обсудить дело. «Но договариваться о встрече должен не я»,— прибавляет Билл.

92

Пятница, 13 октября, полдень, кабинет доктора Шанди. Доктор с ходу сообщил, что ему придется словчить — иначе мне не попасть в группу испытуемых. Он имел в виду первую группу, в нее зачислили только пятнадцать человек, отказавшись от метода «слепого двойника»,— медики собирались лишь проверить токсичность препарата. Брали лишь тех, кто ранее не проходил специального лечения и имел показатель Т4 выше 200. По моим последним анализам он составляет ровно 200. Ответственному за клинические испытания военному врачу недостаточно было просто солгать: «Я никогда не принимал АЗТ»,— нужно сделать так, чтобы в крови не осталось и следа от препарата. Он дает о себе знать мгновенно: количество кровяных телец увеличивается. Чтобы заранее его понизить (ведь это будет видно по анализам), я должен отказаться от приема АЗТ по крайней мере за месяц до первой сдачи крови. Но при долгом перерыве в лечении мой показатель Т4 может упасть ниже 200 — тогда я никак не смогу принять участие в эксперименте. Доктор Шанди так спешил обсудить со мной возможность введения вакцины, что даже не обратил внимания на мой вид — я похудел на пять килограммов, истощения мне не избежать. В его взгляде я уловил панический страх: и он, и я — оба мы по милости Билла оказались в тупике, и ситуация требует от нас невероятной изворотливости. Впервые мне стало жаль доктора Шанди: перед лицом истины он, должно быть, увидел во мне только обреченного человека, а я разглядел в нем прихлебателя Билла.

93

Встреча была назначена на воскресенье, 15 октября, в половине четвертого, у Билла дома. Я до последней минуты думал, что он от нас удерет. Доктор Шанди сказал: «Надо загнать его в угол, припереть к стенке, в случае необходимости напомнить о его обязательствах. Один из нас всегда послужит другому свидетелем». Я пришел загодя и скрючился на скамейке в скверике, что примыкает к собору Нотр-Дам-де-Шан; вскоре появился Билл, вышел из «ягуара» — темные очки, связка ключей на пальце — и пересек бульвар пружинящим шагом матерого ковбоя; следом показался доктор Шанди, он поставил свой новый красный автомобиль за «ягуаром» и почти бегом заспешил навстречу Биллу: ворот рубашки распахнут, на ногах — теннисные туфли, под мышкой — папки с документами. У меня вдруг мелькнула мысль — эти двое действуют, повинуясь моей воле. Я выждал несколько мгновений и, в свою очередь, пошел к подъезду, в котором только что скрылся Шанди; таким образом, членам нашего тройственного союза не удалось встретиться вдвоем, до прихода третьего. Билл принял меня тепло: «А, вот и наш милый Эрвелино! Да он, похоже, держится молодцом!» И сразу же обрушил на нас поток информации — мы-де вправе требовать солидного отчета по этапам разработки вакцины, по сопутствующим этическим проблемам... Впрочем, он, наверное, просто заговаривал нам зубы; я вдруг заметил — с тех пор как мой недуг набрал силу, у меня началось нечто вроде шизофрении: я прекрасно понимал, о чем говорит Билл, хотя он изъяснялся сложным и весьма научным языком, но в то же самое время, едва только речь заходила обо мне, в голове воцарялся полный туман. Я перестал понимать самые очевидные вещи — заело; спрашиваю Билла о чем-нибудь важном, а его ответ тут же забываю. Шанди прервал красноречивые излияния Билла: «Ну, а конкретно что ты можешь сделать для Эрве?» Доктор Шанди буквально дрожал — до того серьезна была его просьба, да, он хотел поговорить еще об одном человеке: речь шла о тронувшем его сердце почти безнадежном пациенте, который завис где-то на уровне 200 клеток Т4 и уже принимал АЗТ. Шанди спросил Билла: «Раз уж ты берешься сделать Эрве прививку в Америке, не мог бы ты похлопотать еще за одного такого же пациента?» Билл старался не проявлять своих чувств внешне, но просьба, похоже, его обрадовала: благодаря ей он лишний раз ощутил собственное могущество, и не важно, сдержит он слово или нарушит,— в любом случае ощущение собственного могущества еще более укрепится в нем. На губах у Билла заиграла странная, едва заметная улыбка, на миг он отклю-

чился, погрузился в тайное ликование, а в ответ на мольбу Шанди о милости грубо ответил: «Только чтобы это не превратилось в правило... Ну да, я помог Эдуардо и, конечно, могу точно так же помочь и Эрве, и какому-нибудь незнакомому человеку, что мне стоит...» И тут с величайшим спокойствием Билл принялся подробно рассказывать ошеломляющую историю о том, что́ он предпринял ради Эдуардо, молодого испанца, с которым месяца три назад даже не был знаком; Эдуардо — брат Тони, в которого Билл был влюблен (родители противились намечавшемуся отъезду Тони в США и их совместной жизни с Биллом). Тогда Эдуардо только-только заразился от своего любовника, модного фотографа, сейчас уже готового испустить дух; бедняга лежал в мадридской клинике, причем тамошняя обстановочка, заметил Билл, похлеще того, что у тебя, Эрве, было в Риме. Тони рассказал брату о могуществе Билла, и Эдуардо начал засыпáть бизнесмена душераздирающими письмами. «Я дам тебе их почитать,— добавил Билл, обратившись ко мне,— увидишь сам; по-моему, это настоящий писатель». По словам Билла я понял, что вакцинация Эдуардо уже состоялась,— и чуть было не хлопнул дверью, не вышел вон, но спохватился, дослушал до конца волнующий рассказ — и при этом не раз растроганно улыбнулся. Шанди вдруг задышал прерывисто, ему словно не хватало воздуха: он запрокинул голову, закрыл глаза ладонями, грудь его тяжело вздымалась. Немного погодя он извлек из папки письмо, полученное от фирмы «Дюмонтель», там излагались условия оплаты по проделанной им на стадии эксперимента работе: сумма гонорара зависит от числа завербованных и получивших прививку пациентов — наподобие вознаграждения за голову каждого пойманного беглеца; между тем Билл в свое время приманил Шанди совсем другими условиями сделки. «Если у меня показатель Т4 упадет ниже 200, что тогда?» — спросил я. «Тогда надо будет выкрасть вакцину»,— ответил Шанди. Билл промолвил: «Придется действовать подпольно». Со мной пока ничего твердо не решили, но вечером мне предстояло отужинать с Биллом — он ведь заговорщицки подмигнул мне, когда мы втроем, вместе с Шанди, прощались на бульваре.

94

Я позвонил Эдвиж и Жюлю и сообщил, что собираюсь ужинать с Биллом; оба ответили — нечего садиться за стол с этим подонком. Жюль разозлился на Билла, вскипел, не сдержав возмущения и омерзения. «Ведь обманываться не в твоем характере,— сдерживая слезы, говорил он.— Самое страшное не в том, что Билл не сдержал обещаний, а в том, что он обнадежил тебя. Теперь я понял, в каком смысле великодушен Шанди». Жюль велел мне захватить с собой иголку и, дождавшись, когда Билл выйдет на минутку из-за стола, накапать кровь из проколотого пальца в его бокал с красным вином, а на следующий день «обрадовать» Билла известием о своем поступке. Я решил сохранять спокойствие и проследить захватывающие события до конца. Это готовый сюжет для романа — даже если платой будет жизнь. А ведь это и впрямь готовая книга, и она для меня — важнее жизни. Вот оно, мое безумство: я не откажусь от книги ради того, чтобы выжить,— другим труднее всего принять это сумасбродство на веру и понять. В Билле я сначала увидел человека с золотым сердцем и только потом — подлеца. Открыв мне дверь, он сразу начал разговор: «Ты заметил, как Шанди стало плохо? Странно, правда? Как ты думаешь, что с ним?» И вдруг в шутку бросился на меня и сделал вид, будто душит. «Так ты говорил, что затаил на меня злобу? А я — я тебя возненавидел, слышишь? Воз-не-на-ви-дел. Ты знаешь, что́ такое ненависть?» Я сел на диван, взял сигарету и, пытаясь совладать с зажигалкой в форме бутылки из-под кока-колы, ответил: «Очень сильное чувство. Ты на самом деле хочешь поговорить на эту тему?» Но у Билла такого желания не было, он перевел разговор на свои извечные этические темы — о подлости исследователей и о реальных задачах спасения больных. Я сообщил Биллу, что похудел на пять килограммов и замечаю, как мышцы мои дрябнут, как я слабею. Он спросил, не было ли у меня диареи. Нет. «Значит, просто-напросто не переносишь АЗТ. Он скопился в печени и нарушил процесс фильтрации питательных веществ, потому-то ты и чахнешь. Шанди кормит тебя этой гадостью постоянно, без перерывов? Шанди — отличный парень, жаль, что нет у него научной степени; на время эксперимента придется поставить над ним главного врача клиники...» Поскольку у Билла тоже не все в порядке с печенью, я спрашиваю, быстро ли вообще восстанавливаются ее ткани. «Какое там! Возьмут у тебя, к примеру, малюсенький срез — и жди потом, пока заживет!» — «А тебе что, такую

операцию делали?» А он мне: «Скажешь тоже! Нет, конечно. На мое счастье, всего лишь биопсию: взяли на анализ частичку печеночной ткани, чтобы проверить, как мой организм борется с гепатитом».

95

Жюль еще раньше спрашивал у меня, каким образом иммуногенное вещество Мокни вытесняет вирус. «Ничего оно не вытесняет, кстати, помимо всего прочего, это сильно снижает его ценность,— пояснил Билл.— Дело в том, что таким образом вводят все-таки вирус, пусть даже дезактивированный; исследователи из конкурирующих фирм утверждают, будто неинфицированным людям его вообще нельзя вводить — вакцине не хватает пока некоторых адъювантов, одних гаммаглобулинов недостаточно». Выходит, дьявольская сила вируса — в «обманной» функции; делясь, он как бы направляет организм по ложному следу борьбы, истощая и его, и собственную защиту. Приманкой здесь служит оболочка вируса: обнаружив ВИЧ, организм тут же посылает на выручку лимфоциты-помощники Т4, а те набрасываются на оболочку и, словно ослепленные ею, уже не замечают ядра вируса; оно же обходит схватку стороной и заражает клетки. Действие разбушевавшегося в организме вируса напоминает корриду: оболочка — красная тряпка, ядро — смертоносная шпага, а человек — изнуренный схваткой бык. Иммуногенное средство Мокни — это своеобразный «ясновидящий» двойник вируса, выступающий в роли его разоблачителя; оно реактивизирует иммунную систему, способствует производству специфических антител, тем самым сообщая организму адекватные рефлексы для точного определения программы разрушения ядра,— ведь в ней из-за отвлекающего «маневра» оболочки до поры до времени все перепутано. О том, чтобы Мокни и Билл испытали бы вакцину на себе, теперь не может быть и речи.

96

В гриле-ресторанчике «Друан» Билл потребовал столик во втором, дальнем, зале, где никого не было, и сказал официантке: «Нам нужно обсудить сверхважные дела». Окинув взглядом посетителей в первом зале, прибавил: «Уж там нас никто не услышит... Знаешь, в Монреале за мной следили. Сначала в холле гостиницы вертелся один тип — молодой, лет двадцати пяти, недурен собой, но, судя по всему, не из гостиничных, я как-то особого внимания на него не обратил. Затем, поздно вечером, я снова его увидел — на улице, в квартале увеселительных заведений. Там есть такое пикантное кабаре со стриптизом — студенты наладились подрабатывать; ты сидишь, а они прохаживаются прямо перед тобой, совсем близко, сунешь студентику два доллара под резинку — он и плавочки снимет, а сунешь двадцать за отворот носка — так приблизится совсем вплотную, хоть щупай. Выхожу из кабаре — опять этот тип; ну, думаю, что-то здесь нечисто. Тогда я по двум параллельным улицам прошелся туда-сюда — испытанный прием, меня научили ему в Берлине, когда надо было отрываться от шпионов из Восточной Германии. Тип по-прежнему шел следом за мной. Сбить его с пути мне удалось в квартале, где натуралы встречаются со своими бабами. Но в холле гостиницы он замаячил снова; я, правда, сделал вид, будто ничего не замечаю. А в лифте, в зеркале, увидел, как он вынул записную книжку и что-то в ней пометил. Я думаю, он работает на наших конкурентов, на фирму «Миллэнд». Боюсь, меня начнут шантажировать, начнут трепать нервы; возможно, я слишком поздно заметил слежку и меня уже сфотографировали в один из вечеров, когда я ходил в то кабаре поразвлечься. Наше общество таково, что, если мужчине нравятся мужчины, это позволяется ему до тех пор, пока он помалкивает о своей тайне. И самое главное — нельзя публично проявлять свои склонности». Я не стал спрашивать у Билла, почему в послевоенном Берлине за ним ходили шпионы из Восточной Германии. Весь ужин он не отрывал взгляда от своего бокала с чилийским красным вином и ни разу не встал из-за стола, не отлучился в туалет.

97

Ужин шел своим чередом, и я, продолжая прикидываться, вновь заговорил об Эдуардо. Казалось, Билл на мои вопросы отвечал вполне чистосердечно, словно и не догадывался о том, что я тоже способен быть ох каким предателем. Я слушал его красивую волшебную сказку, подчеркнуто изображая величайшую отстраненность и заинтересованность. «Наверное, вам пришлось немало пережить, когда Эдуардо прививали вакцину,— проронил я.— А ты, случайно, не сам делал ему инъекцию? По крайней мере ты хотя бы присутствовал

при этом?» — «Ну конечно»,— отвечал Билл. «Что ж, ты, можно сказать, отыгрался, я имею в виду эту испанскую семейку ретроградов: ведь это они помешали тебе пленить старшего сына...» — «А вот тебе и самая пикантная деталь,— улыбнулся Билл.— Отец Тони и Эдуардо — глава испанского филиала фирмы «Миллэнд», нашего основного конкурента... Забавное обстоятельство, не так ли?.. Как бы там ни было, ради Эдуардо я пошел на величайший риск...» «Надо же — «величайший риск»! — подхватил Робин, когда я пересказал ему наш с Биллом разговор,— может, и некрасиво так говорить, но в этом случае рисковать было нечего». Да, у Эдуардо показатель клеток Т4 — свыше 1000, он только-только заразился: если среди знакомых Билла кому и требовалась срочная помощь, то уж не ему.

98

16 октября, после нескольких недель нестерпимого жжения в правом боку и ощущения горечи во рту, я сам принял решение прекратить прием АЗТ, а 17 октября сообщил об этом доктору Шанди по телефону: «Возможно, еще не время строить мрачные прогнозы, но, по-моему, ни вам, ни мне уже нельзя полагаться на слово Билла. Доверять ему невозможно: ведь он безо всяких объяснений отказался от обещаний, которые дал полтора года назад и которые сегодня превратил по малодушию своему в пустые слова. Билл — марионетка, он никогда ничего не делает из благородства или человечности. Он не из нашего мира, он не из нашего круга, ему никогда не быть героем. Герой — это тот, кто не бросит умирающего; герой — вы и даже, может быть, я, умирающий. Билл никогда не будет помогать умирающим: он просто трус. Однажды он стоял у постели своего друга, впавшего в коматозное состояние; находившийся в палате брат этого человека попросил Билла взять несчастного за руку; Билл выдержал буквально секунду, а затем в страхе отошел подальше от постели».

99

Ночью, возвращаясь из аэропорта Майами к себе домой, Билл высветил фарами на дороге какого-то лохматого парня — тот в одних шортах, босой бежал по обочине. Билл усадил его в свой «ягуар», привез к себе, отмыл в ванной — правда, косматый молодчик не позволял Биллу дограгиваться до своего полового члена ни в ванной, ни даже после, в темноте спальни. На следующий день Билл повез его по магазинам, одел с ног до головы, а парняга называл его «дядей». Еще через день Билл слегка забеспокоился: мальчик стал звать его «папой», и, сверх того, Биллу предстояла деловая поездка. Он отвез парня на молодежную турбазу, оплатил ему двухнедельное пребывание там и лично выдал на руки пятьдесят долларов. Вернувшись из поездки, Билл узнал: все системы охраны — гаража, персонального лифта, квартиры — без умолку дают сигналы тревоги. Охранники поведали, что молодой мужчина в костюме неоднократно, настойчиво пытался проникнуть через заграждения, утверждая, будто он сын хозяина, брошенный мерзавцем-папашей. Автоответчик разрывался от звонков этого малого, Биллу даже пришлось сменить номер и не давать его справочной службе. Но не успели подключить телефон, как парень, вызнав свеженький номер у охранника-новичка, опять принялся изводить звонками мнимого папашу. Билл не выдержал и сменил номер еще раз, однако вскоре, возвращаясь ночью из очередной поездки, столкнулся с тем же парнем — заросший донельзя тип, босиком и в шортах, выскочил из кустов прямо на «ягуар» — машине пришлось свернуть с дороги. По тревоге сбежались охранники, и Билл в их присутствии пригрозил нахалу полицией. Поднявшись к себе на тридцать шестой этаж, Билл отключил сигнализацию и микрофоны, соединенные с постом охраны; затем раздался звонок, Билл подошел к телефону и услышал в трубке слащаво-убийственный мужской голос: «Алло? С вами говорит дрессировщик обезьян, моя фамилия Пламм. Насколько я знаю, вы большой любитель человекообразных, а ко мне как раз поступила партия, я уже начал дрессировку. Так что милости просим, не стесняйтесь, звоните — я, с вашего позволения, телефончик свой оставлю».

100

С чего началась моя книга, тем суждено ей закончиться. Я по уши в дерьме. Ты по-прежнему желаешь видеть, как я все глубже опускаюсь на дно,— но сколько можно? Давай, Билл, вешайся, Иуда! Мускулы мои одрябли. Я снова слаб, подобно ребенку.

ДЖОН ЛЕННОН И ПОЛ МАККАРТНИ

С английского

Английская вокально-инструментальная группа «Битлз» уже миф, легенда; созданное ею стало музыкальной классикой. Между тем трое из ее участников — Пол Маккартни (род. в 1942 г.), Джордж Харрисон (род. в 1943 г.) и Ринго Старр (настоящее имя — Ричард Старки, род. в 1940 г.) — живут, здравствуют и работают, и нет лишь четвертого, Джона Леннона (1940—1980), убитого психопатом, погнавшимся за «славой» Герострата. Они сами сотворили свой миф и сами стали его героями — все это происходило на глазах у моего, тогда молодого, поколения. Все говорили о великой удаче и счастливом случае. Сейчас мне кажется, что цепочка случайностей, которая свела их вместе, на самом деле была хорошо притворившейся закономерностью.

«Битлз» заказала сама эпоха — они появились как ответ на запрос своего времени и остались на все времена. Молодежи был необходим свой голос. Не какой-то части, слою, группе молодых людей и не в одной какой-то стране. Голос нужен был всеобъемлющий, всепонятный, преодолевающий все и всяческие границы, препоны, социальные, политические и идеологические придумки и стереотипы. Таким стал голос ливерпульской четверки, родившейся в Англии, но завоевавшей весь мир.

При всей своей новизне как неповторимого феномена международных масштабов «Битлз», в сущности, всегда были очень традиционными и неповторимо английскими. Содержание их лирики определено кругом тем, которые принято называть «вечными»: радости и горести любви, боль разрыва, тоска одиночества, обязательства дружбы, наслаждение жизнью, надежда, бег времени. Решены эти «вечные» темы в духе мировосприятия британской молодежи тех лет.

Лирические герои «Битлз» — ребята и девушки рабочих или среднебуржуазных предместий больших индустриальных городов вроде Ливерпуля; ландшафт песен — типично английский, а то, о чем в них поется, не может оставить слушателя равнодушным. Подростки и юноши демократической Англии (а вслед за ними — молодые люди далеко за ее пределами) не только узнали себя в персонажах «Битлз» — они увидели себя красивыми. Чувства, надежды, смутные ощущения, которые они не были в состоянии выразить, неожиданно обрели плоть и кровь в песнях «Битлз» и вновь к ним вернулись, но уже как бы очищенными, отмытыми от всего привходящего, ясными и, главное, облеченными в слова, какими бы они сами о себе рассказали, когда б сумели [1].

С этой точки зрения поэзия «Битлз» имела в Англии свой «контекст», даже в том же Ливерпуле. Я имею в виду таких поэтов, как Адриан Хенри, Роджер Макгаф или Брайан Пэттен [2]. Я имею в виду деятельность великих британских вокально-инструментальных групп, в первую очередь «Роллинг стоунз», создавшую в композициях Мика Джэггера и Кийта Ричарда свою вселенную, похожую — и непохожую — на мир песен «Битлз». Впрочем, это тема отдельного разговора.

«Битлз» отмечены даром, которым был щедро наделен их соотечественник Г. К. Честертон,— сноровкой вылущивать поэзию из чепухи, извлекать волшебство из самого обыденного, находить красоту, прелесть и грусть в примелькавшихся вещах, ремеслах и представлениях. Поэтому, вероятно, как покоряло, так продолжает покорять главное, на мой взгляд, свойство их песен — переданное в слове и музыке яркое, невозможное, почти непереносимое ощущение льющейся через край жизни во всей пестроте движений, контрастов, красок, радужно переливающихся как в калейдоскопе.

---

[1] В разное время каждый из участников ансамбля выступал автором исполнявшихся группой произведений, однако подавляющее большинство композиций — слова и музыка — принадлежит содружеству Леннон — Маккартни.

[2] См. «ИЛ», 1976, № 2.

Любая иноязычная аудитория, считаю я, вполне способна воспринимать это качество их песен. Иначе как объяснить, что их сразу и безоговорочно приняли и полюбили в Советском Союзе, где громадный резонанс песен Булата Окуджавы, Александра Галича и Владимира Высоцкого однозначно, казалось бы, доказывал, что на первом месте для нас все же слова, текст?

Вбирая в себя поэзию наших бардов, отождествляя себя с лирическими героями их песен или, напротив, отделяя себя от них, мы давали выход собственному свободомыслию и свободочувствованию — ведь именно тогда, перед серединой 1960-х, началось у нас ползучее удушение духовной и интеллектуальной вольницы. Окуджава, Галич, Высоцкий — то была наша свобода. «Битлз» — тамошняя. Такими мы их тогда почувствовали, и они пришлись у нас ко времени точно так же, как там, за кордоном. Искренность, раскрепощенность, стихия открытого свободного веселья, нестесненной радости и нестесненной грусти — все, чем заряжены их песни,— доходило вне и помимо текста, на уровне душевного восприятия.

И благо, что знание языка тут не было обязательно, ибо перевод их лирики, на мой взгляд,— дело неблагодарное, качественного соответствия тут трудно добиться. Одновременно раскованная — и скованная музыкой, их лирика уже в силу одного этого легко теряет интонацию при переводе; поэзия улетучивается, текст становится то каким-то разбитым, то плоским, а то и косноязычным. В то же время приблизительный, вольный перевод, даже свободное переложение, ориентированное на ритм, а не на текстуальное совпадение, на передачу общей «атмосферы» композиции, а не конкретных реалий, может быть вполне удачным, о чем, надеюсь, скажут опыты такого рода, предлагаемые вниманию читателя.

В. СКОРОДЕНКО

Мы на дне морском

(Yellow Submarine)

В нашем тихом городке
жил да был старик один,
он служил на дне морском —
в царстве быстрых субмарин.

Мы с друзьями подросли —
и тогда, собрав деньжат,
субмарину завели —
золотую, как закат!

И с тех пор мы живем на дне морском,
спим на дне морском, пьем на дне морском,
и притом мы поем на дне морском,
все на дне морском, все на дне морском.

Субмарина — первый сорт,
Золотая вся — как закат!
Мы и вас возьмем на борт...

Хорошо мы живем на дне морском,
спим на дне морском, пьем на дне морском,
хорошо мы поем на дне морском,
все на дне морском, все на дне морском.

Каждый сыт, и каждый пьян,
всех, кто хочет, мы берем с собой
в изумрудный океан
в субмарине золотой...

Хорошо мы живем на дне морском,
спим на дне морском, пьем на дне морском,
хорошо мы поем на дне морском,
все на дне морском, все на дне морском!

Тексты взяты из готовящегося издательством «Радуга» сборника песен «Битлз» на языке оригинала с приложением вольных переводов на русский.

Дочка уходит

(She's Leaving Home)

В среду утром, в шестом часу, пока в доме
спят,
выйдя из комнаты на носках,
вниз по ступенькам — записка в руках,—
через кухню — к запертой двери,
сжав носовой платок,
тихо в замке она ключ повернет
и на свободу уйдет.

Дочь (как мы дрожали над ней!)
уходит (все — только ей, только ей!)
прочь (что ни захочется — на, получай!)...
Из дому отчего, от одиночества,
дочка уходит: прощай!

Муж кряхтит, а жена спешит, застегнув
халат,
вниз, чтобы кофе сварить скорей,
видит письмо на полу у дверей
и, подняв, кричит со слезами:
«Бэби ушла от нас!
Бросила маму, тайком ушла —
Как она только могла?!»

Дочь (мы обделяли себя...)
уходит (не позволяли себе...)
прочь (тяжким трудом создавали ей рай!).
Из дому отчего, от одиночества,
дочка уходит... Прощай!

Утром в пятницу, вдалеке, в городке чужом,
встреча назначена — должен зайти
парень за нею часам к десяти...

Дочь (чем ей у нас не житье?)
уходит (чем обижали ее?)
прочь (разве что радость ей вынь да подай?)
Ради той малости, что не давалась ей
долгие годы — прощай!
Дочка уходит: прощай!

За солнцем вослед

(I'll Follow the Sun)

Когда-нибудь, когда-нибудь,
выбрав день ненастный, отправлюсь
я в путь.
И скажут вам: «Его здесь нет!
Он ушел, уехал —
за солнцем вослед».
Настанет день и час, и дождь заладит
с утра,
и я скажу: прощай,
мне пора, мне пора...

И ты поймешь, и ты вздохнешь —
но в ответ услышишь
лишь ветер и дождь.

Настанет день и час, и дождь заладит
с утра,
и я скажу: прощай,
мне пора, мне пора...
Меня здесь нет — меня здесь нет!
Я ушел, уехал —
за солнцем вослед.

Девчонка

(Girl)

Кто подскажет, как мне быть и что мне делать
с нею?
Я влюбился на свою беду!
Не жалею ни о чем — и обо всем жалею,
а уйду — и вовсе пропаду.
И смех, и грех...
Сколько раз я говорил: прощай, с меня довольно! —
но девчонка поднимала рев.
И опять я верил ей и ушибался больно —
видно, я дурак из дураков!
И смех, и грех...
Надо мной обидно шутит или носом крутит
она при всех
и к тому же норовит
принять ужасно гордый вид —
вот смех!
И смех, и грех...
Ей твердили, что парней терзать и мучить надо:
что́, мол, за победа без хлопот?
Если только в гроб сойду я от такого ада —
может, наконец она поймет!
И смех, и грех...

Перевод М. БОРОДИЦКОЙ

Будущий классик

(Paperback Writer)

Будущий классик, будущий классик...
Сэр, прошу покорно
прочитать сей том.
Много лет был моим
главным он трудом.
В нем описал я
некоего Джилла.
Безработный я,
вот и стать решил я
классиком тоже, классиком тоже.
В нем герой печален
часто оттого,
что жена никак

не поймет его.
А сын — в газете
из последних сил
трудится весь день,
ибо стать решил
классиком тоже, классиком тоже.
Я писал без спешки
этот фолиант.
Мне писать не лень —
у меня талант.
Удлиню мой том,
если захотите,
иль укорочу.
Ибо должен быть я
классиком тоже, классиком тоже.
Если ж он вам нужен,
продаю права.
Принесет, уверен,
он миллионы вам.
Иль его верните,
гений мой не чуя,
но мне нужен шанс,
ибо стать хочу я
классиком тоже, классиком тоже.

Перевод В. ЛУНИНА

Дурак на холме

(The Fool on the Hill)

Он день за днем на склоне холма
сидит и смотрит вокруг с улыбкой глупой весьма.
И никто его знать не хочет — всем понятно,
что он дурак.
А он никогда не спорит.
Но дурак на холме видит мир пред собой
и закатное солнце в дали голубой.

Там высоко, среди облаков,
он что-то бормочет вслух на тысяче языков.
Но никто разобрать не может,
о чем он хочет сказать,
а он не дает ответа,

ведь дурак на холме видит мир пред собой
и закатное солнце в дали голубой.

И никто с ним не ищет дружбы — ясно,
чего он ждет,
хоть он и молчит об этом.
Но дурак на холме видит мир пред собой
и закатное солнце в дали голубой.

Ему до них нету дела — он знает: они глупы
и очень его не любят.
А дурак на холме видит мир пред собой
И закатное солнце в дали голубой.

Перевод М. ФРЕЙДКИНА

НЭНСИ РЕЙГАН
при участии Уильяма Новака

Мой черед

■

Перевод с английского ИРИНЫ ДОРОНИНОЙ

Глава шестая
НАШИ ДЕТИ

Всякой матери трудно писать о сложностях, которые омрачают ее отношения с детьми. Но наши дети и наши отношения с ними во время президентства Ронни выросли в такой сюжет, который я не могу обойти молчанием. Я обожаю своих детей. Но надо признать, что без проблем у нас не обошлось. В каждой семье есть свои проблемы, и мы не составляем исключения.

Я сказала «в каждой семье», но на самом деле мы представляем собой не одну, а две семьи. Я была бы рада принять на себя вину за все, что происходило, но, как увидите, не за все случившееся ответственна именно я.

Больше всего на свете я хотела быть хорошей женой и матерью. Как теперь стало ясно, в первом я преуспела больше, чем во втором.

Фамилию Рейган носят четверо детей; по старшинству это Морин, Майкл, Пэтти и Рон. Морин и Майкл — дети Ронни от первого брака с Джейн Уаймен. Морин родилась в 1941 году, Майкл родился и был усыновлен в 1946-м. После того как Ронни и Джейн разошлись, в 1949 году, дети остались под опекой матери. Ронни, а когда появилась я, мы с ним вместе старались быть полезными Морин и Майклу, но, по правде сказать, мало что знали об их повседневной жизни.

Пэтти родилась в 1952 году, с самых ранних лет она была своевольна. Рон появился на свет в 1958-м и долгие годы был мне ближе всех.

Ни один из четверых детей не похож на другого. Вероятно, бывали моменты, когда все они чувствовали себя в какой-то мере брошенными: мы с Ронни настолько полно отдавали себя друг другу, что для них порой оставалось мало места в наших душах. Мы не хотели этого, но если иногда они именно так себя ощущали, я искренне сожалею.

Во время президентства Ронни о нашей семье и ее проблемах писали постоянно. Как кандидат на этот пост Ронни защищал традиционные семейные ценности, в которые мы оба верим и стараемся следовать им на практике. Но мне всегда было обидно слышать, что мы, мол, лицемерили, потому что собственная наша семья нередко оказывается весьма далекой от этих ценностей. Да, нам не всегда удавалось оставаться на высоте принципов, которые мы исповедуем, но это не значит, что мы в них не верим.

К тому же, думаю, наши отношения с детьми были не такими плохими, как это изображали. К примеру, часто утверждали, что, живя в Белом доме, мы мало внимания уделяли детям. Но, хоть виделись мы действительно не так часто, как хотелось бы, мы ведь не уведомляли прессу каждый раз, когда кто-то из нас посылал другому письмо, открытку, подарок или звонил по телефону.

До нашего переезда в Белый дом дети президента — и публика к этому привыкла — обычно жили там вместе с ним. Но наши дети к моменту избрания

Окончание. Начало см. в № 8, 1991.

Ронни были уже взрослыми, у каждого была своя собственная жизнь и работа. Наши «дети» были далеко не детьми.

Как и наши родители, мы с Ронни всегда считали, что по достижении определенного возраста детям нужно дать возможность жить самостоятельно. Становясь взрослыми, они имеют право сами решать, сколь тесной будет их близость с родителями. Нам это было нелегко, и часто мне хотелось, чтобы они звонили почаще. Но, хорошо это или плохо, мы хотели предоставить им независимость.

Это вовсе не значит, что мы с Ронни были идеальными родителями, а наши дети — ангелами. Работа отнимала у Ронни много сил и времени, и перед нами во весь рост встали проблемы «смешанной» семьи, тем более что между нами и Джейн Уаймен отношения в общем-то не сложились. Но мы старались как могли и никогда не прекращали попыток. Ошибок, сделанных в воспитании детей, не исправить — и я тоже делала ошибки. Когда Майкл жил у нас (об этом я расскажу отдельно), я не знала, как обращаться с буйным подростком. С Пэтти, наверное, мы были чересчур мягки. С Морин разошлись и не общались несколько лет. С Роном все шло более гладко, хотя и здесь случались столкновения.

Мое замужество осложнялось тем, что у Ронни уже были дети. Я стала родительницей в день свадьбы, и мне пришлось узнать то, что известно множеству других женщин: возникает огромное количество сложностей, когда выходишь замуж за человека, у которого есть дети. Они — во всяком случае внутренне — не принимают тебя, они испытывают вполне понятную ревность, потому что ты отнимаешь у них какую-то долю отцовского внимания. Требуется немало времени, чтобы наладить отношения с ними.

Теперь, став старше и опытней, я думаю, что, наверное, могла бы в свое время больше помочь Морин и Майклу. Если бы только я больше была уверена в себе как мать. Как жаль, что самому важному делу в жизни — умению быть родителями — нас никто не учит.

Ронни познакомил меня со своими детьми примерно за год до нашей свадьбы. Морин было десять лет, и мы сразу же с ней поладили. Она, бывало, приходила ко мне со своей виктролой[1] и пластинками, и мы слушали музыку. Но больше всего времени мы проводили вместе в выходные, когда возили детей на ранчо в Лейк Малибу.

Во время этих поездок в старом битом красном фургоне Ронни развлекал нас всякими чудесными историями. Когда я стала участницей этих автомобильных путешествий, мы с Морин начали петь вместе. Я всегда обожала бродвейские мюзиклы и научила Морин дуэту из «Называйте меня мадам» — «Ты просто влюблена». Мы так часто пели его, что Майкл, которому было пять лет, когда бы ни услышал его, принимался тяжело вздыхать, а Ронни сигналил и кричал: «Хватит!» до тех пор, пока мы не сдавались. Много лет спустя, когда во время концерта в Белом доме кто-то запел «Ты просто влюблена», мы с Морин послали друг другу широкие улыбки через весь зал.

Но если до моего замужества отношения с Морин складывались хорошо, то после того как я стала миссис Рейган, они стали ухудшаться.

Морин тогда было одиннадцать, и она, наверное, негодовала. Как и положено в этом возрасте, она считала, что я отнимаю у нее отца. Ни она, ни я не помним, чтобы между нами произошло что-то определенное, какая-нибудь ссора, просто мы стали реже видеться. Хотя с отцом Морин поддерживала связь, ее отношение ко мне постоянно менялось.

Потом был долгий период, когда мы почти не встречались. Морин училась в католической школе в Терри-тауне, штат Нью-Йорк, а затем, недолго, в колледже в Вирджинии. Она бросила учебу, когда ей исполнилось восемнадцать лет, переехала в Вашингтон, где поступила на службу в компанию по торговле недвижимостью, и вышла замуж.

В те годы мы с Морин не общались. Теперь, задним умом, понимаю, что мне следовало бы приложить больше стараний, но Морин всегда, казалось, куда-то спешила, всегда сама принимала важные для нее решения, и между нами так и не возникло контакта. С Ронни у них было совсем по-другому. Сколько бы Морин ни отсутствовала, они постоянно поддерживали связь, а если порой и теряли ее, всегда были готовы восстановить.

Только в годы нашего пребывания в Белом доме мы с Морин снова по-настоящему узнали друг друга и постепенно сблизились. Одно из самых замеча-

---

[1] Виктрола — звуковоспроизводящее устройство, мало чем отличающееся от патефона. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

тельных впечатлений моей жизни — то, что Морин начала называть меня мамой. Это случилось лишь во время второго президентского срока Ронни, мы никогда не обсуждали это событие, но я рассматриваю его как преодоление серьезной преграды и напоминание о том, что в семье никогда не поздно помириться и подружиться.

Хотя Морин жила с мужем Деннисом Ривелом в Калифорнии, она часто наезжала в Вашингтон по делам как сопредседатель Национального комитета Республиканской партии. Очень скоро она проводила здесь уже почти все время, жила у нас и спала в спальне Линкольна, которую очень любила. Эти визиты способствовали укреплению ее отношений и с отцом, и со мной.

Хотя Морин чрезвычайно много сделала во время избирательной кампании отца, не во всем они были согласны друг с другом. Морин всегда была горячей сторонницей введения поправки о равных правах для женщин, в то время как Ронни выступал против, считая, что в Конституции есть все необходимые и достаточные гарантии. Сомневаюсь, чтобы они полностью сходились и в вопросе о допустимости абортов. Но так или иначе Морин никогда не стеснялась высказывать собственное мнение.

Мое самое раннее воспоминание, связанное с Майклом,— я потираю ему спинку во время наших автомобильных путешествий на ранчо. Как он любил это! Я жалела малыша. Ему было всего три года, когда родители расстались, и он по-настоящему не понимал, что это означает. Он напоминал мне потерявшегося щеночка, нуждающегося в любви и ласке.

В четыре года Майкл узнал, что он не родной. К тому времени, когда он стал достаточно взрослым, чтобы понять, что это такое, он уже убедился: это страшно неприятно. По этой и по некоторым другим причинам у Майкла было трудное детство. Независимо от того, чего добился,— а стал он в конце концов чемпионом мира по гребле,— он всегда нес на себе печать приемного сына Рональда Рейгана. Прекрасно представляю себе, что он чувствовал, потому что сама ненавидела, когда меня называли падчерицей Лояла Дейвиса.

Отрочество Майкла было весьма бурным, и, когда ему исполнилось четырнадцать, его отношения с матерью испортились настолько, что, по совету психиатра, он переехал к нам. Неожиданно у меня появился третий ребенок, подросток, с которым мы были едва знакомы. Вскоре стало очевидно, что он требует большого внимания — в том числе и визитов к зубному врачу, обнаружившему у него около десяти дырок. Ему также нужно было покупать одежду и тщательно заботиться о нем. С Майклом я действовала наугад. Мы старались найти общий язык, но это так трудно, если вы прежде почти не знали друг друга и если в годы, когда формируется характер ребенка, ты не имел к его воспитанию никакого отношения.

В тот период у нас с Майклом выдавались такие бурные моменты, когда я готова была его убить. Подростки часто бывают трудными, но Майкл оказался и вовсе уж неприкаянным и буйным. Я не сомневалась, что он не любит меня, и не знала, как навести мосты, чтобы преодолеть пропасть, лежавшую между нами. Кроме того, у меня были связаны руки семилетней Пэтти и младенцем Роном. Майкл впоследствии признался, что ему становилось завидно, когда я возилась с маленьким Роном.

Однажды, когда Ронни был в отъезде, Майкл спросил, не могу ли я узнать имя его родной матери. Ему было тогда шестнадцать лет, и я сочла, что он имеет на это право. Я узнала и сообщила ему то, что он просил: женщину, родившую его, звали Айрин Флафер, а ему при рождении дали имя Джон Л. Флафер. Его отец, военный, отправился за океан, оставив его мать беременной — и незамужней.

Я надеялась, что это немного успокоит Майкла. Но тот факт, что его родные отец и мать не были женаты, лишь подтвердил его худшие опасения — он был незаконнорожденным. Более того, он был убежден, что мать отказалась от него, потому что не любила.

К тому времени мои собственные родители жили в Фениксе, и отец помог нам устроить Майкла в закрытую школу-интернат в Аризоне, где он совершенно расцвел. Моя мама навещала его там и, когда он закончил школу, подарила золотое кольцо с печаткой. Когда в 1987 году она умерла, Майкл надел на похороны это кольцо. Позднее он сказал, что впервые тогда оплакивал еще кого-то из членов семьи, кроме себя.

Однажды во время второго президентского срока Ронни я прочла в «Ньюсуике», что Майкл пишет книгу об отце, что-то вроде «Самый дорогой папоч-

ка». Я не представляла, что плохого может он сказать о Ронни, но тогда только что вышла книга Пэтти о девочке, чей отец стал президентом,— неприятный, осуждающий «роман», а теперь, похоже, Майкл писал еще один.

Когда я позвонила Майклу, чтобы узнать, так ли это, он сказал: «Мне предложили много денег за книгу об отце».

«Разумеется,— ответила я.— Я могу собрать кучу денег, если стану голой прогуливаться по Пенсильвания авеню. Это вопрос вкуса». Больше я ничего не слышала о книге Майкла, вплоть до 12 апреля 1987 года, когда он с женой Коллин и детьми Кэмероном и Эшли приехали к нам на ранчо. Майкл выглядел взволнованным и огорченным, и я почувствовала, что он хочет побыть с Ронни и со мной наедине. После ленча я предложила Коллин погулять с детьми вокруг пруда. Оставшись с нами один, Майкл разрыдался.

«Что с тобой?» — спросила я.

Но Майкл не мог говорить. Он дрожал и судорожно глотал воздух. Я обняла его и потерла спину, как когда-то, когда он был маленьким.

И тогда Майкл открыл ужасный секрет, который хранил все эти годы. В возрасте восьми лет он подвергся преследованиям страдавшего сексуальным извращением воспитателя, который фотографировал его раздетым. Всю жизнь бедный Майкл вспоминал об этом, испытывая чувство вины и неотступный страх, что когда-нибудь эти фотографии всплывут и это скомпрометирует его и, что еще страшнее, отца. Кроме Коллин, он никому никогда об этом не рассказывал. И ей-то рассказал лишь за несколько недель до того.

Мы с Ронни понятия не имели ни о чем подобном. Не знаю, смогли ли бы мы помочь Майклу справиться с этим, если бы он жил с нами,— хочется верить, но точно сказать нельзя. Я знала, что у Майкла были проблемы, но т а к и е!

Успокоившись наконец, Майкл объяснил, что отказался от мысли написать критическую книгу об отце. Он лечился у доктора и понял, что в его жизненных трудностях виноват не Ронни. Он продолжал писать, но теперь это была совсем другая книга — книга, которая должна была бы стать полезной всем жертвам надругательств.

Отныне Майкл считает тот приезд на ранчо первым днем своей новой жизни. Я могу это понять и представить себе, как, должно быть, трудно ему было открыть этот страшный секрет.

Когда Майкл прислал нам сигнальный экземпляр своей книги, я читала ее полночи. И ощутила огромное облегчение, убедившись, что это искренняя, самокритичная история его жизни. Мне было приятно, что он тоже помнит, как я потирала ему спинку в машине, и я была тронута тем, что, оказывается, он хотел, чтобы мы с Ронни поженились и взяли его из школы в свой дом. Он объяснил, каким несчастным чувствовал себя в детстве, мечась между Джейн Уаймен и мной, при том что ни одна из нас не была его «настоящей» мамой. И он описал свой постоянный страх из-за того, что эти «голые» снимки могут обнаружиться. Какой радостью было увидеть, что Майкл повзрослел и изменился и что теперь он способен сам отвечать за свою жизнь.

За несколько дней до того как мы покинули Белый дом, Майкл приступил к новой работе в качестве ведущего ранней утренней передачи, включающей беседы и интервью, на радиостанции Сан-Диего. У первого, кто позвонил ему тогда, оказался знакомый голос: «Доброе утро, Майкл,— услышал он.— Это твой старик. Я немного далековато, чтобы услышать передачу, но хотел поздравить тебя с первым днем работы и пожелать удачи». Звонок Ронни был совершенной неожиданностью для Майкла, и я знаю, что он был ему дорог.

Не могу в заключение не рассказать связанную с Майклом историю, которая кажется мне очень трогательной. Во время работы над автобиографией Майкл решил разыскать свою родную мать. Поскольку Джейн не откликнулась на его просьбу сообщить необходимые сведения, он написал Ронни, и тот связал его с нужным человеком из числа сотрудников губернатора Дейкмеджана. Вскоре Майкл получил подробный ответ из Департамента общественных служб Калифорнии; из ответа следовало, что, к его великой радости, родная мать х о т е л а оставить его, но в городе, где она жила, это было невозможно.

Тогда же Майкл впервые узнал, что мать не соглашалась отдать сына, пока не увидит ту женщину, которая хочет усыновить его. Позднее она сообщила сотруднику департамента, что узнала Джейн Уаймен, хотя больше никому, кажется, этого не говорила.

Осенью 1987 года Майкл получил потрясающее известие. Ему написал некто по имени Бэрри, отрекомендовавшийся единоутробным братом. Его мать

умерла в 1985 году и на смертном одре призналась, что до Бэрри у нее был еще один ребенок, которого усыновили Рональд Рейган и Джейн Уаймен.

Бэрри не очень-то поверил, но потом вспомнил, что мать наклеивала в альбом вырезки из газет и журналов, касающиеся семьи Рейганов. Он думал, что она помешана на Рональде Рейгане, но когда снова просмотрел все эти вырезки, выяснилось, что в каждой было упоминание о Майкле Рейгане.

Вскоре Бэрри и Майкл познакомились. По словам Майкла, Бэрри был взволнован не меньше его самого встречей с вновь обретенным братом. И Майкл был потрясен тем, что у него обнаружились новые живые родственники. Прекрасно, что Майкл в конце концов удостоверился: родная мать любила его и думала о нем всю жизнь. Даже когда Ронни стал губернатором, а потом президентом, Айрин Флафер молчала. И лишь перед смертью открылась своему младшему сыну, посчитав, что он должен знать о Майкле. Я отдаю должное этой женщине и думаю, что у Майкла есть все основания гордиться ею.

В отношениях с каждым из четверых детей у меня были взлеты и падения, но Пэтти как никто другой — боль и разочарование моей жизни. Как бы мне хотелось, чтобы это было неправдой, я все еще надеюсь, что что-то изменится. Но, по крайней мере пока, это печальная история. Что бы я ни делала, мы все время словно стоим друг перед другом в позе нападающего.

Я была очень нервной матерью, а Пэтти с самого начала оказалась трудным ребенком. Она требовала постоянного внимания — и, как я понимаю теперь, мы слишком часто шли у нее на поводу. Когда вечером ее укладывали спать, она могла часами истошно вопить — во всяком случае нам казалось, что проходили часы. Врачи советовали мне дать ей накричаться, говорили, что, если мы постоянно будем к ней заглядывать, она станет еще больше кричать. Но безучастно слушать такой крик невозможно.

Были проблемы и с едой. Однажды, когда Пэтти было около двух лет, я кормила ее фасолью. Она набирала ее в рот и просто держала там, не глотая. Что я только не делала, все напрасно. Тогда я позвонила педиатру. «Не сдавайтесь,— посоветовал он.— Уйдите из комнаты и займитесь чем-нибудь другим, а к ней возвращайтесь попозже». Прошло полтора часа, минуло уже время сна, но Пэтти все еще сидела на прежнем месте с этой проклятой фасолью во рту.

Когда я вошла, она подняла голову и, озорно улыбнувшись, сказала: «Что у меня во рту, мамочка?»

Это был ребенок себе на уме, а поскольку Ронни часто отсутствовал, я оставалась главным воспитателем. Конечно, бывают воспитатели и поискусней, но я делала все что могла.

По мере того как Пэтти становилась старше, делалось очевидным, что она наделена множеством способностей. Она сама научилась играть на гитаре и на пианино. Делала искусственные цветы, вышитые стеклярусом, и продавала их магазинам. Обожала лицедействовать и всегда была режиссером любительских спектаклей и художником по костюмам. Я поощряла и хвалила ее за успехи, но по большей части она не желала иметь со мной ничего общего. Когда была моя очередь везти ребят в школу, она садилась как можно дальше от меня. Если мы вместе куда-нибудь шли, она следовала позади на расстоянии, а не рядом. Я просто не знала, что делать.

И в то же время я по сей день храню записочки, которые Пэтти подсовывала мне под дверь; в них говорилось, как она меня любит и что она вовсе не хотела меня обидеть.

Теперь я уверена, что раздражение Пэтти по отношению ко мне было следствием ее сложных чувств к отцу. Не сомневаюсь и в том, что мы с Ронни слишком ей потакали; она требовала внимания к себе — и получала его столько, сколько хотела. Шесть лет она была единственным ребенком в семье — так уж вышло.

До Рона у меня было два выкидыша, и я так дорожила ею, что, вероятно, перестаралась.

В возрасте тринадцати лет Пэтти поступила в школу в Орме, штат Аризона. Большинство выходных она проводила у моих родителей. Неподалеку была ферма, и Пэтти полюбила ездить верхом.

Мне хотелось бы, чтобы в школьные годы ее способности и интеллект развивались более интенсивно, но у нее другое было на уме. В четырнадцать лет она попыталась сбежать со школьным мойщиком посуды. Мы с Ронни часто говорили о Пэтти, и он всегда считал, что, какие бы ни были у нее проблемы,

все это — «переходный возраст». Мне часто хотелось, чтобы он был с ней построже, он и сам жалеет теперь, что не был.

Бросив колледж за год до окончания, Пэтти стала жить с Берни Лидоном, гитаристом популярной рок-группы «Иглз». Мы с Ронни были категорически против. Надо помнить, что мы принадлежим совершенно иному поколению, и мысль о том, что девушка может жить с мужчиной невенчанной, претила нам.

Пока Пэтти жила с Берни, между нами, в сущности, никакого контакта не было. Но однажды я увидела, как ее красная «тоёта», сигналя, подъезжает к нашему дому по аллее. У Пэтти возникли серьезные личные проблемы, и ей понадобился мой совет. Мы проговорили несколько часов, и когда она уезжала в тот вечер обратно к Берни, мы с Ронни стояли на аллее и смотрели ей вслед, пока машина не скрылась из виду. Естественно, я была вся в слезах.

Вскоре после того Пэтти вернулась домой. Теперь между нами все было по-другому. Пожалуй, впервые в жизни мы почувствовали себя близкими людьми. Мы вместе ходили за покупками; мы часами болтали друг с другом — как это было чудесно! Я всегда думала, что именно такими должны быть отношения между матерью и дочерью, и в те месяцы, когда такими они были, я испытывала блаженство.

Когда Пэтти решила стать актрисой, я ввела ее в Гильдию актеров кино, так же как в свое время моя мать помогла мне. Пэтти всегда нравилась профессия актера, и она не скрывала своего разочарования тем, что отец отказался от нее ради политики.

Какое-то время в течение президентства Ронни Пэтти активно участвовала в антиядерном движении. Думаю, кое-кто использовал ее в своих политических целях. Можно расходиться во мнениях по поводу того, какой способ предотвращения ядерной войны наилучший, но я всегда отвергала намеки сторонников движения за мир, будто Ронни и его единомышленники консерваторы, которые исповедуют доктрину мира посредством силы, выступают в каком-то смысле за войну.

Возвращаясь к истории наших отношений с Пэтти: я была в восторге, когда она попросила моего совета и помощи в подготовке свадьбы с Полом Грилли, своим учителем йоги, летом 1984 года. Был разгар кампании по переизбранию Ронни, но свадьба есть свадьба.

К моему удивлению, Пэтти хотела, чтобы церемония бракосочетания была традиционной — подвенечное платье со шлейфом и фатой, шаферы, свадебный торт и все необходимые в этом случае атрибуты. Не знаю, сделала ли она это специально, чтобы доставить мне удовольствие, но она мне его доставила. Пэтти сама заказала платье, а я добавила к нему «нечто старинное» — бабушкин (маминой мамы) браслет и «нечто голубое» — корсетный пояс. «Чем-то новым» было ее свадебное платье, а «чем-то позаимствованным» — подружкино кольцо.

Это был чудесный свадебный вечер в отеле «Бель-Эр» в Лос-Анджелесе. Пэтти сияла. Когда в церкви Ронни вел ее между рядами сидений, комок встал у меня в горле. Казалось невероятным, что это та самая крохотная девчушка, которую медсестра положила мне на руки в роддоме тридцать два года тому назад. Что бы ни произошло между нами за эти годы, твой ребенок всегда останется твоим ребенком. Я люблю Пэтти, и она виделась мне прекрасной невестой.

Я надеялась, что свадьба Пэтти станет началом наших новых, более теплых отношений, но этому не суждено было сбыться. Она приехала на вторую инаугурацию Ронни в 1985 году, но всего на один день. Когда делали семейную фотографию, она пряталась за спинами, и Ронни все повторял: «Пэтти, выйди вперед, чтобы тебя было видно». Но она не захотела. А Пол и вовсе не приехал. Он сказал, что у него работа, но мне кажется, если попросить пару дней отпуска, чтобы съездить на церемонию приведения к присяге в качестве президента Соединенных Штатов твоего тестя, едва ли кто-то будет возражать.

На следующий год мы узнали, что Пэтти пишет книгу, хотя она никогда нам об этом не говорила. Когда книга вышла, она прислала нам экземпляр, и я прочла ее с огорчением и обидой. Это был роман о молодой женщине левых политических взглядов, чей отец-консерватор становится президентом, слабо замаскированная автобиография, полная жалости к себе.

Когда Ронни спросили о книге Пэтти, он вполне корректно ответил, что это беллетристика. Он не стал говорить — а меня прямо подмывало,— что эта книга по отношению к нам обоим просто оскорбительна.

Я понимаю, что трудно иметь знаменитых родителей. В какой-то мере я сочувствую Пэтти. Да, т р у д н о становиться личностью, когда ты на виду у всей страны. Да, т р у д н о, когда твой отец становится губернатором, а по-

том президентом — а ты придерживаешься противоположных политических взглядов. Но нельзя же всю жизнь бередить эту свою рану; терпеть не могу, когда жалуются, что их родители — люди знаменитые и преуспевающие и поэтому детям так трудно жить. Можно ведь взглянуть на дело и с другой стороны: мои родители — люди знаменитые и преуспевающие. Какое это счастье для меня!

И все же я остаюсь оптимисткой. Нам еще не поздно все исправить. У меня тоже иногда возникала напряженность в отношениях с родителями, но они оба знали, что я люблю их, а я знала, что они любят меня. Надеюсь и молюсь за то, чтобы, пока я жива, мы с Пэтти смогли забыть прошлое и найти общий язык. Ничего бы я не хотела сейчас так, как этого.

В детстве у Рона был такой веселый характер, что отец, бывало, называл его Счастливчиком Джеком. Как часто бывает со вторым ребенком, с ним было гораздо легче, чем с его старшей сестрой. Правда, справедливости ради надо признать, что и я вела себя с ним более спокойно, чем с Пэтти.

Но у Рона было по-своему даже больше трудностей, чем у Пэтти, потому что ему часто приходилось приспосабливаться к новым обстоятельствам. Когда Ронни стал губернатором, Пэтти уже училась в Аризоне, а Рону в восьмилетнем возрасте пришлось переезжать с нами в Сакраменто и переходить в другую школу.

Хоть Рон и стал губернаторским сыном, я старалась сделать все возможное, чтобы у него была абсолютно нормальная жизнь. Он гонял на велосипеде по окрестностям, как все мальчишки. Ездил на занятия в школьном автобусе, как все его соученики. Однако полностью нормальной жизнь быть не может, если твой отец — губернатор. Помню, однажды на футбольном матче, когда Рон играл за команду шестиклассников, я услышала, как ребята из команды соперников говорили: «Это Рейган. Дай-ка ему как следует!»

Но Рон никогда не жаловался. У него всегда доставало сил справляться с подобными вещами, и мелкие неудачи его не обескураживали.

В пятнадцать лет он заставил нас с Ронни, надев рюкзаки, отправиться с ним в поход. После того как мы покинули Малибу, он, вероятно, хотел убедиться в том, что его родители не окончательно замшели или по крайней мере не утратили еще вкуса к приключениям.

Мы предложили четырехдневный верховой поход в Высокую Сьерру. Никаких палаток — только спальные мешки, верховые лошади и мулы, которые должны были везти поклажу. Никто из нас никогда прежде в таких походах не участвовал, и Ронни не терпелось попробовать. Я же опасалась, особенно конного перехода через горы, потому что боюсь высоты.

Это было восхитительное путешествие среди волшебных пейзажей — прозрачные горные ручьи и звездные ночи. Утром заключительного дня мы ехали вдоль узкой тропинки. Я устала, седло натерло мне ноги, и я мечтала лечь в собственную постель, приняв перед этим горячую ванну. И тут Рон окликнул меня: «Ма, ты молодец! А я думал, ты потерпишь денек, а потом найдешь предлог, чтобы вернуться». Когда я услышала такое, ничто уже не могло заставить меня отступить.

На обеденном привале Рон поднял свою жестяную кружку и провозгласил тост, пообещав выгравировать эти слова на кружке по возвращении домой. Я и теперь храню ее и очень ею дорожу. Надпись на ней гласит: «За величайшего в мире туриста, спортсмена — и маму!»

И сразу же мне сделалось так хорошо!

Когда настала пора отдавать Рона в среднюю школу, мы записали его в интернат неподалеку от Лос-Анджелеса, где он нахватался дурных привычек и нашел чудовищных друзей. После того как он неоднократно нарушал школьные правила и в конце концов без разрешения ушел из школы, его исключили. Нужно ли говорить, каким это было для нас ударом.

Но на этом бунт Рона не кончился. Несколько лет продолжался его роман с женщиной, у которой была дочь почти такая, как он сам. Со мной случился сердечный приступ, когда я узнала. Я считала, что эта женщина крадет лучшие годы его юности. Но ничего не могла поделать с этим. Их связь кончилась, когда Рон учился в Йейле — она его бросила.

Как и Пэтти, Рон в детстве проявлял множество способностей. У него всегда был прекрасно подвешен язык, и я думала, что он станет писателем. Вот почему я так удивилась, когда на первом курсе Йейла он объявил нам, что решил стать танцовщиком. Мы так гордились, когда его приняли в Йейл, и вот, проучившись лишь несколько недель, он хотел все бросить

Но в то же время мы считаем, что детям нужно давать возможность жить по-своему. Мы старались поддерживать своих детей на том пути, какой они сами выбирали, к тому же было видно, что решение Рона заняться балетом серьезно. Наша приятельница Джин Келли рекомендовала Балетный центр Стэнли Холдена в Лос-Анджелесе, и Рон туда поступил.

Он прекрасно зарекомендовал себя у Холдена, несмотря на то, что был гораздо старше других новичков. Там же он встретил Дорайю Палмьери, прелестную девушку, на которой потом женился.

В конце концов Рона зачислили в нью-йоркскую балетную труппу Джоффри, это был большой успех — особенно для танцовщика, который так поздно начал. Потом он переехал в Нью-Йорк, где поступил в гастрольную труппу Джоффри II. Вскоре после того как Рон поселился в Манхэттене, Дорайя переехала к нему. Я все еще не могла смириться с этим — думаю, и мать Дорайи чувствовала то же самое. Честно сказать, тогда Дорайя мне не особенно нравилась. Наверное, я все еще не могла забыть связи Рона с той, другой женщиной и, поскольку Дорайя тоже была старше его, боялась, что и этот роман кончится для него болезненным разочарованием.

Когда они решили пожениться, я была счастлива, хотя и существовали некоторые осложнения, на устранение которых понадобилось бы время. Поначалу у нас с Дорайей были не самые теплые отношения, но чем дальше, тем больше я любила ее, надеюсь, и она меня.

У них счастливая семья, несмотря на возникающие время от времени слухи, что они разводятся или что я не люблю Дорайю. Я храню пару ее писем, в которых она говорит, как любит меня и сколь многому у меня научилась. Свекрови на большее и рассчитывать нельзя.

В 1984 году Рон решил покончить с балетом. Во-первых, он уже доказал себе, что может быть танцовщиком, во-вторых, были и другие, более практические соображения. Как он написал в журнале «Ньюсуик»: «Я ухожу, потому что хочу, чтобы у нас с женой был дом и когда-нибудь ребенок. Доходы, которые приносит балет, и перспектива многомесячных постоянных гастролей делают эти цели в лучшем случае достижимыми лишь в отдаленном будущем».

Рон с Дорайей покинули Нью-Йорк и вернулись в Лос-Анджелес. Рон хотел стать писателем и начал сочинять статьи для «Плейбоя», в том числе одну — о съезде Демократической партии 1984 года, другую — о Советском Союзе и третью — о Женевской встрече в верхах. Морин, которая считает, что женщине неприлично брать в руки «Плейбой», не оставила этот факт без внимания. «Слушай,— сказала она ему,— понимаешь ли ты, в какое положение поставил меня, заставив купить такой журнал в киоске, только чтобы прочесть твою статью?»

Несколько последних лет Рон работал на телестанции Эй-би-си в программе «Доброе утро, Америка», где выполнял множество заданий, в том числе и таких, о которых я предпочла бы не знать,— например, то, в связи с которым ему пришлось прыгать с парашютом из самолета.

Думаю, мне следовало бы давно усвоить, что мой сын обожает опасные приключения. Когда ему было девять лет, мы первый раз отправили его в летний лагерь в Колорадо. Помню, как я волновалась, ожидая письма от него. Наконец пришла открытка, в ней было две фразы:

«Дорогие мамочка и папочка,
сегодня мы плавали по реке Колорадо на надувных резиновых плотах. Мой перевернулся, и я чуть не утонул.

С любовью Рон».

Он действительно очень похож на отца — больше, чем сам думает. Он целеустремлен в достижении поставленных перед собой задач, у него чудесное чувство юмора. Он любит читать, а его удивительную сердечность, думаю, должны ощущать даже телезрители на расстоянии. И он очень скромен. Однажды он сказал: «Я самый нечестолюбивый человек, какого ты когда-нибудь видела. Единственное, чего я хочу,— быть безумно счастливым».

Как и его отец, Рон всегда был рядом со мной. Пока он рос, у нас бывали тяжелые моменты, но теперь мы достигли такого состояния, когда, помимо сыновне-материнских, нас связывают и дружеские отношения. Я считаю своим другом Морин, думаю, и с Майклом мы теперь друзья. Примирение же с Пэтти, до того как я состарюсь, было бы для меня исполнением мечты.

Глава седьмая
КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Из пяти кампаний, в ходе которых Ронни баллотировался на официальные посты, наиболее живо запомнилась мне та единственная, которую он проиграл. Это было в 1976 году, когда он оспаривал у президента Джеральда Форда право быть кандидатом от Республиканской партии. Та кампания была столь напряженной, столь драматичной и воспринималась мною столь эмоционально, что почти затмевает в моем воображении остальные четыре, победные.

Часто говорят, что это я толкнула Ронни в политику — что, мол, сам он не стремился к высоким постам, а у меня честолюбия хватило на двоих. Подозреваю, миф этот родился потому, что Ронни действительно энтузиазма не проявлял. Ну, а раз он не честолюбив, думали, видимо, некоторые, значит, честолюбивой должна быть она. На самом же деле меня сомнения одолевали еще больше, чем Ронни. Проведя в Сакраменто восемь лет, я только и мечтала о том, чтобы вернуться в Лос-Анджелес и снова начать нормальную жизнь без всякой официальности.

В 1974 году Ронни решил заняться тем, что он называет разъездами по районам картофельного пюре; он собирался ездить по стране и выступать с речами. Майк Дивер открыл небольшое рекламно-информационное агентство и организовывал для него выступления, а также заказы на статьи для информационных агентств с последующей одновременной публикацией в разных газетах и на серии радиокомментариев. Это была самая подходящая для Ронни работа. Он мог прилично зарабатывать, делая то, что ему нравится,— то есть делясь своими убеждениями с публикой. К тому же она оставляла ему достаточно времени, чтобы с удовольствием повозиться на нашем новом ранчо, возле Санта-Барбары.

Промежуточные выборы, которые проводились всего через три месяца после отставки президента Никсона, обернулись настоящим бедствием для республиканцев. В Ронни партия увидела свежую кандидатуру, личность, пользующуюся популярностью, не имеющую никаких дел с Вашингтоном и снискавшую репутацию неподкупной. Консервативное крыло партии мечтало о том, чтобы он бросил вызов президенту Форду.

Но Ронни претила мысль соперничать с действующим президентом, принадлежащим к той же, что и он сам, партии. Отдавал он себе отчет и в том, что это было бы невероятно трудно. Где бы ни появлялся Форд, он был осенен ореолом президентской власти. Его пресс-конференции получали самое широкое освещение в средствах массовой информации. Он также контролировал партийный аппарат, поэтому любому его сопернику из рядов Республиканской партии пришлось бы в каждом штате сражаться с истеблишментом.

И тем не менее Ронни не считал Форда неуязвимым. Он был единственным американским президентом не только не избранным всенародным голосованием и даже не выдвинутым на этот пост собственной партией, но и на пост вице-президента, назначенным после отставки Спиро Агню. Ронни полагал, что при этих обстоятельствах республиканцы должны иметь возможность выбора.

После выдвижения его кандидатом от республиканцев в Нью-Гэмпшире несколько месяцев спустя Ронни решил баллотироваться. 19 ноября 1975 года мы с ним отправились в Вашингтон. На следующее утро в огромном, похожем на пещеру зале Национального пресс-клуба перед бо́льшим количеством микрофонов и телекамер, чем я видела за всю свою жизнь, он объявил, что выставляет свою кандидатуру.

Ронни не упоминал имени Форда — это была его всегдашняя практика во время избирательных кампаний,— но обвинил вашингтонскую администрацию в том, что она создала систему круговой поруки, и сказал, что народу нужны лидеры, которые были бы независимы от Конгресса, федеральной бюрократии, лоббистов, большого бизнеса и верхушки профсоюзов. «Нам нужно правительство, реально осознающее не только на что имеет право оно, но и — на что имеет право народ»,— сказал он.

В тот же день мы вылетели в Майами, чтобы начать избирательную кампанию. Первый массовый митинг был в аэропорту. Когда Ронни выступал на нем, кто-то выкрикнул из толпы: «Эй, Голландец!» Мы поняли, что это был кто-то из Айовы, потому что именно там в качестве спортивного комментатора Ронни был известен под именем Голландец Рейган.

«Привет! — откликнулся Ронни.— Я подойду к вам, когда освобожусь».

Когда Ронни закончил выступление, один из охранников сказал ему: «Спу́ститесь с помоста — поворачивайте налево». Вместо этого Ронни свернул вправо, чтобы найти знакомого из Айовы. И тут я с ужасом увидела, как свалили с ног и прижали к земле темноволосого молодого человека с ружьем в руках. Как выяснилось впоследствии, ружье было игрушечным, но мне оно, конечно же, показалось настоящим.

Через несколько месяцев Ронни снова оказался на волосок от гибели. Мы только что вылетели из Огайо в Лос-Анджелес. Ронни работал над будущей речью. Я задремала, но вскоре проснулась оттого, что Ронни с хрипом судорожно глотал воздух. Я открыла глаза и увидела, что мой муж, стоя рядом, хватает себя руками за горло. Лицо его покраснело, и он не мог говорить.

«Сердце!» — закричал кто-то. Майк Дивер, который летел с нами, в мгновение ока подскочил к Ронни, сгреб его сзади и, обхватив на уровне ребер, неожиданно резко сдавил. Ничего не произошло. Он сделал это еще раз — и тогда несколько зерен земляного ореха вылетели изо рта Ронни. После этого Ронни выпрямился и задышал нормально.

Потом Майк рассказал мне, что когда-то они с Ронни тренировались оказывать помощь в подобных ситуациях по системе Хаймлиха. Позднее я также узнала, что в тот раз Ронни подбрасывал орешки в воздух и ловил их ртом. Уверяю вас, больше он не делал этого никогда!

В 1988 году, в последний год нашего пребывания в Белом доме, я смотрела по телевизору репортажи о партийных съездах по выдвижению кандидатов и о ходе избирательной кампании. И с изумлением думала: откуда у меня брались силы, чтобы все это выдержать? Это так изнуряет! Ездишь из города в город, и дни и ночи, так же как и разные места, сливаются в одно неясное пятно. Бесконечная череда гостиниц и мотелей, автобусов и автомобилей. Встаешь рано утром и весь день, а порой он затягивается и далеко за полночь, проводишь на ногах. Иногда нет времени переодеться и принять ванну. Я была счастлива, когда удавалось урвать минутку, чтобы напудрить нос и провести расческой по волосам, но это случалось редко. Я научилась носить вязаные платья, которые не мнутся, даже если не снимать целый день.

Если твой муж не президент, никакого удовольствия его избирательная кампания не доставляет. Помню, как я увидела миссис Форд на каком-то официальном обеде во время кампании 1976 года. Она выглядела так свежо и очаровательно, что я подумала: как, должно быть, прекрасно летать на Президентском самолете номер один, где можно переодеться и умыться среди дня.

Во время тех выборов 1976 года у меня до самой последней минуты замирало сердце. По окончании предварительных выборов стало известно, что по неофициальным подсчетам у Форда на съезде должно быть 1093 голоса, у Ронни — 1030. Для выдвижения в качестве официального кандидата партии голосов не хватало ни тому, ни другому — заветным было число 1130, но Форд приблизился к нему гораздо больше.

И тогда президент Форд начал вовсю извлекать пользу из своего положения. Он приглашал дюжины нейтральных делегатов в Белый дом на коктейли, встречи и обеды. В июле, за месяц до съезда, журналисты стали доверительно сообщать, что официальное выдвижение Форда — дело решенное. А когда такое мнение становится достоянием общественности, оно быстро реализуется.

Поскольку терять было нечего, Джон Сиарз, руководитель избирательной кампании Ронни, рискнул предпринять крупную игру: он убедил Ронни обнародовать имя своего напарника — кандидата на пост вице-президента — за несколько недель до съезда. Джон надеялся, что это послужит подтверждением того, что исход кампании еще не решен. Был назван сенатор Ричард Швайкер из Пенсильвании. Хотя Швайкер слыл либералом, в 1964 году он поддерживал Барри Голдуотера. Как и Ронни, он выступал за укрепление обороноспособности, введение обязательной молитвы в школах, поощрительную систему налогов, смертную казнь и против контроля за продажей оружия и разрешения абортов на территории всей страны.

Джон рассчитывал, что после того как Ронни назвал Швайкера, Форд тоже будет вынужден сделать свой выбор. Нельсон Рокфеллер, тогдашний вице-президент, уже был исключен из списка, и Джон не сомневался, что, кого бы Форд ни выбрал, это все равно пойдет ему в ущерб. Выбери он умеренного — потеряет голоса южан; консерватора — не досчитается сторонников на Севере.

Когда Форд отказался назвать своего напарника, Сиарз попытался спро-

воцировать его, призвав всех остальных кандидатов в президенты сделать это, не дожидаясь официального выдвижения. Настаивая на общем голосовании по этому вопросу, Джон хотел доказать, что часть сторонников Форда ненадежна. Если бы наши оказались при голосовании в большинстве, независимые делегаты могли бы понять, что победа Форда не так уж неизбежна.

И вот наступила критическая ночь в ходе съезда в Канзас-Сити — за двадцать четыре часа до официального выдвижения кандидата делегаты приступили к голосованию по предложению Джона. Нервы были накалены у всех до предела, и я никогда не забуду, как рассердилась, увидев, что Нельсон Рокфеллер переходит от делегата к делегату и выкручивает им руки, склоняя на сторону Форда. Я сама видела, как он вырвал у делегации Юты плакат, агитирующий за Рейгана, и разорвал его. Даже не верилось, что это вице-президент Соединенных Штатов.

У нас были неплохие шансы, но все же не хватало голосов, чтобы победить. Теперь стало ясно, что для нас кампания окончена.

Следующим вечером, накануне оглашения имени официального кандидата, мы сидели у себя в номере за тихим семейным обедом. Мы чуть не плакали, но я предложила тост в честь мужа. «Дорогой,— сказала я,— за годы нашего супружества ты ни разу меня не разочаровал. И я никогда не гордилась тобой так, как теперь».

19 августа 1976 года в половине двенадцатого утра Джеральд Форд был назван кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Перед отъездом из Канзас-Сити у Ронни были две последние встречи. Одна с делегацией от Калифорнии. «Борьба продолжается,— сказал он.— Это лишь одно сражение в долгой войне, которая идет, пока мы все живы. Мы с Нэнси не собираемся, вернувшись, сидеть в креслах-качалках и повторять: «С нас хватит».

Я не присутствовала на той встрече, но мне сказали, что Ронни закончил свою речь, процитировав старинную английскую балладу, которую выучил много лет назад, еще в школе:

> Припаду к земле, пусть прольется кровь.
> Хоть я ранен, я не сражен.
> Поднимусь — и снова ринусь в бой.

Ронни победил на выборах в 1980 году, потому что сумел укрепить свои позиции, использовав для начала поддержку, которую получил в ходе кампании 1976 года. Джон Сиарз снова был руководителем его предвыборной кампании. Но в самом начале он допустил большую ошибку: не повез Ронни на предвыборный митинг сторонников Республиканской партии в Айове, где кампания начиналась в январе. Он хотел, чтобы Ронни был над схваткой. Ронни считался признанным лидером, и Джон не желал, чтобы он выглядел как рядовой кандидат, участвующий в общей свалке за голоса избирателей.

Но многие айовцы, очевидно, обиделись, решив, что Ронни считает их поддержку и так обеспеченной, потому что количество его сторонников упало здесь с пятидесяти до двадцати пяти процентов. Он совершил несколько коротких поездок по штату, но это мало что изменило. Джордж Буш имел полное право сказать, что он провел в Айове больше дней, чем Ронни — часов.

Мы были в Калифорнии, когда стали известны окончательные результаты подсчета голосов в Айове. Один из помощников по проведению кампании позвонил и сообщил скандальную новость: Ронни потерпел поражение от Джорджа Буша — тот набрал тридцать три процента голосов, Ронни — лишь тридцать. А ведь Ронни рассчитывал на победу. Неожиданно мы сели в лужу.

Следующим штатом был Нью-Гэмпшир. Если бы мы и там проиграли, кампанию можно было считать проваленной.

В Нью-Гэмпшире Ронни работал так, как никогда прежде. Журналисты едва за ним поспевали. С рассвета до поздней ночи он встречался с людьми. В Ронни очень силен дух соревнования. Если он отстает, он бежит быстрее, и я никогда не видела, чтобы он трудился с таким напряжением, как в тот месяц.

На предварительных выборах здесь Ронни победил, собрав пятьдесят один процент голосов. Джордж Буш с большим отставанием — на двадцать семь пунктов — шел вторым. Говард Бейкер был третьим.

Из Нью-Гэмпшира мы полетели в Вермонт, где Ронни победил на предварительных выборах неделю спустя. 8 марта он прошел первым в Южной Каролине, что вынудило Джона Конноли снять свою кандидатуру. Через три

дня после этого Ронни одержал победу в Алабаме, Флориде и Джорджии. Его конкуренты отпадали один за другим, кроме Джона Андерсона, который решил продолжать кампанию в качестве независимого кандидата.

В течение всей кампании Джордж Буш был единственным реальным соперником, но ни разу не приблизился к Ронни по-настоящему. Из тридцати трех этапов, когда оба они были в списках для голосования, Ронни оказался первым двадцать девять раз. В конце концов Буш снял свою кандидатуру, и Ронни легко, как по маслу, подкатил к съезду в Детройте. Единственным нерешенным вопросом был вопрос о том, кого он возьмет себе в напарники.

В это трудно поверить, но большинство советников рекомендовали Ронни выбрать Джеральда Форда. Они считали, что тандем Рейган — Форд окажется в ноябре непобедимым. Опросы общественного мнения подтверждали это предположение, и Ронни разделял его. Во время съезда Ронни несколько раз встречался с Фордом, и они обсуждали этот вопрос.

Мне идея казалась смехотворной. Я не могла себе представить, как бывший президент — любой — мог вернуться в Белый дом, чтобы быть там на вторых ролях. «Это невозможно,— убеждала я Ронни.— Будет президентское двоевластие. Ничего просто не получится».

Но Ронни так не считал. Это к вопросу о моем пресловутом «влиянии» на Рональда Рейгана.

В третий день съезда мы с Ронни сидели в своем номере в отеле «Детройт Плаза» и смотрели вечернюю программу новостей Си-би-эс; вдруг на экране в прямом эфире появился Форд, у него брал интервью Уолтер Кронкайт. Повсюду уже носились слухи о непобедимом тандеме и о предоставлении Форду как вице-президенту особых, расширенных полномочий и обязанностей.

Но ни один из участников предполагаемого тандема пока не сказал ни единого слова журналистам. И вот мы с Ронни, пораженные, наблюдали, как Форд на всю страну излагал свои условия по национальному телевидению. «Я не поеду в Вашингтон, чтобы в качестве вице-президента быть там фигурой номинальной,— говорил он.— Мне нужны особые гарантии. Я должен быть уверен, что буду играть значительную роль в принятии важнейших решений».

Когда Кронкайт спросил, не имеет ли он в виду нечто вроде со-президентства, Форд спорить не стал. «Вы задаете вполне законный вопрос»,— сказал он.

Что касается Ронни, ему этого было достаточно. В тот же вечер у них с Фордом состоялась короткая и последняя встреча. Кандидатура Форда больше не рассматривалась.

Поговорив с Фордом, Ронни позвонил Джорджу Бушу и предложил ему место в тандеме. В какой-то мере Джордж Буш стал сорок первым президентом Соединенных Штатов и благодаря тому, что тридцать восьмой президент слишком много наговорил в телевизионном интервью за восемь лет до того!

Тогда мне не нравился Джордж Буш. В памяти все еще были свежи горькие уроки кампании в Айове и Нью-Гэмпшире, и выражение Джорджа «шаманская экономика», которым он охарактеризовал предложение Ронни о сокращении налогов, продолжало отравлять мое отношение к нему. Вскоре, однако, я начала понимать, что выбор вовсе не плох. Джордж был опытен в делах управления и хорошо знал Вашингтон. Он работал в Конгрессе. Был представителем Соединенных Штатов в ООН. Директором ЦРУ. Он прекрасно умел вести избирательную кампанию и укреплял тандем как в географическом, так и в философском смысле.

И он оказался хорошим вице-президентом.

Теперь, когда Ронни стал официальным кандидатом, ему предстояло начать все сначала и в общенациональной кампании соперничать с действующим президентом. Хотя Джимми Картер не был особенно популярен, в противоборстве с Джеральдом Фордом в 1976 году он показал себя весьма конкурентоспособным кандидатом. Ронни ожидал, что борьба будет трудной и жесткой, и он не ошибся.

Как и в 1976 году, у меня была в этой кампании собственная серьезная роль: выступать в некоторых маленьких городках и поселках, куда у самого Ронни не хватало времени поехать. Обычно я летела вместе с Ронни на нашем агитационном самолете «Лидершип-80» до какого-то крупного центра, например, Чикаго, и, пока он выступал там, на маленьком самолетике перебиралась в другую часть штата. Многие отели, в которых мы останавливались, почитали за такую честь принимать жену Рональда Рейгана, что перед нашим приездом в комнатах даже красили стены. Я ценила такой знак уважения, но приходилось ли вам когда-нибудь спать в комнате со свежеокрашенными стенами? Запах был невыносимый, а ведь во многих гостиницах окна не открываются.

Я приходила вечером измученная с единственным желанием подышать свежим воздухом и лечь спать, а вместо этого на меня накатывалась такая мощная волна запаха краски, что она едва не сбивала меня с ног.

На заключительном этапе предвыборной кампании Картер усилил атаку и снова попытался представить Ронни поджигателем войны. Еще раньше, в сентябре, он заявил, что предстоящие выборы решат, «будет ли у нас мир или война». Это привело Ронни в бешенство. Но, когда кампания подходила к концу, он ответил на это заявление с присущим ему юмором. «Прошу прощения за опоздание,— обратился он к участникам митинга, куда прибыл после дебатов,— но я был очень занят: начинал войну».

Вечером накануне выборов мы легли спать — не в каком-нибудь пропахшем свежей краской отеле, а в собственной спальне в Пэсифик Пэлисейдз. Блаженство — истинное блаженство! Наутро мы отправились голосовать в тот самый избирательный участок, где голосовали последние двадцать пять лет. Какие-то женщины по пути дарили Ронни банки с его любимыми «джелли-бинз», и нас приветствовали толпы фотографов и репортеров. Выходя из участка, Ронни пошутил, сказав журналистам, что голосовал за меня.

«А ваша жена? — крикнул кто-то.— За кого голосовала она?»

«О,— ответил он,— Нэнси голосовала за одного бывшего актера».

Это сильное ощущение — увидеть имя своего мужа во главе списка кандидатов. Когда Ронни выбрали губернатором, у меня тоже было странноватое чувство, но когда его выбрали президентом — даже после всей той работы, которую мы проделали,— это показалось мне почти неправдоподобным.

Начиная с 1966 года, с первых выборов, на которых баллотировался Ронни, день окончательного голосования всегда представлялся мне самым длинным днем в году. Кажется, что он не кончится никогда, и ищешь способ убить время. Бóльшую часть того дня, измученные только что закончившейся кампанией, мы провели дома, занимаясь всякой ерундой, на которую в другие дни времени не находится. Как всегда, я приготовилась к тому, что предстоит долгая ночь в ожидании подсчета голосов. Часть того вечера мы собирались провести у друзей, следя по телевизору за сообщениями о предварительных результатах. В самом начале шестого я принимала ванну, а Ронни пошел в душ. Звук телевизора в спальне был включен на полную мощность, так что мы могли слышать новости и там. Вдруг я услышала, как Джон Ченселлор из Эн-би-си сказал, что Ронни одерживает решительную победу.

Я выскочила из ванны, обернулась полотенцем и стала колотить в дверь душевой. Ронни, тоже схватив полотенце, выбежал, и мы помчались к телевизору. Мы стояли перед экраном, мокрые, закутанные в полотенца, когда услышали, что Ронни только что избран президентом Соединенных Штатов Америки!

Потом зазвонил телефон. Это был президент Картер, он признал свое поражение и поздравил Ронни с победой.

Я была взволнована и ошеломлена. «Поздравляю, милый»,— сказала я, крепко обнимая сорокового Президента Соединенных Штатов.

Глава восьмая
В ВАШИНГТОН!

После выборов на меня обрушились заботы, связанные с переездом в Вашингтон. Расставаться с домом в Калифорнии оказалось труднее, чем я думала. Двадцать семь лет, в течение которых чего только не было, Пэсифик Пэлисейдз оставался нашим домом. Когда мы въехали в него, Ронни нарисовал на мокром еще цементе на полу патио напротив спальни маленькое сердечко с нашими инициалами внутри. Так оно там и застыло и было для меня символом всего хорошего, что мы здесь пережили. Хотя мы переезжали в Белый дом, я знала, что буду скучать по этому дому со всеми теми воспоминаниями, которые притаились в каждом его углу, и прекрасным видом, открывающимся из его окон. С террасы можно было увидеть Тихий океан, потом повернуться и увидеть город, повернуться еще раз — и увидеть горы.

Мы были здесь счастливы. Здесь выросли наши дети. И я всегда думала, что здесь мы с Ронни проживем до конца дней своих. А теперь все переменилось: мы уезжаем и уже никогда сюда не вернемся. Таковы требования безопасности. Мы с Ронни находимся теперь под охраной секретной службы и бу-

дем находиться, даже когда покинем Вашингтон. Когда президентский срок Ронни закончится, нам придется найти другой дом, отвечающий условиям безопасности и позволяющий обеспечить неприкосновенность частной жизни — нашей и наших соседей.

Переезд — дело чрезвычайно трудное вообще, а для меня особенно, потому что мне дорогá всякая мелочь и я никогда ничего не выбрасываю. Сразу после избрания Ронни я начала сортировать пожитки, пытаясь решить, что отправить на хранение, а что — пароходом в Вашингтон. Я понятия не имела, что представляют собой жилые помещения Белого дома, не знала даже, сколько комнат занимает семья президента и как они обставлены.

По традиции, первая леди, покидающая Белый дом, показывает своей преемнице ее новую резиденцию, и через несколько недель после выборов миссис Картер пригласила меня на чашечку кофе, что предполагало и осмотр дома.

Когда я приехала, она повела меня в Желтую овальную комнату на втором этаже жилой части дома и рассказала, как старалась пополнять коллекцию Белого дома интересными произведениями американской живописи. Однако в ее обращении со мной сквозила холодность. Я была разочарована, но могла ее понять. Потерпеть поражение на выборах достаточно неприятно вообще, а потерпеть такое сокрушительное поражение и вовсе ужасно. Жены побежденных кандидатов страшно переживают — гораздо больше, чем их мужья.

Наконец, миссис Картер повернулась ко мне и сказала: «Наверное, вы хотели бы здесь осмотреться».

Господи, конечно! Она повела меня в Западный холл. «С чего бы вы хотели начать?» — спросила она.

«Я знаю,— ответила я,— что здесь есть две смежные комнаты, которые служат либо отдельными спальнями, либо — если вы спите вместе — общей спальней и кабинетом. Мне хотелось бы посмотреть, как они выглядят».

С явным неудовольствием она сказала: «Сейчас там такой беспорядок. Мы, как вы знаете, складываем вещи. Я открою дверь кабинета, и вы загляните внутрь».

Конечно же, они действительно упаковывались, но у меня было ощущение, что миссис Картер просто не могла заставить себя повести меня в эти самые личные покои. Мы постояли в дверях, а потом она сказала: «Я должна позаботиться кое о чем. Остальное вам покажет мой секретарь». Таким образом, во время этого визита я, в сущности, так и не увидела комнат, которые должны были служить нам спальней и кабинетом.

Общее впечатление от первого визита было таково, что резиденция выглядит мрачно и неприветливо. Она не была местом, куда нам было бы приятно и не стыдно позвать гостей — как личных, так и государственных. Когда мой сын Рон приехал на инаугурацию, он сказал: «Мам, ну и вид у этого дома. Он похож на дешевые меблирашки».

Мне всегда хотелось, чтобы Белый дом стал великолепным, и я решила, что займусь этим, как только мы переедем.

Но почему-то поползли слухи — откуда они только берутся? — что я намерена обновить дом еще до церемонии вступления президента в должность и поэтому попросила Картеров выехать как можно раньше, чтобы поскорее начать. Я никогда не просила Картеров выехать; мне бы это и в голову не пришло. По другим слухам, я собиралась сломать стену в спальне Линкольна. Линкольна! Ни о чем подобном, естественно, я тоже не помышляла.

Утром 14 января, за шесть дней до инаугурации, мы с Ронни в последний раз вышли из своего дома в Пэсифик Пэлисейдз. Идя по дорожке, я думала о том, что никогда еще он не казался мне таким красивым. Пэтти приехала проводить нас, и мы крепко обнялись.

Вскоре мы были в аэропорту, и я впервые взглянула на Президентский самолет номер один — бело-голубой, сияющий, с надписью «Соединенные Штаты Америки» вдоль обоих бортов и президентской печатью с обеих сторон носового отсека. Один из пилотов приветствовал нас, а стюард показал самолет изнутри.

Во время перелета в Вашингтон Ронни просматривал документы, а я писала письма оставшимся дома друзьям на бланках с грифом «Президентский самолет номер один». Ну-ка, посмотрите на меня — я лечу на Президентском самолете номер один!

После приземления на военно-воздушной базе Эндрюс нас отвезли прямо в Блер-хаус, Пенсильвания авеню 1651, строго напротив Белого дома. Блер-хаус, который на самом деле состоит из четырех небольших домов, соединенных между собой, является официальной президентской резиденцией для глав иностранных государств, а вновь избранный президент обычно живет здесь ту неделю, что предшествует его официальному введению в должность.

На следующее утро представители охраны принесли нам пуленепробиваемые жилеты. Они были тяжелыми, похожими на теплые бушлаты, и нам предписывалось надевать их всегда, когда охрана сочтет это необходимым. Каким-то уголком сознания я понимала, что такая вещь может понадобиться, но предпочитала не думать об этом.

Пока Ронни встречался с разными людьми, я занялась подбором сотрудников. Домашнюю прислугу, нянь и садовников мне доводилось нанимать и прежде, но составлять целый штат служащих было чем-то совершенно необычным. Нужно было заполнить самые разные вакансии — пресс-секретаря, личного секретаря и многие другие.

Это дело было новым и оказалось трудным. Сотни людей претендовали на приблизительно двадцать мест, и я часами читала справки о них. Летиция Бэлдридж была в этой ситуации незаменима. Она служила у Жаклин Кеннеди начальником канцелярии и личным секретарем, а позднее ее услугами пользовались леди Берд Джонсон, Пэт Никсон и Розалин Картер. «Не сомневайтесь, вы поладите с главным администратором Белого дома,— сказала она мне.— Он ведает всем хозяйством. После мужа он будет самым нужным для вас человеком».

Я уже встречалась с Рексом Скаутином и знала, что Тиш совершенно права. Он действительно стал вторым самым важным мужчиной в моей жизни. Рекс был главным администратором с 1969 года. Несмотря на название должности, вызывающее ассоциацию с администратором кинотеатра, он отвечал в Белом доме практически за все: за бюджет, обслуживающий персонал, развлечения, состояние помещения и за многое другое. Он помогал мне в самых разных ситуациях и стал моим добрым другом.

Последние дни перед инаугурацией являли головокружительный калейдоскоп событий. Начали съезжаться родственники со всей страны. Мои родители прилетели из Феникса. Оба они не слишком хорошо себя чувствовали, и я опасалась, как бы путешествие не повредило им. Но они ни за что на свете не согласились бы упустить возможность присутствовать на церемонии. Мой брат Дик с женой Патрицией и детьми приехали из Филадельфии на машине. Рон и Дорайя, только что поженившиеся,— из Нью-Йорка на рейсовом автобусе.

Пэтти прибыла из Калифорнии и привезла прелестное вечернее платье из красного шифона для инаугурационного бала. Но я видела, что в Белом доме ей неуютно, и долго она у нас не пробыла. Это было предвестьем новых осложнений.

Морин прилетела из Калифорнии со своим женихом Деннисом, оттуда же прибыла остальная родня: Майкл с женой Коллин и маленьким сыном Кэмероном; брат Ронни Нейл с женой Бесс; Энни Оллмен, наша домоправительница, и множество наших друзей.

В День инаугурации я проснулась раньше обычного. Торжества начинались в половине десятого непродолжительной службой в епископальной церкви Сент-Джон, что недалеко от Блер-хауса, за углом. Сент-Джон, известная еще как президентская церковь,— небольшое, красивое строение; стоя в ней, я не могла не почувствовать в то утро близкое дыхание истории. Из церкви большинство наших отправились к Капитолию, чтобы занять места поближе. Мы же с Ронни вернулись в Блер-хаус дожидаться сенатора Марка Хатфилда, председателя Объединенной комиссии Конгресса по церемониям введения в должность, которому положено было сопровождать нас в Белый дом на традиционный кофе с покидающими должность президентом и первой леди.

В Белом доме мы проследовали прямо в Голубую комнату вместе с Картерами и Мондейлами. Президент Картер не спал всю ночь, пытаясь разрешить ситуацию с американскими заложниками в Иране,— это было заметно. Он выглядел бледным и измученным. Его нельзя было не пожалеть. Розалин чувствовала себя явно не в своей тарелке и казалась несчастной. Она поздоровалась, но больше мы почти не разговаривали.

По обычаю, уходящий и заступающий президенты вместе едут из Белого дома в Капитолий, так же как и их жены. Затем, после приведения к присяге

и торжественного парада, новый президент и первая леди возвращаются в Белый дом — теперь уже не как гости, а как хозяева.

И мы с Розалин отправились в Капитолий вместе, с нами был Джон Роудс, лидер меньшинства в палате представителей. Розалин все время смотрела в окно и не произнесла ни слова. Я не знала, что сказать, поэтому тоже молчала. К счастью, ехать было недалеко.

Поднявшись на ступеньки Капитолия, я оглянулась, чтобы убедиться, что мои родители и наши дети на месте. Все друзья тоже были там, и никто, кажется, особенно не замерз. Хоть небо затянули тучи, погода была теплой. Это был один из самых теплых инаугурационных дней в истории — пятьдесят шесть градусов [1].

Под звуки «Янки дудл» и «Боевого гимна Республики» в исполнении оркестра морской пехоты официальные гости стали подниматься по ступенькам, чтобы занять свои места. В ожидании выхода Ронни я пыталась сосредоточить взгляд на огромной толпе людей, а мысли — на величественном значении происходящего. Капитолий был украшен флагами и красно-белыми полотнищами и выглядел еще прекраснее, чем всегда.

Я была ужасно взволнована и горда, но все это казалось мне нереальным. Мой муж станет сейчас сороковым президентом Соединенных Штатов. Как сон: с вами происходит что-то важное, но вы по-настоящему не ощущаете, что это происходит на самом деле.

В одиннадцать тридцать девять под трубные звуки позывных «Ликуйте!» Ронни взошел на подиум. Джордж Буш произносил клятву первым. Затем наступила очередь Ронни. Я стояла рядом и держала семейную Библию Рейганов. Она принадлежала матери Ронни, и в ней были помечены даты дорогих ей рождений и печальных кончин. Книга была старая, потрепанная и связанная тесемочкой, но она очень подходила для этого случая.

За несколько минут до полудня Верховный судья Уоррен Бергер объявил присягу президента. В этот момент я подумала — Боже праведный, вот я стою здесь и делаю то же самое, что делали до меня другие женщины, сколько раз я видела это по телевизору и на фотографиях. И вот на их месте — я. Мы. И это происходит в действительности!

Потом вдруг все окончилось. Президент поцеловал меня, и раздался раскатистый залп двадцати одного орудия — то был салют в честь президента. Первым, кто пожал Ронни руку, был Джимми Картер, снова ставший частным лицом.

После инаугурационной речи Ронни оркестр исполнил «Привет вождю», и мы направились в здание Капитолия на торжественный ленч. Со всех сторон напирала огромная толпа желающих пожать руку новому президенту и поздравить его. К этому времени президент Картер уже был на пути к военно-воздушной базе Эндрюс, откуда он возвращался в Джорджию вместе с Уолтером Мондейлом.

Позднее я прочла, что, когда у них в машине зазвонил телефон и им сообщили, что заложники вылетели наконец из Тегерана, Картер и Мондейл посмотрели друг на друга и заплакали. У меня есть свои разногласия с четой Картеров, но, конечно же, надо признать их большие заслуги перед страной.

После ленча мы присутствовали на церемониальном параде, который проходит по Пенсильвания авеню от Капитолия до Белого дома. Парад был великолепен, но мысли мои витали где-то в другом месте. В тот вечер нам предстояло показаться на десяти разных торжественных балах, и я беспокоилась о том, где мои платье, туфли и сумочка. Утром мы оставили чемоданы в Блерхаусе, и меня заверили, что все будет доставлено в Белый дом во время ленча и парада. Но как человек, не знающий себе равных в умении тревожиться по любому поводу, я все время спрашивала себя, как это, скажите на милость, персонал Белого дома сумеет выселить одну и вселить другую семью всего за несколько часов так, чтобы при этом не пропало ничего важного? Естественно, я была уверена, что этим «важным» будет мое платье. Понимаю, это покажется глупым — в такой момент думать о платье,— но, полагаю, большинство женщин меня поймет.

Невозможно представить себе, что это значит — впервые войти в Белый дом после церемониального парада как домой, как новые президент и первая леди. Это очень обязывающий момент. Помню, я подумала — отныне, что бы ни случилось, мы принадлежим истории. Что бы мы ни сделали, об этом будут писать, судачить и помнить.

---

[1] По Фаренгейту. Это равно 13,3° по Цельсию. Церемония введения в должность нового президента США проводится 20 января.

Мы поднялись в жилые покои, и я увидела свое платье. А наша мебель из Калифорнии стояла уже в Западном холле — тут-то я почувствовала, что это чужое место действительно наш новый дом. Великолепный, знающий свое дело персонал Белого дома позаботился обо всем, и я до сих пор не понимаю, как им удалось сделать все так быстро.

Ближе к вечеру из Блер-хауса пришли родственники, чтобы выпить с нами бокал шампанского и сняться для семейной фотографии, прежде чем мы закружимся в вихре инаугурационных балов.

При словах «инаугурационный бал» большинство людей представляют себе огромный бальный зал с площадкой для танцев посредине и множество танцующих, веселящихся людей. Я, например, представляла себе это именно так. На самом же деле все выглядит совсем иначе: люди толпятся в тесноте, набитые в зал, как сельди в бочку. Танцевать негде, да вы и оркестра бы не услышали при царящем вокруг гвалте.

Когда в десяти местах вы должны принять сорок три тысячи гостей, без накладок не обходится. Некоторые из приглашенных так и не попали внутрь, а Нейл, брат Ронни, с женой пробились на один из балов лишь с колоссальным трудом: служба безопасности не хотела их пропускать. «Вам придется меня пропустить,— сказал он им,— я брат президента!»

«Ну, конечно, приятель! — ответил дежурный агент.— Вы уже четвертый, кто пытается проникнуть в зал под этим предлогом!»

Как бы то ни было, мы успели побывать на всех десяти балах за четыре часа. На последнем Ронни заявил: «Я хочу потанцевать со своей дамой». Зал был так переполнен, что танцевать пришлось на сцене, где сидел оркестр, исполнявший «Ты никогда не узнаешь».

В Белый дом мы вернулись в тот вечер очень поздно, счастливые и без сил. Это был неправдоподобно долгий и насыщенный день. Помню, что, засыпая, я подумала: «Бог ты мой! — вот мы спим в Белом доме. И рядом со мной спит Президент Соединенных Штатов».

Во время первого президентского срока Ронни я больше всего общалась с Майком Дивером. Из советников мужа за много лет Майк был мне ближе всех. Его должность официально называлась — заместитель управляющего аппаратом сотрудников Белого дома, и во время первого президентства Ронни вместе с Джимом Бейкером и Эдом Мисом он входил в так называемую «тройку» — состоявшую из трех человек команду старших советников президента.

Мы знали Майка давно: еще в Сакраменто он служил у Ронни заместителем начальника секретариата. С самого начала мы трое хорошо понимали друг друга. К тому времени, когда он был приглашен в Белый дом, Майк действительно прекрасно изучил Ронни, знал, когда и как к нему подойти. Я страшно горевала, когда в 1985 году он оставил службу в Белом доме и занялся частным предпринимательством. Но и после того мы частенько перезванивались. В начале 1986 года, спустя несколько месяцев после того как он ушел из Белого дома, Майк оказался в центре внимания как один из тех правительственных чиновников высшего ранга, которые превращают информацию, известную им в силу их служебного положения, в товар на продажу. Майк делал то, что до него делали сотни людей, но он делал это слишком поспешно и открыто. Позднее его обвинили в обмане Конгресса и Большого федерального суда на основе голословных заявлений, будто он нарушил правительственное постановление по вопросам этики, строго запрещающее лоббистскую деятельность бывшим высшим правительственным чиновникам.

По переезде в Вашингтон Майк Дивер не устоял против «потомакской лихорадки», причем в тяжелой форме. Он вдруг стал фигурой государственного масштаба, гением общественных связей, а когда это случается, бывает трудно сохранять трезвый взгляд на себя. Майк расстраивался и из-за сравнительно небольшого жалованья, которое он получал на государственной службе,— тем более в городе, где большинство людей, с которыми ему приходилось иметь дело, зарабатывали гораздо больше в частном секторе.

Однако, даже перестав работать в Белом доме, он оставался одним из самых близких моих друзей. Но неожиданно, в конце 1986 года, мне показалось, что он избегает меня. Я звонила ему каждый день, и Каролин, жена Майка, все время отвечала как-то уклончиво. Наконец, Майк позвонил сам и сказал: «Простите, вы не могли до меня дозвониться. Дело в том, что я алкоголик,

и вы первый человек, которому я в этом признаюсь. Я сейчас в наркологическом центре в Мэриленде».

«О, Майк, и это все? — воскликнула я.— Я боялась, что у вас нервный срыв! А от алкоголизма можно вылечиться. С этим вы справитесь!»

Должно быть, я сказала то, что нужно, так как позднее Майк признался: такая моя реакция его воодушевила. Он настолько хорошо скрывал свой недуг,— ни у кого в Белом доме даже подозрения не возникало, что Майк пьет. Ронни, Эд Мис и Джим Бейкер встречались с ним ежедневно и никогда не видели, чтобы он пил или вел себя как-то странно.

Эд Мис тоже работал с нами в Сакраменто. Но с ним мы близки не были. Он был самым идеологизированным членом тройки, эдаким энтузиастом-консерватором, всегда готовым прыгнуть с отвесной скалы с развернутым знаменем в руке. Есть люди, столь фанатичные в своих убеждениях, что предпочитают проиграть, чем одержать лишь частичную победу, и мне всегда казалось, что Мис — один из них.

Меня коробило еще и оттого, что у него не все было в порядке с финансами. Он допустил ряд ошибок, поставивших аппарат президента в трудное положение,— другие в подобных случаях подают в отставку. В конце концов он так и сделал, но тянул, по-моему, слишком долго и нанес урон и министерству юстиции, и аппарату президента.

Наверное, Эд обиделся, что в 1980 году его не сделали руководителем аппарата сотрудников Белого дома, но он не подходил для этой должности. Кроме всего прочего, он не был человеком собранным. Все хорошо знали его распухшие портфели; если вы хотели, чтобы документ потерялся, его было достаточно отдать Эду.

Но Эд обладал одним большим достоинством: он был беззаветно предан Ронни.

Из членов «тройки» Джима Бейкера я знала меньше всех. Он руководил избирательной кампанией Джорджа Буша в 1980 году, и когда Джордж стал вице-президентом, Бейкер пришел вместе с ним. По-моему, Джим Бейкер был отличным руководителем аппарата сотрудников. Он прекрасно разбирался в политике и, конечно же, очень умело проводил программы Ронни через Конгресс. Он также очень терпеливо работал с прессой, быть может, даже чересчур, потому что постоянно случались утечки информации.

Хотя Джим очень много помогал Ронни, меня не покидало ощущение, что главный его интерес — сам Джим Бейкер. Он чрезвычайно честолюбив и, когда спустя четыре года почувствовал, что должность начальника канцелярии президента для него — пройденный этап, дал понять, что хочет быть государственным секретарем. Ронни поставил на эту должность Джорджа Шульца, но, когда президентом стал Буш, Джим осуществил свое желание. Я не удивлюсь, если когда-нибудь он решит бороться и за еще более высокий пост.

Члены «тройки» работали хорошо, чего нельзя сказать об Эле Хейге, госсекретаре Ронни. Если хотите знать мое мнение, Хейг был самой большой ошибкой Ронни, допущенной во время первого президентского срока.

Он слишком жаждал власти и считал, что только он должен единолично принимать решения по всем вопросам международной политики. Когда Ронни ранили, Хейг напугал его советников и вообще многих в стране своим знаменитым заявлением: «Отныне я отвечаю здесь за все». Думаю, это высказывание говорит о многом.

Хейг был помешан на условностях, связанных с занимаемым им положением,— где стоять во время встречи высоких гостей или где сидеть в самолете. Если он считал, что ему отвели недостаточно почетное место, то давал это понять. Он был очень колючим, всегда чувствовал себя ущемленным и постоянно жаловался.

Меня не переставала поражать и его воинственность. Однажды он дал понять Типу О'Нилу, что хочет ввести войска в Никарагуа. Тип и многие другие в Вашингтоне считали, что Хейг говорит от имени Ронни. На самом же деле это Хейг провоцировал Ронни своей воинственной риторикой. В другой раз, касаясь кубинской проблемы в выступлении на заседании Совета Национальной Безопасности, он обернулся к Ронни и заявил: «Скажите лишь слово, и я превращу этот е...й остров в нашу автомобильную стоянку».

Если бы Ронни дал ему зеленую улицу, он забросал бы бомбами все и вся.

Хейг грозил отставкой бесчисленное количество раз, и в конце концов в июне 1982 года Ронни принял ее. В тот раз мне не пришлось ничего говорить мужу; Ронни и сам его не любил, и мы вздохнули с облегчением, когда Хейг наконец ушел.

Человеком, которого мы оба уважали и которым восхищались, был Джордж Шульц; он заменил Хейга в 1982 году и оставался госсекретарем на протяжении всех оставшихся лет президентства Ронни. Джордж напоминал плюшевого медвежонка, но под мягкой наружностью скрывался человек неуемной энергии, умеющий быть очень настойчивым в переговорах.

Я абсолютно доверяла Джорджу; если он говорил, что идет дождь, я не выглядывала в окошко, чтобы в этом убедиться. Уверена, и Эдуард Шеварднадзе, его советский коллега, доверял ему; одна из причин того, что Ронни и Горбачев смогли столь многого добиться,— в умении Шульца и Шеварднадзе находить общий язык.

Джордж обожал танцевать, поэтому когда Джинджер Роджерс была приглашена на официальный обед, я посадила их рядом. Вскоре это стало любимой шуткой. Каждый раз я сажала Джорджа рядом с какой-нибудь очаровательной девушкой, пока Оуби, жена Джорджа, в конце концов не подошла ко мне и не сказала: «Ну, Нэнси, а для м е н я у вас кого-нибудь не найдется?»

Глава девятая
КАК МЫ ЖИЛИ

Меня часто спрашивают, как живут в Белом доме, каков тамошний образ жизни. Обычно день начинался со звонка телефонистки Белого дома, которая говорила: «Доброе утро. Половина восьмого». Я иногда в этот момент еще спала, а Ронни, как правило, уже просыпался. Я нажимала кнопку рядом с кроватью — и в кухне на третьем этаже раздавался звонок, через минуту в комнату входил дворецкий Белого дома, который раздвигал шторы и приносил утренние газеты. Мы читали их в постели.

Ронни начинал с «Вашингтон пост», а потом принимался за «Нью-Йорк таймс». Что касается настойчивых слухов, будто перво-наперво он открывал страничку комиксов, так это правда: чтобы встречать день легкими впечатлениями. Потом, в кабинете, он просматривал «Уолл-стрит джорнэл».

Пока мы знакомились с газетами, телевизор был настроен на «Доброе утро, Америка», если передачу вел Рон. Все утренние новости записывались в Белом доме на пленку, и, если в них было что-то, что сотрудники считали необходимым довести до сведения Ронни, они позднее показывали ему эту запись в кабинете. То же и с прессой. И он, и я ежедневно получали пакет вырезок, чтобы мимо нас не прошло что-нибудь важное.

К тому времени, когда приносили газеты, Рекс, черно-белый спаниель, уже лежал у нас в постели. Ночью Рекс спал в корзинке в кухне по ту сторону холла, отделяющего ее от нашей спальни. Через несколько минут другой дворецкий приносил поднос с завтраком — всегда одним и тем же: апельсиновый или грейпфрутовый сок, кукурузные хлопья с холодным молоком, иногда нарезанные фрукты и кофе без кофеина. Ронни съедал еще тост из грубого хлеба с медом, и раз в неделю мы позволяли себе по яйцу.

Через месяц после переезда в Белый дом я, к своему удивлению, получила счет за питание. Нас никто не предупредил, что президент с женой сами платят за еду, равно как и за уборку, зубную пасту и прочие мелочи. Мы оплачивали и угощение для гостей, если это не были официальные гости. Боюсь, люди думают, что в Белом доме все предоставляется бесплатно. Вовсе нет!

Где-то без четверти девять Ронни склонялся над кроватью, целовал меня на прощанье и уходил в служебный кабинет. Днем я его почти не видела, он никогда не приходил на ленч. Иногда ел один в Овальном рабочем кабинете. Так он успевал больше сделать. Каждый вторник они встречались за ленчем с Джорджем Бушем.

После того как Ронни уходил, я вставала и шла в свою гардеробную, комнату позади спальни, окрашенную в мягкий, романтический персиковый цвет. Я обожала эту комнату и повесила в ней прелестный портрет женщины с собакой — девятнадцатого века, картина была такой умиротворяющей, что иногда мне начинало казаться, будто я родилась не в том столетии.

Под окном росла магнолия, посаженная Эндрю Джексоном. Из окна был виден розовый сад, и, если Ронни участвовал в какой-нибудь церемонии, происходившей на свежем воздухе, я часто устраивалась на батарее и наблюдала. Иногда он махал мне рукой, тогда фоторепортеры оборачивались и снимали меня тоже.

Первым пунктом моей дневной программы было посещение спортивного зала — прежде это была просто запасная спальня в другом конце холла, а теперь она служила мини-спортзалом. Если я никуда не шла на ленч, то обычно перекусывала одна в Западном холле. Или, при хорошей погоде, ела иногда на трумэновском балконе. В обоих случаях сидела у телефона, потому что когда в Вашингтоне было время ленча, можно было начинать звонить друзьям в Калифорнию.

Личные апартаменты находятся на третьем и четвертом этажах старого Белого дома, то есть той части здания, которая не включает Западное крыло, построенное в 1902 году, и Восточное, завершенное в 1942-м. Так же как Картеры и Форды, мы с Ронни спали в комнате, которую часто называют спальней первой леди, мне очень нравилась ее красивая планировка и то, что в ней был высокий потолок и много воздуха. Когда приезжала Морин, она обычно останавливалась в спальне Линкольна, в другом конце коридора, отчасти из-за своего мужа Денниса — он очень высокий, а кровать в комнате Линкольна — самая длинная во всем Белом доме. Сам Линкольн почти никогда в этой комнате не спал. Он проводил там заседания Кабинета, а спал там же, где и мы.

Но, несомненно, его присутствие ощущается. Ни Ронни, ни я не встречали легендарного призрака Линкольна, но Морин однажды ночью проснулась и увидела мужчину в чем-то красном. Сначала она подумала, что это Ронни в коротком банном халате, но когда пригляделась, поняла, что фигура прозрачна!

Слушая подобные истории, Ронни обычно вышучивал рассказчика. «Если ты его снова увидишь,— сказал он Морин,— пошли его ко мне. Мне бы надо задать ему несколько вопросов».

Большинство сотрудников верили в призрак Линкольна и рассказывали, что Эйзенхауэр и Черчилль оба якобы видели его. Кто знает? Но если это правда, мне бы тоже хотелось его повидать.

Напротив спальни Линкольна находится королевская спальня, названная так потому, что в ней останавливались пять разных королев. Бывало, здесь спал Уинстон Черчилль, когда во время второй мировой войны приезжал на встречи с президентом Рузвельтом. Королевская спальня отделана в бело-розовых тонах и обставлена старинной мебелью времен Гражданской войны. Но что производит на посетителей наибольшее впечатление, так это королевская ванная, где туалет замаскирован под изящный плетеный стульчик.

В обычные дни Ронни возвращался в жилые покои ближе к вечеру и сразу же шел в свой личный кабинет — комнату, которую часто называют спальней президента, еще с тех пор, когда у президента и первой леди были отдельные спальни. Кабинет Ронни — одна из моих любимых комнат, может быть, потому, что он покрашен в мой любимый цвет. Там были ярко-красные ковер, обои и шторы. Практически все свободные поверхности покрывали фотографии родных и друзей.

Около шести Ронни делал зарядку и принимал душ в президентской ванной, куда Линдон Джонсон провел телефон,— это было тщательно оборудованное, ярко освещенное помещение; электроэнергии, которая шла на него, хватило бы на небольшое государство.

Нам не часто приходилось бывать на четвертом этаже, который в основном состоит из пяти двухкомнатных гостевых апартаментов. Но мы с удовольствием украшали находящуюся там биллиардную семейными фотографиями и памятными вещицами — они были здесь как раз на месте. Если подняться по лесенке в конце коридора, попадешь в солярий. Очень уединенное место, недаром дети президентов всегда использовали его для свиданий. Это самый солнечный уголок в Белом доме, и здесь Ронни проводил большую часть времени, поправляясь после ранения.

Если у нас были гости или приезжала Морин, мы обедали в семейной столовой. Трудно поверить, но до Кеннеди на третьем этаже резиденции не было ни столовой, ни кухни. И поэтому Эйзенхауэры, к примеру, часто обедали за карточным столом в Западном зале, а еду им приносили из главной кухни в цокольном помещении.

Этажом ниже, в официальной части дома, есть семейная столовая, но здесь бывают посетители, дежурят охранники, так что не уединишься. Президент Гувер с женой каждый вечер ужинали здесь в парадных одеждах. Не могу представить себе ничего более ужасного, но то была другая эпоха.

Оставаясь вдвоем, мы обычно ели у Ронни в кабинете, на сервировочных столиках, наблюдая при этом вечерние новости. Мы смотрели одну за другой

видеозаписи всех трех каналов: сначала Эй-би-си, затем Эн-би-си и потом Си-би-эс — предпочитали почему-то именно такой порядок.

Некоторые думают, что президент и первая леди каждый вечер присутствуют на званых обедах и пьют вино. Только не мы. За восемь лет мы, конечно, побывали на тех обедах, где должен присутствовать президент. Но если выдавалась возможность выкроить домашний вечерок, мы ее никогда не упускали. Столько времени проводишь на виду у всех, что уединение и покой представляются вожделенной роскошью. Кроме того, мы просто любим оставаться вдвоем. Когда не было никаких мероприятий, мы могли поболтать, почитать, поделать что-нибудь после ужина — Ронни у себя в кабинете, я — в своей комнате. Мы редко включали телевизор вечерами, но по воскресеньям смотрели «60 минут», а после этого «Убийство, которое она описала».

Как правило, мы ложились около десяти. Если я дважды нажимала кнопку звонка, прислуга знала, что мы легли. Все входы, кроме аварийных, запирались. Мы оба любили почитать в постели. Ронни обычно засыпал около одиннадцати, а я читала еще с часок.

Нам с Ронни нравился Белый дом. Единственное, что в нем плохо,— негде погулять. Мы оба — любители прогулок и очень скоро почувствовали себя словно в клетке.

Слава Богу, был Кэмп-Дэвид! Никогда не думала, что мы будем проводить там практически все выходные, но это стало привычным и приятным ритуалом нашей жизни. Как знает большинство американцев, Кэмп-Дэвид — это загородная усадьба президентов в горах Катоктин, в семидесяти милях к северу от Белого дома. Франклин Рузвельт был первым президентом, который начал ездить туда, и называл он ее Шангри-ла[1]. Эйзенхауэр переименовал ее в Кэмп-Дэвид в честь своего внука.

У нас навсегда осталось впечатление, что Кэмп-Дэвид — самое уединенное убежище и что, раз побывав там, каждый президент будет ездить туда постоянно. Мы тоже ездили и очень дорожили уединенностью этого места. Даже ближайшие советники Ронни редко там бывали.

В Кэмп-Дэвиде я испытывала чувство огромного облегчения. Какое счастье: можно ходить в джинсах и знать, что никто не выскочит на тебя из-за куста, чтобы задать вопрос или сфотографировать.

Когда мы приезжали туда, обычно было уже поздно кататься верхом и Ронни всегда ждали переданные по телефону сообщения. У президента не бывает отпусков. Куда бы вы ни ехали, всегда нужно изучать сводки информации, читать бумаги, просматривать разведывательные данные. Вы можете уехать в горы, но вы и там остаетесь президентом.

Все здания в Кэмп-Дэвиде носят названия деревьев, и мы всегда жили в Осиновом домике, где есть гостиная-столовая, две спальни, комната для гостей, кабинет и кухня. Из окна гостиной открывается чудесный вид на долину. В самый первый свой приезд, глянув в окно, мы увидели восемь оленей, разглядывавших нас снаружи. «Посмотри-ка,— сказал Ронни,— комитет по встрече гостей».

Хотя в Белом доме есть кинозал, мы редко им пользовались. Но в Кэмп-Дэвиде смотрели кино каждую пятницу и субботу по вечерам. Ронни нравятся фильмы Джона Уэйна, а я обожаю Фреда Астера — мы пересмотрели почти все их картины. Мы даже вспомнили несколько собственных фильмов: «Королевская прогулка на лодке», «Бонзо пора спать», «Королева пастушек из Монтаны» и «Кнут Рокни, истинный американец» с Рональдом Рейганом в главных ролях, а также «С вечера до утра», где играла Нэнси Дейвис, и «Ведьмы в военно-морском флоте», в котором мы с Ронни снялись вместе в 1957 году.

Утром по субботам мы читали газеты, Ронни немного работал. Затем шли в Лавровый дом, главное здание, где Ронни выступал в еженедельной пятиминутной радиопередаче.

В хорошую погоду после ленча катались верхом. Когда мы с Ронни встретились, я понятия не имела о верховой езде, но вскоре поняла, что, если хочу выйти замуж за этого человека, придется сменить теннисную ракетку на седло наездницы. Я и теперь не самая горячая в мире поклонница этого искусства. Мне не нравится быстрая езда, и Рон до сих пор подтрунивает надо мной, вспоминая, как однажды, когда он и Дорайя участвовали вместе с нами в прогулке на лошадях, я окликнула ехавшего впереди Ронни: «Дорогой, Дорайя считает, что мы едем слишком быстро». Я цепляюсь за любой предлог, чтобы сбавить скорость.

---

[1] Буддийское понятие «тихой обители».

В воскресенье по утрам мы смотрели по телевизору новости и интервью, особенно в передаче «Неделя с Дэвидом Бринкли» — это одна из моих любимых передач. Мне всегда хотелось, чтобы в Кэмп-Дэвиде была часовня, потому что после покушения каждый наш выход в церковь сопровождался огромными осложнениями. Например, если было заранее известно, что мы придем, все посетители должны были проходить через детектор металла, а в этом есть какая-то неловкость.

Мы с Ронни соблюдали обычаи, но меня беспокоило, что люди обвиняют Ронни в лицемерии: мол, несмотря на красивые слова, которые он говорит, мы никогда не ходим в церковь. До переезда в Вашингтон мы всегда ходили в церковь, и сейчас снова ходим.

В Кэмп-Дэвиде чувствуешь себя в безопасности, вдали от посторонних глаз, природа внушает благоговение, и, до того как вернуться в Калифорнию, мы начали сбор средств на строительство маленькой деревянной часовни. Мы уехали прежде, чем строительство было завершено, но приятно сознавать, что в Кэмп-Дэвиде будет теперь то едва ли не единственное, чего ему недоставало.

Мы уезжали в воскресенье после ленча, и это всегда был грустный момент. Даже теперь, когда Ронни смотрит на фотографии, сделанные в Кэмп-Дэвиде, у него щемит сердце.

Если бы Белый дом находился в Лос-Анджелесе, мы бы проводили большинство выходных на своем ранчо в Санта-Барбаре. А так бывали там лишь три-четыре раза в году. Мы купили это ранчо, которое назвали «Ранчо дель сьело»[1], незадолго до отъезда из Сакраменто. Оно находится высоко в горах, и, когда вы туда попадаете, весь остальной мир исчезает.

Хотя ранчо довольно большое — шестьсот восемьдесят восемь акров,— посетители, добирающиеся туда, бывают удивлены малыми размерами нашего домика, который был построен из самана больше ста лет назад. Много написано по поводу моей пресловутой любви к большим домам, но те, кто приезжают на ранчо, видят лишь крохотный, в две спаленки, домик с мексиканскими половиками, плетеной мебелью и стопкой газет на столике-тележке. На входной двери надпись:

НА ЭТОМ МЕСТЕ
В 1897 ГОДУ
НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Мало что доставляет Ронни такое удовольствие и вызывает такую гордость, как работа на ранчо. И там всегда есть что делать. Он любит быть на воздухе: строить заборы, рубить деревья и кусты, колоть дрова для двух каминов — единственных источников тепла в доме. Пока Ронни работает во дворе, я занимаюсь корреспонденцией, читаю, говорю по телефону или просто слоняюсь.

Здесь на ранчо можно на несколько часов забыть обо всем на свете, но каждый день правительственная машина поднимается по горной дороге и привозит большой пакет с почтой, документы службы безопасности и газеты. Если Ронни идет в лес, его должен сопровождать сотрудник службы безопасности, врач и адъютант с портативным телефоном — на всякий случай.

Как и в Кэмп-Дэвиде, доступ прессе на ранчо запрещен. Но всегда, когда мы туда едем, в отеле «Билтмор» в Санта-Барбаре обосновывается отряд репортеров. И хоть сообщать им обычно бывает нечего, репортеры редко жалеют, что приехали в Санта-Барбару, особенно те, кто помнят Плейнс в Джорджии. Как писал Джерри О'Лири из «Вашингтон таймс»: «С президентом Картером в Плейнсе останавливаться нельзя, ибо просто негде. Поэтому мы все останавливались в Американусе, где самым большим развлечением было наблюдать, как местные жители опрыскивают свои огороды».

В марте 1983 года мы пригласили к себе на ранчо королеву Елизавету и принца Филипа. И хоть в день визита шел страшный ливень, королева отказалась переменить свои планы. Дорога была настолько грязной, что им с Филипом пришлось в «ленд-ровере» взбираться на гору. В таком густом тумане ничего не было видно. Но, несмотря на погоду, у королевы было чудесное настроение. «Не говорите глупостей,— сказала она, когда я начала извиняться.— Это же п р и к л ю ч е н и е».

Она была великолепна и просто покорила меня тем, как держалась в такой ситуации.

---

[1] «Ранчо в поднебесье» *(исп.)*.

На той же неделе королева и принц Филип дали торжественный обед на борту своей яхты «Британия» в честь годовщины нашей свадьбы. О чем еще могла мечтать бедная девочка? Ронни встал и сказал: «Я много чего наобещал Нэнси тридцать один год назад, но этого я ей никогда не обещал».

Это был незабываемый вечер — празднование годовщины свадьбы на личной яхте королевы! С нами было лишь несколько наших друзей, в том числе Майк и Каролин Диверы. После обеда Майк сыграл на пианино, а я спела «Наша любовь пребудет навсегда».

Однако есть и не слишком приятные воспоминания, связанные с Белым домом. Во-первых, наши налоговые декларации каждый год, в апреле, публиковались в газетах. Я это ненавидела. И все же все восемь лет, проведенные в Вашингтоне, я почти никогда не носила с собой денег — разве что если шла делать маникюр. За все это время нога моя не ступала ни в супермаркет, ни в какой-нибудь другой магазин, за исключением магазина открыток на углу Семнадцатой и Кей-стрит, где я обычно покупала поздравительные открытки по случаю дней рождения.

Живя в Белом доме, трудно делать что бы то ни было за его пределами. В середине второго президентского срока Ронни я стала присматривать жилище, в котором мы могли бы поселиться, когда придет пора уезжать из Вашингтона. Нашла прелестный дом с тремя спальнями в Лос-Анджелесе, в районе Бель-Эр, но не могла принять столь ответственное решение, не показав дом Ронни.

С другой стороны, я не хотела приезжать туда в обычном сопровождении более чем дюжины машин. Однажды, когда мы гостили в Лос-Анджелесе, я уговорила Ронни лечь на пол автомобиля, чтобы выехать из отеля и посмотреть дом, не будучи замеченными прессой и не причиняя беспокойства соседям. И несмотря на все неудобства, ему идея понравилась!

Мы хранили это в тайне около двух лет — а по вашингтонским меркам это почти что вечность.

Глава десятая
ОБВАЛ

Если бы это зависело от меня, Рональд Рейган был бы президентом лишь один срок.

В 1983 году я попыталась уговорить его не ввязываться в новые выборы. Мы уже прошли через восемь лет губернаторства в Сакраменто и еще четыре президентских года в Вашингтоне, не говоря уже о долгих месяцах избирательных кампаний. Я скучала по друзьям и родным, я скучала по Калифорнии. Ронни сделал так много, что, пожалуй, можно было и опустить занавес.

Ронни, однако, был настроен баллотироваться снова. Он хотел еще кое-что сделать. Но меня ему пришлось уговаривать. В течение какого-то времени мы обсуждали это каждый вечер, пока мне не стало ясно, что иначе он просто не может. И в конце концов я сказала: «Ладно, если это для тебя так важно, действуй. Я не в восторге, но что поделаешь!»

Думая о прошлом, радуюсь своей тогдашней капитуляции, особенно имея в виду то, чего удалось достичь Ронни в области отношений с Советским Союзом. Но следует признать, что во время второго срока он проводил гораздо более жесткую политику, чем во время первого.

О своем решении Ронни объявил 29 января 1984 года по радио из Овального кабинета. Кроме детей и меня, он никому не открывал своих планов, и до последнего момента не исключалась возможность, что он уйдет. В тот вечер я записала в дневнике: «Думаю, кампания будет жесткой, в ней будет много личного, и борьба будет нелегкой. Вздохну с облегчением лишь через девять месяцев».

В общем, так оно и было. Кампания действительно оказалась жесткой, в ней действительно было много личного, и я действительно почувствовала облегчение, только когда она закончилась. Лишь насчет борьбы я ошиблась.

Самым большим испытанием для моих нервов обернулись дебаты между Ронни и Уолтером Мондейлом, официальным кандидатом Демократической партии.

Я против дебатов. Они долгие, утомительные и выставляют того, кто в настоящее время занимает пост, в невыгодном свете. Кандидат, который еще не был в должности, может нападать, ему ведь не надо защищать уже принятые решения. А когда речь заходит о международной политике, действующий

президент по соображениям государственной безопасности не имеет права оперировать информацией, которой располагает.

Первые дебаты состоялись в Луисвилле, штат Кентукки, 7 октября. По-моему, это был самый черный вечер в политической карьере Ронни.

С самого начала он был напряжен, сбивался и нервничал. Ему не хватало основательности. Он мямлил. Такого Рональда Рейгана я никогда не видела. И он никак не мог из этого положения выйти, дебаты обернулись каким-то кошмаром.

Когда они закончились, я, как и Джоан Мондейл, выскочила на сцену. Мы все обменялись рукопожатиями, но перед отъездом Ронни сказал мне: «Я был ужасен». Я что-то пробормотала, чтобы его успокоить, но мы оба знали, что это правда. Даже на Ронни, этого вечного оптимиста, напала тоска.

Позднее он объяснил, что озверел от репетиций и голова его была так забита цифрами и фактами, что он не мог сосредоточиться на том, что говорил Мондейл. Ронни прекрасно владеет аудиторией и умеет отлично говорить на самые разные темы, у него широкий кругозор, но помощники несколько недель пичкали его статистическими данными и деталями. Вместо того чтобы дать ему волю в том, в чем он силен, они попытались превратить его в кого-то, совсем на него не похожего.

В отеле я сердито сказала Майку Диверу: «Что вы сделали с моим мужем? Никогда больше этого не делайте!»

Пресса открыла все критические шлюзы. В первый и единственный раз за всю ту кампанию поражение Ронни казалось вполне реальным.

После подобного шока следующие дебаты, назначенные на 21 октября в Канзас-Сити, приобретали особую важность. Меня уверяли кругом, что на этот раз будет по-другому и что Ронни предстанет в своей обычной форме, но я все же очень беспокоилась.

Через несколько минут после начала дебатов Ронни задали вопрос о так называемом возрастном факторе. «Я бы не хотел, чтобы вопрос о возрасте стал предметом обсуждения в ходе этой кампании,— ответил Ронни. И после паузы добавил: — Я не собираюсь использовать в своих интересах или в политических целях молодость и неопытность моего оппонента».

В зале рассмеялись, и я медленно начала разжимать один кулак. Я не осознала этого в тот момент, но судьба выборов была решена. Одной этой остро́той Ронни устранил единственный момент, который мог бы привести к его поражению в ноябре 1984-го. Большинство избирателей были готовы простить ему неудачное выступление во время первых дебатов, если он снова завоюет их симпатии, доказав, что тогда был просто не в форме,— в сущности, ведь так оно и было!

В последний день нашей последней избирательной кампании мы полетели на митинг в Сан-Диего. Затем собирались проследовать в Лос-Анджелес — и все, конец каким бы то ни было кампаниям в нашей жизни. В день выборов мы отправились к друзьям — ждать результатов. Мы были готовы к победе, но такой сокрушительной не ожидали. Ронни победил во всех штатах, кроме Миннесоты и округа Колумбия.

Второе президентство Ронни началось с неприятностей. В течение нескольких недель той весны едва ли не единственной темой разговоров в Вашингтоне было его намерение посетить военное кладбище в Битбурге во время предстоящего визита в Германию. Казалось, что администрация бездействует, и, как я теперь понимаю, это было в значительной мере связано с кадровыми перемещениями в Западном крыле, о которых я еще скажу.

Наступил июль.

Ожидалась несложная медицинская процедура. На 12 июля 1985 года, пятницу, Ронни назначили пустяковую операцию по удалению полипа в кишечнике. Решили, что он проведет одну ночь в военно-морском госпитале Бетесды, и прямо оттуда мы отправимся на субботу в Кэмп-Дэвид. К концу недели он начал принимать специальное лекарство для очистки кишечника, чего страшно не любит.

Удаление полипа — относительно легкая процедура, ему и прежде ее делали. Пока шла операция, мы с Ларри Спиксом сидели в предоперационной. Ронни был бодр и прекрасно себя чувствовал, по обыкновению шутил.

Но я заметила, что врачам не до смеха. Они старались не смотреть мне в глаза. Потом позвали в соседнюю комнату. Один из них предложил мне сесть и сказал: «Плохие новости».

Ощущение было такое, словно меня сбил десятитонный грузовик.

«Говорите правду»,— потребовала я. И они сказали.

Врачи обнаружили подозрительную опухоль величиной с мячик для гольфа в нижней правой части толстого кишечника. Хотя они не могли сказать наверняка, но подозревали, что она злокачественная. В любом случае необходимо было оперировать. Вызывало беспокойство и состояние прилегающих органов, особенно печени.

Все это было так неожиданно, что я никак не могла поверить.

Джон Хаттон, врач Белого дома, объяснил, что мы должны решить: ехать ли в Кэмп-Дэвид, с тем чтобы вернуться в Бетесду в воскресенье и оперироваться в понедельник, или остаться и провести операцию на следующее же утро.

Мы с Джоном оба считали, что это нужно сделать немедленно. Теперь, зная об опухоли, я не могла допустить, чтобы она оставалась в теле Ронни хоть одну лишнюю минуту. Но я не представляла, как он сам прореагирует на необходимость подвергнуться серьезной операции на следующее же утро.

«Я хочу сама сказать ему обо всем»,— заявила я врачам.

Когда мы вошли в палату Ронни, я села на край кровати и обняла его. «Дорогой,— сказала я,— доктора обнаружили, что этот полип слишком велик, его нельзя удалить тем способом, каким это делалось раньше. Необходима операция. Раз уж мы здесь, почему бы не сделать ее завтра же и не покончить с этим? Тем более что, если откладывать до будущей недели, тебе снова придется глотать это злосчастное лекарство».

После того как доктора рассказали подробно, как будет проходить операция, Ронни согласился: «Ну, ладно, давайте». Если бы он что-то заподозрил, он бы так не сказал.

Потом он всегда досадовал, когда говорили, что у него был рак. «Да нет же,— возражал он.— Это не рак. У меня внутри нашли какое-то образование, внутри которого был рак, и его удалили». В этом весь Ронни, мой милый оптимист.

Выйдя от Ронни, я прислонилась к стене и заплакала. И никак не могла унять слез. Мне бы хотелось остаться на ночь в госпитале, но так же, как четыре года назад, после ранения, я боялась, что это насторожит людей. Пробыв там до шести, я вернулась в Белый дом и начала обзванивать родных. Всем сказала, что приезжать в Вашингтон незачем.

В тот вечер врачи провели обширное гистологическое исследование. Когда наконец я дождалась их звонка, новости оказались обнадеживающими. В печени и легких ничего подозрительного не обнаружилось.

«Боже, будь милостив,— молила я,— сделай так, чтобы все уладилось». Тогдашняя запись в дневнике перекликается с записью, сделанной в марте 1981-го: «Что же я буду без него делать?»

В ту ночь, опять же как в марте 1981-го, я спала на его половине кровати.

На следующее утро врачи снова объяснили нам, в чем будет состоять операция. Они предполагали, что она продлится часа три. Когда Ронни везли в операционную, я шла рядом и держала его за руку. Конечно же, я нервничала больше, чем он. А он сказал: «После того что они делали со мной вчера, это будет как прикосновение ветерка».

За день до того Ронни удалили маленький полип без анестезии — по его собственной просьбе. У него очень высокий болевой порог.

Операция проходила успешно, более гладко, чем предполагалось. Был удален большой полип, который достигал пяти сантиметров в диаметре, и два поменьше. Пришлось ампутировать также около двух футов толстого кишечника. Этого я не ожидала.

«Можно почти точно сказать, что это рак,— сообщили мне.— Но окончательно мы будем уверены лишь после того, как получим результаты биопсии».

Несколько слов о выборе времени операции. В пятницу днем, сразу же после того как Ронни согласился на операцию, я позвонила в Белый дом Дону Ригану, чтобы сообщить, что́ мы решили, как он и просил. Я говорила осторожно.

«Там что-то есть?» — спросил он.

«Возможно»,— ответила я.

Я, конечно же, имела в виду, что состояние Ронни на самом деле серьезней, чем предполагалось, но мне не хотелось говорить об этом по телефону. А Дон, очевидно, истолковал мои слова так, словно то, что операция была

назначена на следующее утро — или, как он потом написал в своей книге, «отложена на полтора дня»,— связано с астрологией.

Неправда. Операция не откладывалась. Ронни поступил в госпиталь в пятницу и был прооперирован на следующее утро. К астрологии это не имеет никакого отношения.

Это был для меня очень тяжелый период. Вот несколько записей из моего дневника.

13 июля: Дик приехал из Филадельфии, чтобы побыть со мной. (Мой брат, нейрохирург.) Вечером, в самом начале восьмого, я вошла в послеоперационную палату. Ронни чувствовал себя прекрасно, хотя еще не совсем отошел от наркоза и был в полузабытьи.

Потом мы с Диком вернулись в Белый дом, где можно было спокойно поговорить. Морин позвонила из Найроби, где была глубокая ночь, и я ей все рассказала. Ронни позвонил около девяти и сказал, что ему дали снотворное. Голос вялый. Надеюсь, сейчас он спит.

14 июля: Снова в госпиталь. Ронни выглядит прекрасно, но ощущает боли. Телефон звонит не умолкая, но я не могу говорить со всеми.

15 июля: Ночь все еще не была для Ронни спокойной, но врачи говорят, что он удивительно быстро поправляется. Дай-то Бог!

После ленча пришли два доктора, чтобы сообщить мне диагноз. Опухоль оказалась злокачественной. Проклятье! Но они клянутся, что удалили все.

Вместе с докторами и Ларри Спиксом мы отправились к Ронни, чтобы все ему рассказать. «Хорошо, что это уже позади»,— сказал он. Похоже, так оно и было. Во всяком случае, что касается Ронни, он чувствовал себя теперь спокойно.

16 июля: У Ронни хороший день. Вчера вечером он долго не спал: смотрел по телевизору фильм с Богартом и Баколлом. Он даже пару раз прошелся по комнате. Читает биографию Калвина Кулиджа [1]. Ронни всегда считал, что Кулиджа недооценивают.

Отнесла ему смешную куклу в платье медсестры. Куклу зовут Нэнси. Она сидит у его постели и просит не волноваться.

18 июля: Приехала в госпиталь чуть позже обычного, потому что, кроме всего прочего, шофер заблудился. Ронни уже встал. Он принял душ и вымыл голову. От всего этого он устал, но постепенно возвращается к привычному режиму дня.

Я безумно сердита на врачей, которые не имели никакого отношения к операции, но бросились выступать по телевидению со своими прогнозами! Мы с Ронни смотрели вечером теленовости, как вдруг один из них появился на экране и заявил: «Вероятно, ему осталось жить года четыре». Я рассвирепела, а Ронни сказал: «Ну, что ты скажешь! Смех да и только!»

19 июля: Сегодня официально объявили, что завтра его отпустят домой. Ура-а-а! Он проведет свое традиционное (субботнее) выступление по радио из госпиталя — и мы поедем домой. Не дождусь!

20 июля: Приехала к началу радиопередачи и пошла с ним. Поблагодарив врачей и остальной персонал, он решил на своем собственном опыте предостеречь людей.

Затем стал благодарить меня за все, что я сделала, и говорить, что́ я для него значу. Он сказал: «Я хотел бы на минуту обо всем забыть, и чтобы Нэнси была рядом, как сейчас, как всегда. Первых леди не выбирают и не платят им жалованья. По большей части это частные лица, вынужденные жить общественной жизнью. Абигайль Адамс помогала создавать Америку. Долли Медисон помогала ее защищать. Элеонора Рузвельт была глазами и ушами ФДР. Нэнси Рейган — мое все.

Оглядываясь назад, Нэнси, я вспоминаю твою энергию и силу, твою поддержку и то, как ты участвовала в делах страны. Говорю от своего имени, но также и от имени народа — спасибо тебе, товарищ мой, спасибо за все.

Кстати, ты не занята сегодня вечером?»

Хорошо, что это было радио, а не телевидение, потому что у меня по щекам — конечно же — градом катились слезы.

---

[1] Калвин Кулидж — 30-й президент США (1923—1929), от Республиканской партии.

«Ну, теперь мой черед». Это первое, что пришло в голову, когда в октябре 1987 года мне сообщили, что у меня, вероятно, рак. А потом, спустя несколько дней после операции, я получила другой удар, от которого все еще не могу оправиться.

И снова мой дневник лучше, чем я, расскажет, как это было. То, что вы прочтете ниже, действительно написано тогда — с очень небольшими пояснениями и дополнениями.

5 октября: Сегодня я с Джоном Хаттоном поехала в Бетесду на ежегодную маммографию. Прежде Джон никогда со мной не ездил. Быть может, он что-то почуял.

Процедуру проводила прелестная сестричка. Закончив, она сказала: «Подождите, мы бы хотели сделать пару рентгеновских снимков еще раз». Я почувствовала, что у меня начинает сводить мышцы живота.

Когда она сделала дополнительные снимки, появился Джон и попросил ее выйти. Я поняла: что-то случилось.

«На снимке видно какое-то затемнение,— сказал он.— Мы думаем, что это опухоль в левой груди. Нужно сделать биопсию. Есть, конечно, шанс, что она доброкачественная, но, может быть, и нет».

У меня рак.

Рак. Есть в звучании этого слова что-то, что заставляет сердце замирать.

Не может быть. Я ведь прекрасно себя чувствую. Здесь, должно быть, ошибка! Я никак этого не ожидала.

По пути назад мы с Джоном почти не разговаривали. В машине была тишина. Он ехал со мной в лифте, а когда мы вошли в Западный холл, сказал: «Вы замечательно держитесь».

«Нет,— ответила я,— у меня такое ощущение, будто меня ударили ногой в живот». Я повернулась и пошла в спальню, чтобы лечь.

Чуть позже пришел Ронни. Джон зашел к нему в Овальный кабинет и сообщил новость. Потом Джон рассказывал мне: выражение лица у Ронни стало после этого сообщения таким, что он его никогда не забудет. «Думаю, президент всегда был уверен, что с вами ничего не может случиться»,— сказал Джон.

6 октября: Была у доктора Олли Бирза (специалист по онкологии молочных желез). Какое счастье, что он здесь. Он был с нами во время операции Ронни, и я знала, что он не солжет.

Олли изучил снимки и осмотрел меня. Решено, что я лягу в госпиталь 16-го и меня прооперируют на следующее утро. У меня назначено много дел на ближайшее время, и, если ничего не произойдет, я бы не хотела ничего менять.

Олли объяснил, что существуют два способа избавиться от опухоли. Можно сделать секторальную операцию — иссечение опухоли и небольшого количества прилегающей ткани. Но такая операция не дает полной уверенности в том, что удалены все злокачественные клетки до последней. А можно сделать радикальную мастэктомию — то есть удалить всю грудь.

Я выбираю мастэктомию. Секторальная представляется мне слишком ненадежной, при моем характере я буду волноваться до самой смерти.

(Кое-кто, включая и врачей, считал, что я поступила слишком уж решительно, выбрав мастэктомию. Но это сугубо личное решение, каждая женщина принимает его сама. Таков был мой выбор, и не думаю, что меня следует критиковать за него. Быть может, если бы мне было двадцать лет и я была не замужем, я решила бы иначе. Но у меня уже были дети и чудесный, все понимающий муж. По мне, мастэктомия была наилучшим способом покончить с болезнью раз и навсегда.)

Почти нет сомнений, что это рак, но точно это станет известно только после операции. А до тех пор я не хочу, чтобы кто бы то ни было что-нибудь знал — даже мои дети. Зачем заставлять еще кого-то испытывать в течение десяти дней страх ожидания?

Исключение я сделала лишь для Дорайи (жены Рона), отчасти потому, что она позвонила и сказала, что у ее матери рак. Роковое совпадение. А Рон — в России, снимает там фильм для Эй-би-си.

7 октября: Почти не спала. Полетела в Чикаго получать премию Детского благотворительного фонда Рональда Макдональда. Мы ре-

шили сообщить обо всем 15 октября, накануне того дня, когда я должна лечь в госпиталь.

Живу на берегу озера. Его вид вызывает множество воспоминаний. Закрою глаза — и вижу девочку по имени Нэнси Дэйвис, которая идет в школу вдоль берега или мчится на роликах по Мичиган авеню.

А теперь вот я снова здесь, и у меня рак, и никто об этом не знает. Я жажду родительского совета и утешения. Я страшно скучаю по родителям. (Мой отец умер в 1982 году. Мама была жива, но она меня уже не узнавала.)

8 октября: (Роберт) Борк придет сегодня к Ронни насчет своего назначения в Верховный суд.

Я вернулась в Белый дом около двух. Борк решил прийти завтра.

Мой брат Дик позвонил после обеда и сказал, что хочет приехать и побыть со мной, я очень ценю его заботу. Он приедет из Филадельфии в пятницу вечером, к обеду. Они с Ронни отвезут меня в госпиталь.

Ожидание убивает меня.

9 октября: Днем принимала в Красной комнате японца, который пожертвовал крупную сумму в Фонд борьбы с наркоманией.

Когда мы выходили из дома, чтобы ехать в Кэмп-Дэвид, снаружи ждала большая толпа людей, некоторые держали лозунги, касающиеся Борка, кричали, было много шума.

10 октября: (Кэмп-Дэвид) Проснувшись, увидела серое небо, которое расчистилось лишь в середине дня. После ленча совершили прогулку верхом.

Позвонила Дорайя, мы очень хорошо поговорили. Она просила меня переменить решение и рассказать обо всем детям. Она сказала, что из-за болезни матери ее отношения с родственниками, и особенно с самой матерью, стали гораздо более близкими — и она испытывала чувство благодарности; что всегда кажется, будто с твоими родителями ничего не может произойти; что они кажутся вечными.

Она сказала: «Я уверена, Рон предпочел бы все узнать от вас. Было бы ужасно, если бы он услышал об этом от кого-нибудь другого. Вы должны помнить, что он любит вас и вы слишком много для него значите».

Я поняла, что она права. Подумала, как бы сообщить ему так, чтобы на следующий же день информация не появилась в «Правде». Можно назвать меня моим настоящим девичьим именем, сказать: «Ты помнишь Энн Фрэнсис Роббинс?»

Дорайе идея понравилась. Она очень заботлива и внимательна ко мне, а это так много значит.

(Когда Дорайя говорила с Роном, она спросила, помнит ли он Энн Роббинс. Он сразу все понял и ответил: «Конечно, я знаю, о ком ты говоришь». И она сообщила ему новость.)

14 октября: Последние приготовления к официальному обеду в честь Дуарте. (Президент Сальвадора Хосе Наполеон Дуарте. У меня есть фотография, сделанная во время того обеда, на которой ясно видно, что мысли мои витают где-то далеко.)

15 октября: Встречалась с Марлином (Фицуотер, фактический пресс-секретарь Ронни) в Западном зале, сообщила ему новость, и мы решили, как он преподнесет ее завтра. Марлин потрясен. Нам действительно удалось хранить это в секрете десять дней. Удивительно! Меня держали подальше от Западного крыла, потому что «*все* просачивается». Утверждали, что женщины слишком много болтают, а на самом деле именно женщина сохранила секрет.

16 октября: Поехали в госпиталь в 6 ч. 45 мин. Меня положили в президентскую палату. Дали снотворное, иначе бы я не уснула.

17 октября: Разбудили в 6 ч. 30 мин. Предполагалось, что Ронни и Дик прилетят на вертолете, но в Вашингтоне густой туман. Ронни был расстроен и нервничал. Наконец сказал: «Посадите меня просто в машину и поедем в конце концов. Я хочу увидеть ее до того, как ее возьмут в операционную».

А я тем временем говорила: «Ну, начинайте же. Давайте поскорее покончим с этим».

Операция назначена на 7 ч. 30 минут. Доктор Хаттон пришел и сказал, что Ронни и Дик уже в пути. Когда они приехали, мы с Ронни успели только поцеловаться и попрощаться.

Сначала меня отвезли в комнату, где ввели в больную грудь зонд, чтобы точно знать границы пораженной ткани. Выглядело это страшнее, чем было на самом деле, но и приятной процедуру не назовешь. Я знала, как это происходит, потому что видела накануне в теленовостях. Я сказала Ронни, что теперь мы сможем на Рождество обмениваться вставленными в рамки схемами иссечения наших опухолей.

Пока ожидали конца операции, Ронни и Дик позавтракали. Когда сделали анализ и он показал, что опухоль злокачественная, как и предполагали, Ронни — это я потом узнала — заплакал.

Я этого не помню, но мне рассказывали позднее, что в операционной я по меньшей мере четыре раза спрашивала, удалили ли мне уже грудь, и проваливалась в сон, прежде чем мне успевали ответить, но наконец услышала: «Да, удалили».

Совсем не помню, как лежала в послеоперационной палате. Очевидно, первое, что я сказала Ронни, когда смогла говорить, было: «Мне отняли грудь,— и добавила: — Мне тебя жаль». А он ответил, что это не имеет значения.

Он сказал: «Дорогая, я понимаю, что тебе сейчас не до веселья, поэтому давай просто подержимся за руки».

18 октября: Спала до 8 ч. 30 мин. Действие наркоза прошло, и я почувствовала себя достаточно хорошо: даже съела весь завтрак. Ронни приехал около десяти. Покидая Белый дом, он сказал журналистам: «У меня свидание с девушкой в Бетесде».

Дренажные трубки все еще не удалили, но я прогуливалась с Ронни по коридору. Все были изумлены тем, что я хожу спустя двадцать четыре часа после операции. Помню, отец говорил мне, сколь важно встать после операции как можно раньше, чтобы не быть прикованным к постели и не слишком расслабляться.

Столько звонков: Бетти Форд, Хэппи Рокфеллер, Маргарет Тэтчер, Никсоны и многие другие.

Добрые вести! Джон Хаттон обнародовал сообщение, гласящее: «Окончательный лабораторный анализ тканей и лимфатических узлов, удаленных во время вчерашней операции, показал отсутствие метастазов. Никакого дополнительного лечения не потребуется, только обычный регулярный осмотр. Перспектива полного выздоровления миссис Рейган не вызывает сомнений».

19 октября: Все еще ходила с отсасывающей системой. Чувствую себя достаточно бодро, но днем должна вздремнуть, рука двигается хорошо, и я горжусь собой.

В довершение всего индекс цен на бирже упал сегодня на 500 пунктов. Никто не знает почему. Экономика стабильна, процентные ставки снижаются, а валовый национальный продукт растет. Можно было ожидать коррекции рынка, но это уж чересчур.

Джейн (мой личный помощник Джейн Эркенбек) просунула голову в дверь и сказала: «Ваша дочь на проводе».

«Моя дочь Пэтти?»

«Да».

Я не поверила своим ушам. Мы с Пэтти не разговаривали два года. Она сказала, что они с Полом беспокоятся обо мне, и спросила, как я себя чувствую. Затем сразу же стала убеждать меня сделать пластическую операцию. Это показалось мне неожиданным. Я сказала, что об этом не думаю, живу лишь сегодняшним днем. Я только что оправилась после этой операции и, конечно, не готова пока к новому хирургическому вмешательству.

Это был короткий и весьма сдержанный разговор, но я была рада ее звонку. Хотя не могла избавиться от впечатления, что она завела речь о пластической операции просто потому, что не знала, о чем еще говорить. Я хотела бы услышать что-нибудь более душевное.

22 октября: Встала рано, чтобы подготовиться к отъезду. Странно возвращаться к обычной одежде. Надела лифчик с эластичным протезом. Ронни приехал около десяти. Покидая палату, мы заметили, что сестры повесили на стенку плакатик: «Миссис Рейган, мы вас любим».

Подъехав к дому, обнаружили на Южной лужайке большую группу людей, пришедших поприветствовать нас. Оркестр играл песенки вроде «Ну, не прелесть ли она», и я прошлась, пританцовывая. Мы вышли на балкон, чтобы поблагодарить всех.

Ронни нужно было идти на совещание по финансовым проблемам. Я поднялась наверх и увидела огромные букеты цветов, меня встречали все горничные и дворецкие. У меня все еще не прошла отечность, и лифчик больно впивался в тело. Я сбросила его и не знаю, когда снова смогу надеть.

24 октября: Я все еще не показала Ронни — себя.

Хоть он и говорит, что это не имеет значения, и я ему верю, все-таки как-то не решаюсь. Сделаю это, когда придет время.

Звонил Рон, он только что вернулся из России. Летел до Франкфурта, потом — до Лос-Анджелеса. Мы долго говорили с ним — сначала об операции, потом о его поездке.

26 октября: Звонки, цветы. Вымыла голову, после чего — это поймет каждая женщина — почувствовала себя немного лучше.

В четыре подумала, что нужно прилечь на полчасика. Как только легла, зазвонил телефон. Это был Рон. Еще через минуту дверь в спальню открылась и вошел Ронни.

Что, скажите на милость, понадобилось Ронни дома в четыре часа дня?

Я сказала Рону: «Подожди минутку. Папа пришел, должно быть, что-то случилось».

Посмотрела на Ронни, у него было какое-то перевернутое лицо. Я видела, что произошло что-то ужасное и он не знает, как мне сказать. Он присел на край кровати, а я все время повторяла: «Ну, что? Скажи мне. Что случилось? Что?»

Наконец он выдавил: «Дорогая, Эди теперь вместе с Лоялом».

Я закричала: «Нет, нет!» — и продолжала кричать, плача.

Ронни подхватил телефонную трубку и сказал Рону, что умерла моя мать и что он перезвонит ему потом.

Мама скончалась от удара. А я собиралась навестить ее в будущем месяце.

Я все просила: «Пожалуйста, разреши мне поехать к ней сейчас же. Пожалуйста. Только разреши мне к ней поехать. И не позволяй ничего с ней делать. Ничего не надо делать в доме. Только отвези меня туда».

Мама завещала кремировать себя, но я хотела в последний раз на нее взглянуть. О, моя милая, маленькая мама! Я больше не смогу приехать и посмотреть на тебя. (В последнее время она никого не узнавала, но я по крайней мере могла притронуться к ней и поцеловать.) Чувствую себя виноватой, что не была с ней, когда это случилось.

Все перестраивают планы. Мы с Ронни летим утром. Боже мой, все сразу. Только я оправилась от одного удара, как настиг меня другой. Я так устала. Устала складывать вещи. Не знаю, что брать с собой.

27 октября: Утром вылетели в Феникс в каком-то оцепенении. Все еще не могу поверить, что мамы нет.

Приземлившись в Фениксе, сразу же направились в морг, где лежала мама. Она была в красном платье, на шее — золотое ожерелье и на руках — маленькие красные митенки. Я сняла их. Мне хотелось, чтобы они остались у меня.

«Не уверен, что стоит это делать»,— сказал Ронни.

И это был один из тех немногих за нашу совместную жизнь случаев, когда я набросилась на него как тигрица. Я кричала: «Ты хочешь, чтобы их сожгли?»

А потом я совсем расклеилась. Мне казалось, что она открывает глаза и говорит со мной. Я все время повторяла, что люблю ее и благодарна за все, что она для меня сделала. Ах, надеюсь, что она меня слышала!

Отпевание назначено на субботу, на два часа. Рон прилетит сюда завтра, чтобы быть со мной. Это очень много для меня значит.

К тому времени, когда мы покидали квартиру, я была совершенно обессилена — душевно и физически. Ронни пришлось улететь в Вашингтон, но он вернется в пятницу с Диком и его семьей.

28 октября: Мы все отправились к маме на квартиру в 9.30 и занялись делами. Какие-то люди из Общества помощи бедным пришли за ее вещами, но я попросила их прийти завтра. Пересмотрела постельное белье — так много всего. Не представляла себе, что на это может потребоваться столько времени.

29 октября: Снова рано отправилась в мамину квартиру продолжать разбирать вещи. Нашла кольцо с нашими инициалами — Э. и Н. Оно ма-

ленькое, она, должно быть, носила его на мизинце. Я тут же его надела.

30 октября: Хотела подольше поспать, но не смогла. Пошла в ее квартиру проверить, все ли разобрано. Квартира выглядит так странно.

Я вышла в небольшое патио и стала вспоминать все счастливые и, как любила говорить мама, мирные дни, проведенные здесь. Мама обожала наблюдать за птицами, и мы устроили для них корытце с водой. Я его сняла и заберу с собой в наш новый дом. (Оно теперь здесь, за домом возле пруда.)

Покидая мамину квартиру в последний раз, я заставила себя не оглядываться.

31 октября: В церкви было более двухсот человек, что свидетельствует об истинной любви к маме, особенно если учесть, что ей был девяносто один год. Но она сопричастна жизни многих.

В церкви красиво. Хор мальчиков прекрасно пел и трогательно выглядел в белых одеяниях. Маме бы понравилось. Отец Доран и монсеньор Донахью говорили над гробом и читали по маминой Библии.

Отец Доран сказал: «Эди Дейвис можно охарактеризовать одним словом «восхитительная». Вы испытывали восхищение уже входя в комнату, где она находилась. Все вокруг нее становилось восхитительным».

Затем он насмешил всех, рассказав, как представлял маму епископу Феникса. Мама была очень официальна и сделала легкий реверанс. А потом обернулась к отцу Дорану и сказала: «Ну, а теперь мы не поцелуемся? Ведь в отсутствие епископа мы всегда так делаем!»

Служба продолжалась сорок пять минут. Думаю, маме бы все это понравилось. Надеюсь.

Посреди ночи разыгрался страшный ураган: проливной дождь, громы и молнии. Я догадалась, что это мама наводила порядок т а м!

5 ноября: Узнала сегодня, что Раиса приезжает с Горбачевым в следующем месяце (на Вашингтонскую встречу). Мы собираемся дать официальный обед, и люди уже сейчас ломятся в дверь, чтобы на нем присутствовать. Столько нужно сделать, и так мало времени. Я не горю от восторга.

Трудно было найти более неподходящее время для этого визита.

7 ноября: Три недели назад в этот день мне отняли грудь. Все еще не верится.

Глава одиннадцатая
КАРТЫ НА СТОЛ: ДОНАЛД РИГАН И ИРАН-КОНТРАС

Если бы каким-то чудом можно было задним числом отменить одно принятое Ронни решение, я бы хотела, чтобы в январе 1985 года он не давал согласия на то, чтобы Джим Бейкер и Доналд Риган поменялись должностями. Тогда это казалось хорошей идеей — немного необычной, но разумной. Джиму, который был у Ронни прекрасным руководителем аппарата сотрудников, эта работа надоела, а Доналд Риган сгорал от нетерпения попасть в Белый дом, четыре года пробыв министром финансов. Когда Бейкер и Риган задумали обмен, не было никаких оснований предполагать, что это приведет к политической катастрофе.

Я в общем-то не знала Доналда Ригана до того, как он стал начальником президентской канцелярии. Мы встречались то там, то тут, и я слышала, что он — блестящий человек и сильный руководитель. В первое президентство Ронни он, несомненно, был прекрасным министром финансов, помогал проводить в жизнь правительственную программу по экономике. Но во время второго президентства Дон не числился среди моих любимцев. Он тоже не был от меня без ума.

Первые несколько месяцев мы прекрасно ладили. И до июля 1985 года, до операции Ронни по поводу рака, у нас не было стычек. Но Дон захотел привести к президенту Джорджа Буша и Бада Макфарлейна, когда не прошло еще и сорока восьми часов после операции.

Я считала, что еще слишком рано,— врачи тоже.

До выхода Ронни из госпиталя у нас с Доном возникло еще одно разногласие. Дон посещал Бетесду каждый день и хотел лететь туда на вертолете. Я считала, что это неправильно. Мне казалось, что никому, кроме президента,

не пристало пользоваться вертолетом, если в том не было экстренной необходимости. У меня, должно быть, уже тогда возникли опасения относительно Дона Ригана, которые по ходу дела беспокоили меня все больше и больше,— часто он вел себя так, словно это он был президентом.

Например, Дон — первый начальник канцелярии президента, у которого была постоянная личная охрана. Ему, видно, страшно нравилось патио перед кабинетом Ронни, потому что, когда перестраивался и расширялся его кабинет, прелестное, выложенное камнем патио было сооружено и там — но оно было значительно больше президентского. Показывая мне новое патио, он сказал: «Не хочу, чтобы об этом стали судачить, поэтому заплатил за все сам».

Позднее я узнала, что в основном строительство патио было оплачено из правительственных фондов.

Когда Ронни вернулся в Белый дом и постепенно стал втягиваться в обычный рабочий режим, Дон сделал несколько публичных заявлений, которые вызвали у меня досаду. По поводу экономических санкций против Южной Африки Дон сказал, что американские женщины не сгорают, должно быть, от нетерпения лишиться своих бриллиантов, платины и золота. Я считала подобное заявление бестактным и оскорбительным по отношению к женщинам и возмутилась.

Накануне Женевской встречи он сказал корреспонденту «Вашингтон пост», что женщины «не хотят понимать ни необходимости (ракетных) ударов, ни того, что происходит в Афганистане, ни ситуации с правами человека».

Это было похоже на высказывание мужчины, который всех женщин считает безмозглыми. Обычно я не разделяю мнений Элеоноры Смил из Национальной женской организации, но вполне поняла ее, когда она выразила радость по поводу того, что президент «взял с собой в Женеву Бонзо».

Достаточно было и того, что этими двумя суждениями Дон Риган оскорбил более половины американцев. Но в октябре 1986 года, после встречи в Рейкьявике, он пошел дальше и оскорбил президента и всю администрацию. «Некоторые из нас,— поведал он корреспонденту «Нью-Йорк таймс»,— похожи на мусорщиков, подбирающих сор после парада».

Я пришла в ярость, прочтя это. Если Дон считает, что такое позволительно говорить человеку его ранга, то какой же лояльности может ожидать от него Ронни? И какой пример подает он остальным его советникам?

Кстати, это тоже было проблемой. Дон Риган не считал себя одним из советников президента. Он мнил себя чем-то вроде заместителя президента.

Не одна я это понимала. Ко времени возвращения Ронни из Рейкьявика ко мне обратился целый ряд высших государственных чиновников и лидеров фракций Конгресса. И все говорили, что у Доналда Ригана нет контакта ни с Конгрессом, ни со средствами информации. Что он перекрыл им доступ к президенту. Что он вспыльчив и с ним трудно работать.

Некоторые звонили мне и спрашивали: «Вы можете что-нибудь сделать?»

Я всем отвечала одно и то же: «Зачем вы говорите это м н е? Скажите моему мужу!»

Но почти никто не решался.

Теперь мне ясно, что Доналд Риган был не на своем месте. Быть может, он талантливый человек, но это место не для него. Во-первых, хороший начальник канцелярии должен оставаться в тени. Во-вторых, он должен быть искусным политиком. Он работает с Конгрессом и представляет президента в самых широких кругах Вашингтона — включая прессу. В-третьих, работа начальника канцелярии — это в основе своей работа с людьми. Но большинство людей, с которыми имел дело Дон, не могли найти с ним общего языка. Это правда, что с Ронни он ладил, но Ронни поладит с кем угодно.

Однако хоть я и понимала, что Доналду Ригану эта работа противопоказана, мое «влияние» было сильно преувеличено — я ничего не могла поделать, чтобы отстранить его. Поверьте, если бы я действительно была тем драконом, каким описал меня Доналд Риган в своей книге, его бы выставили за дверь на много месяцев раньше.

Говорила ли я с Ронни о Доне Ригане? Безусловно. Но это не значит, что Ронни слушал.

Долгое время он просто не принимал подобные разговоры всерьез. И я поняла наконец, что существовало два Доналда Ригана: один — тот, о котором мне говорили люди, другой — тот, которого Ронни видел каждый день. С Ронни Дон был веселым, приветливым, всегда в хорошем настроении — истинный ирландец. Поэтому, когда я передавала Ронни то, что слышала, он не мог поверить. Это было обратной стороной Дона, которую Ронни никогда не видел.

А в ноябре 1986 года последовал ряд событий, превративших это затруднительное положение в прямо-таки кризисную ситуацию. Проблема Дона Ригана была поглощена гораздо более обширной проблемой — Иран-контрас.

Это началось 8 ноября, когда один ливанский журнал сообщил, что Соединенные Штаты поставляли в Иран запчасти для вооружения и что Роберт Макфарлейн, советник президента по национальной безопасности, ездил в Тегеран, чтобы обсудить вопрос об освобождении американских заложников в Ливане. Через десять дней Ронни рассказал по телевидению все, что знал об этом. Проведенный после этого опрос показал, что впервые за все годы президентства большинство американцев ему не поверило.

Как оказалось, люди были правы в своем скептицизме. Уверенный в том, что говорит правду, Ронни опирался на информацию, предоставленную адмиралом Джоном Пойндекстером, который в декабре 1985 года сменил Макфарлейна на посту советника президента по национальной безопасности. И информация была — мягко выражаясь — далеко не полной.

19 ноября 1986 года Ронни провел пресс-конференцию, в ходе которой пытался прояснить положение. И здесь снова он допустил несколько серьезных ошибок. До сих пор не могу простить Пойндекстеру, что он отпустил Ронни на эту пресс-конференцию, не сказав ему всего.

Никогда не забуду выражения лица Ронни после того, как 24 ноября Эд Мис явился к нему с удивительными и тревожными новостями: хотя Иран заплатил тридцать миллионов долларов за американское военное оборудование, учету поддавалось меньше половины этих денег. Оливер Норт признал, что по крайней мере часть этой суммы пошла на помощь никарагуанским контрас.

Новость была столь ошеломляющей, что все замерло. Ронни вошел в спальню абсолютно раздавленный. «Первое, что мы с Эдом собираемся завтра сделать,— сказал он,— это сообщить обо всем прессе».

Если Ронни никак не мог поверить в случившееся, то я была в бешенстве. Вечером я позвонила из своего кабинета Дону Ригану и сказала ему, как я расстроена. Быть может, это было не очень справедливо, но до некоторой степени в том, что произошло, я винила его. Он был руководителем аппарата сотрудников, и, если он ничего не знал, тем хуже, он обязан был знать. Хороший руководитель аппарата повсюду имеет источники информации. Он должен был учуять: что-то происходит.

Пытаясь оправдаться, Дон спросил: «Разве президент банка может знать, мошенничает ли кассир с денежными отчетами?» Может быть, и нет, но ведь это был тот самый человек, который прежде хвастал, что муха не пролетит через Белый дом так, чтобы он об этом не узнал.

Вовсе не хочу сказать, что афера Иран-контрас была делом рук Дона Ригана. Но она произошла у него на глазах. Не могу себе представить, чтобы что-либо подобное произошло во время первого президентства Ронни, когда у руля была тройка Бейкер — Мис — Дивер. Тогда Западное крыло было гораздо более открытым, и если какая-то хитрость затевалась в официальной части Белого дома, ее сразу же выводили на чистую воду.

За следующие несколько месяцев я потеряла десять фунтов веса. Пыталась есть, но не могла. Казалось, остановилась всякая работа в правительстве, только дело Иран-контрас имело значение. Каждый день Ронни обвиняли в том, чего он — я это точно знаю — не делал.

Ронни был действительно сбит с толку. Он продолжал ждать, что все встанет на свои места, что всему этому найдется какое-то разумное объяснение. Но он ничего не мог ни остановить, ни проконтролировать. Он был кругом связан. Проводить еще одну пресс-конференцию — значило подвергать себя риску сказать что-то, противоречащее все время поступающей новой информации, а не проводить — значило дать некоторым людям повод думать, будто ему есть что скрывать.

Ронни всегда имел репутацию человека неподкупного, и его ранило в самое сердце, когда он видел, как она каждый день подвергается сомнению.

Когда аппарат президента оказался в осаде, проблема, касающаяся Дона Ригана, стала еще серьезней. Мне сказали, что на одном из заседаний весь кабинет попросил Дона уйти в отставку. Несмотря на все, что было сказано или написано по этому поводу, я не была вдохновителем заговора с целью избавиться от Дона Ригана. Никакой интриги не существовало.

4 декабря 1986 года вечером в жилых апартаментах Белого дома произошло необычное совещание. Майкл Дивер, который разделял мои опасения относительно того, что Ронни оказался изолированным ото всех, незаметно организовал визит двух посетителей, чтобы обсудить ситуацию, в которую попал

президент. Одним из них был Уильям Роджерс, занимавший пост госсекретаря при Никсоне. Другим — Роберт Штраус, известный деятель Демократической партии, в прошлом ее председатель. Майк рассчитывал, что Ронни прислушается к искреннему и свежему совету двух уважаемых людей со стороны — республиканца и демократа,— которые откровенно скажут ему, что думают о политическом кризисе, перед лицом которого он очутился. Обычно я не присутствовала на подобных встречах, но эта составляла исключение.

Билл Роджерс был немногословен. Суть его высказываний состояла в том, что проблема, связанная с Доном Риганом, разрешима, скоро о ней и думать забудут.

У Роберта Штрауса, напротив, было что сказать. «Господин президент,— начал он, по-техасски растягивая слова,— во-первых, политическая проблема возникла у вас в Капитолии, а у Дона Ригана там нет ни своих людей, ни союзников. Во-вторых, у вас серьезные проблемы с прессой, а у Дона и там нет друзей. Вы попали в приличную заваруху, господин президент, и вам нужен начальник канцелярии, который способен помочь вам выпутаться».

Я никогда не слышала, чтобы кто-то, не принадлежащий к кругу близких Ронни людей, разговаривал с моим мужем так резко, как Боб Штраус в тот вечер.

К сожалению, Ронни не прислушался к совету Боба. В течение всего этого периода я сохраняла совершенно определенно отрицательное мнение о Доне Ригане. Ронни же до самого конца верил, что проблемы, связанные с Доном, сами собой рассосутся. Ну, и будет говорить о власти и влиянии, которыми я якобы пользовалась.

И — будто и так не достаточно было в этом месяце неприятностей — Уильям Кейси упал прямо у себя в кабинете. Как глава ЦРУ Кейси, возможно, знал о деле Иран-контрас особенно много. Но врачи обнаружили у него большую опухоль в мозгу. Внезапно одно из главных действующих лиц драмы выпало из обращения — и, возможно, навсегда.

Сейчас, оглядываясь назад, я изумляюсь тому, что почти никто не задумался о болезни Билла Кейси и о том, как она могла влиять на его решения в месяцы, предшествовавшие разоблачению. Я задалась этим вопросом, потому что у меня отец был нейрохирургом. Но подтверждения своим подозрениям не находила ни у кого до тех пор, пока не прочла «Революцию», книгу Мартина Андерсона о президентстве Ронни. Как указывает Андерсон, лимфатический рак мозга, которым страдал Кейси, поражает левое полушарие головного мозга — полушарие, ответственное за принятие решений.

«Возможно ли,— спрашивает Андерсон,— что способность Билла Кейси принимать решения и мыслить ясно постепенно снижалась по мере того, как развивалось дело Иран-контрас? Ответ очевиден — да, возможно».

Думаю, Мартин Андерсон прав. Я уверена, что Билл Кейси был глубоко втянут в аферу Иран-контрас именно в тот период, когда не мог уже ясно мыслить, и что он принимал решения, которых не принял бы никогда, будь он здоров. Давая показания, как раз перед тем как лечь в больницу, он не мог связать свой рассказ воедино.

После того как Кейси положили в больницу, ЦРУ осталось без директора. Мне казалось, что это связанное с секретностью место следовало заполнить как можно скорее, тем более учитывая правительственный кризис. Но Дон считал, что жестоко с моей стороны наносить Кейси такой удар перед Рождеством. Я этого, разумеется, не хотела, но чувствовала, что надо что-то делать.

Видела я и то, что Дон был больше заинтересован в защите Билла Кейси, чем в безопасности страны, и во время одного телефонного разговора сказала ему это.

Бедный Билл Кейси несколько месяцев медленно умирал в больнице. В мае 1987 года его не стало. Что бы он ни знал о деле Иран-контрас, он унес это с собой в могилу.

После стычки из-за Кейси наши с Доном Риганом отношения и вовсе испортились. Рождество, даже в Вашингтоне, это обычно передышка от политики и вражды, но в 1986 году передышка не состоялась. За несколько дней до Рождества стала распространяться сплетня, будто мы с Ронни повздорили из-за Дона Ригана и Ронни якобы сказал мне: «Слезай, черт тебя дери, с моей шеи».

Между нами действительно была некоторая напряженность из-за Доналда Ригана, но мы с Ронни никогда не разговариваем друг с другом в таком стиле.

В январе 1987 года Ронни лег на операцию простаты. После операции мы с Доном поругались — опять — из-за того, что́ можно и чего нельзя делать Ронни в период выздоровления. Дон был намерен назначить пресс-конференцию по поводу Иран-контрас. Я возражала, врачи тоже. Любое серьезное хирургическое вмешательство требует шестинедельного восстановительного периода. А здесь речь шла о человеке, которому далеко за семьдесят, который был ранен и который испытывал сейчас огромное напряжение.

Но в феврале Дон Риган все же объявил, что Ронни проведет пресс-конференцию в конце месяца. Я была в ярости, и мы сильно поругались по телефону. Когда стало ясно, что Дон не изменит решения, я сказала: «Хорошо, проводите свою проклятую пресс-конференцию!»

«Так я и сделаю, не сомневайтесь!» — ответил он. И бросил трубку.

Во второй половине февраля вопрос о Доне Ригане наконец встал во главу угла. И снова обращаюсь к своему дневнику.

13 февраля: Сегодня в Кэмп-Дэвиде говорила с Ронни о Доне Ригане. Кажется, впервые он слушал. Я сказала ему снова, как огорчена произошедшим и что моральный климат в его аппарате очень ухудшается.

17 февраля: В программе новостей сегодня вечером сказали, что мы с Доном не разговариваем, потому что я желаю его отставки. Это правда, что мы не разговариваем, и это правда, что я желаю его отставки. Но причина того, что мы не разговариваем, не в этом.

18 февраля: Сегодня впервые Ронни дал понять, что не будет возражать, если Дон захочет уйти. Когда газетчики спросили, останется ли Дон и впредь на своем посту, Ронни ответил: «Пусть решает сам».

Достаточно прозрачный намек, но не думаю, чтобы Дон на него отреагировал.

21 февраля: (В Кэмп-Дэвиде) Гуляли с Ронни после ленча. Эй-би-си сегодня объявила, что Риган приказал скрывать причастность Ронни к делу Иран-контрас. Боже мой! Какой суровый город, здесь нужно быть очень сильным человеком, чтобы выжить.

26 февраля: Множество телефонных звонков по поводу Дона Ригана. Сэм Доналдсон заявил, что я готовлю заговор с целью его устранения. Подозреваю, что люди Дона очень активно выступали перед представителями прессы.

Сегодня утром Ронни сказал, что займется этим вопросом, и я весь день ни о чем другом не могла думать.

24 февраля: Ронни пришел домой в пять. Дело сделано, на следующей неделе Дон уходит. Не могу поверить — и не хочу, пока это действительно не произойдет.

Но это все же произошло. Ронни нажал, и Дон согласился уйти на следующей неделе, в понедельник 2 марта.

Теперь мы должны были найти замену Дону. Рекомендовали Говарда Бейкера, и Ронни идея понравилась. Они с Говардом очень успешно работали вместе, когда во время первого президентства Ронни Говард был лидером большинства.

Я считала, что это прекрасный выбор. Говард Бейкер был спокойным, легким человеком и проницательным политиком. И, пробыв три срока в Сенате, имел на Капитолийском холме много друзей.

26 февраля Ронни позвонил Говарду, чтобы тот подумал над предложением занять должность. Говард отдыхал во Флориде, и Джой, его жена, сообщила, что как раз в этот момент он повел внуков в зоопарк.

«А если бы он знал,— сказал Ронни,— в какой зоопарк приглашаю его я!»

Несмотря на все, что между нами произошло, мне было жаль, что Дон Риган покидает Белый дом в такой неблагоприятной обстановке. Но замену Дона на Говарда приветствовали и демократы и республиканцы. В Белом доме стал улучшаться моральный климат. И впервые за несколько последних недель я спала спокойно.

Но хотя Дон Риган ушел, споры вокруг его отставки не утихали. В понедельник, 2 марта, Уильям Сэфайр опубликовал злую и жесткую статью обо мне в «Нью-Йорк таймс». «ПЕРВАЯ ЛЕДИ УСТРАИВАЕТ ПЕРЕВОРОТ» — гласил заголовок. Далее в статье говорилось о моей «необычайной мстительности», и я была названа «властолюбивой первой леди».

Это была самая злобная статья, какую мне когда-либо доводилось читать,— а я прочла их немало. Ронни она тоже огорчила; он считал, что муж-

чина не должен так поступать по отношению к жене другого мужчины. Даже Джуди Мэнн, постоянный комментатор «Вашингтон пост», обычно критиковавшая меня, сочла необходимым выступить в защиту. Назвав статью Сэфайра «ударом ниже пояса», она писала:

«Первая леди Нэнси Рейган сумела сделать то, что не удавалось никому,— а именно избавить администрацию от человека, который наносил урон репутации президента. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Доналд Риган чем дальше, тем больше проявлял беспрецедентное высокомерие и ставил собственные интересы выше интересов президента Рейгана и, разумеется, выше благополучия страны. Звонки, обращения и визиты республиканских лидеров не могли заставить президента сместить его.

Человек, который злоупотреблял своим влиянием на президента, не должен был занимать эту должность. Миссис Рейган сделала за них черную работу, а теперь они на нее нападают.

Республиканцы и сторонники консервативных сил должны были бы посылать ей букеты роз. А вместо этого ее представляют каким-то властолюбивым чудовищем».

Порой помощь приходит от прессы, когда ты меньше всего ждешь ее.

Глава двенадцатая

РУССКИЕ

Всякий, кто следил за встречами в верхах между Ронни и Михаилом Горбачевым, должен был прийти к выводу, что существовало два пакета проблем: отношения между двумя сверхдержавами и отношения между двумя женами. Каждая деталь нашей дуэли с Раисой Горбачевой досконально изучалась. Если задуматься, все это смешно.

Неужели это имеет хоть какое-то значение — что за платья и что за серьги были на нас надеты? Конечно же, нет. В таких встречах важно лишь одно: что решили два лидера.

Всего Ронни с Горбачевым встречались четыре раза: в Женеве в 1985 году, в Рейкьявике в 1986-м, в Вашингтоне в 1987-м и в Москве в 1988-м. Я была с Ронни на трех из этих встреч, и каждый раз мы с Раисой становились предметом самых горячих обсуждений. Отчасти потому, что на переговоры прессу не допускали и тысячам корреспондентов было не о чем больше писать. Мы с Раисой были лишь маленьким подстрочным примечанием к великим событиям. Но она играла важную для меня роль во время подобных встреч, и я стала одним из ведущих экспертов по русской первой леди.

Когда мы встретились впервые, в Женеве, в ноябре 1985 года, я пригласила ее на чай в нашу резиденцию. Она удивила меня своей внешностью: была ниже ростом, чем я ожидала, и волосы ее были рыжее, чем можно было представить, глядя на нее по телевизору. Кроме того, что можно увидеть на снимках, я о ней больше ничего не знала.

Это само по себе необычно. Как правило, готовясь к встрече с первой леди из другой страны, я читала о ней. Но Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году неожиданно, и Раиса была загадкой. Она не дала ни одного интервью. Практически единственное, что о ней было известно, это что она преподавала в школе, а потом читала марксистскую философию в Московском государственном университете.

Если я нервничала перед первой встречей с Раисой Горбачевой — а я нервничала,— то она, должно быть, нервничала еще больше перед встречей со мной. Я не знала, о чем буду говорить с ней, но вскоре выяснилось, что это не имеет никакого значения. С первой минуты она сама говорила, говорила, г о в о р и л а — так много, что мне едва удавалось вставить словечко. Быть может, это было от неуверенности, которую она испытывала, но после почти дюжины наших встреч в трех разных странах основное впечатление, которое осталось у меня от Раисы Горбачевой,— что она никогда не перестает говорить.

А точнее сказать, читать лекции. Иногда темой был триумф коммунистической системы. Иногда — советское искусство. А чаще всего — марксизм-ленинизм. Один или два раза она даже прочла мне лекцию о недостатках американской политической системы.

Я к этому не была готова, и мне это не понравилось. Я предполагала, что мы будем говорить о личной жизни: о мужьях, детях, о трудностях существования на виду у всех или, наконец, о наших надеждах на будущее. Я хотела

рассказать Раисе о нашей программе борьбы с наркоманией. Но как только я начала, она быстро сменила тему, заявив, что в Советском Союзе проблемы наркомании не существует. Ой ли?

В тот первый раз в Женеве, придя на чай, она поразила меня тем, что явно хотела казаться женщиной, чье слово — закон. Ей не понравился стул, на котором она сидела,— она щелкнула пальцами. Охранники из КГБ тут же подали ей другой. Я глазам своим не поверила. Я видела первых леди, принцесс, королев, но никогда не видела, чтоб кто-то из них вел себя подобным образом.

Тот первый чай в Женеве продолжался чуть больше часа. День шел к вечеру, мы сидели в гостиной. В камине горел огонь, но беседа была сухой, безликой и скучной.

На следующий день она пригласила меня на чай в советскую миссию. Одета она была сурово: черная юбка, белая блузка и черный галстук. Я тогда еще подумала, что́ означает этот наряд, так отличающийся от всего, что она носила до тех пор? Позднее узнала, что так, кажется, обычно одеваются учительницы в Советском Союзе, и Раиса надела этот костюм — в котором выглядела, как тюремная надзирательница,— потому, что должна была позировать для единственной своей женевской фотографии, предназначенной для публикации дома.

Несмотря на все трудности общения с Раисой, знаю, что она испытывала такое давление, какого я даже представить себе не могу, и я ее не виню. Когда, например, Горбачевы приземлились в Женеве, я заметила, что они вышли из самолета вместе. А когда вернулись в Москву, он вышел один, без нее, а она незаметно выскользнула через дверь в хвостовой части. Я бы взбесилась, если бы мне нужно было вести себя за границей совсем не так, как дома.

Накануне открытия встречи мы с Ронни осматривали «Флёр д'о» — за́мок девятнадцатого века, расположенный на Женевском озере, где должны были состояться переговоры. Ярдах в ста от за́мка на берегу стоял домик. В нем мы обнаружили прелестную комнату с камином и захватывающим дух своей красотой видом на озеро. Ронни очень хотел встретиться с Горбачевым один на один, без советников, и как только мы вошли в эту комнату, мы поняли, что это самое подходящее для такой встречи место. Здесь, согретые теплом очага, они могли улучить несколько минут, чтобы начать по-человечески узнавать друг друга.

На следующий день, как было задумано, Ронни предложил сделать перерыв в переговорах по контролю над вооружениями и пригласил Горбачева прогуляться до домика на берегу. Горбачев вскочил прежде, чем Ронни закончил фразу.

Их тет-а-тет перед камином должен был продолжаться пятнадцать минут. Через двадцать пять минут Дон Риган подошел к Джиму Куну, личному помощнику Ронни, и попросил его прервать беседу, так как ломается дальнейший график.

Я не могу этого сделать, подумал Джим. Два могущественнейших в мире человека впервые встречаются друг с другом. Творится И с т о р и я!

Еще через десять минут Риган сказал Джиму: «Вы до сих пор не прервали беседу?»

Джим все еще считал, что делать этого не следует. Он пошел в зал, где Джордж Шульц встречался со своим советским коллегой Эдуардом Шеварднадзе. «Господин государственный секретарь,— сказал он,— вот какое дело: Частная встреча президента с господином Горбачевым была рассчитана на пятнадцать минут, а они беседуют уже почти сорок. Дон считает, что я должен войти и прервать их. А вы как думаете?»

Джордж возмутился. «Ну, если у вас хватит дурости войти и прервать беседу,— сказал он,— тогда вы не заслуживаете своей должности!»

Встреча Ронни с Горбачевым длилась час двадцать минут. Когда они закончили, Ронни пригласил Горбачева в Вашингтон. Горбачев сразу же согласился и предложил, чтобы после этого переговоры продолжились в Москве. Когда два лидера вернулись за стол официальных переговоров и сообщили, что только что договорились о двух дополнительных встречах в верхах, их советники чуть не упали в обморок.

При первой встрече с Горбачевым, вечером накануне открытия встречи, я ощутила какую-то холодность с его стороны. На следующий вечер, во время обеда, однако, он был значительно любезнее. И начиная с того дня, с каждым разом нравился мне все больше. Если Раиса серьезна, то муж ее обладает прекрасным чувством юмора и не слишком официален. В тот вечер он немного рассказал мне о себе: где ходил в школу, как встретился с Раисой и что у них после женитьбы было совсем мало денег.

Уже в Женеве, когда Ронни и Горбачев еще только начинали узнавать друг друга, я безошибочно заметила возникшую между ними симпатию. Знаю, что контакт укрепился, когда Ронни пересказал Горбачеву слышанный где-то анекдот про гласность.

Русская старушка приходит в Кремль и хочет увидеть Генерального секретаря. Войдя в кабинет Горбачева, она говорит: «Нам нужно сделать свое общество более открытым. Почему в Америке любой может пойти в Белый дом и сказать президенту Рейгану: «Мне не нравится, как вы управляете страной!»

«Моя дорогая,— отвечает Горбачев,— вы можете то же самое сделать и здесь, в Советском Союзе. В любое время, когда пожелаете, можете прийти ко мне в кабинет и заявить, что вам не нравится, как президент Рейган управляет страной!»

Большинство людей поостереглись бы пересказывать Горбачеву такой анекдот, но Ронни, как всегда, полагался на чувство юмора. И оказался прав, потому что, услышав анекдот, Горбачев от души рассмеялся.

Основная задача, которую ставил перед собой в Женеве Ронни, была выполнена. Прежде всего он хотел установить добрые личные отношения с Горбачевым. Остальное приложится.

Через год Ронни встречался с Горбачевым в Рейкьявике, столице Исландии, 11 и 12 октября. Это не были собственно переговоры на высшем уровне, это было предварительное совещание, призванное подготовить почву для настоящих переговоров, согласие провести которые в Вашингтоне было достигнуто ранее. На деловую встречу жены не приглашались. Но вдруг, за несколько дней до начала, было объявлено, что Раиса едет. Я оказалась в затруднительном положении. Должна ли я ехать только потому, что едет она? Нет, решила я. У меня назначено много дел в Вашингтоне, и я не собираюсь менять свои планы.

Кроме того, я считала, что, как говорит мой сын Рон, не надо дергаться. Я чувствовала, что Раиса испытывает меня, чтобы посмотреть, попадусь ли я и изменю ли намерения. Ей придется уразуметь, что программа составляется заранее.

И все же я чувствовала себя странно среди провожающих на лужайке Белого дома, когда Ронни садился в вертолет, чтобы лететь на военно-воздушную базу Эндрюс, и злилась, что он летит без меня.

Я следила за исландской «встречей в верхах» по телевизору и видела больше Раису, чем Ронни и Горбачева. Когда интервьюер спросил ее, почему я не приехала, она ответила: «Вероятно, у нее есть другие дела. Или, быть может, она нездорова». Ах, скажите, пожалуйста!

На второй день у Ронни была заключительная встреча с Горбачевым. Я смотрела телевизор; когда два лидера появились перед публикой, по выра-

жению лица Ронни я поняла: что-то не так. Он выглядел сердитым, очень сердитым. Этот взгляд я видела и раньше, правда, не часто — и, конечно, не по телевизору. Нужно сильно разозлить Ронни, чтобы у него на лице появилось это выражение.

Горбачев и Ронни достигли в своих переговорах большого прогресса. В конце концов они вышли на рубеж исторического соглашения, обеспечивающего уничтожение всех ядерных стратегических вооружений к 1996 году. Но здесь подстерегала ловушка: Горбачев вдруг стал настаивать на десятилетнем запрещении разработки и внелабораторных испытаний системы Стратегической оборонной инициативы, широко известной под названием «Звездные войны».

Ронни был в бешенстве. При подготовке к встрече об этом условии даже не упоминалось. Горбачев прекрасно знал, что Ронни безоговорочно привержен программе СОИ, считая ее гарантом нашей национальной безопасности.

Я гордилась тем, что у Ронни хватило мужества отвергнуть дурное предложение. Многие хвалили бы его, если бы судьбоносное соглашение с Горбачевым было достигнуто. Теперь я уверена, что Горбачев испытывал Ронни в Рейкьявике. Устояв, Ронни проложил путь к будущим встречам на высшем уровне и дальнейшему продвижению к миру. Думаю, Горбачев многое понял относительно Ронни во время той встречи.

Вашингтонская встреча в верхах в конце концов состоялась в декабре 1987 года. Мы с Раисой не виделись два года, но практически ничего не изменилось. После традиционной церемонии встречи у Белого дома 8 декабря мужчины отправились в Западное крыло на переговоры, а я занимала Раису, Барбару Буш и еще нескольких дам в Зеленой комнате — это обычная для государственных визитов процедура.

Я-то прекрасно знала, чего ждать, а вот гостьи мои были поражены, когда Раиса закатила им на целый час лекцию по русской истории, политической системе и о том, что в Советском Союзе нет бездомных.

На следующий день Раиса прибыла снова, чтобы совершить индивидуальную экскурсию по Белому дому. Казалось бы, нет ничего проще, но не тут-то было. Три недели назад я послала ей приглашение на чай и осмотр Белого дома 9 декабря. Две недели спустя я все еще не имела ответа. В конце концов, поскольку времени оставалось мало, мне пришлось снова попросить подтверждения. Через два дня сообщили, что Раиса не сможет прибыть на чай и экскурсию в три часа, как я предлагала. Но она может приехать на чашку кофе в половине двенадцатого. Я согласилась, хотя в этом случае не успевала показать ей резиденцию.

Поскольку у нас был только час времени, я хотела сделать все поскорее. Но Раиса то и дело останавливалась и разговаривала с корреспондентами. Когда какой-то репортер спросил, понравилось ли бы ей жить в Белом доме, она ответила, что «это официальное здание. По-человечески говоря, человек должен жить в своем доме. А это похоже на музей».

Ответ не был слишком вежливым, тем более что отвечавшая даже не видела личных покоев!

Кончилось тем, что Ронни и Горбачеву пришлось ждать нас целых пятнадцать минут, но я ничего не могла поделать. Когда мы подошли к дипломатическому входу, наши мужья хмурились и поглядывали на часы. Но на самом деле они не сердились; просто Ронни придумал это шуточное представление, чтобы разыграть нас.

Для меня главным событием вашингтонской встречи в верхах был официальный ужин в честь Горбачевых, поскольку за него отвечала я. Официальный ужин обычно событие грандиозное, но Горбачевы, понятно, устали от долгого перелета. Поскольку они специально просили устроить ужин пораньше, чтобы к десяти вечера уже освободиться, мы произвели кое-какие перемены в своем распорядке. Поэтому мне было досадно, что Горбачевы на ужин опоздали.

Согласно протоколу, Раиса села за стол рядом с Ронни, а Горбачев — рядом со мной. По другую руку от Раисы мы посадили Вернона Уолтерса, нашего представителя в Организации Объединенных Наций. Он говорит по-русски, и я знала, что он сумеет поддержать беседу. И, может быть, это избавило бы Ронни от лекции!

Разговор за нашим столом был оживленным и необычным. Позднее, когда Синтия Хелмс поведала своему мужу Ричарду, бывшему главе ЦРУ, что Горба-

чев касался в разговоре решений Политбюро, Дик Хелмс вздохнул: «Когда я был шефом разведки,— сказал он с кривой улыбочкой,— я мог убить за подобную информацию».

Перед отъездом из Вашингтона Михаил Горбачев провел долгую пресс-конференцию, за которой мы с Ронни следили по телевизору. Его вступительное слово тянулось целую вечность и, когда он наконец перешел к вопросам, времени хватило всего на три или четыре. Если вопрос ему не нравился, он просто говорил: «На этот вопрос я отвечать не намерен». Ого, подумала я, а ведь это тоже способ обращаться с прессой!

Большинство телекомпаний сдались где-то в середине, но Си-эн-эн показала всю пресс-конференцию. Когда Горбачев закончил, Бернард Шоу, комментатор Си-эн-эн, вдруг заявил: «Я хотел бы сказать несколько слов о Нэнси Рейган. Она пережила два очень тяжелых месяца. Операция по поводу рака груди. Смерть матери. А вернувшись после похорон, она вынуждена была выполнять свою часть программы встречи на высшем уровне. Все это время она держалась с изяществом и достоинством, думаю, она заслуживает самых добрых слов».

Если бы, когда мы с Ронни только поженились, кто-нибудь сказал мне, что мы поедем в Москву в качестве президента и первой леди и будем почетными гостями советского руководства, я бы подумала, что этому человеку нужно обратиться к психиатру. И тем не менее в мае 1988 года этот удивительный сценарий осуществился.

Мне не много нужно, чтобы начать нервничать, но перед поездкой в Москву я испытывала особое нервное напряжение. Хотя между Ронни и Горбачевым установились добрые отношения, я ужасно боялась, что скажу или сделаю что-нибудь не так и случайно окажусь человеком, развязавшим третью мировую войну.

Мы прибыли в Москву в воскресенье, 25 мая. Мы не знали, как нас встретят, поэтому пришли в восторг, увидев, что люди выстроились вдоль дороги, ведущей из аэропорта. Они, казалось, были искренне счастливы нас видеть, что несказанно обрадовало нас.

После церемонии встречи в Кремле Ронни и Горбачев отправились на переговоры, а Раиса повела меня на короткую экскурсию по Кремлю. И здесь снова, уже очень скоро после начала экскурсии, у меня появился повод, чтобы разнервничаться. Мы осматривали Успенский собор XV века. Храм располагал к высокому религиозному воодушевлению, и мне захотелось узнать, проходили ли здесь когда-нибудь церковные службы, быть может, хотя бы в 1988 году, когда отмечалось тысячелетие христианства на Руси?

«Нет,— ответила она сухо.— Службы не проводились здесь со времен революции, этот храм — музей».

Я ожидала увидеть еще что-нибудь интересное, но по выходе из церкви нас препроводили в какую-то комнату в Кремле, где мы стали ждать своих мужей. Не уверена, что нашу экскурсию прервали из-за моего вопроса, но подозреваю, что так оно и было. Я вовсе не хотела кого-нибудь оскорбить своими словами. Но они могли быть неверно истолкованы.

Во время этого визита я постоянно возвращалась мыслью к религии. Каждый раз, встречаясь с Горбачевым, Ронни поднимал проблему свободы совести вообще и пра́ва евреев покидать страну в частности. По разным поводам Ронни представлял Горбачеву список лиц, которым, с нашей точки зрения, следовало бы разрешить выезд. «Сделайте, что сможете,— говорил Ронни.— Я никогда не сообщу прессе их имен и никогда не поставлю этого себе в заслугу, если вы позволите им уехать».

Официальный обед советское руководство давало в Грановитой палате Кремля с высокими сводами и религиозной — да! — росписью. Столы были украшены высокими белыми свечами в серебряных канделябрах, поэтому меня удивило, что люстры сияли в полную силу и зал был ярко освещен.

Во время обеда Горбачев повернулся ко мне и сказал: «Знаете, у нас с вашим мужем одинаковый...» — здесь он замялся в поисках слова.

«Я попробую вам помочь,— сказала я.— Одинаковый склад?»

«Да, склад».

«Я это знаю. Я отчетливо это ощущаю, и мой муж тоже».

«Это редко бывает»,— сказал Горбачев.

«И это я знаю»,— ответила я.

И тогда Горбачев сказал знаменательную вещь... «Я знаком с вашей Кон-

ституцией, но хотел бы, чтобы ваш муж остался президентом еще на четыре года».

Чудесно было услышать это от Михаила Горбачева в Кремле. Хотя это, конечно же, могла быть простая вежливость с его стороны, но я верю, что он сказал это искренне.

В последний вечер нашего визита мы с Ронни смотрели специально устроенное представление в великолепном Большом театре. Царская ложа была украшена американским и советским флагами, и, когда мы четверо стояли там, а оркестр исполнял наши государственные гимны, великолепие происходящего потрясло меня. И это все наяву, подумала я. Вот мы в Москве, и они играют наш гимн.

За восемь лет пребывания в Белом доме я слышала его сотни, если не тысячи раз. Но никогда «Звездно-полосатое знамя» не звучало так величественно, как в тот вечер, в том окружении, спустя несколько часов после того как Ронни и Горбачев подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Еще раз я ощутила, что присутствую при сотворении истории.

По окончании спектакля мы отправились ужинать на дачу Горбачевых в тридцати минутах езды. Мы находились всего в нескольких милях от Москвы, но атмосфера здесь была гораздо более непринужденная и свободная, чем в городе. За ужином Горбачев говорил, довольно долго, об атомной катастрофе в Чернобыле. Всем нам, присутствовавшим за столом, было ясно, что он расстроен и глубоко опечален, и, хоть я уже была по-доброму расположена к Горбачеву, его отношение к случившемуся тронуло меня еще больше.

Говорил он и о приближающемся съезде Коммунистической партии. Он сказал, что одна из реформ, которые он намерен провести, состоит в том, чтобы ограничить пребывание на посту высших советских руководителей определенным сроком. Как только он это произнес, Раиса вставила: «Да, кроме Генерального секретаря. Если люди захотят, чтобы он остался, он, конечно же, должен остаться».

К счастью, я могу сделать хороший постскриптум к истории наших взаимоотношений с Раисой. В декабре 1988 года Горбачев прилетел в Нью-Йорк, чтобы выступить с речью в Организации Объединенных Наций. Пока у них с Ронни был свой ленч, мы с Раисой гостили дома у Марселы Перес де Куэльяр, жены Генерального секретаря ООН.

Что-то определенно изменилось. Раиса болтала за столом, но это уже не было чтением лекций. Атмосфера была сердечнее, чем обычно, и меня тронули ее слова: «Я буду скучать по вам и вашему мужу,— сказала она.— Судьба занесла нас с вами туда, где мы есть, рядом со своими мужьями, и предназначила сделать то, что от нас зависит, чтобы отношения между нашими странами стали такими, какие они теперь. Мы с мужем надеемся, что вы снова приедете к нам в Советский Союз».

«Мы бы очень этого хотели,— ответила я.— И мы были бы в восторге, если бы вы приехали к нам в Калифорнию».

Хотите — верьте, хотите — нет, но я сказала это от души.

Глава тринадцатая
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Никогда нельзя заранее подготовиться к переезду в Белый дом — и никогда нельзя подготовиться к отъезду из него. Последние два месяца были душевно и физически изнуряющими. Столько прощаний и столько нужно сохранить в памяти — например, чествование Ронни в Сенате и в Центре Кеннеди, где оркестр в конце исполнил шотландскую песенку «Забыть ли старую любовь» и зал пел ее нам стоя. Когда песня смолкла, наступила пауза, а потом Ронни воскликнул: «Это лучше, чем Оскар!»

Ронни хотел последний раз поехать с ночевкой в Кэмп-Дэвид, и мы поехали. Я устроила ленч для нескольких женщин-журналисток, которые освещали мою деятельность. Все они были в красном и подарили мне свои фотографии с автографами и круглый аквариум — символ той жизни, которой я жила последние годы.

И вот наконец этот день настал — 20 января 1989 года — день, которого я и ждала, и страшилась. Он был пасмурным и холодным. Мы рано позавтракали

и спустились в Официальную столовую, чтобы попрощаться с обслуживающим персоналом. Затем вышли встретить Бушей и Куэйлов.

И вот уже пора на инаугурацию. Церемония происходила перед Западным фасадом Капитолия, там же, где впервые давал клятву Ронни. День проходил как во сне. Вот и этот эпизод тоже вдруг оказался в прошлом. Буши и Куэйлы проводили нас вниз по ступенькам и посадили в вертолет. Уже в дверях Ронни обернулся и помахал рукой — и у всех комок встал в горле. Затем мы поднялись, пилот совершил круг почета над Белым домом, и Ронни, склонившись ко мне, сказал: «Взгляни, дорогая, это наше бунгало». Это было последнее прощание с Вашингтоном и с этими восемью удивительными, волнующими, полными разочарований, а иногда и страшными годами.

В Лос-Анджелесе нам устроили торжественную встречу. Когда мы садились в машину, Сэм Доналдсон, корреспондент Эй-би-си при Белом доме, отсалютовал Ронни напоследок.

Приехав домой, мы были наконец просто Ронни и я, одни, среди множества коробок — и уже не было штата служащих, чтобы помочь их распаковать. Это казалось нереальным и ошарашивало. Пришел Рон и помог отцу разбирать вещи.

Позже, когда мы наконец рухнули в постель, я лежала и думала: а если бы не было Двадцать второй поправки [1], остались ли бы мы в Вашингтоне? Я знаю, Ронни хотел бы кое-что еще сделать. Но сколь болезненным ни был отъезд, я чувствовала — уже пора. Двадцать лет мы жили общественной жизнью, нам необходима была перемена: нужно было проводить больше времени в кругу родных и друзей — и друг с другом.

И как будто одна дверь закрылась, а другая открылась — мы вошли в новую фазу своей жизни. Мы с Ронни были удостоены редкой чести — войти в историю и оказать на нее влияние. Мы все еще ощущаем волнующую сердечность отношения к нам публики и надеемся, что наши дети нами гордятся.

Я многому научилась, пока была первой леди. За эти восемь вашингтонских лет среди невероятных превратностей жизни в Белом доме я поняла, что́ для меня истинно важно. Я научилась быть полезной. Я узнала, ка́к под испытующими взглядами и градом критики оставаться самой собой — как сделать так, чтобы Нэнси была Нэнси. И за это, а также и за многое другое я всегда буду благодарна.

---

[1] Поправка к конституции США, ограничивающая пребывание на посту президента двумя сроками.

ФАБИО ДОПЛИКЕР

Плющ на Вилле Памфили

ПОЭМА

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

От переводчика

Поэт, драматург, литературный и театральный критик, создатель и редактор интересного журнала «Стилб», просуществовавшего несколько лет и закрывшегося из-за финансовых трудностей, неутомимый организатор поэтических фестивалей, итальянских и международных, где звучали голоса и наших поэтов — Р. Гамзатова, Ю. Марцинкявичуса, Ю. Мориц, Б. Окуджавы, Т. Бек и других, пристрастный составитель поэтических антологий, Фабио Допликер — заметная фигура в литературной жизни Италии.

Первая поэтическая книга Допликера «Замкнутый круг» (1970) дала основание ряду критиков говорить о нем — представителе поставангарда — как об авторе «рассказов в стихах», что подчеркивало определенную повествовательность его небольших поэм (или длинных стихотворений). К поэме Допликер обратился, подобно некоторым другим поэтам его поколения, в то время, когда этот жанр считался анахронизмом, когда жанр этот хоронили не менее решительно, чем еще совсем недавно предрекали смерть роману.

В одном из стихотворений, само название которого «Дети слова» наводило на мысль о творческом манифесте, Фабио Допликер писал:

...главное для поэта — быть собственным словом
в контексте трагедии и надежды современного мира.

Идентифицируя поэта с поэтическим словом, Допликер, думается, хотел подчеркнуть коммуникативное начало в поэзии, от которого зависит ее превращение из монолога в диалог: в поэзии Допликера, декларативной лишь тогда, когда речь идет о поэтической программе, есть та доля исповедальности, что обеспечивает доверие к поэту (не случайно даже такие признанные лидеры неоавангарда, возвестившие о себе на рубеже шестидесятых годов, как Эдоардо Сангвинети и Антонио Порта [1], в семидесятых — восьмидесятых стали переориентироваться на читателя-собеседника).

Разумеется, повествовательность Допликера не следует понимать буквально, критика отмечает близость его поэтики к поэтике экспрессионизма. Известное влияние немецкого экспрессионизма на Допликера вполне естественно: он родился и вырос в Триесте, в прошлом одном из культурных центров Австро-Венгрии; Триест до сих пор сохранил особенности среднеевропейского города, лежащего на перекрестке германской, славянской, итальянской культур.

Выбор поэмы «Плющ на Вилле Памфили» для публикации в нашем журнале принадлежит самому автору. Поэма построена как развернутая метафора, а лирическая любовная тема сплетается с темой Рима, исторического и современного, ставшего заложником технического прогресса. Неожиданно возникающая в поэме вполне реалистическая фигура ледовщика, железным крюком волочащего по земле глыбы льда, перерастает в фантасмагорический образ гибели всего живого. «Поэт не прорицатель апокалипсического будущего, но свидетель нынешней деградации»,— пишет Допликер в одной из статей. А будущее вырастает из настоящего, и в этом смысле поэма Допликера обнадеживает: вопреки всему в ней торжествует любовь.

Прежде чем предоставить слово поэту, следует объяснить, что со своей пиниевой рощей и широкими лугами Вилла Дориа-Памфили — самый большой парк в современном Риме (9 км по периметру). Постройки и разбивка парка восходят к пятидесятым годам XVII века и осуществлены архитектором Алессандро Альгарди по заказу Камилло Памфили, племянника папы Иннокентия X. Пересекающая Виллу Олимпийская дорога проложена к Олимпийским играм 1960 года.

© El Bogatt, Bergamo, 1989.

[1] См. «ИЛ», 1987, № 4.

I

Дуплистое дерево — маска: не дупло,
а импровизированная сорная урна.
Природа, замысел, успевший поблекнуть
за триста лет,— три щербатых века.
Вихри летучей пыли, посягательство смертных
на шерстяной покров, сохраняемый Римом
по инерции, исподволь усвоенной плющом,
виновником разрушительных для стен трещин.
Неужели мне обязательно умереть,
чтобы понять реальность прожитой жизни —
бузинного листика, растертого между ладоней?
Слепая Венера всходит над кронами пиний.

II

Дуб в удушающих объятьях плюща,
цепкого, настойчивого, как разум,
героически борющийся с плотью
и стягивающий чувства бинтами.
Не святоши, однако, и не святые,
любовь моя — тсс! — мы узнаем друг друга,
и для сердца это не лучшее время.
Все окажутся, одинаковые, однажды
в терракотовых емких сосудах,
обложенных дерном времени, и над садом
раскроются щупальца адской флоры.
Не заглядывай в лунные бельма глаз.

III

Плющ на гранях мрамора ветками
в ядовитых черных ягодах. Рим, чья стихия —
волны времени и таинственные реки,
ты колышешься и в моем отраженье,
зыбкой тени, отделяющейся от меня,
чтобы корни пустить в тебе, столица души.
В твоих морских глазах, цветах чемерицы,—
изумрудное безумие, роднящее нас.
Ястреб, распластанный против солнца,—
как простертые объятия. Расцветает
глубинный наш поцелуй. Ты хватаешь воздух,
под ногтями песчинки — наследье речных наносов.

IV

После болезнетворных дождей
плющ лоснится на каменном дорожном столбе,
сулившем негу в палатах из ноздреватого камня.
Цветущая липа и терпкие почки пиний
проверяли мою восприимчивость к запахам,
ничего не поделаешь, недоступным:
виноваты абсурдные перепонки,
делающие неслышным благоуханье
в этом волшебном архиве природы.
Больная вода исправно плодит насекомых,—
так бык оставляет в семясборнике семя
для заочных зачатий, совсем прозаичных, совсем...

V

Что ни лето, Вилла — арена пожаров,
одного за другим, плющу приютом прохлады,
заменой природы делаются вазы
и — в древней кирпичной кладке — щели.
Мы поняли: с ангельскими лицами проще
выдавать легковерным безбожный обман за правду.
Ты дразнишь город абрикосовыми соска́ми,
вписываясь в заросли, в их густую тайну.
Ветер, очерчивающий плавный твой силуэт,
впитывает запах плюща, по грязным камням —
звяк, звяк — стучит на закате железным крюком
ледовщик в кожаном фартуке.

VI

Снег переламывает ветки, загоняет нутрий
в прудовые норы, плющ усыпили снежинки,
корни набухают соком — идиллия.
Ледовщик невзначай выворачивает крюком
булыжники, поднимая при этом веер
мертвенных брызг. Загарпунивает наши
зябкие тени. Вилла — мое зимнее море.
Жизнь воды, неожиданные разливы, черная
реторта для получения жизни из жизни:
поспеши — тянет щупальца мокрый плющ.
В сапожках ты пританцовываешь от стужи,
выбирая, где посуше. Пари́т голодная чайка.

VII

Больные пинии, под которыми плющ
разводит узоры, желтеют, окисляются
в призраков, кандидаты на рубку.
Ветки плюща не пугает чужая смерть,
они прочли по нашим глазам наши мысли,
я убедился в том, вернувшись на Виллу.
Ледовщик появляется из пучин,
где гниют самоубийцы под решетками
древних акведуков, плющ полощется там же.
Вода стекает каскадом, переливаясь
из чаши в чашу, лебедь, скользя по ряске,
смазывает отраженье Венеры.

VIII

Май проявится в ягодах, в чахлых ветках,
вкусивших кислых дождей, выхлопного свинца
убийственного для исполинских кедров.
Май проявится в зеленой мякоти, в терпкости,
вяжущей десны тебе, ты весенний плод,
да-да, ты мое создание, ты миндаль,
уставший цедить молоко из жестокой земли.
Плющ пышнеет, давая новые листья,
предусмотрительно прячет зрелище смерти
от беззащитных радужных лепестков.
Надо же, сколько любви на опаре праха
среди пыльных пальм и сухих фонтанов!

IX

Юго-западный ветер напоминает о море
африканскими, серебряными от бабочек-молний
облаками, плющ вбирает в себя подземные гулы,
корни пиний корчатся от напряженья,
а кисточки игл сметают покрывшую Рим
смертельную патину. Покайтесь,—
стонет ветер над крышей дворца Альгарди,
а в дворцовых залах призраки друг сквозь друга
проходят, понятия не имея о свитке грехов,
развернутых ветром аж до ватиканской башни,
откуда пинии видел и стены хороший папа [1].
Близость Святого Петра — подарок для Виллы.

X

О Вилла, одно из слагаемых Рима, пойма
Олимпийской дороги с ее бешеными скоростями
и пробками, с памятными вдоль обочин дощечками,
на которых вянут привезенные матерями цветы,—
скольким еще суждено разбиться в рассветной дымке!
Плющ не терпит, когда его обнюхивает собака,
реагирующая рычаньем на напряженье земли,—
ядовитые ягоды мстят беспардонной твари.
Ты не признаёшь любви, доверившей корни
неокрепшие саду, засеянному гудроном,
меж тем как в темноте, под выхлопы и вопли,
ждет ледовщик-заморозчик вот уже три века.

XI

Едва полицейский прожектор обшарит Виллу,
деревья взвешивают дневные напасти:
прибавилось плесени, грибков, паразитов,
выросли новые наметы пыли.
Ледовщик отмывает кожаный фартук
от смертельного пота, вялые утки тупо
копошатся клювами в перьях крыльев,
качается на стебле плюща филин.
С кожи фартука грязь, растворяясь в пруду,
рыбок влечет, не уступающих ленью истории,
неповоротливой, безразличной к зайцу в кустах,
полусъеденному бродячей собакой.

XII

Улицы Аурелиа, Монтеверде, Форначи
вели к опоясанной высоченной стеною
Вилле — к вашим воротам, к конюшням.
Для стольких ваше имя звучит абстрактно,
мы — другое дело, мы вправе остаться,
расцветают для нас полевые ромашки,
плющ укрывает нас, как надписи на могилах,
калькирует имена, резьбу пронзенных сердец.
Из школы в зелени появляется группа
монголовидных детей, хромой кузнечик волочит
крылья, тлеет изъеденная древоточцем кора,
в кустах разлагается дохлый пудель.

---

[1] Очевидно, подразумевается Анджело Джузеппе Ронкалли, занимавший под именем Иоанна XXIII папский престол в 1958—1963 гг. *(Прим. перев.)*

Из бесед в редакции

ЭРОТИКА И ЛИТЕРАТУРА

В последние два-три года наш журнал опубликовал несколько произведений, признанных за рубежом современной классикой. Они привлекли особое внимание читателей и, прямо скажем, получили неоднозначную, подчас и резко отрицательную оценку. При всем своеобразии, эти произведения (речь идет об «Улиссе» Джеймса Джойса, «Лолите» Владимира Набокова [1], «Тропике Рака» Генри Миллера и «Любовнике леди Чаттерли» Дэвида Герберта Лоуренса) объединяет попытка художественного освоения проблем любви, пола, эротики.

Вот почему одна из бесед в редакции была посвящена теме «Эротика и литература». В ней приняли участие Виктор Владимирович Ерофеев, Дмитрий Владимирович Затонский, Алексей Матвеевич Зверев, Валерия Спартаковна Нарбикова, Антон Борисович Никитин, Николай Максимович Пальцев, Карен Ашотович Степанян. Вел беседу главный редактор журнала Владимир Яковлевич Лакшин.

В. Лакшин:

«Поговорим о странностях любви,—
Другого я не смыслю разговора...»

Скажу несколько слов, чтобы дать толчок к возможному движению беседы. До недавних пор в нашей цензуре, не только официальной, но и редакторской, было, в сущности, три конька. Один — это политическая цензура, связанная с упоминанием или трактовкой известных лиц и событий, другой — цензура, определявшаяся некоторыми тонкостями национального вопроса, национальных отношений и предпочтений, и третья — цензура, связанная с эротикой, темой секса, можно сказать, и с темой любви, потому что тут иногда трудно наметить демаркационную границу. Как известно, «Иностранная литература» напечатала в последние годы, когда я еще не имел чести быть ее редактором, а был лишь читателем, несколько произведений на грани риска — в отношении ходовых понятий об общественных «приличиях». По поводу этих публикаций мы получаем письма, и, прямо скажу, письма встречаются и одобрительные, и довольно разгневанные.

Читатель волнуется. Волнуется в связи с проблемой границ, до которых возможна откровенность в изображении любви в художественном произведении. Должен признаться, что сам я человек старомодных понятий и кое в чем готов заранее согласиться с возмущенным и возбужденным читателем. Но с другой стороны, сам перед собой я ставлю вопрос: а что, если такого рода откровенности современного искусства есть элемент художественного замысла писателя? Разумеется, если это не что-то, сделанное исключительно ради эпатажа читателя и не имеющее, так сказать, односторонней задачи возбуждения низких чувств. Думаю, тогда этот вопрос решается несколько сложнее. И рассматривать его надо, по-видимому, в историческом контексте.

Возьмем суждение критики, прозвучавшее 125 лет тому назад по поводу одного из произведений русской литературы, признанного классическим. Речь идет о драме Островского «Гроза». В ней, как вы помните, была некая любовная — и вполне целомудренная — сцена в овраге, страшно смущавшая воображение критиков. Вот как они отзывались об этой сцене. «Эротизм доведен был в комедии «Воспитанница» и в драме «Гроза» до самого, казалось бы, крайнего, до самого циничного выражения,— писал журнал «Современная летопись» в 1865 году.— Самое смелое воображение не могло пойти, казалось бы, дальше по пути изображения в искусстве человеческих пороков и страстей. Но талант господина Островского, как видно, неистощим в этом отношении». А далее, разбирая пьесу «На бойком месте»,— если помните, это сцена в трактире,— критик говорил, что в смысле эротизма автор остановился только у самых геркулесовых столпов, за которыми уже начинается царство маркиза де Сада с братией.

Как видим, движется жизнь, эволюционируют нравы — и публика, человеческие, зрительские, читательские симпатии и пристрастия сильно меняются. То, что представлялось еще вчера невозможным, сегодня кажется нормальным или по меньшей мере более терпимым, а то, что казалось даже опасным по своей фривольности, выглядит пресным и недостоверным. Наш век, по-видимому, приучил нас, что само изображение чувства требует известной степени точности

[1] Опубликована в Библиотеке «ИЛ». *(Здесь и далее — прим. ред.)*

и конкретности в показе возникающих между людьми отношений, не одной психологии, но даже и физиологии. Только вот вопрос: есть ли тут какие-то границы, существуют ли они и есть ли ограничители, пределы этой откровенности? Не решаюсь, предваряя дискуссию, категорически ответить на этот вопрос и ставлю его перед почтенным собранием. Задумавшись недавно над этими темами, я нашел себе неожиданного союзника в лице Олдоса Хаксли, небольшой роман которого «Гений и богиня» журнал напечатал в этом году, в пятой книжке. Герой романа рассуждает так: «...все-таки груб наш язык. Если умалчивать о физиологической стороне эмоций, грешишь против фактов. А если говорить о ней, это выглядит как желанье прикинуться пошляком или циником. Страсть или тяга мотылька к звезде, нежность или восхищение, или романтическое обожание — любовь, всегда сопровождаются какими-то процессами в нервных окончаниях, коже, слизистой оболочке, железах и пещеристой ткани. Те, кто умалчивают об этом,— лжецы. К тем, кто не молчит, приклеивают ярлык развратников. Тут, конечно, сказывается несовершенство нашей жизненной философии; а наша жизненная философия есть неизбежный результат свойств языка, абстрактно разделяющего то, что в реальности всегда нераздельно. Он разделяет и вместе с тем оценивает: одна из абстракций «хороша», а другая «плоха»... Но природа языка такова, что не судить мы не можем. Иной набор слов — вот что нам нужно. Слов, которые смогут отразить естественную цельность явлений». И герой Хаксли находит, что таких слов просто нет в природе, что их надо выдумать, чтобы, с одной стороны, не слишком оскорблять человеческое воображение, а с другой — верно передать предмет изображения. Как бы там ни было, такая точка зрения кажется мне заслуживающей внимания.

Итак, есть читатели, которые негодуют на «Иностранную литературу», считая, что он рискует превратиться едва ли не в журнал «Плейбой». Нам не хотелось бы, чтобы эти издания путали. «Иностранная литература» — серьезный литературный журнал, кстати сказать, связанный с отечественной традицией в литературе. А отечественная традиция, я бы сказал, более целомудренна и строга в изображении любви. Но с другой стороны, журнал не может не давать представления о современном состоянии литературы в мире, разрушившей многие табу. Все стороны отношений людей, вплоть до интимных, могут изображаться таковыми, какими они являются взгляду автора или его воображению...

Вот на этом многоточии, при обилии вопросов я и кончаю свое краткое вступление. Надеюсь, здесь собрались большие знатоки, люди разных возрастов — практики и теоретики волнующей темы. «Имя этой темы — Любовь...» И я хотел бы, чтобы мы обменялись мнениями, совместно подумали, как нам общаться с читателем дальше, имея в виду сложность и деликатность проблемы.

А. Зверев: Я познакомился с читательскими откликами на роман Генри Миллера — негодующими и возмущенными. Не знаю, получены ли другие, но уверен, что преобладает именно такая реакция. И удивляться этому не приходится.

Решаясь на публикацию «Тропика Рака», журнал, конечно, отдавал себе отчет в том, что ломает один из самых устойчивых стереотипов общественной психологии, как, впрочем, и литературной морали в обыденном ее понимании. Это стереотип табуирования, умолчания, а верней, запрет на описание, даже упоминание множества явлений, относящихся, по терминологии Бахтина, к «материально-телесному низу». Согласно неписаному, но крайне строгому закону, обширнейшая область таких явлений для искусства как бы не существует, и уж если ее касаться, то позволительно делать это лишь посредством туманных намеков или метафорических ухищрений, а вот «реально, грубо, зримо» — ни в коем случае.

Часто приходится слышать, что мы в России как-то особенно целомудренны, сверх обыкновения стыдливы. Если иметь в виду принятые у нас литературные нормы, это действительно так. Но не думаю, чтобы в силу одних лишь особенностей национального характера. Гласные или негласные запреты тут тоже сыграли большую роль.

Мне вспоминается рассказ Ролана Быкова о том, как он играл роль скомороха в ленте Тарковского «Андрей Рублев». Добиваясь абсолютной исторической достоверности, Тарковский постарался раздобыть записи или реконструкции стихов, которые распевали скоморохи на ярмарках и празднествах в рублевские времена. Сделать это оказалось очень трудно, потому что записи были засекречены, словно протоколы генеральских совещаний. Но когда их все же удалось достать, выяснилось, что с экрана произносить эти тексты решительно невозможно: сплошь скабрезность и матерщина. А это между прочим наша седая древность, и скоморохи — носители фольклора, в котором, как известно, психологические особенности нации проявлены наиболее зримо.

Для фильма сочинили что-то частушечное, складное, бессмысленное, но зато безопасное в цензурном отношении. Сцена с блистательным Быковым была спасена, хотя это не облегчило судьбы картины (да и к сцене все равно придрались, так как актер, повернувшись к зрителям спиной, спускал портки). А о том, что у нас в XIV, в XV веках был сильно эротизированный фольклор (и при этом вовсе не рушились твердыни нравственности), попросту постарались забыть.

Меж тем такой фольклор столетиями жил и обогащался. Все мы в том ли, ином ли виде знаем русские сказки, собранные Афанасьевым, но мало кто догадывается, что даже академическое их издание неполно. Есть целый добавочный томик, выпущенный на Западе, а у нас доступный лишь по бешеным ценам черного рынка. Это записи сказок, услышанных в центральных русских губерниях от самого что ни на есть простонародья. И по щедрости эротической фантазии, по какому-то сверхреализму сексуальных образов они, по-моему, не имеют аналогов в мире. Рядом с ними, поверьте, «Тропик Рака» кажется чтением для девиц с Бестужевских курсов.

Скажут: ну, это фольклор, в литературе ничего подобного не наблюдалось. Но не так все просто и с литературой. И если бы не табу, в этом убедились бы все.

Кому, например, попадался хотя бы один неизуродованный текст Ивана Баркова? Что мы вообще о нем знаем, кроме того, что был он автором «срамных стихов», не печатавшихся, но в устной традиции исключительно популярных? Два года назад вышел первый том очень полного энциклопедического словаря «Русские писатели». Барков там не упомянут вообще, словно он не существовал.

А он существовал, и именно ему посвятил поэму Пушкин. Только не рассчитывайте найти эту поэму в самом фундаментальном собрании сочинений. Вот уже без малого два века «Тень Баркова» остается для читателя полулегендарным творением пушкинской озорной музы. Видимо, отечественная бумага не выдерживает таких текстов, и поэма ходит в списках с добавлениями и правками самыми фантастическими.

Она очень застенчивая, эта бумага, и когда надо напечатать пушкинскую же «Репутацию г-на Беранжера» (сочиненную, замечу, уже не отроком-лицеистом, но автором «Бориса Годунова»), строка, рифмующаяся с «Не из иных мы прочих, так сказать», публикуется в следующем виде: «Ты помнишь ли, скажи...», а подвиги, которые совершил в Париже «наш казак иль полковой наш поп», описываются так: «Морочил вас, к винцу подсев поближе, И ваших жен похваливал да...» Очень было бы любопытно взглянуть, скажем, на издателя Рабле, который выскребывает из «Гаргантюа и Пантагрюэля» не в меру шаловливые словечки, а то и целые главы. У нас же, оберегая нравственность, подобные вещи делают недрогнувшей рукой. И пребывают в уверенности, что национальному гению не подобает высказываться по-матерну.

Вспомнив, что таким же усовершенствованиям подвергались Толстой (дневники), Чехов (письма), да мало ли кто еще из классиков, с некоторым скепсисом начинаешь воспринимать трюизмы насчет благоговейной трепетности, которая останавливала перо русского автора, не позволяя когда нужно назвать вещи своими именами. О советском же периоде нечего и говорить. Целомудрие приказным порядком объявили непререкаемой нормой казенной словесности, после чего даже Шолохов опреснил лучшие лирические сцены «Тихого Дона», а литераторы рангом пониже обходились без столь опасных сюжетов, строя любовные эпизоды как продолжение битв за перевыполнение плана посевной. Молодой человек, вылезающий из койки в сатиновых трусах до колен, и его возлюбленная, стыдливо прячущая под подушку бретельки невидимого лифчика,— вот до недавнего времени типовой эрос советского экрана, а какой-нибудь «поцелуй на рассвете», вследствие которого получаются дети,— предел откровенности, допускавшейся в массовой песне «про любовь».

Мы росли, сызмальства усвоив, что все эротическое постыдно, неупоминаемо, литературно невоспроизводимо, и отводили душу в похабных анекдотах да соленых частушках, до которых после пятой-шестой бутылки доходило дело и в компании самых рафинированных интеллектуалов. Мы смотрели кастрированные западные фильмы (к примеру, «Конформиста» Бертолуччи — в нашем прокатном варианте это просто другая лента), читали изрезанные ножницами редактора-пуриста западные книги (допустим, роман Апдайка «Давай поженимся»), многое же и не читали, и не смотрели по той единственной причине, что герои в постели занимались тем, чем в постели занимаются испокон веку. Нам ведь для поддержания своей особенной стати надлежало вообще обходиться без постели, а уж коли улеглись, так ликовать по поводу вручения переходящего красного знамени родному предприятию.

Самое грустное, что эта «традиция», существуя десятки лет, сделала бесполость всего, признаваемого «высокой литературой», не только официальным требованием, но инстинктивно усвоенным убеждением многих и многих, кто считает определенного рода сюжеты уместными в анекдоте, но в искусстве недопустимыми. Могут возразить, что тут есть своя хорошая сторона,— вот, мол, отечественное искусство не захлестнула волна грубой эротизации, от которой лет двадцать назад понесла заметный ущерб культура Запада. Верно, не захлестнула. Однако эта волна все равно к нам докатилась, причем самой грязной своей пеной, следы которой остались не только на барахолках, где из-под полы торговали тошнотворной похабщиной, но в понятиях и нравах целого поколения, росшего в ту пору.

Не знаю, выдуман ли уже счетчик вроде гейгеровского, чтобы комиссия во главе с нынешним министром культуры не ошиблась, отделяя порнографию от просто эротики, но о бессмысленности запретов говорит сам факт, что потребовалась правительственная комиссия, занимающаяся такими вопросами. Запад переболел обсессией эротизма, как дифтеритом, и вернулся к нормальным представлениям. Мы же загнали болезнь внутрь, а теперь жалуемся, что она себя выказывает дикими сопутствующими явлениями, о которых выразительнее любой литературы расскажет милицейская сводка или криминальная хроника «600 секунд».

Реакция нашей публики на Генри Миллера для меня тоже сопутствующее явление такого характера. Из всех просмотренных мною писем лишь одно свидетельствует, что писавший прочел роман до конца. Другие одолели пять-шесть страниц и, споткнувшись о первую же фразу с прочерками, бросили книгу с уверенностью, что это эротический роман, и не более того, а значит, журнал, его опубликовавший, в погоне за выживанием опустился до уровня лубочных издателей, наводнивших подземные переходы инструкциями для кандидаток в валютные проститутки и альманахами под дразнящим заглавием «Соитие». Как это для нас характерно — отвергать, не познакомясь, протестовать, не вникнув, сигнализировать, не утрудив себя ни размышлением, ни добросовестным чтением.

А ведь если бы книгу прочли — не говорю, с интересом и сочувствием, но внимательно и беспристрастно,— сразу стало бы понят-

но, что это, разумеется, никакая не порнография, но факт искусства, причем очень значительный, оставивший в истории культуры неизгладимый след [1]. Я никого не призываю поклоняться Генри Миллеру, принимать его роман безоговорочно, я только хотел бы элементарной справедливости суждений. Лично для меня полторы страницы, на которых описано «падение» Анны Карениной, всегда будут эталоном прозы, затрагивающей такие сюжеты, а мастерство Набокова, умеющего сказать все, избегая чрезмерной конкретики, гораздо предпочтительнее, чем миллеровская шокирующая точность. Но речь не о моих предпочтениях, а о том, насколько эта точность оправдана и необходима, насколько ее требовала художественная задача. Возмущаться по поводу нецензурной лексики, не задумавшись, для чего она вводится,— дело, по-моему, совсем пустое.

Вводится она Миллером, полагаю, не для эпатажа, тем более не ради оригинальничанья. Он знал, чем рискует, печатая в 1934 году «Тропик Рака»; и действительно на долгие годы подвергся остракизму — при всей своей неофициальной славе. Ни материальных, ни карьерных выгод не извлек он из этого романа, заблокированного моральной цензурой. Публикуя «Тропик Рака», Миллер объявлял о своем разрыве с высокоинтеллектуальной литературой от Достоевского до Джойса, на которой он был воспитан и магию которой годами старательно постигал. Это был больше чем жест, это был поступок, продиктованный убеждением, которое можно разделять или не разделять, но игнорировать — нельзя.

А убеждение состояло в том, что эта «большая литература» утратила необходимую связь с реальностью и оказалась неспособной достоверно ее выразить. Не думаю, чтобы дело обстояло так скверно, как представлял себе Миллер, называя тогдашних литературных кумиров — и Элиота, и Пруста, и даже близкого себе Лоуренса — пророками, которых никто никогда не услышит, как не думаю, что есть необходимость защищать их от жестоких нападок этого самонадеянного американца. Но в том, что Миллер воплотил нечто действительно новое для своего времени, сомневаться, мне кажется, трудно. А этим новым было ощущение полной мертвенности окружающей жизни, ее непреодолимой анемии или — как выразились бы бесчисленные современные последователи Миллера — энтропии (кстати, программный рассказ самого талантливого из миллеровских учеников, американца Томаса Пинчона, так и назван — «Энтропия»). Для постмодернистской литературы подобное ощущение сделалось не только исходным, но и конечным, чего у Миллера не было. В романах Миллера оно выглядело травмирующе необычным — не само по себе, конечно, но в силу своей последовательности и бескомпромиссности.

Упреки в цинизме адресовались Миллеру как раз литераторами, которые сами создали, как Элиот, очень запоминающиеся образы экзистенциальной катастрофы, какой в их восприятии оказался XX век. Но для них всегда оставалась некая «ниша»: для одних ею была вера, для других — искусство, еще для кого-то — сознание непрерывности больших традиций культуры. Для Миллера подобной «ниши» в духовном, в интеллектуальном опыте его времени не существовало вообще. Он видел перед собой мир, утративший всякую способность к созиданию, перед его взором лежали — в самом буквальном смысле — одни руины всего, что некогда составляло жизнь духа. И вот этот мир он воссоздал с яркостью, по-своему уникальной.

На такой почве и зарождался вызывающий эротизм его книг: как вызов омертвению, как утверждение жизненосного начала в самых вечных, простых, примитивных формах. Мы все прикидываем, до какой черты он позволителен, ищем грань между «можно» и «нельзя», но мало задумываемся о причинах, вызвавших столь яростный бунт против благопристойности. А критерий, думаю, один — художественная необходимость. Когда им поступаются, выходит либо дешевый эпатаж, либо губительный компромисс с целью утихомирить негодующих моралистов. Самый выразительный пример такого рода — экранизация набоковской «Лолиты», сделанная опытным и умелым режиссером Стэнли Кубриком. Героине в этой ленте набавлено несколько лет, чтобы не распалять возмущение публики, а все ключевые сцены елико возможно смягчали и вуалировали. Получилась заурядная картина о джентльмене из породы мышиных жеребчиков и девице, которая вертит им как захочет. Набоков тут был ни при чем.

Н. Пальцев: Позвольте сделать небольшое уточнение. Не могу до конца разделить точку зрения Алексея Матвеевича. Действительно, в киноверсии набоковская Лолита заметно повзрослела, а ее отчим Гумберт заметно помолодел. Но вряд ли правомерно относить это обстоятельство за счет строгости британских эстетических нравов. Все обстоит проще: ведь фильм Кубрика делался в Голливуде, а голливудские каноны допустимого и недопустимого, «дозволенного» и «недозволенного» на экране, регулируемые по части морали и нравственности так называемым кодексом Хейса, были на рубеже 50—60-х не в пример строже литературных. Отсюда и почти классический адюльтерный треугольник: сорокалетний герой и семнадцатилетняя героиня.

А. Зверев: Пожалуй, соглашусь. Замечу только, у себя мы достаточно насмотрелись тех же смехотворных стараний сгладить, приглушить, закамуфлировать. Поговорите со старыми театралами: они вам расскажут, как начальственным указанием удлиняли балетные пачки и требовали, чтобы Нерон появлялся на сцене в панталонах ниже колен. Сакраментальная формула: «На чем молодежь воспитываем!» — все еще обладает мистической властью над нашими умами, призрак порнографии мерещится нам на каждом шагу. Что же удивляться нервическому отклику на «Тропик Рака».

Но если говорить о книге всерьез, то, конечно, не в привычной системе «можно» — «нельзя», а с пониманием, что в наш обиход вошло явление крупное и необычное. Допускающее самое разное к себе отношение, может быть и категорическое непри-

[1] См. также эссе Генри Миллера «Размышления о писательстве». «ИЛ», 1991, № 8.

ятие. И не допускающее только одного — подмены, упрощений, попыток уравнять яркую прозу с низкопробными поделками, предназначенными для стареющих ловеласов.

Тем, кто, справившись с шоком от первых страниц, дочитает «Тропик Рака» до конца, доказывать, уверен, ничего не нужно. Зачем доказывать очевидное? О Париже написаны горы книг, но миллеровский Париж незабываем, потому что не похож ни на чей другой. Любовь — вечный сюжет, но кто до Миллера умел так сочетать обезоруживающую откровенность, грубость, предельную правдивость любовных сцен с щемящей поэзией, которая растет вот уж поистине из самого невзрачного сора будней. Одномерность персонажей доведена до рискованной черты, но рядом с этим намеренно примитивным, шаржированным изображением как не распознать штрихи необыкновенно изощренного пера, которому доступны и сколь угодно тонкий психологизм, и лаконичная выразительность описаний. Да, наконец, не так уж много в наш век появилось книг, где воссоздан не меньше как целый пласт действительности, никем прежде не замечавшийся.

Мне приходилось слышать, что на нашей почве Миллер не приживется. Это очень сомнительно. Только что у нас напечатан «Распад атома» Георгия Иванова [1], литературный этюд 1937 года, имеющий очень много общего с «Тропиком Рака». Присутствие Миллера во многих произведениях нашего «андерграунда» конца 70-х годов для меня вне сомнений. И я даже думаю, что это присутствие станет еще нагляднее. Причем дело тут не в потенциальном литературном влиянии Миллера, а в том, что наша будничная жизнь обретает все более разительное сходство с той будничностью, которую он описал более полувека назад.

Впрочем, я не любитель прогнозов, и мне кажется, что сейчас нам нужно просто осознать, что такое Миллер. А нужен ли он нам, покажет время.

К. Степанян: Хотелось бы немного повернуть сегодняшний разговор, ибо есть еще одна важная грань обсуждаемой проблемы. Мы говорили до сих пор о табуировании, о границах допустимого, о том, насколько литература может доходить до геркулесовых столпов (которые, конечно, все время отодвигаются) в изображении тех или иных сторон жизни. Мне кажется, что вопрос может быть поставлен и по-другому: что является и может являться объектом внимания литературы? Здесь нужно сказать о двух типах сознания: русском и западном, коснуться религиозного сознания в первую очередь. На достаточно долгое время мы были вынуждены отойти от объяснения национальной психологии религиозными основами, но теперь возвращаемся к истине, которую ни один из серьезных мыслителей не отрицал: национальная психология, национальное мироощущение основаны на религиозных началах даже в тех случаях, когда люди этого не осознают. И вот мне кажется, что различие между этими двумя типами сознания, которое важно в свете нынешней дискуссии, заключается в следующем (естественно, я чересчур огрубляю, это приходится делать при таком беглом рассуждении). Для западного сознания религиозная и вся остальная жизнь — разделены. С этим мне не раз приходилось сталкиваться в общении с западными литературоведами и критиками, которые многие наши рассуждения о литературе считают далеко выходящими за пределы профессионального разговора, относящимися к сфере религиозной, политической, межнациональной и т. п. Для реализации религиозной сферы жизни человека, считают они, существует церковь. Посетил церковь, помолился, свои духовные проблемы оставил, вышел — и дальше начинается иная жизнь. Для русского сознания религиозным мироощущением пронизана вся жизнь, целиком. Все бытие, начиная от самых бытовых подробностей и до высших взлетов духа,— это отношения человека с Богом, ибо человек пребывает перед Божьим взором всегда. Для верующих вся жизнь — молитва, для неверующих — противостояние, но Бог (а не собственная личность) так или иначе находится в центре этого мира. Частной жизни как таковой практически нет, да она и невозможна, ибо если весь мир — Церковь, то нет и не может быть ни одного ее аспекта, который имел бы смысл и значимость вне этой вселенской системы координат. Стяжание Святого Духа — цель каждого человека (в понимании верующего), а потому никакого чисто земного, материального счастья, не основанного на радости духа,— не существует. Но благой парадокс в том, что и неверующие были в нашем Отечестве тоже духовны и к земным радостям тоже мало стремились: я говорю о тех, кто были прежде всего богоборцами, стремились заместить собою Бога, а в быту были либо аскетами, либо уж во всяком случае, не задумываясь, могли бросить все богатство в грязь, в печь, в воду — ради духовного торжества. Среди них могли быть и преступники, и тираны.

Следовательно, русское сознание развивается, можно сказать, вовне. То есть для реализации человека ему нужна реализация в обществе — вплоть до самопожертвования личности, отдачи всего себя обществу. Это может быть, впрочем, и стремление к захвату власти над обществом — но тоже по большей части для того, чтобы направить людей по наикратчайшей дороге к счастью. Для западного сознания самореализация и самоосуществление человеческой жизни происходит внутри — в частной жизни частного человека, которая в лучшем случае приготовляет человека к приходу в церковь в качестве примерного прихожанина. И коли так, то личное преуспеяние и личная удача в жизни могут становиться определяющими, даже получать положительную, нравственную «санкцию истины».

Отсюда протестантская этика и иные теории, гласящие, что честное личное преуспеяние есть знак божественности, отмеченности человека божественной милостью, во всяком случае — свидетельство верного исполнения человеком своего долга на земле; отсюда же — убежденность весьма и весьма многих просвещенных людей в том, что человек, проживший жизнь в свое удоволь-

[1] «Литературное обозрение», 1991, № 2.

ствие, уже одним тем оправдан перед Богом. В этой системе ценностей эротика, эротическая сторона жизни становится уже важным моментом, на котором человеческое сознание может останавливаться.

От этого может очень многое зависеть для человеческого представления о себе, для самоощущения и, соответственно, его положения среди людей. Отсюда закономерно и естественно внимание литературы к этой стороне жизни — ибо литература дана человеку затем, чтобы лучше осознать себя и свое положение в мире; в данном случае, по точному выражению из романа «Любовник леди Чаттерли», «искусно написанный роман откроет нам самые потаенные уголки жизни. Потому что прежде всего потаенные уголки нашей чувственной жизни должны омыться и очиститься волной чуткого понимания и сочувствия». Это вполне благородная задача, и потому эротический роман (то есть роман, в котором главным объектом внимания является сексуальная жизнь героев) может быть вполне художественным и жизненным (живым и необходимым жизни) в западной литературе.

Для русского же сознания и, соответственно, для литературы, насколько мне представляется, эта сторона жизни проходила преимущественно или в форме сублимации — немало чрезвычайно эротических сублимированных сцен можно вычитать у Достоевского, если подходить с этой точки зрения; или же оно, сознание, ее вообще проскакивает, ища за этой стороной жизни нечто более глубокое, то, что, может быть, и не найдешь никогда, но не стремиться к этому невозможно: это либо разгадка тайны вечной Женственности, либо — чаще всего — поиск той половины, что предначертана тебе Промыслом и не найти ее нельзя. Если же человек застревает на стадии «чистой» эротики — он просто гибнет, проваливается в какую-то зловонную яму, умирает дух, гаснет личность (вспомним Куприна, Бунина, и у других русских классиков немало подобных примеров).

Я думаю, литературная традиция — это нечто чрезвычайно мощное и сильное, коль скоро она выходит из глубин народного мироощущения, религиозного и национального, она определяет мировосприятие и писателей, и читателей, определяет и мое мировосприятие — человека не русского, но воспитанного во многом под влиянием русской культуры. Поэтому для западного читателя роман Лоуренса может быть вполне жизненным, я же не могу отделаться от ощущения (возможно, неверного), что сексуальная сторона жизни подавляет тут все остальное, и отношения между людьми, оценка человека зависят лишь от того, насколько хорошо с ним (с ней) в постели. (Тут мне приходит в голову аналогия с нынешними «патриотическими» произведениями нашими, в которых уже национальная принадлежность полностью определяет ценность или никчемность человека.)

Возникает вопрос: насколько благотворна эта национальная традиция и не стоит ли с ней сейчас, в эпоху перестройки, побороться,— выходя на мировую арену и т. п. Сейчас вообще довольно часто приходится слышать, встречать в печати рассуждения о том, что русская литература всегда была чересчур идеологизирована, всегда была зажата идеологическим прессом — раньше она проповедовала одни идеи, потом, после революции, другие, а не просто художественно отражала жизнь. И вот наконец мы получили свободу и литература должна развиваться по естественным канонам, быть чисто художественной, чисто эстетической (и художественно-эротической в том числе).

Я же считаю, что даже понятие художественности в русской литературе отличается от общепринятого понятия художественности именно тем, что понятие художественности в русской литературе включает в себя в качестве обязательного компонента некую идеологическую установку, направленную на просветление души читателя, на приближение его к пониманию абсолютной истины и своего долга в этом мире. Без такой идеологической доминанты любое произведение русской литературы будет в конечном итоге мертворожденным и в национальную классику не войдет.

Конечно, все то, о чем я говорю, может быть использовано и во зло. Идеологические установки официальной советской литературы десятилетиями убивали и ее, и читателей, да и вообще ориентация личности на общественные ценности и на реализацию вовне может иметь как положительное содержание, так и чудовищно-отрицательное, чему мы были свидетелями на протяжении многих лет, когда вся структура мироощущения была искусственно спроецирована на советские ценности. Но тут надо различать идеи благие и идеи ложные: век ложных идей короток, и при свете истины всё их оборотничество рассыпается. А литература, стремящаяся ответить на главные вопросы мироздания, не только, по-моему, не исчерпала себя, но более того: скоро человечество потребует именно такой литературы.

Возвращаясь же на нашу почву, хочу процитировать несколько фраз из письма Гоголя к Шевыреву: «Поверь, что какое ни выпусти ныне художественное произведение, оно не возьмет теперь влияния, если нет в нем именно тех вопросов, около которых ворочается нынешнее общество, и если в нем не выставлены те люди, которые нужны теперь и в нынешнее время. Не будет сделано этого, его убьет первый роман, который появится из фабрики Дюма». Я не думаю, что речь здесь идет только о вторичности — в том смысле, что если мы будем следовать Западу, то будем лишь плохими копировальщиками. Нет, мысль Гоголя глубже: если произведение русского писателя будет не в русле национальной традиции, оно не сможет быть значительным и будет уступать любому качественному произведению западной литературы, созданному в русле собственных традиций и потому жизнеспособному.

Вот, скажем, «Любовник леди Чаттерли» — типично эротический роман в том понимании, о котором шла речь: это роман о частной жизни частных людей (все разговоры героев о социализме, о классовых противоречиях и прочем выглядят как скучный довесок или как беседы чеховских мещанок о перспективах войны турок с австриями — потому что они, герои, *этим не живут*, вернее, живут не этим). Это роман о

людях, замкнувшихся в себе, своей внутренней жизни, ощущающих все общество вокруг себя чудовищно враждебным и жестоким по отношению к себе, мир этот постоянно надвигается на них, и не случайно окружающие люди порой представляются героям каким-то «скоплением» частей человеческого тела. Но при этом данный роман — вполне художественное произведение, и, думаю, современным читателям покажется «душевней» многих нынешних высокоэстетических созданий отечественных авторов, отрицающих идейность в литературе.

Что же касается «Тропика Рака», то, несмотря на его устрашающую лексику, этот роман эротическим я бы не назвал. Воспользуюсь очень кстати прозвучавшим здесь упоминанием русской традиции скоморошества и отказа — в частушках — от всяческих табу. Но ведь при этом скоморошьи песенки и частушки направлены не на переживание, осмысление или тем паче смакование эротической стороны жизни, их цель иная (я имею в виду некую подсознательную, метафизическую цель, помимо внешней, смеховой): называя веселым, смеющимся, светлым словом (а не со злобой, как в ругательствах) те действия и те части человеческого тела, которые наиболее подвластны воздействию темных сил, воздействию дьявола, тем самым выводят их из-под этой власти, выводят из сферы темного, запретного на свет, возвращают и им принадлежность к этому светлому миру. То же по существу делает и Генри Миллер, и за это благодарны ему и понимающие читатели, и те авторы, которым он открыл дорогу (правда, тончайшую — необходимую тут — грань вкуса и такта соблюсти и ему, и им удается не всегда, но это уже, как говорится, другой вопрос). Понимаю некую смехотворность ситуации, когда мы вынуждены говорить как о современных о вещах, написанных столько лет назад, но они лишь сейчас до нас дошли — и будут восприниматься публикой как современные.

И если мы обратимся теперь к действительно современной нашей литературе, мы не почувствуем особой временно́й дистанции. Те же проблемы. Я читал три произведения присутствующей здесь сегодня Валерии Нарбиковой: «Равновесие света дневных и ночных звезд». «Около эколо» и «Пробег — про бег». Первое из них — и лучшее, на мой взгляд — как раз относится к этой скоморошьей традиции карнавального *называния* всего и вся. И еще: мне уже доводилось несколько лет назад писать об этой повести — дебюте Нарбиковой, об ее отчаянном богохульстве как о богохульстве отчаяния — в условиях кризиса доверия к слову (в результате фальшивых славословий) как таковому, проверить, до какого предела обесславливания слова допускает дух. Но одних этих задач надолго — в нашей действительности — для писателя не хватит, и вот в «Около эколо» Нарбикова сделала попытку соединить несоединимое — написать традиционный эротический роман, своего рода «Любовника леди Чаттерли» в московском контексте, и ввести при этом, грубо говоря, экологическую проблему — она-де добавит произведению идейную нагрузку. По-моему, вышло неудачно. А вот «Пробег — про бег» уже вообще, на мой взгляд, ближе к традициям русской классики — общественная жизнь и личная жизнь героев даны как объективно нераздельные, как бы они, герои, ни жаждали разделения. В нашей жизни еще очень долго нельзя будет разделить это (во благо или во зло — каждый пусть решит для себя).

Что же касается «Русской красавицы» Виктора Ерофеева, то, когда я начал ее читать, вещь эта поначалу показалась мне — в той ее части, которую можно назвать эротическим романом,— довольно скучной, до тех пор пока я не дошел до фантастической идеи героини о расколдовывании русской судьбы с помощью столь странного действа. И тут уже завертелось такое — с каждой страницей все разрастался комплекс идей, аллюзий, смысловых и образных сочетаний, смеси боли и ерничества, вплоть до высокого юродства,— и я понял, что читаю произведение русского человека, произведение, написанное в России русским писателем. И сразу же вся эротика куда-то уходит, ты ее уже просто не замечаешь. А к финалу попросту забываешь о ней, думая, к каким же проблемам русской ментальности и вообще человеческого космоса выбрался автор, может быть сам того не ожидая,— просто потому, что и сам, и его читатели в этой традиции живут.

Заканчивая, хочу повторить, что вопрос, нас сегодня занимающий, должен рассматриваться и в такой плоскости — насколько это возможно для критиков,— в плане некоей общей перспективы развития литературы и вообще духовности, с учетом национальных традиций.

Д. Затонский: Мне бы хотелось слегка поспорить с Кареном Ашотовичем.

Вообще-то я согласен с тем, что существует некое западное и некое русское сознание. Более того, я бы и западное не рассматривал как монолитное: скажем, испанцы — это нечто совершенно отличное от немцев. В чем-то испанцы, кстати сказать, ближе к русским, чем к иным европейцам. И все-таки мы делим так: Россия — Запад. Себя-то мы более или менее знаем, а прочих представляем себе несколько приблизительно и оттого — суммарно. Боюсь, и там все много сложнее.

Алексей Матвеевич упомянул здесь о крайней скабрезности «куплетов», которые распевали встарь русские скоморохи,— они и современного западного человека (казалось бы, ко всему притерпевшегося) способны вогнать в краску. В русской глубинке и по сей день в ходу частушки, превосходящие своей охальностью всякое мыслимое неприличие. Может, это и скоморошья традиция, а может, совсем наоборот. Кто сейчас скажет, где тут курица, а где — яйцо?

Мне нетрудно представить себе автора одного из возмущенных писем в редакцию сидящим на завалинке и распевающим охальные частушки,— пусть не сегодня, пусть когда-то в молодости. Я не взялся бы за истолкование этого феномена, знаю только, что тяга к скабрезному и неприятие «Тропика Рака» друг друга не исключают, они лишь лежат в разных плоскостях.

Карен Ашотович высказал предположение, что называние всяческого «срама» как бы расколдовывает его и от него освобож-

дает. Думаю, мысль эта верна. Но мне и ее хотелось бы ввести в русло тут наметившейся полемики. В смысле называния сексуального ряда русская традиция и правда от западной отлична, скорее, однако, по форме, чем по содержанию. Это между прочим можно заметить на уровне перевода с западных языков на русский, или шире — на восточнославянские. К сожалению, я как-то не удосужился заглянуть в русский текст «Любовника леди Чаттерли» и не знаю, как там осуществлено это самое табуирование: как в «Тропике Рака» (то есть с помощью первой буквы и многоточия) или иначе.

Реплика: Там этого очень мало.

Д. Затонский: Мало, но есть. И коль скоро в глаза не бросается, переводчик, очевидно, прибегал к эвфемизмам. Я об этом вот почему заговорил: существует украинский перевод романа, опубликованный в журнале «Всесвит», и там все предметы и действия названы — безо всякого табуирования — своими именами. Но дело-то в том, что их называние на Западе (по крайней мере сегодня) никакого шока не вызывает. Соответствующие слова воспринимаются лишь как обозначения, а не как «ругательства». Это относится даже к глаголу, выражающему основное эротическое действо. Однажды я был свидетелем очень показательного в этом смысле эпизода. Место действия — банкет в одной из европейских столиц, действующие лица — творческая интеллигенция. Некий местный кинорежиссер, говорящий по-русски, рассказывает нашим дамам постельные анекдоты, не замечая, что они сидят пунцовые, закрывшись платочками. Сделать на этом основании вывод, будто наши дамы из артистической среды целомудреннее западных, было бы ошибкой: просто словоупотребление у нас иное, я бы сказал, более «испорченное».

Теперь, надеюсь, станут понятнее мои претензии к переводчикам: «терминологию» «Любовника леди Чаттерли», по моему разумению, табуировать следовало, а в «Тропике Рака» этого, напротив, делать не следовало. Подо всем, что сказал Алексей Матвеевич о романе Миллера, я готов подписаться: секс здесь и в самом деле не цель, а средство — средство разоблачения, если угодно, *эпатажа*. Отказ от табуирования цели этой служит, а значит, работает на миллеровский замысел. А что получается с «Любовником леди Чаттерли»? Карен Ашотович полагает, что герои романа Лоуренса заняты лишь самими собой и тем самым отрешены от мира. Но не менее важно понять, зачем им это понадобилось. Ведь плотская их любовь — своеобразная форма протеста, причем против того же обесчеловеченного мира, на который и Миллер ополчается. И это не только форма протеста, но и форма самозащиты: один из героев другого романа Лоуренса — «Радуга» уверяет, что враждебные друг другу мужская и женская особи, слившись в половом акте, образуют ангела. Взгляд, что и говорить, наивный, но определенности никак не лишенный. «Любовник леди Чаттерли» — это гимн божественной плоти, воспевание Эроса, тянущееся к античной, а может, и восточной традиции. Оттого снижающее, депоэтизирующее называние вещей своими именами в украинском переводе романа явственно работает (особенно в наших условиях) против лоуренсовской идеи.

Но попробую двинуться дальше. И выскажу мысль как бы парадоксальную. Сводится она к тому, что эротической литературы вообще не существует. Только нужно при этом всегда делать ударение на слове «литература». Мы все здесь, кажется, сходимся на том, что «Тропик Рака» — это литература, большая литература. А почему? Как-то мне довелось посмотреть фильм, сделанный по «Тропику Рака», старый фильм, еще черно-белый. По-своему он был поразителен и напомнил мне пародию Раскина и Слободского на «Бруски» Панферова, опубликованную еще до войны. Она была составлена из таких примерно фраз: «Шел Парамон, хвать Маньку — и в мякинник... Шел Агафон, хвать Дуньку — и в малинник...» В сделанном по Миллеру фильме все так и происходило: все там со всеми, пардон, совокуплялись, быстро-быстро... Скажут, а в романе разве не так? Нет, не так, потому что в фильме секс существовал ради самого себя, там вообще не было ничего, кроме секса, голого и неаппетитного...

Человеку, который искусства не чувствует, вообще нелегко объяснить, отчего эта книга хороша, а та дурна. Поэтому оставлю в покое фильм по «Тропику Рака», тем более что миссию свою он как бы выполнил: показал, что секс минус искусство есть просто порнография, в лучшем случае — эротика. Мне думается, поучительнее будет сопоставить роман «Тропик Рака» с романом «Любовник леди Чаттерли». Но не как искусство с искусством (потому что это может показаться спорным, а оттого и малоубедительным), а как идею с идеей. Ведь в каждом из этих романов присутствует секс, но присутствует и идея. Причем совершенно своя, никак из секса не вытекающая, скорее его в своих целях использующая. Это я и имел в виду, говоря, что сексуальной, эротической *литературы* просто не существует.

Я думаю, эту мысль важнее утвердить в читательском сознании, чем пойти, так сказать, читателю навстречу, заверив его, что он как читатель русский, обладающий своими вековечными традициями целомудрия, имеет право на отвращение к «Тропику Рака», на недоверие к «Любовнику леди Чаттерли», на подозрение к некоторым сценам в джойсовском «Улиссе». Тем более что причины отвращения, недоверия, подозрения кроются не только в русской стыдливости и религиозности. Ведь были еще семьдесят три года нашей всепобеждающей идеологии. Разве не она водила перьями авторов писем в редакцию?

И потом давайте-ка вспомним судьбу невинного в сексуальном смысле «Улисса». Роман этот запрещали: в Англии не издавали совсем, нью-йоркского издателя преследовали по суду; лишь парижане себе кое-что позволили, но тираж был мизерный... Миллера и близко ни к каким издательствам не подпускали. И происходило все это отнюдь не в эпоху средневековья или при императоре Наполеоне, а в 20—30-е годы нашего столетия. Воистину и на просвещен-

ном Западе процесс избавления от табу шел весьма и весьма постепенно.

Что же до советской идеологии, то она до последнего солдата обороняла бастионы нашего целомудрия: ведь речь шла о том, быть ли человеку отдельной личностью или всегда шагать в колоннах. Эротика — это занятие для личности, а не для коллектива (увы, существует и коллективный секс, но это лишь извращение). Вообще же в коллективе эрос неуместен, и коллективисты норовят затоптать его ногами.

Наш читатель не только от всего сексуального, эротического, а и просто от интимного последовательно и настойчиво отлучался. Владимир Яковлевич очень уместно цитировал здесь автора журнала «Современная летопись» за 1865 год, которого ужаснула «разнузданность» драматурга Островского. А все-таки, думается мне, современные наши хулители «Тропика Рака» выпестованы не столько им, сколько Ждановым, Поликарповым, Шауро.

В. Нарбикова: По-моему, самая замечательная мысль сейчас была высказана Дмитрием Владимировичем: эротической литературы не существует, существует либо действительно литература, либо просто порнография, а это совсем особый жанр. В этом отношении мне немного непонятно, что Генри Миллер и Лоуренс как бы ставятся в один ряд. Может быть, они могут быть совместимы, потому что напечатаны за довольно короткий срок в журнале «Иностранная литература». Однако Генри Миллер — это действительно великий писатель, гениальный писатель, а Лоуренс — это довольно средненькая литература, которая, правда, имела шумный успех в 30-х годах, но в которой, на мой взгляд, совершенно нет жизни. Я бы, может быть, немного грубовато, но назвала ее бульварной литературой, то есть такой литературой, которая «ходит» по бульварам. Ничего сколько-нибудь замечательного, художественного я в ней не вижу. Уровень этих двух писателей настолько разный, что сравнивать их несколько искусственно.

Генри Миллер имеет отношение к французскому писателю Селину. Вот если бы журнал напечатал «Путешествие на край ночи», это имело бы гораздо больше смысла...

В. Лакшин: Мы как раз и собираемся его печатать — в новом переводе и, конечно же, без купюр.

В. Нарбикова: А знаете, перевод Эльзы Триоле мне кажется совсем неплохим. Но в нем очень чувствуется табу. Вещи своими именами не называются, а откровенные любовные сцены опущены. Если бы читатель мог сравнивать двух таких писателей, как Миллер и Селин, разговор был бы более предметным. Мне кажется, эти два писателя близки между собой.

То, что журнал «Иностранная литература» получает такие письма, мне кажется совершенно естественным. Было бы даже странно, если бы посыпались письма: как прекрасно, что вы напечатали, и так далее. В сознании человека, и не только советского, но и человека европейской культуры — назовем его условно читателем,— никак не укладывается мысль, что литература и жизнь — две совершенно разные реальности. То, что происходит в литературе, совсем не то, что происходит в жизни. В основном в жизни ничего такого не происходит. А все невероятное, «такое» происходит в литературе.

Когда читаешь о наркоманах или убийствах, это воспринимается как нечто из ряда вон выходящее — то есть человек проявляет к этому какое-то обостренное внимание. А в литературе то, что героя в конце убивают, то, что его возлюбленная травится, то, что у нее появляется любовник и начинаются бог знает какие сцены — все это воспринимается как реальность, однако она не имеет никакого отношения к жизни. Другое дело, что эта выдуманная, другая реальность, четвертая, пятая, не знаю, как ее обозначить, начинает очень сильно влиять на жизнь. И жизнь меняется под воздействием этой другой реальности.

Мне кажется, вот что произошло в XX веке: раскрепощение слов. Флобера судили за то, что он написал «Эмма отдалась». За одно-единственное слово. И еще. Если бы не возник кинематограф, литература не дошла бы до такой степени раскрепощенности, мне кажется. Но в кино — скажем, постель, любовники,—все это зримо, все это просто можно увидеть. Для литературы такое недоступно, потому что нужных слов для обозначения этого нет. Их приходится добывать. У Миллера все самые энергичные сцены — по существу эротические. Или именно потому, что они эротические, они и есть самые энергичные? Непонятно.

Вечные вопросы, которые человек задает себе в детстве: что такое женщина? что такое мужчина? что делают мужчина с женщиной, когда они друг друга любят? Присутствует ли в это время Бог? И выражается это инфантильным, примитивным, я бы даже сказала детским языком. Человек взлетел куда-то и начинает рассуждать на такие темы... Темы остаются вечными. И говорить о них легче совершенно детским языком.

Н. Пальцев: Снова, и может быть в самый неподходящий момент, я рискнул взять слово. Чуть позже станет ясно, почему мне показалось тактичным сделать это именно сейчас.

Обозначая тему сегодняшнего разговора, Владимир Яковлевич дал нечто вроде автохарактеристики, определив себя как человека старомодного. Позволю себе чуть-чуть задержаться на этом понятии, ибо в наше бурное, с непредсказуемой динамикой развивающееся время это понятие, как и многие другие, приобретает обоюдоострый, внутренне амбивалентный характер. Вот, скажем, опубликованное популярным еженедельником «Столица» (№ 2 за текущий год) афористичное высказывание нынешнего Председателя Верховного Совета СССР: «Кто в молодости не был радикалом, тот не имел сердца, а кто в зрелом возрасте не становился консерватором, тот не приобрел ума». Чем не исчерпывающее определение вполне конкретного рода «старомодности»,

даже шире — парабола ее? Точнее, парабола определенной модели старомодности — модели, признаюсь, не вызывающей у меня лично теплых чувств.

Существует, однако, и другого рода старомодность, которую издавна принято связывать с традиционным обликом российской интеллигенции в лучшем смысле этого слова,— старомодность стоического плана, включающая в себя, наряду с прочими моральными императивами, экзистенциальную потребность в случае надобности идти против течения, отстаивая принципы и ценности, в которые однажды и навсегда уверовал. Страшно подумать, что было бы у нас, если бы ныне, когда всем известные оракулы тоталитарного официоза гласно заявляют о том, что «не могут поступаться принципами», не было такой «модели» старомодности — модели в точном смысле слова общегуманистической. И был ли бы тогда вообще возможен тот труднейший процесс, в котором, каждый по-своему, мы сегодня участвуем: процесс обратного вхождения в мир общечеловеческих ценностей, возвращения утраченных ценностей национальной культуры, процесс введения в духовный обиход целого диапазона универсальных понятий, важнейшим из которых явилось понятие Бога.

Я, кажется, отклонился от темы нашего обсуждения. Но сделал это лишь для того, чтобы обозначить, сколь широкий круг вопросов неожиданно выдвинулся в последние годы и как легко в этом бурлящем потоке, в этом хаосе проблем растеряться, не найти себя художественному сознанию. Взять хоть сексуальную революцию, имеющую прямое отношение к нашему разговору, о которой официальными идеологами нам десятилетиями внушалось, что это — то, что имеет место исключительно «у них», в недрах «потребительской цивилизации», а к нашему благополучному обществу не может иметь никакого отношения. Так складывалась одна из достойных однозначного осуждения традиций нашего образа жизни — традиция умолчания о целом ряде вещей, присущих индивидуальному сознанию, в том числе сознанию эротическому. Молчать в средствах массовой информации, молчать в подцензурной литературе, искусстве — вспомним, к чему это привело?..

Исходный импульс нашей дискуссии задали несколько художественных произведений, опубликованных «Иностранной литературой» в последние два-три года. Меня не удивляет, что разговор сейчас группируется в основном вокруг романов «Тропик Рака» и «Любовник леди Чаттерли»,— о последнем, как человек, двадцать пять лет жизни которого прошли так или иначе под знаком имени автора этого романа, я мог бы написать не лишенное, рискну заметить, определенной занимательности автобиографическое эссе.

Я бы начал его с того, как, читая этот роман по-студенчески — под столом во время занятий, я столкнулся с конкретным воплощением тоталитарной машины — военной кафедрой Московского университета, где у меня попытались этот роман грубо отобрать; я рассказал бы о том, как во что бы то ни стало вознамерился сделать этот роман темой курсового, а затем и дипломного сочинения и как встретил ободряющее отношение научного руководителя (им была наш крупнейший специалист по английской литературе профессор Валентина Васильевна Ивашева) и молчаливое неодобрение кафедры, и так далее, и тому подобное.

Все эти детали не лишены, полагаю, определенного интереса, но не хочу задерживать на этом внимание собравшихся. Скажу лишь, не излагая по пунктам свою позицию в отношении романа Лоуренса (это мне довелось сделать в статье, написанной для журнала [1]): и на рубеже 90-х я ничуть не раскаялся в том, что сделал немногое, от меня зависевшее, чтобы дать этому роману у нас путевку в жизнь; я по-прежнему считаю, что он нужен советским читателям не только для того, чтобы составить представление о духовном климате Англии времен «потерянного поколения», но и для того, чтобы понять самих себя, живущих на других меридианах времени и пространства.

Возвращаясь к «сумме» публикаций «Иностранной литературы», ознаменовавших в редакционной политике журнала внутреннюю эволюцию в «перестроечном» направлении, замечу, что наибольшей победой представляется мне «Лолита» Набокова. Сегодня, когда «Лолита», благодаря редакции «Иностранной литературы», уже существует у нас в стране и обнаруживает тенденцию к переизданиям, я хотел бы обратить внимание собравшихся на одно обстоятельство, еще не нашедшее своего исследователя. Ныне уже есть надобность говорить о творческой истории «Лолиты» и процессе ее освоения нашим национальным сознанием. Нельзя не учитывать, что «Лолита», завершенная Набоковым в 1955 году, написанная по-английски и изданная в парижском издательстве «Олимпия пресс» (напечатать ее в Штатах в ту пору было никак нельзя), и «Лолита», рожденная под пером Набокова же на русском языке,— вещи совершенно разные. К ним стоит добавить и третью — кино-«Лолиту», поставленную Стэнли Кубриком по сценарию того же Набокова.

Тут мы вплотную подходим к еще одному вопросу, пока лишь мимоходом затронутому в ходе дискуссии. Речь идет об огромном влиянии, оказанном и продолжаемом оказывать на литературу искусством кинематографа. Говоря об изображении интимных аспектов человеческого существования, кто-то из выступавших (если не ошибаюсь, Валерия Спартаковна) мимоходом обронил мысль о том, что благодаря кинематографу это стало легко, а в литературе это труднее за отсутствием соответствующих слов, соответствующего языка. Я не взял бы на себя риск категорично утверждать, что в кино это легко. Если так, то стоит поставить уточняющий вопрос: в каком кино и с какими целями?

Общеизвестно, что в большинстве стран Запада цензурные запреты в области изображения эротических отношений были несравненно слабее наших, отечественных. Однако следует глубже вдуматься в самое понятие эротического. Ведь это своего рода

---

[1] См. «ИЛ», 1991, № 8, «Любовник леди Чаттерли» — роман и его творец. (И. Кон: С точки зрения сексологии; Н. Пальцев: По ту сторону сексологии.)

«пограничная» сфера человеческого бытия, в которой реализуется синтетическое самопроявление потенций плоти и духа. И духовное в сфере Эроса преобладает над физическим; можно даже сказать, что эротизм есть не что иное, как одухотворенная человеческая сексуальность. Иными словами, что такое стопроцентная любовная сцена, скажем, в кинематографе? Это своего рода идеал — идеал, который в живописи (я говорю не о технологии, а о целях искусства) был достигнут художниками эпохи Возрождения.

В дальнейшем драгоценное равновесие между человеком и средой, внешним и внутренним было необратимо нарушено. И, пытаясь подвести некоторые предварительные итоги необычайно значимого опыта авторского кино, логично приходишь к выводу, что эротическое существование персонажей, скажем Антониони, Бергмана, Бунюэля, Годара, Рене, Феллини, Фасбиндера,— это прежде всего демонстрация различных ипостасей отчуждения и разного рода попыток, чаще всего тщетных, преодолеть преграды на пути одного человека к другому. Быть может, лишь Андрею Тарковскому оказалось под силу осуществить в этой деликатнейшей сфере кинобытия прорыв к идеалу — в том эпизоде фильма «Зеркало», где героиня Маргариты Тереховой, испытывая высшее любовное наслаждение, воспаряет ввысь. И есть ли необходимость оговаривать, что это «воспарение» — сновидческое, галлюцинативное, экстатическое — происходит в сфере духовного?

Эротическое в человеческом существовании как ничем не заменимый ракурс отображения в литературе и искусстве всей широты реально существующих отношений — вот, на мой взгляд, наиболее плодотворное русло, по которому может развиваться наша дискуссия. И именно в этом русле заслуживают подробного рассмотрения трудности и проблемы, обусловленные моментом, который мы сегодня переживаем. Скажем, проблема адекватного языка для изображения физических отношений между любящими.

В произведениях Набокова нет ни одного — или почти ни одного — «неназываемого» слова, у Лоуренса такие слова были, больше того: его герои буквально одержимы стремлением назвать все своими именами. Мне понятны трудности, с которыми столкнулись нынешние переводчики «Любовника леди Чаттерли»: они встретились не то чтобы с отсутствием соответствующей русской традиции (традиция такая есть, другой вопрос, что существовала она веками как бы по ту сторону печатного станка), но с отсутствием предпосылок гладкого, беспрепятственного вхождения этого слоя лексики в наше привычное словоупотребление. А если говорить о достойных упоминания образцах того, что можно назвать «эротическим письмом» в русскоязычной литературе самых последних лет, то на память приходят в первую очередь произведения ныне широко публикуемого Александра Кабакова, а из писателей русского зарубежья — Сергея Юрьенена.

Нетрудно заметить, что задачи, перед которыми стоят оба этих автора (и, без сомнения, многие другие), суть разные варианты преодоления отчуждения, не обошедшего стороной и наш социум. А следовательно, это те же общегуманистические задачи, которые всегда стоят перед литературой и искусством. И с этой точки зрения, возвращаясь к публикациям «Иностранной литературы», я без колебания готов поставить знак равенства между книгами ни в чем, кажется, не похожих друг на друга англичанина Дэвида Герберта Лоуренса и американца немецкого происхождения Генри Миллера. Ибо созданное обоими относится к активу гуманистической культуры XX века под большим знаком плюс.

На наших глазах развертывается процесс вхождения в повседневный культурный обиход — притом на правах художественной литературы — многих философских текстов. Ведь именно так мы читаем сейчас Бердяева, так мы сейчас читаем Ницше, так мы сейчас начинаем читать Фрейда, дай только Бог, чтобы переводы были хороши. И даже приобщаемся к материям и именам еще более экзотическим. Например, событием последнего времени явилась книжная публикация в издательстве «Интербук» ряда произведений маркиза де Сада. Помнится, здесь присутствующий Виктор Владимирович посвятил ему в 1973 году статью «Метаморфозы одной литературной репутации». Алексей Матвеевич напечатал ее тогда в «Вопросах литературы».

Перефразируя заглавие этой статьи, я хотел бы предостеречь от опасности непредсказуемых метаморфоз этих общепризнанных писательских репутаций. Долг специалистов здесь — сделать все от них зависящее, чтобы эта проблематика усваивалась аудиторией во всей ее непреувеличенной сложности. Хотя в условиях нарастающей анархии издательского дела и книжного рынка задача эта трудновыполнимая. Не скрою, усиливающийся поток переводной книжной продукции тревожит меня прежде всего тем, что внутренне он совершенно недифференцирован.

Де Сад, скажем,— весьма непростой для перевода литератор. И дело не в количестве слов, считающихся у нас непечатными, а в философской стилистике его сочинений. Его публикация в нашей стране — сенсация, нет спора. А вот соответствует ли она требуемому для литературы такого ряда эстетическому и философскому уровню, в этом еще предстоит убедиться. Или другое. Не так давно все мы стали свидетелями того, как бойко идет продажа в подземных переходах очередного бестселлера — мемуаров Казановы. Что ж, налицо, судя по всему, еще один литературный памятник — правда, в неизбежно фрагментарном виде.

Как бы то ни было, от этого знакомства наш читатель только выиграет. Жаль лишь, что на книжных развалах такие книги соседствуют с «супербестселлерами»: «Секс в жизни мужчины» и тому подобное. И тут мы сталкиваемся с очередным невеселым парадоксом. Скажем, мемуары выдающегося итальянского авантюриста по тридцать пять рублей раскупают, а граничащий с гениальным фильм Федерико Феллини о нем же (с опозданием на полтора десятилетия он наконец-то появился в наших кинотеатрах) идут смотреть с прохладцей. В чем дело? Избранный автором сюжет недоста-

точно динамичен или манера чересчур сложна? Думается, ни то ни другое.

Еще один пример — из того же ряда. В Москве, в самых лучших залах, прошел кинофестиваль «Шедевры европейского кино, неизвестные в СССР» (несколько тяжеловесное название — естественно, эвфемизм для «европейского эротического кино»). Это был действительно смотр шедевров — от лент Луиса Бунюэля до фильмов Фолькера Шлёндорффа и Лилианы Кавани. Но — вот незадача — в большинстве случаев фестиваль проходил при полупустых залах. Как это понимать? Может быть, советский зритель пресытился первоклассным кинематографом? Или советское массовое сознание пресытилось эротикой? Трудно в это поверить.

Разгадка этого печального феномена, на мой взгляд, в очевидной, увы, неразвитости широкого зрительского вкуса и удручающем отсутствии квалифицированной рекламы и информации. Ведь и хорошие критики, и критическая периодика у нас есть, только почему-то и то и другое остается по-настоящему невостребованным...

И тут, мне кажется, самое время воздать должное журналу, в стенах которого мы собрались и который и в самые неблагоприятные времена не обходил молчанием новейшие явления кино, телевидения, театра, других искусств, связи которых с литературой намного теснее, чем может показаться. Ведь, скажем, что такое берущий за душу, способный на многое пролить свет и в нашей отечественной действительности фильм Кавани «Ночной портье», как не позднейшее воплощение определенной литературно-эстетической традиции — традиции, знакомой нам по «Гибели богов» Лукино Висконти и феллиниевскому «Амаркорду». Или, скажем, кинематограф Микеланджело Антониони, которого в полном объеме наши зрители еще не увидели? Когда о выпуске в прокат того или иного из его фильмов не приходилось и мечтать, «Иностранная литература» публиковала сценарии «Красной пустыни», «Забриски-Пойнт». То же справедливо по отношению к Ингмару Бергману, о произведениях которого еще труднее сказать, что это такое: литература или кино. Кино, как показывает международный резонанс подавляющего большинства его лент, гениальное. И литература, как свидетельствует вызвавшая несомненный интерес публикация его автобиографической книги «Laterna Magica» и небольшой сборник его сценариев, вышедший в книжном приложении к «Иностранной литературе», тоже большая. Сейчас по всей вероятности на очереди еще один крупнейший европейский художник с необыкновенно ярким дарованием и трагической, изломанной судьбой — Пьер Паоло Пазолини.

Вспоминаю, как притих ошеломленный зал, когда на сравнительно недавней его кино-ретроспективе перед глазами сидящих развертывалось нестерпимое — эпизоды страшных надругательств над человеческим достоинством (речь о последней работе Пазолини-режиссера «Сало, или Сто двадцать дней Содома», снятой по мотивам одноименного романа де Сада и воссоздающей сцены кровавого «реванша» наемников муссолиниевского режима над беззащитным населением одной из деревень на севере Италии). Вспоминаю и о том, что эта картина встретилась с ожесточенным сопротивлением цензуры, причем в таких «либеральных» европейских столицах, как Лондон. И все же, несмотря на это, никому не пришло в голову отлучать ее от большого кинематографа, а имя ее автора, сколь бы противоречиво ни было его творчество,— от большой литературы и большого искусства. И вот наступила очередь московской аудитории — если не принять во всем эту страшную ленту, то хотя бы познакомиться с ней...

Говорю об этом в связи с неоднозначным приемом, какой встретили у части читателей обсуждаемые ныне публикации «Иностранной литературы».

Не будем преувеличивать серьезность одного из поводов к нынешней дискуссии: негодующие письма некоторых читателей «Иностранной литературы», которым по тем или иным причинам не импонируют «Любовник леди Чаттерли» или «Тропик Рака», «Лолита» или «Улисс»,— не более чем слабый отзвук охранительного общественного негодования, выпавшего на долю создателей этих произведений в собственных их отечествах. Достаточно заметить, что полный вариант романа Лоуренса пребывал в Великобритании под запретом на протяжении тридцати двух лет (исторический судебный процесс, реабилитировавший книгу и ее издателей, состоялся в 1960 году), «Тропик Рака» Генри Миллера в США — немногим меньше, ровно четверть века (до 1961 года). «Испытательный срок» набоковской «Лолиты» оказался несколько короче, но стоит принять во внимание, что и написана она была значительно позже.

Сегодня есть все основания заложить надежные культурные основы органичного вхождения в надвигающееся третье тысячелетие (я думаю, оно будет тысячелетием с ярко обозначенным духовным началом, с идеей Бога), а значит, необходимо со всей серьезностью подумать об индивидуальных ценностях, их суверенности и уникальности.

В. Ерофеев: Здесь у нас было предложено несколько уровней разговора. Каждый из них мне кажется важным и ответственным. Столько оказалось проблем, что понятно: мы находимся в начале их осмысления. Лишь сегодня многие из нас начинают решать для себя такие проблемы, которые, казалось бы, должны быть основополагающими. Например, проблему, которую затронул Карен Ашотович,— проблему национального самосознания. Или проблему Восток — Запад. Проблему, кто такой русский народ. Кто он? Я помню, меня совершенно ошеломил ответ Дмитрия Сергеевича Лихачева — в свое время мне хотелось овладеть искусством интервью и я разговаривал с ним. Когда я у него спросил: как вы думаете, русский народ, он европейский, неевропейский? Кто он? Что он? Возникла большая пауза — это был телефонный разговор. И я тут подумал: «Боже мой! Наш великий академик, что же он молчит-то. Он же должен всю жизнь думать об этом!..»

В. Нарбикова: Что же он сказал?

В. Ерофеев: Он ответил в конце концов: европейский. Что тоже меня несколько смутило.

Дело в том, что осмысление многих проблем нам надо начинать с самых азов. И выясняется — я вовсе не хочу сказать, что мы дикари, мы совсем не дикари,— и выясняется: наша культура не сложилась в определенную систему, как в иных местах, где все имеют свое место, нужно лишь заполнить еще одну пустую клетку, а все остальное уже находится в культуре. И вот почему, как справедливо сказала Валерия Спартаковна, там при заполнении клетки эротикой или еще чем-то приходится считаться с жестким контекстом, когда культура есть культура, а жизнь есть жизнь. И никого там не ошеломило, скажем, что Ницше написал: «Падающего толкни». А Розанов написал: «Ну какой же подлец — предлагает толкнуть падающего!..» Розанов с русской точки зрения был прав. А в европейской традиции это было включено в какую-то сетку, и «падающего толкни» воспринималось в системе определенного культурного вызова, провокации. Причем никто, разумеется, не спешил толкнуть падающего.

В. Нарбикова: Если бы Ницше написал: «Не толкай падающего», то Розанов бы написал: «Толкни падающего».

В. Ерофеев: Но это уже их отношения. Или же случай Шпенглера, который заявил о закате Европы. Никто не воспринимал это как разговор о реальном закате, это осознавалось как некое обращение философской мысли еще к одной сфере. Мы же каждую проблему переживаем личностно, жизненно. И каждая проблема превращается у нас в нечто болезненно-экзистенциальное, некую смесь жизни и культуры. Культурной очерченности — вот чего нам не хватает.

Поэтому я лично нахожусь в затруднении, что мне сказать в связи с этими уровнями разговора. Я считаю, что очень важен генезис нашего нынешнего эротического состояния. Было совершенно правильно замечено, что наша культурная традиция в этой области весьма оригинальна, сложна и болезненна, но совершенно не описана. И мне трудно, разумеется, претендовать сейчас на то, чтобы попытаться ее описать. В самом деле, у нас были юродивые, были скоморохи и была потаенная эротическая культура в верхних слоях и совершенно непотаенная — в деревне. В то же время существовал какой-то невероятный запрет на все это. И наше православное христианство тоже приложило руку к тому, чтобы загнать такие вещи в подполье.

Как это случилось? Это очень важный вопрос для культурологического осмысления, к чему я, должен сказать, не готов, потому что не вижу всех корней. Я только вижу, что не только советская власть нанесла здесь урон, это происходило и до нее. Непонятно, какие механизмы здесь не срабатывали, почему мы оказались в состоянии шизофреника, который одно говорит в одном месте и об этом же — совсем другое в другом. Но ведь до сих пор, садясь в такси, если ты едешь один с таксистом, тут же начинается разговор на грубом, даже матерном языке, но если таксист берет женщину, то тут же разговор поднимается на иной культурный уровень. То есть даже сейчас, в конце XX века, существует разделение на культурные уровни.

Реплика: Это же неплохо, это прекрасно!

В. Ерофеев: Я не говорю о том, что таксист не прав. Но мы дошли до того, что стали по половому признаку называться — «мужчины» и «женщины». Надо сказать, такого не существует ни в одном народе.

Наше общество — не знаю, с какого момента считать,— абсолютно изжило свою религиозность. Здесь можно и поспорить с Кареном Ашотовичем. Это общество, где слово фактически значит все и ничего, где за слово могут и убить. Если грузин решительно реагирует на трехступенчатое ругательство, то русский, услышав его, никогда не думает ни про маму, ни про некое междометие.

В этом смысле писательская ситуация в России уникальна. Когда слово, повторяю, с одной стороны, есть все, но с другой — оно невесомо. Как писать такими словами — загадка. Несбалансированность слова привела к убийству слова как такового. Эротическая сфера тоже подвержена состоянию монструозности, как и все наше общество. Мы боимся произносить какие-то слова, а рядом насилуют женщин, процветают такие формы извращения, жестокости, о существовании которых не предполагает Запад. Где-нибудь у маркиза де Сада в литературных сферах такое случается, но у нас случается все. И это настолько страшно, что любые эротические, порнографические произведения — детский лепет по сравнению с русской действительностью. Мне странно слышать упреки в чей-то адрес по поводу откровенности в описании интимной жизни, в то время как наша жизнь дошла в этом смысле до безумия и перверсии. Нашу литературу можно перешибить любой милицейской сводкой дня. Что тут делать? Не знаю. Иногда мне кажется, что сроки уже упущены. Но поскольку мы живем и пытаемся все это осмыслить, то и эту эротическую тему надо поставить в контекст того состояния, в котором мы сейчас находимся, в контекст состояния культуры наших дальних и ближних соседей, и как-то попытаться в этом разобраться.

Я прочитал маркиза де Сада к концу школы. Читал параллельно с Ницше. Ницше меня потряс одним, де Сад — другим. Генри Миллера я воспринимаю в совсем ином плане. На мой взгляд, это прежде всего замечательный писатель. Сейчас я его перечитал. Интересен русский перевод. Мне показалось, что Миллер находится под сильным влиянием Шпенглера. Селин в этом плане — писатель-самородок, тогда как Миллер — интеллектуал. Алексей Матвеевич совершенно справедливо его охарактеризовал. Селин впитал весь воздух начала 30-х годов, в то время как Миллер переболел проблемами своего века — прежде всего интеллектуально. Перед нами книга, по философскому масштабу не уступающая шпенглеровскому «Закату Европы», а где-то и превосходящая его. Потому что Шпенглер —

это схема. А в Миллере присутствует определенное мужество и спонтанность бунта.

Лоуренса я в принципе люблю. Мне всегда нравился выбор героини, которая предпочла дому интеллектуала хороший шалаш. И мне всегда казалось, что в нашей интеллектуальной жизни такого шалаша и не хватает. Это был достаточно сознательный корректив, внесенный Лоуренсом, который хотя и не обладал взрывоопасностью Миллера, но его вызов рационализму в «Леди Чаттерли» — это корректив к рационализму, к интеллектуализму, к бесплотности. Пишет он, наверное, хуже Миллера, но Миллер пишет хуже Джойса. И в конце концов дело не в том. Вообще мы сильно засакрализировали культуру. Думаем все время, что высокое, а что не высокое. В нас появляется снобизм, совершенно не обеспеченный жизненным окружением. Я думаю, этот вопрос тоже нужно рассматривать в сфере нашей дискуссии.

Что касается Запада... На своем литературном опыте я столкнулся с этой проблемой эротического. Скажем, «Красавицу», чтобы она шла хорошо на Западе, рекламируют как эротическое, порнографическое произведение. А потом каждый журналист считает своим долгом говорить, что тут нет никакой эротики, порнографии, а издатели все дураки, они не правы. Но одновременно я заметил, что это игра, потому что издатели тоже в это не верили, а журналисты покупали, потому что думали, что это эротическое. Они все равно, даже в пресыщенном Амстердаме например, задавали себе вопрос: «Интересно, что же русский написал такое эротическое?»

Амстердам меня поразил тем, что люди буквально на втором слове начинали объяснять, что они гомосексуалисты или лесбиянки. Но когда я попытался разобраться, насколько там продвинута сексуальная революция, то понял: семейная жизнь, религиозная жизнь играют гораздо большую, чем у нас, роль. Драма западной женщины, которой изменяет муж, позвольте мне это утверждать, намного тяжелее драмы русской женщины, которой изменяет муж. Это просто меня потрясло — импульсивность западной женщины, которая говорит: «Ты мой, и все!» Русская женщина так не часто говорит. Чувство собственности у нас не развито, как и всепронизывающая сфера религиозного сознания, когда существуют определенные нравственные ценности.

Сексуальная революция там — свершившийся факт. Существует квартал красных фонарей, он функционирует. Но это просто милое отхожее место, позвольте сказать так,— куда можно пойти, а можно и не пойти. В то время как у нас сексуальная революция, которая произошла во времена Брежнева, очень существенно поломала последнее представление о том, что можно, что нельзя. И насколько она отразилась в нашей блатной психологии начала 90-х годов — это вопрос, который еще нуждается в уточнении.

Это были две прямо противоположные революции. Я не говорю, что там все хорошо и отлажено. Но там введены правила игры. Эта игра имеет или жизненный смысл, или эта игра просто для развлечения, игра, условно говоря. Ты свободен, когда ты играешь в эту игру, но как только ты нарушаешь ее правила, то тут же попадаешь под дуло ответственности. В Америке — это мнение среднего класса, в Европе — общественное мнение интеллектуалов, буржуазии. Тогда как у нас нет никаких регуляторов. И здесь меня действительно пугает то, что, если будет дана полная свобода эротике — а это уже происходит,— что же из этого выйдет? Непонятно. Принесет ли это русскому народу освобождение или внесет еще один элемент вседозволенности в блатное сознание, то есть даст возможность делать внаглую то, что делалось исподтишка. Я, естественно, против запретов. Я считаю, мы настолько усвоили урок, что запрет есть зло, что у нас нет никакого морального права что-то запрещать. Но ясно, что перед нами встают задачи, которые придется решать завтра.

Н. Пальцев: Можно вопрос?.. Вот вы сказали, что сексуальная революция у нас произошла при Брежневе. Вы считаете, что на сегодня это этап завершенный, законченный? На Западе она завершилась — это общая точка зрения. Но можно ли считать ее законченной и у нас?

В. Ерофеев: Я, наверное, принадлежу к тому поколению, которое ощутило этот разрыв. Все творилось прямо на наших глазах. Дети хрущевской оттепели при всем своем быте оставались в рамках русской культуры. А потом что-то произошло. Все сорвалось и куда-то понеслось. Это случилось в конце 70-х. И особенно поразило большие города. Есть проблемы, которые мы сейчас не обсуждаем и которые связаны скорее с нашей общественно-сексуальной, если можно так выразиться, жизнью. К примеру, конец 70-х годов — поразительное множество фактов лесбиянства в Москве. Об этом еще никто не писал.

Меня одно время интересовало, почему так случилось: посмотришь на западных лесбиянок, ужас какой-то, а наши — самые красивые? Неужели мы и здесь лучше всех?.. А потом понял, что эти красивые женщины не могли реализовать себя на противоположном «поле». Наш мужик, часто изолгавшийся, испившийся, чем он мог поразить женщину? На работе он врал, приходил с работы — пил. А эти девушки собирались, все это обсуждали, обсуждали...

Что такое сексуальная революция? Это момент высвобождения. У них, у этих девушек, высвобождение это приняло такой характер, который трудно себе представить на Западе. Ведь чем-то этаким занимаясь вечером, люди утром надевали костюмы и комсомольские значки и шли работать по своим местам. Это было еще большее углубление шизофрении. Вместо высвобождения получалось углубление шизофрении. Я охарактеризовал бы нашу сексуальную революцию как углубление болезни.

Д. Затонский: Я бы хотел вернуться вот к какому вопросу. Как-то незаметно мы здесь разделились на «лоуренсистов» и «антилоуренсистов». А к Генри Миллеру все относимся с большим пиететом. Только вот Виктор Владимирович сказал, что он «хуже Джойса». Но разве мы здесь затем собрались, чтоб построить иерархическую лест-

ницу? Если исходить из предмета нашего разговора, не так уж, по-моему, и важно, был ли Дэвид Герберт Лоуренс очень или не очень большим художником. Он — писатель в своем роде весьма показательный. Оттого журнал «Иностранная литература» счел полезным его напечатать и тем самым как бы поставить рядом и с Миллером, и даже с Джойсом. Именно в сопоставлении с ними Лоуренс иллюстрирует тезис, который я позволил себе здесь высказать, тезис о том, что эротической литературы не существует: всегда наличествует еще и некая сверхзадача, без которой искусства просто нет. Этим Лоуренс и интересен, причем вне зависимости от того, нравится ли он каждому из нас или нет. Мне ведь, откровенно говоря, тоже не очень...

К. Степанян: Верно, дело не в том, кто выше. Допускаю, что Лоуренс, скажем, выше, а уж Джойс тем более. Но вы посмотрите на фотографию Генри Миллера, которую дает «ИЛ» перед публикацией, вспомните рассуждения его героя, бредущего по набережной после похода в бордель с заезжим индусом,— это же отчаянно-одинокий Раскольников на мосту после убийства старухи-процентщицы! Не случайно близость их обоих — автора и его героя — к русскому сознанию замечена уже несколькими проницательными людьми. Герой «Тропика...» совершенно справедливо называет себя «романтической реликвией». Он мечтал бы жить совсем в ином мире, но не верит в его реальность в XX веке, а потому делает вид, что ему очень нравится в этом, данном. Однако мне совсем не кажется, что для героя Миллера, а тем более для него самого «секс был... жизнерадостной религией надежды» (как пишут в послесловии к роману Вайль и Генис). Ни жизнерадостности, ни религии, ни надежды в сексе для Миллера нет. А роман Лоуренса вообще вне этих категорий.

А. Никитин: Я прошу извинить меня за возможный дилетантизм, но мне кажется, что спор здесь шел не столько об эротике, сколько о ее влиянии на читателя и о том, что делать, как объяснить читателю разницу между эротикой и порнографией. По этому поводу мне вспомнился один образ, относящийся к эпохе великих географических открытий, времени, так похожему на наше.

Это история о Франциско де Орельяно, открывшем Амазонку против собственного желания. Орельяно был вынужден покинуть своего командира и вместе с частью экспедиции начать поиски пищи, а не золота. Они скрылись в глубинах дикого леса, набрели на реку, и два года их никто не видел — сильное течение увлекло их к открытию ненужному и практически бесплодному: оно принесло испанскому королю лишь узкую полоску прибрежной земли. Орельяно был обвинен в предательстве и дезертирстве, только время оправдало его.

Мы тоже вступили в воды течения, которое, пожалуй, никому не подчиняется, не несет нам никаких выгод, но ведет к невиданным доселе местам.

С помощью «выпущенного на свободу» книжного рынка мы наконец узнали, что читает «самая читающая в мире» страна.

Только что закончилась эпоха Чейза. Рынок был перенасыщен, спрос упал, и началась эра «Неистовой Анжелики». Что (или, возможно, кто) будет дальше — покажет время.

Несомненно одно — эротика и, увы, порнография будут держаться на рынке довольно долго, ибо именно от этой стороны жизни мы с особым упорством ханжески прикрывались. Поэтому, как только появилась возможность, были сняты запреты, возникла «литература» примитивного уровня, ничего, кроме запрещенных ранее вещей, не содержащая.

Мне кажется, то, что происходит сейчас, рано или поздно должно было произойти. Глупо обвинять кооператоров в духовном предательстве и дезертирстве — они только зеркало. Запад, вероятно, тоже переживал нечто похожее...

На бульваре вряд ли стоит читать что-то исполненное глубокомыслия и потрясающее неожиданными суждениями. Но и бульварная литература имеет разное качество. Бедняк, разбогатев, еще долго живет так, будто он беден. Мы ступили на нижнюю ступень, и еще долго придется ждать, прежде чем и сознание читателей будет насыщено этой «подготовительной» бульварщиной и начнется следующий этап. Бульварная литература станет нести в себе что-то новое, возможно, ее станет приятно читать.

Мне кажется, что сейчас ошибочно думать о том, как сформировать литературой читателя. Есть литература и есть читатель, они чрезвычайно мало зависят друг от друга.

Нельзя заставить человека читать классику, для этого нужно, чтобы он был по крайней мере грамотен. Если нет сил, чтобы плыть против течения, нужно довериться воде, а сетования на «неправильность» потока вряд ли окажут на него влияние.

В. Лакшин: Я хотел бы теперь вернуть нас на бренную землю, процитировать одно из читательских писем, о которых мы говорили абстрактно. Оно производит впечатление. Пишет Алла Д., рассудительно пишет, с большим уважением к журналу: «Начала читать «Тропик Рака» Миллера, прочитала 20 страниц и больше не выдержала, не могу, все переворачивается внутри от омерзения и гадливости. Судя по отзывам Нормана Мейлера об авторе, я, видимо, не настолько интеллектуальна и не доросла еще до понимания этого шедевра, потому как не смогла разглядеть, в чем же разница между романом Миллера и порномакулатурой, которая сейчас в изобилии продается на улицах Москвы.

Я вспомнила, что похожий «шедевр» встретила месяца три тому назад в одной бульварной газетенке под названием «СПИД-инфо» — о похождениях проститутки. Особенно впечатлила сцена в мужском клозете, где один, как выражается Миллер, пытался «вставить», а остальные стояли в дверях, смотрели и комментировали. У меня почему-то не было такого чувства омерзения, как при чтении Миллера. Может быть, потому, что в одном случае я знала что́ держу в руках. Там, как выражалась героиня одной английской пьесы, лопату лопатой на-

зывали. Но было чувство тоски оттого, что, когда сняли запреты и появилась свобода, у нас ничего, кроме подобной пакости, не родилось.

Нет, я не вздрагиваю от слов... (не буду их здесь лишний раз перечислять.— *В. Л.*), которыми так изобилует «шедевр» Миллера. (То, что в тексте это обозначено одной буквой, ничего не меняет.) Я не вздрагиваю, потому что абстрагировалась и, слушая, не слышу. Как и все мы. Никуда не денешься. Мы уже потеряли надежду, что это когда-нибудь исчезнет из нашей жизни.

Но когда тебе это преподносят на страницах солидного литературного журнала, да еще захлебываются от восторга: «Мы читаем «Тропик Рака», эту книгу грязи, и нам становится радостно!..»

Не знаю кому как, но я испытывала только тошноту от всех этих безудержных потоков спермы, стальных и раздвижных фаллосов, саквояжеподобных влагалищ на фоне блох, вшей, тараканов, мата и блевотины. А когда на мгновение вдруг вставала перед глазами, извините, «лошадиная» рожа автора, то вообще выворачивало наизнанку. (Возможно, этого бы не было, если бы Мейлер не сообщил, что Миллер изобразил себя в этом романе.) Может, и присутствует в этом романе какая-то мысль, но за раздвижными фаллосами ее трудно уловить».

К. Степанян: Мне кажется, что тут-то и обнажается основная проблема,— мы проходим одновременно обе стадии: стадию ликбеза в данной области и стадию вхождения в высокую литературу, в те ее сферы, от которых мы были искусственно отрезаны долгое время. Да еще в условиях, когда о национальных традициях одни вспоминают только для того, чтобы аэробику осудить и инородцев уличить, а другие — чтобы призвать к скорейшему забвению. И вот результат.

В. Лакшин: Думаю, вы правы. А сейчас, нисколько не претендуя на то, чтобы делать обобщающее заключение по поводу нашего весьма интересного собеседования, я прежде всего должен — и не только по формальному обычаю — поблагодарить всех, кто принял участие в этой встрече. Причем, что каждый инструмент вел свою мелодию — у контрабаса была своя партия, а у скрипки своя,— у нас получился довольно оригинальный ансамбль мнений. Такое, во всяком случае, у меня сложилось впечатление. И если бы читатель, который так взволнован чрезмерным эротизмом произведений, публикуемых в «Иностранной литературе», мог заглянуть сюда, в эту комнату, он, возможно, был бы несколько удивлен и обескуражен. Ведь самое откровенное, самое, если угодно, непристойное прозвучало в том читательском письме, которое я вам прочитал. А высказывавшиеся здесь люди заинтересованно обсуждали существо дела, психологическую и социальную природу того, что определило особую откровенность, иногда и грубость многих нынешних писателей, касающихся темы любви.

Есть разные уровни восприятия, разные уровни понимания и разные уровни оценки. И, конечно, хорошо было бы, если бы нам удалось максимально убедительно донести до читателя то, о чем сказал Алексей Матвеевич Зверев, открывая нашу дискуссию. Генри Миллер — обратимся к этому примеру — привлекает не тем, что возбуждает чувственность, и не тем, что эпатирует читателя. Он привлекает тем, что воссоздает сугубо жизненный поток. Если воспользоваться выражением Толстого — это как живой ручей: у Миллера он ломит зубы, в потоке несутся щепки, мусор, но это вода жизни. То есть ты чувствуешь за всем этим — иногда и малосимпатичным, иногда неприятным — поток самой жизни и стремление романиста побудить читателя вместе с ним плыть в этом потоке и пытаться удержаться на плаву.

Но вот здесь мы неизбежно наталкиваемся на то, о чем говорил Карен Ашотович Степанян, на проблему русской традиции, русской ментальности в сравнении с традицией западной. Конечно, эротическая традиция и там, и у нас имеет глубокие корни. Мы могли бы вспомнить и Аретино, и Рабле, вспомнить о том, в какие глуби литературного сознания это уходит. Мы могли бы вспомнить и древнерусских книжников, скажем, изгнание бесов из Соломонии, если говорить только о литературном ряде. Христианские апокрифы несли порой такой заряд чувственности и эротики, что диву даешься, перечитывая некоторые тексты. Я уж не говорю о стихии народного и простонародного эроса, о чем можно, правда, судить по-разному.

Я не согласен с тем, чтобы представлять старую русскую деревню, как сверх меры склонную к грубым формам проявления эротической темы. Слов нет, это было. И в особенности в определенные годы, в определенное время — как какой-то излом, какой-то протест почти хулиганского, бунтовщицкого свойства против лицемерия жизни, ее оказенивания. Но в русской деревне были и есть и застенчиво-скромные формы любовного чувства. И очень сильные — в той части патриархального крестьянства, которая ведь была, существовала реально, а не только в лубочных олеографиях и мнении народников.

Мне довелось еще видеть остатки этого русского крестьянского типа. Одна деревенская старуха сказала при мне о муже, с которым прожила лет сорок, слова, которые я навсегда запомнил. «Да за что ты его любишь?» — спросили ее немного бесцеремонно. «Удивляет он меня!» — ответила она с восхищением. Какие это замечательные формы чувства! Если угодно, эта такая любовная лирика, которая по меньшей мере поспорит по выразительности со скабрезными частушками.

О нашей литературной традиции. Это тоже дело сложное. Литература в конце XIX века страшно враждовала с лицемерием. У Толстого это был один из главных нервных узлов в его творчестве: не лицемерьте! Что за общество, в котором сплошные условности! Но мы-то знаем, что лицемерие — это одна сторона медали, а другая сторона — это формы общения. Разрушая лицемерие, легко разрушить и эти формы до такой степени, что человек звереет. Надо отчетливо представлять себе, что некоторые формы общения, формы благопристойности и условностей есть своего рода обществен-

ная защита от всплеска инстинктов. И в этом столько же уклончивого, фальшивого, сколько, возможно, и охраняющего достоинство людей.

Конечно, надо по заслугам оценить те годы лицемерия, которые наваливались на нас в недавние десятилетия и культивировались как основа общественной жизни. Торжествовала филистерская мораль, условности самого мерзкого мещанского толка. Надо отличать это от той застенчивости, уклонения от грубого натурализма, которые были добрым свойством русской литературы.

Когда Чехов в очерках «Из Сибири» хочет описать, как бранятся гребцы, он делает это так: «Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть матери». Сказано все. Но сказано в безупречной литературной форме, которая не оскорбляет читателя. В этом случае, конечно же, странно было бы говорить о лицемерии. Таковы свойства личности писателя, его внутренней культуры.

Неоспоримо, что сейчас мы живем в ином мире, изменились обычаи и мораль, люди находятся в иных отношениях друг к другу. Сексуальная революция на Западе стала большей реальностью, чем коммунистическая «общность жен» на Востоке.

Словом, проблема есть. И проблема непростая. Проблема, о которой говорила Валерия Нарбикова, и с другого конца «круглого стола» пытался ее осмыслить Антон Никитин. Все-таки жизнь есть жизнь, а литература — это литература. И литература — это бунт. Литература — это сказка. Томас Манн говорил, что от поцелуев дети не рождаются,— имея в виду, что не следует судить литературу, в которой описывается нечто с сугубой откровенностью, по законам житейской нравственности.

Вместе с тем вопрос «заразительности», воздействия на читателя — он существует, он реален. У всех так навязло в зубах требование воспитательной роли литературы, что нередко возникает противоположная тенденция: мол, пусть литература делает то, что делает. Как-нибудь благородная мораль сама собой установится в общественном сознании. Но так тоже, наверное, не бывает.

Боюсь, что в заключение я прибавил к вашим недоуменным вопросам свои, но думаю, что публикация в журнале нашей беседы может быть полезной. Полезной именно в том смысле, что читатель должен увидеть: люди, которые пишут книги «на эротическую тему», люди, которые пишут статьи, переводят романы на эротическую тему,— это не те люди, которых они встретят в московском подземном переходе и которые будут им предлагать «Технику секса». Это разные уровни восприятия, разные уровни литературы. Искусство — не скабрезность, не провокация чувственности. До сих пор, к сожалению, массовое сознание этого не учитывает. Может быть, в осознании этого различия — главный итог нашей беседы.

■

Вера и мораль

СВАМИ ВИВЕКАНАНДА

ЧЕТЫРЕ ЙОГИ

Вступление и перевод с английского МАРИАМ САЛГАНИК

11 сентября 1893 года в Чикаго открылся Парламент религий — часть Всемирной выставки в ознаменование четырехсотлетия открытия Америки. По мысли устроителей выставка замышлялась как смотр «достижений прогресса за четыре столетия, следовательно, было бы столь же неправомерно исключить из нее Религию, сколь и Образование, и Искусство, и Электричество».

К участию в Парламенте религий были приглашены представители основных вероисповеданий мира.

Вначале Парламент умеренно заинтересовал публику, но стал сенсацией после того, как на нем выступил никому дотоле не известный индус по имени Свами Вивекананда.

В американской прессе особо подчеркивалось, что каждый из участников Парламента говорил о своей вере и один только Вивекананда сказал о Боге, который выше всех человеческих представлений о Нем и потому может считаться Богом всех людей, независимо от религиозной принадлежности.

Вивекананда говорил: «Как воды множества рек, каждая из которых имеет свой исток, смешиваются в океане, так и пути, кажущиеся прямыми или извилистыми, избираемые людьми в силу их склонностей, все ведут к Богу: «Кто бы, в какой форме ни искал Меня, Я достижим для всех. Все идут путями, в конце ведущими ко Мне».

На заключительной сессии Свами Вивекананда отмечал, что Парламент наглядно показал всему миру — «святость, чистота, милосердие не являются исключительным достоянием одной какой-то религии: любая вера взращивает мужчин и женщин возвышеннейших качеств».

Бог един — человек чтит Его во многих лицах.

По сути дела, американские выступления Вивекананды впервые привели Запад в соприкосновение с живой духовной мыслью Индии — не в рамках академических интересов, не на уровне индо-европейского языкознания, этнографии, культурологии.

По-своему Америка была уже подготовлена для восприятия проповедей Вивекананды трудами трансценденталистов: Эмерсона, Торо и их единомышленников, искавших в восточной традиции противовес «деградирующему вплоть до варварства благоденствию». Большую степень приближенности к этой традиции, к индийскому взгляду на мир обнаруживает и поэтическая философия Уолта Уитмена — это отмечает и Вивекананда.

Забегая вперед, нужно сказать, что Вивекананда оказал весьма сильное влияние на западных писателей: Ромен Роллан, Олдос Хаксли, Кристофер Ишервуд, Герман Гессе и ряд других считали себя его последователями. Но это — другая тема, а здесь речь о самом Вивекананде.

Воздействие трансценденталистов на интеллектуальную Америку не шло ни в какое сравнение с волной массового интереса, поднятой выступлениями и публичными лекциями Вивекананды.

Он привлекал всеобщее внимание — молодой — ему в тот год исполнилось тридцать,— традиционное монашеское одеяние шафранного цвета, превосходный английский язык.

Его настоящее имя — Нарендра Натх Датта: Вивеканандой он станет после принятия монашеских обетов. Он вырос в очень благополучной семье калькуттского адвоката, получил прекрасное образование. В колледже увлекался западной философией, его кумирами были Джон Стюарт Милл и Герберт Спенсер. Был спортивен и музыкален, обладал хорошим голосом, любил петь.

Что касается его религиозных воззрений, то, как многие его сверстники, он интересовался деятельностью Брахмо-самаджа, движения, искавшего способа соединить индуизм, освобожденный от излишней обрядовости и суеверий, с христианством. Это

было движение более реформаторское, нежели религиозное, а потому достаточно рационалистическое.

Ему исполнилось восемнадцать, когда произошла первая встреча с Рамакришной — и его вначале испугало и оттолкнуло то, что он принял за избыточную эмоциональность мистика.

Рамакришна же с первого взгляда распознал в юноше натуру, сходную с его собственной, а услышав, как тот поет, погрузился в **самадхи,** в глубокий транс. Рамакришне было ясно то, что Вивекананде еще придется понять — к нему пришел Ученик, которого он давно ждал.

Если личность Вивекананды, хоть и не без усилий, но все же поддается нашему пониманию, а к его жизни и делам приложимы те одномерные способы классификации, без которых мы чувствуем себя в растерянности — религиозный реформатор, просветитель и пр., то как быть с Рамакришной, человеком, который воспринимал Бога органами чувств?

Я не могу написать о нем так, чтобы не вызвать скептической усмешки одних и многословного оккультного восторга других. Могу только процитировать автора превосходной книги «Рамакришна и его ученики» английского писателя Кристофера Ишервуда: «Я прошу вас отнестись к Рамакришне с непредубежденной любознательностью, какую вы бы проявили в отношении всякой неординарной личности, будь то Юлий Цезарь, Катерина Сиеннская, Леонардо да Винчи, Артур Рембо. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, отделаться от категорий: святое — грешное, разумное — безумное, чистое — нечистое, позитивное — негативное. Просто скажите себе — бывают и такие люди».

В Индии Рамакришну зовут Парамахамса, что в переводе значит «Великий Лебедь» — как лебедь постоянно живет в двух средах, водной и воздушной, так Рамакришна постоянно жил в двух реальностях — во всем нам привычной, обыденной и в иной, вечной.

Рамакришна был крестьянским сыном, едва-едва обученным грамоте, волей случая он сделался священнослужителем шиваитского храма в Дакшинешваре, там познал Бога, там жил, говорил с окружающими о Боге, там и умер пятидесяти лет от роду в 1886 году. Для индусов — не умер, а оставил телесную оболочку.

Многие, в том числе Вивекананда, считали Рамакришну воплощением Бога.

Чтобы понять смысл учения Вивекананды как продолжателя дела Рамакришны, необходимо представить себе, что такое индуизм, и я постараюсь — в самых общих чертах — рассказать о нем, хотя это неимоверно трудно.

Часто говорят, что индуизм не столько религия, сколько образ мышления и образ жизни.

Организованной религией индуизм попросту не может быть; идеал индуизма — это постижение Бога через непосредственное восприятие Его, что человек способен сделать, проникнув в собственную божественную сущность. В индуизме человек не богоравен — он и есть Бог. Как, впрочем, все сущее, формы которого разнятся лишь степенью проявленности божественного начала в них. Личный опыт постижения Бога делает излишней надобность в организованной церкви, что, в свою очередь, исключает возможность ересей. Каждый свободен в выборе пути к Богу: можно избрать путь аскетический или оргиастический, путь **санньяси** — отречения от мира или путь семьянина — благочестия в миру, можно стремиться к Богу личностному или внеличностному, можно соблюдать обряды, можно отказаться от них — ни способ, ни объект почитания не имеет предпочтительного значения, значение имеет только постижение Бога.

Ответ на вопрос о том, сколько богов почитает Индия, менее очевиден, чем может показаться: Бог один, Брахман, Единый, второго не имеющий. А вот Его восприятие человеком многообразно.

Брахман — это Абсолют, который есть все, поэтому ни свойств, ни качеств, ни характеристик он иметь не может. Когда он предстает явленным в формах жизни, то именуется **Атман.**

Брахман-Атман не может действовать, ибо для него нет объекта воздействия, но действует его энергия. Действующая энергия Абсолюта — это **Ишвара,** у которого есть то, что мы бы назвали атрибутами божественного.

Ишвару можно рассматривать как триединство основных функций творения: как создателя — тогда это Брахма и его женское начало Сарасвати; как охранителя — тогда это Вишну и его женское начало Лакшми; как разрушителя — тогда это Шива и его женское начало Кали.

Вишну, в качестве охранителя, время от времени, когда мир нуждается в помощи, приходит в него, приняв животное или человеческое обличье, что в Индии называется **аватара.** Абсолют и в телесной оболочке, разумеется, остается собой, но, пока он пребывает в ней, Он испытывает все страдания, причина которых в **майе,** в бренности бытия.

Итак, кого бы из сонма богов ни почитал человек, он все равно чтит в любом из них Абсолют. Индусы с готовностью причисляют к **аватарам** Будду, а также и Иисуса — христианских миссионеров это приводило в большое смятение.

«Основной вопрос философии» — дух или материя? — для Индии никогда не существовал, ибо они неразрывно взаимосвязаны. Энергия Абсолюта творит природу, природа творит разум, тот — интеллект, из интеллекта рождается **ахамкара,** самоощущение личности.

Для постижения своей первопричины человек должен как бы двигаться обратным путем, совлекая с истины завесы **майи:** прежде всего он должен преодолеть эгоистическую узость **ахамкары,** затем — ограниченность своего интеллекта с его логическими построениями, подчинить себе свою телесную природу и так, шаг за шагом, открывать **Брахмана** в себе, приближаться к высвобождению из череды рождений и смертей.

На определенной ступени этого восхождения человек обретает качества, обыкновенно называемые сверхъестественными, обретает власть над природой, затем наступает осознание ненастоящести различий между формами жизни, осознание единства всего сущего — **тат твам аси,** все есть То, или все есть ты сам.

Таким путем двигался и Рамакришна: от ортодоксальной религиозности деревенского брахмина, через почитание богини Кали, к непосредственному восприятию Абсолюта, Единого. Рамакришна не проповедовал своего учения — у него и не было учения как системы взглядов. Рамакришна просто был. Просто жил, соприкасаясь с Мировой душой. Его вера была буквальна: он на некоторое время стал исповедовать ислам, он неоднократно впадал в мистический транс перед изображением Богоматери с младенцем, он мог ходить в женской одежде — отнюдь не для демонстрации своих убеждений, но потому, что внутренним зрением перестал видеть разницу между разными верами или между мужским и женским началом.

У Сэлинджера есть рассказ «Тедди» — об американском мальчике, который в прежнем рождении был индусским святым. Мальчик рассказывает, как пришло к нему новое прозрение: его сестра пила на кухне молоко, а он вдруг увидел, что его сестра — Бог, чашка на столе тоже Бог и она наливает Бога в эту чашку.

Наверное, так видел мир и Рамакришна — видел и рассказывал об увиденном окружающим. Вот и все учение.

Вот почему он мог заявить, что раз человек и есть Бог, то лучше всего служить Богу служением человеку.

После кончины Рамакришны его ученики во главе с Вивеканандой приняли обет отречения от мира как знак начала новой жизни, взяли себе новые имена и все вместе поселились в скромной обители. Впрочем, скоро они разошлись по Индии как странствующие монахи.

Вивекананду странствования по Индии — он чуть не полстраны исходил пешком — подтолкнули к мысли о необходимости действия, заставили размышлять над тем, что позднее он станет называть «практической духовностью». Он никогда не низводил религию до уровня инструмента социальных реформ, но никогда не забывал и слов Рамакришны: религия — не для пустых желудков.

Вивекананда пришел к осознанию того, что Индия, изнуренная рабством, колониальной изоляцией, замкнувшей ее в себе, нуждается в западном знании, которое поможет ей прорваться к свободе, но западное знание она должна получить в соединении с собственной духовностью. Не менее остро нуждается и Запад в индийской духовности — для спасения от монстра чистой технократии.

Так начинался путь Вивекананды к сопряжению ценностей восточной и западной цивилизаций — со временем этим путем пойдут передовые умы человечества.

И так закладывались основы Миссии Рамакришны — сочетания монастыря с сетью школ, колледжей, больниц, общедоступных библиотек, профессиональных училищ и прочего. Но центром всего остаются монастырские **ашрамы** — Вивекананда знал, что милосердие не может быть простым нетерпением сердца, что это тяжкий, непрестанный труд, на который человек способен, только когда его душу питает вера.

Сегодня лучшими школами, колледжами и больницами в Индии по праву считаются рамакришновские, сегодня учению Рамакришны следуют десятки миллионов человек — как в Индии, так и за ее пределами, где в разных странах действует около сотни центров Миссии Рамакришны.

Вивекананду иной раз называют первым индусским миссионером на Западе.

С одной стороны, в этом есть резон — именно Вивекананда пробудил широкий интерес к духовной культуре Индии на Западе. Можно даже сказать, что, сам того не ведая, он положил начало некоему подобию религиозной «реконкисты»: восточные культы со стремительностью степного пожара распространяются по тем самым странам, откуда христианские миссионеры некогда направлялись обращать язычников в истинную веру.

Но индуизм не прозелитирующая религия — строго говоря, обращение в индуизм немыслимо, человеческая особь должна приобрести определенную структуру души, прежде чем человек родится индусом, и опять-таки от структуры души зависит, в какую касту он родится. В «Вишну-пуране» сказано: великое множество раз рождаясь и умирая, накопив добродетелей без числа, рождается человек брахмином в Индии.

Вивекананда свою задачу видел отнюдь не в миссионерстве — чего ради становиться индусом, когда различные пути все равно ведут к одной цели? Миссия Рамакришны открыта для всех, и даже монашеские обеты может взять человек любого вероисповедания, разумеется, не отказываясь от него.

Задача Вивекананды заключалась в ином — в том, чтобы раскрыть Западу индийскую философию жизни, которую он рассматривал как «науку быть и становиться», в чем видел основу грядущего объединения и развития человечества.

Он писал: «Истина не склоняется перед обществом... общество должно склониться перед истиной — или погибнуть. Самое великое общественное устройство то, в котором великие истины становятся практичными. Это мое убеждение, а если обще-

ство непригодно для великих истин, сделайте его пригодным, и чем скорее, тем лучше. Поднимитесь, мужчины и женщины, наберитесь храбрости поверить в Истину, наберитесь храбрости жить ею. Миру нужны хоть несколько сотен смелых людей».

Главная книга Вивекананды, в которой он обобщил свои взгляды,— «Четыре йоги». Она создана из лекций, читавшихся Вивеканандой на Западе, и это обстоятельство имеет особое значение: он разъясняет многие трудные положения **веданты** через понятия, привычные для западного слушателя, и облегчает их восприятие.

Чатур-йога — это классические для Индии четыре подхода к постижению единства сущего: через отрешенный труд, через самоуглубление, через последовательное отрицание неистинного и через любовь. Между ними, естественно, нет противоречий, и предпочтительный выбор какой-то одной йоги зависит только от склонностей избирающего.

Йога — значит соединение. **Йог** или **йогин** — соединитель. В этом смысле Вивекананда — великий соединитель, которого только и могло произвести на свет тысячелетиями культивируемое в Индии прозрение единства всего сущего. В мире, где очевидным кажется разделение: Восток — Запад, наука — религия, материальное — духовное... перечень этот нескончаем; Вивекананда не убеждал, а доказывал, что единство и соединенность всего, верховенство любви — закон жизни, а человек потенциально всемогущ.

Писать о Вивекананде и хочется, и не хочется. Очень хочется, чтобы познанное им вошло в наши умы и души не только потому, что это полезно нашим неожиданно вступившим в действие умам и все еще полусонным душам. А еще и потому, что Вивекананда помог ощутить соединенность интеллекта и духа и их неравноценность.

Но пытаться пересказать Вивекананду, да еще, может быть, и оценки выставить не хочется вовсе. Незачем. Нужно читать его самого, предварив чтение самыми основными сведениями, отсутствие которых затруднит понимание.

Читателю предлагаются небольшие фрагменты из всех четырех йог, вынужденно ограниченные объемом журнальной публикации. Однако в издательстве «Прогресс» подготовлен и в ближайшее, хочется надеяться, время выйдет в свет однотомник произведений Свами Вивекананды — впервые он предстанет перед нашим читателем без наших былых высокомерных оправданий ограниченности его философских воззрений и недопонимания им природы человеческого бытия.

Из «Карма-йоги»

В соответствии с философией **санкхья** природа есть взаимодействие трех сил, которые на санскрите называются **саттва, раджас** и **тамас**. Их проявления в физическом мире можно назвать равновесием, действием и инертностью. Тамас — темнота и бездействие, раджас — действие, выраженное через притяжение и отталкивание, а саттва — равновесие между тем и другим.

Три силы взаимодействуют в каждом человеке. По временам **тамас** берет верх — мы становимся ленивыми, нам не хочется двигаться, мы теряем активность, нас сковывают какие-то идеи или просто вялость. В другое время в нас преобладает активное начало или же мы испытываем состояние равновесия. Обычно в человеке доминирует одна из трех сил: для одного характерна леность и вялость, для другого — активность и энергичность, некоторые же выказывают нежность, мягкость и спокойствие, свидетельствующие о равновесии активного и инертного начал. Это относится ко всему живому — в животных, растениях, человеке более или менее типически сочетаются три силы.

Карма-йога уделяет особое внимание взаимодействию этих трех факторов и, помогая научиться использовать их, она помогает нам лучше делать наше дело.

Все великие учителя учат — не противься злу, непротивление есть высочайший моральный идеал. Мы прекрасно понимаем, что если бы значительное число людей попыталось полностью осуществить этот завет на практике, то общественная структура распалась бы, дурные люди предъявили бы права на наше имущество и жизни и делали бы с нами что захотят. Если бы такого рода непротивление практиковалось даже в течение одного дня, он закончился бы катастрофой. И все же интуитивно, в глубине души, мы приемлем истинность завета — не противься злу. Он кажется нам высочайшим идеалом — и в то же время мы понимаем, что проповедь этой доктрины равнозначна приговору для большей части человечества. И не только — каждый будет постоянно чувствовать себя виноватым, каждый станет без конца проверять всякое свое действие, что приведет к слабости, а вечное недовольство собой породит больше пороков, чем любая другая слабость. Человек, начав ненавидеть себя, распахнул врата для распада личности, это справедливо и в отношении народов.

Наш первейший долг — не ненавидеть себя, ибо, чтобы идти вперед, нам нужно прежде всего верить в себя, а затем в Бога. Кто не верит в себя, тот не может верить в Бога. Поэтому нам остается только одно: признать, что долг и мораль могут разниться в зависимости от обстоятельств; не считать, что человек, противящийся злу, всегда и в принципе не прав, а помнить, что возможны обстоятельства, при которых сопротивление злу может быть его долгом.

Чтение «Бхагавад-гиты» может вызвать удивление западного читателя, когда во второй главе Кришна называет Арджуну ханжой и трусом за его отказ сражаться, то есть оказывать сопротивление, на том осно-

вании, что армия противника состоит из друзей и родных Арджуны, а непротивление есть высший идеал любви. Это великий урок для всех нас, который показывает, что крайности всегда схожи. Крайность в положительном и крайность в отрицательном всегда походят одна на другую. Если колебания чересчур медленны, наш глаз не воспринимает света, как не воспринимает он его и тогда, когда колебания чересчур быстры. Так же и звук — мы не воспринимаем ни очень низкие, ни очень высокие частоты. Такова же и природа отличий между сопротивлением и непротивлением. Один не противится злу не потому, что считает это правильным, а потому, что он чересчур ленив, слаб и противиться не в силах; другой же знает, что при желании способен нанести сокрушительный удар, однако не наносит его, а благословляет своих врагов. Кто не оказывает сопротивления из слабости, совершает грех и для него непротивление не будет благотворным, другой же совершил бы грех, если бы оказал сопротивление. Будда отрекся от трона, и это был истинный отказ, но незачем и говорить об отречении нищего, которому не от чего отрекаться. Поэтому нам следует проявлять осмотрительность, когда мы начинаем говорить о непротивлении и идеальной любви. Прежде всего необходимо быть уверенным, в силах ли мы оказывать сопротивление или нет. Если мы достаточно сильны, но отказываемся от сопротивления и не оказываем его, в этом случае мы совершаем великий акт любви. Но если мы противиться не в силах, а обманом внушаем себе, что нами движет мысль о высокой любви, тогда наш поступок приобретает противоположный смысл. Увидев могучее войско, Арджуна испугался; «любовь» заставила его забыть о долге перед страной и царем. Вот почему Кришна назвал его ханжой: ты говоришь как мудрый, но действия твои выдают труса — иди и сражайся!

Такова главная мысль. Человек, усвоивший ее, понимает, что непротивление есть высочайший идеал, но что непротивление есть проявление огромной реальной силы, а также что сопротивление злу есть только шаг к настоящему проявлению силы, то есть к непротивлению.

Прежде чем подступиться к высочайшему идеалу, человек обязан понять, что со злом нужно бороться — работать, сражаться, бить сплеча. И лишь после того как он найдет в себе силы противиться злу, непротивление станет добродетелью.

У себя на родине я знал одного человека, человека очень глупого и скучного, ничего не понимавшего и понимать не желавшего, который жил как животное. Однажды он спросил меня, что ему нужно делать, чтобы познать Бога и достичь внутренней свободы. «Вы умеете врать?» — задал я ему вопрос. Он ответил, что не умеет. «Тогда вам надо научиться,— сказал я.— Лучше говорить неправду, чем быть скотиной или бревном. Вы — вялый человек, вы, конечно, далеки от возвышенного состояния уравновешенности и покоя, вы настолько ленивы, что не способны даже на дурной поступок». Это был случай экстремальный, и я, разумеется, пошутил, но я хотел, чтобы он понял,— человеку необходимо действовать и только через деятельность может он прийти к состоянию уравновешенности.

Бездействия следует всячески избегать. Деятельность непременно означает сопротивление. Противьтесь всякому злу, в помыслах и в поступках, и, когда вы научитесь сопротивляться, тогда наступит состояние равновесия. Очень легко сказать: никого не ненавидеть, не противиться никакому злу, но мы же знаем, к чему это приводит на практике. На глазах людей можно изобразить непротивление злу, но сердце при этом может полниться злобой. Нам недостает спокойствия, необходимого для непротивления, в душе нам хочется сопротивляться. Если вам хочется разбогатеть, но вы знаете, что общественное мнение против погони за богатством, вы, возможно, и не посмеете дать волю своим желаниям, но в душе вы будете день и ночь мечтать о деньгах. В таком случае это ханжество, не более. Лучше погрузиться в мирские заботы, страдать и радоваться, а со временем, когда придет ощущение, что вам достаточно, отказаться от всего — и тогда наступит покой. Утолите желание власти и прочего, а после того как страсть ваша будет утолена, придет время понять ничтожность того, что вы желали; но пока не будет утолено ваше желание, пока не сделаете вы все, что хотели, вам не достичь состояния покоя, уравновешенности, самоотречения. Душевный покой и самоотречение проповедуются тысячи лет, каждый с детства слышал о них, но мы видим, что только немногим удалось достичь этого. Я объездил полмира, но не уверен, встретилось ли мне два десятка людей, которые действительно обладали бы душевным покоем и способностью к непротивлению.

Каждый должен избрать себе идеал и стремиться к его достижению. Таким путем можно скорее преуспеть, чем стремиться к идеалу, избранному другими, но для нас недостижимому. Возьмите маленького ребенка и поставьте перед ним задачу — прошагать двадцать миль. Малыш либо не выдержит, либо — один на тысячу — приползет к концу пути полумертвым от усталости. А мы именно это и пытаемся проделать. В любом обществе люди различаются по уму, способностям, энергии, с которой они действуют, поэтому они и будут стремиться к разным идеалам, и мы не вправе насмехаться ни над одним. Пусть каждый приложит все силы к достижению собственного идеала. Несправедливо судить меня по вашей мерке, а вас — по моей. Нельзя от яблони требовать того же, что от дуба, а от дуба того, что от яблони. О яблоне и судить надо по яблоневой мерке, о дубе — по его собственной.

Единство в разнообразии — закон мироздания. Как бы ни отличался один человек от другого, в конечном счете все одинаковы, ибо все люди. Различия в характерах отдельных людей или различия между разными типами людей — это естественные варианты. Значит, и судить мы их не можем по единой мерке, как и ожидать, что все будут стремиться к единому идеалу. Это создало бы противоестественную напряженность, в результате которой человек начинает ненавидеть себя и становится менее религиозным и добрым. Наш долг заклю-

чается в том, чтобы каждого человека поощрять в борьбе за наибольшее приближение к его собственному идеалу, стараясь в то же время приблизить идеал к истине.

Индусская система моральных ценностей с древнейших времен строилась как раз на этом — в священных книгах и трактатах по этике излагаются различные правила поведения для различных групп людей: для семьянина, для санньяси, отрекшегося от мира, для человека, познающего жизнь.

Великое дело — помочь человеку, когда он нуждается в помощи, однако и нужды у людей бывают разные, и помогать можно по-всякому. Если возможно освободить человека от нужды на час,— безусловно, это значит оказать ему помощь, еще большей помощью будет освобождение его от нужды на год, но самой большой помощью было бы освобождение от нужды навсегда... Навсегда разрешить наши беды может только духовное знание, знание всякого иного рода способно лишь на время помочь нам. Одно только познание духа навсегда уничтожает саму способность испытывать нужду, а потому оказание человеку духовной поддержки и есть самая большая помощь, которая может быть оказана ему. За духовной помощью следует помощь интеллектуальная. Подаренное знание гораздо выше, чем подаренные пища и одежда; дар знания выше даже, чем дар жизни, ибо знание составляет подлинную жизнь человека. Невежество — смерть, а знание — жизнь. Невелика ценность жизни, если это существование во тьме, барахтание в невежестве и страдании. За интеллектуальной помощью следует, в порядке очередности, помощь материальная. Поэтому, размышляя над тем, чем можем мы быть полезны другим, надо всячески избегать ошибочного представления, будто материальная помощь есть единственный вид помощи, на который мы способны. На самом же деле она стоит на последнем месте не только по порядку, но и по значению, ибо эта помощь не может принести постоянного удовлетворения. Когда я голоден, пища утоляет голод, но со временем он снова возвращается; избавление наступит тогда, когда удовлетворение освободит меня от потребности. Даже испытывая голод, я не буду чувствовать себя несчастным, никакое страдание, никакая печаль не заденет меня. Таким образом, выше всего та помощь, которая укрепляет меня духовно, за ней следует помощь интеллектуальная, а потом уже материальная.

Мы снова и снова читаем в «Бхагавадгите», что следует трудиться не покладая рук. Но работа, по своей природе, состоит из доброго и из дурного. Не существует труда, который не послужил бы чьему-нибудь добру, как не существует труда, который не повредил бы кому-то. Всякий труд необходимо есть смешение доброго и дурного, но тем не менее нам сказано, что следует трудиться не покладая рук. И добро, и зло будут иметь свои последствия, свою карму. Доброе дело оставит нам добро, дурное — зло. Однако и добро, и зло — это узы души, поэтому, чтобы освободить душу от порабощения плодами труда, в «Гите» речь идет о труде без привязанности к нему.

Сейчас мы постараемся понять, что это означает.

...Трудиться нужно без привязанности, пускай работают мозговые центры, работают неустанно, но так, чтобы след от работы не подчинил себе разум. Трудитесь, как если бы вы были чужеземцем на этой земле, путником, трудитесь не покладая рук, но не связывайте себя, ибо порабощение ужасно. Человек должен трудиться как господин, а не как раб, он должен работать не покладая рук, но не по-рабски. Разве вы не видите, как все работают? Ни у кого ни минуты покоя, девяносто девять процентов человечества трудятся как рабы и несчастны в результате, потому что все это себялюбивый и корыстный труд. Трудитесь свободно! Трудитесь с любовью! Слово «любовь» с трудом поддается пониманию, потому что любовь приходит только тогда, когда человек свободен. Раб не может по-настоящему любить. Если вы приобретаете раба, заковываете его в цепи и заставляете работать на вас, он будет механически делать свое дело, но не будет в нем любви. Так же мы — работая ради мирских вещей как рабы, мы не знаем любви, а значит, и труд наш не есть настоящий труд. Помыслы о воздаянии за наш труд мешают нашему духовному развитию и, в конечном счете, ведут к страданиям. Есть и еще один путь воплотить на практике идеи милосердия и бескорыстного труда — рассматривать труд как молитву, если вы веруете в Личность Бога. Богу мы приносим все плоды нашего труда, и, таким образом почитая его, мы не можем ожидать ничего от людей за наш труд. Бог тоже трудится непрестанно, и труд его безвозмезден. Как вода не может намочить лепесток лотоса, так труд не может привязать к себе того, кто свободен от привязанности к его результатам. Бескорыстный человек, свободный от привязанности к плодам своих трудов, способен жить в самой гуще грешных толп, но его грех не затрагивает.

Наш долг по отношению к другим заключается в том, чтобы оказывать им помощь, творить добро для мира. А почему мы должны творить добро для мира? Нам кажется, что это делается ради того, чтобы помочь миру, на самом же деле — чтобы помочь самим себе. Конечно, мы должны стремиться помогать миру, это наша главная цель, однако, хорошенько вдумавшись, мы поймем, что мир не нуждается в нашей помощи. Не так он устроен, что вы или я должны прийти ему на помощь. Я читал однажды проповедь, в которой говорилось — этот прекрасный мир хорош тем, что дает нам время и возможность помогать другим людям. Чувство это кажется весьма благородным, но нет ли богохульства в предположении, будто мир нуждается в нашей помощи? Невозможно отрицать, что в мире много страдания, поэтому помощь страждущим — лучшее из возможных деяний для нас, хотя, в конечном счете, мы неизменно убеждаемся: помогая другим, мы помогаем самим себе. Когда я был ребенком, у меня были белые мыши. Они жили в клетке с колесиками

внутри. Сколько ни крутили мыши колесики, клетка не двигалась с места. Так же и с миром и нашей помощью ему — мы только упражняем нашу нравственность.

Из «Раджа-йоги»

Уже на заре истории человек начал отмечать различные сверхъестественные явления. И в наше время тоже нет недостатка в свидетелях, готовых подтвердить их существование, даже в странах, залитых ярким светом современной науки. Большая часть таких свидетельств недостоверна, поскольку исходит от людей невежественных, суеверных или попросту лживых. Во многих случаях так называемые чудеса — это имитация. Но имитация чего? Честный научный разум не может отбросить факты, не разобравшись в них. Ученые поверхностные, сталкиваясь со сверхъестественными ментальными явлениями, которые они не в силах объяснить, стараются закрыть на них глаза. Этот подход еще более порочен, чем взгляды тех, кто думает, будто их молитвы находят отклик у некоего существа — или существ — за облаками, кто рассчитывает на то, что их мольбы заставят эти существа изменить движение вселенной. Взгляды этих людей можно оправдать их невежеством или характером образования, которое они получили и которое привило им навык к зависимости от таких существ, ставшей со временем частью их ослабленной натуры. У ученого нет оправданий.

На протяжении тысячелетий сверхъестественные явления изучались, классифицировались и обобщались, анализировались религиозные способности человека — практическим результатом этого процесса и стала наука **раджа-йога. Раджа-йога** — в отличие от иных современных ученых — не занимается отрицанием фактов только потому, что эти факты труднообъяснимы. С другой стороны, **раджа-йога** мягко, но недвусмысленно учит суеверных, что чудеса, ответы на молитвы, сила веры, при всей бесспорности их, не могут быть объяснены наличием существа — или существ — за облаками. **Раджа-йога** учит: человек есть капля бесконечного океана знания и силы, лежащего вне человечества. Человек во многом нуждается и многого желает, но он обладает и средствами для удовлетворения своих нужд, поэтому всякий раз, как исполняется желание, как приходит отклик на молитву,— необходимое поступило из этой неисчерпаемой сокровищницы, а не от некоего сверхъестественного существа. Мысль о сверхъестественных существах способна подстегнуть человека к действию, но она же ведет и к духовному застою, ибо вырождается в ужасающую веру в прирожденную слабость человека. Нет ничего сверхъестественного, говорит последователь **раджа-йоги,** в природе есть лишь грубые проявления и есть тонкие. Тонкие проявления составляют причины, грубые — следствия. Грубые проявления легко воспринимаются органами чувств, тонкие — нет. Практика **раджа-йоги** помогает человеку усовершенствовать свое восприятие.

Всякая душа потенциально божественна. Цель — проявить эту внутреннюю Божественность, управляя природой как вне человека, так и внутри.

Достигните этой цели трудом, богопочитанием, психическим контролем, изучением философии — чем-то одним или всеми способами — и сделайтесь свободны.

В этом весь смысл религии. Доктрины, догматы, обряды, книги, храмы, формы — все вторично.

Во всем мире принято считать, что религия основывается на вере, что, по большей части, она состоит только из разного рода теорий, в силу чего, как известно, религии противоборствуют друг с другом. Один говорит, что где-то за облаками сидит высшее Существо и оттуда правит миром — мне предлагается поверить в это исключительно на основе утверждения. Аналогичным образом у меня могут быть собственные представления на этот счет, в которые я прошу поверить других, а если они спрашивают, на основе чего должны верить, то мне им нечего ответить.

Тем не менее у религии есть основа, на которой зиждутся все многообразные теории и идеи разных вер, разных народов. Исследуя основы каждой, можно убедиться, что все они строятся на универсальном опыте.

Начать с того, что изучение различных религий мира показывает — их можно разделить на две категории: на религии с книгой и на религии без книги. Религии с книгой сильнее и имеют наибольшее число последователей. Религии без книг либо прекратили свое существование, либо почти не сохранили последователей. Но во всех религиях есть общая черта — считается, что истина, проповедуемая ими, является плодом непосредственного опыта определенных лиц. Христианин убеждает вас верить в Иисуса Христа, верить в него как в воплощение Бога, верить в Бога, верить в душу и в возможность совершенствования души. Если спросить у христианина — а почему я должен в это верить? — он ответит, потому что в это верит он сам. Однако в первооснове христианства лежит личный опыт. Христос говорил, что видел Бога, христианин говорит, что ощущает Бога,— и так далее. То же и в буддизме — он построен на личном опыте Будды. Будда воспринял какие-то истины, узрел их, вошел в соприкосновение с ними — и стал проповедовать их миру. То же и в индуизме — авторы священных книг индусов, которых называют **риши,** утверждают, что им открылись какие-то истины и именно их они и проповедуют. Таким образом, ясно — все религии мира зиждутся на универсальной и непреложной основе всего нашего знания — на непосредственном опыте. Все первоучители видели Бога, они видели собственные души, они видели свое будущее, они видели свою вечность, и это они проповедовали. Есть только одно отличие — большинство религий, особенно в наше время, выдвигает страннейший тезис — якобы подобный опыт сейчас уже невозможен — он был возможен только для отдельных людей, которые и стали основателями вероучений, носящих их имена. В наше же время их опыт перестал быть возможным, поэтому религию следует принимать на веру. Я совершенно не согласен с этим. Если в любой области

человеческого знания наблюдался некий опыт, то из этого с неизбежностью вытекает, что этот опыт можно было наблюдать миллионы раз до того и что он будет повторяться до бесконечности. Единообразие — строгий закон природы, что произошло единожды, может повториться множество раз.

Поэтому учители **йоги** утверждают, что религия основана на опыте, полученном в прошлом, но более того — что человек не может считаться религиозным, пока он и сам не пережил сходный опыт. **Йога** как раз и есть наука, через которую человек получает эти восприятия. Нет смысла говорить о религии, если человек не может получить этого опыта. Почему во имя Бога столько воюют, ссорятся, дерутся? Во имя Бога пролито крови больше, чем из-за любых других причин, и все только потому, что люди не обращаются к истокам религии, люди соглашаются лишь следовать обычаям своих праотцев и того же требуют от других. Какое право имеет человек на утверждение, что у него есть душа, если он ее в себе не ощущает, или на утверждение, что Бог есть, если он Его не видит? Если Бог есть, мы должны видеть Его, если есть душа, мы должны воспринимать ее, в противном случае лучше уж вообще не верить. Лучше быть откровенным атеистом, чем ханжой. Сегодня «образованные» считают, что религия, метафизика, поиск Высшего начала — пустая трата времени; полуобразованные склонны думать, что у всего этого нет никакой основы и их единственная ценность в том сильном побудительном мотиве творить добро, который эти вещи несут в себе. Когда люди верят в Бога, они лучше и моральней ведут себя, поэтому они хорошие члены общества. Упрекать за такой подход никого нельзя — людей приучили верить в словесную шелуху, за которой нет никакого смысла. От них требуют, чтобы они жили словами — разве это возможно? Если бы это было возможно, я утратил бы всякое уважение к человеческой природе. Человек стремится к истине, к истине, которую он может сам испытать, и только когда человек уловил ее, испытал ее, ощутил ее сердцем своего сердца, только тогда, говорится в Ведах, «исчезнут сомнения, рассеется мрак и станет прямым то, что было запутано».

«О, дети бессмертия, и вы, обитающие в высших сферах, найден путь, который может вывести из этого мрака, и путь в том, чтобы познать Того, кто вне мрака, а иного пути нет»,— учит **раджа-йога**. Ее цель — научить, как сосредоточивать силу разума, чтобы затем проникнуть в его самые глубокие слои, как обобщить то, что мы узнаем, и сделать из этого выводы. Не нужен поэтому вопрос о том, что представляет собой наша религия, деисты мы или атеисты, христиане, иудеи или буддисты. Мы все — люди, и этого достаточно. Каждый человек имеет право и обладает силой стремиться к религии. Каждый человек имеет право спрашивать, в чем причина, и сам отвечать на этот вопрос — нужно только захотеть.

Из того, что мы с вами узнали о **раджа-йоге**, явствует, что не требуется веры, религиозности для ее изучения. Не верьте ни во что, пока не убедитесь,— вот принцип **раджа-йоги**. Истине не нужна подпорка, чтобы устоять. Может быть, вам кажется, будто факты, полученные в пробужденном состоянии, требуют сновидений или выдумок для своего подтверждения? Конечно же нет. Изучение **раджа-йоги** требует времени и постоянной практики, отчасти физической, но главным образом психической. В процессе исследования мы увидим, насколько тесно связаны разум и тело. Если считать разум наиболее сложной частью организма, то логично предположить, что организм неизбежно воздействует на разум. В больном организме разум не может быть здоров. В здоровом теле разум здоров и силен. Когда человек сердится, его разум выходит из равновесия. Таким же образом когда выходит из равновесия разум, то это сказывается на всей работе организма.

У большинства людей разум столь слабо развит, что он, как правило, находится под контролем тела — большая часть человечества недалеко ушла от животных. Более того, во многих случаях способность человека к самоконтролю не намного превышает способности низших представителей животного мира. Мы плохо умеем управлять своим разумом. Требуются физические упражнения, чтобы научиться контролировать себя — и тело, и разум, когда же мы научаемся в достаточной степени контролировать свое тело, мы можем попробовать взять и разум под контроль, научиться управлять им. Управляя разумом, держа его под контролем, понуждая его работать в нужном нам направлении, мы овладеваем способностью сосредоточивать его силу.

В соответствии с учением **раджа-йоги** внешний мир есть не что иное, как грубая форма более тонкого, внутреннего мира. Он всегда причина, грубый мир — следствие, внешний мир есть следствие, причина же — внутренний мир. Точно так же силы, действующие во внешнем мире, есть огрубленный вариант более тонких сил внутреннего мира. Человек, который раскрыл свои внутренние силы и научился ими управлять, способен контролировать всю природу. **Йог** ставит перед собой задачу быть властелином вселенной, управлять силами природы — не больше и не меньше. Он хочет достичь той точки, где то, что мы называем «законами природы», утратит власть над ним, выйти за пределы их действия. Он хочет быть властелином всей природы — той, что вовне нас, и той, что внутри. Прогресс и цивилизация рода человеческого по сути означают управление природой.

Различные народы шли разными путями к контролю над природой. Как в обществе один человек стремится преодолеть природу внешнюю, а другой — внутреннюю, так и народы — кто двигался к покорению природы внешней, кто — внутренней. Иные считают, что контроль над внутренней природой обеспечивает контроль надо всем. Обе точки зрения верны в своем крайнем выражении, поскольку в действительности природа на внешнюю и внутреннюю не делится. Это деление условно и в природе не существует. Сторонники обеих точек зрения обязательно сойдутся в одной точке, пройдя весь свой путь. Как физик, продвигаясь к границам своей науки, обнаруживает, что физика растворяется в метафизике, так и

метафизик неизбежно увидит, что разум и материя, обладая внешними различиями, по сути составляют одно.

Цель и задача всех наук заключается в отыскании единства, Единого, из которого производится многообразие, того Одного, что существует в виде множеств. **Раджа-йога** берет своим началом внутренний мир, исследование внутренней природы, через которую возможен контроль над целым — как внутренним, так и внешним. Это очень древний подход. Он получил особое развитие в Индии, но и другие народы тоже пробовали его. На Западе этот подход считался мистическим, и тех, кто пытался воспользоваться им, сжигали на кострах или убивали как колдунов и ведьм. В Индии, в силу различных причин, это знание попало в руки людей, которые уничтожили девяносто процентов познанного и постарались сделать большой секрет из оставшихся десяти. В последнее время на Западе появилось множество так называемых «учителей», которые еще хуже, чем индийские: те хоть что-то знали, а эти не знают ничего.

Все тайное и мистическое, что связывают с системами **йоги**, нужно сразу же отринуть. Лучший проводник по жизни — это сила. В религии, как и во всем другом, старайтесь отбросить то, что ослабляет вас, держитесь от этого подальше. Игра в тайны ослабляет человеческий мозг, она почти погубила **йогу** — величайшую из наук. Со времени своего открытия, почти четыре тысячи лет назад, **йога** была ясно очерчена, сформулирована и практиковалась в Индии. Поразительное явление: чем более современен комментатор **йоги**, тем больше нелепостей в его интерпретации, а чем древнее автор — тем он рациональней. Современные истолкователи **йоги** обожают таинственность. **Йога** оказывается монополией группки людей, окутывающих ее тайной, вместо того чтобы открыть учение дневному свету и логике. Но группка заинтересована в сохранении своей монополии.

Что касается меня, то в том, чему я учу, нет никакой тайны. Я открою перед вами все то немногое, что известно мне самому. Что можно, я буду подтверждать доказательствами, чего не знаю — прямо скажу вам, что написано об этом в книгах. Слепая вера не нужна.

Что бы я ни говорил вам, останется недоказанным до той поры, пока вы не убедитесь в моей правоте на собственном опыте. Ваши сомнения рассеются, как только вы ощутите движения нервов во всем организме, но для этого необходима ежедневная настойчивая практика. Упражняться нужно по меньшей мере дважды в сутки и лучше всего делать это по утрам и вечерам. В часы, когда день сменяет ночь и когда ночь сменяет день, организм находится в состоянии относительного равновесия, поэтому и рекомендуется делать упражнения раню утром и рано вечером. Поскольку организм в это время суток, естественно, склонен к равновесию, можно использовать это обстоятельство, чтобы приступить к упражнениям. Возьмите себе за правило не есть, пока вы не проделаете упражнения,— чувство голода поможет вам преодолеть лень. В Индии детей приучают не есть до упражнений или до молитвы, и это скоро входит у них в привычку: ребенок и не хочет есть, пока не совершит омовение и утренний ритуал.

Кто из вас может позволить себе, лучше отведите для упражнений отдельную комнату. В ней не надо спать, она должна хранить в себе атмосферу святости. Туда даже не надо входить, прежде чем вы совершите омовение и почувствуете, что чисты и телом, и духом. Старайтесь всегда держать в этой комнате свежие цветы — они способствуют занятиям **йогой**,— повесьте там картины, которые вам нравятся. По утрам и вечерам зажигайте курительные палочки и не ссорьтесь, не сердитесь, не допускайте дурных мыслей там. Пусть в этой комнате бывают только люди, разделяющие ваш образ мыслей. Постепенно возникнет атмосфера святости, и если вы испытываете чувства печали, огорчения или сомнения, или ваш разум неспокоен, то, просто войдя в эту комнату, вы начнете приходить в себя. Собственно говоря, в этом смысл храмов и церквей, многие из которых хранят в себе эту атмосферу, хотя по большей части сам смысл уже забыт. Смысл же в том, что место, хранящее чистые вибрации, очищается само. Однако те, кто не имеет возможности отвести отдельную комнату для упражнений, могут заниматься где угодно. Сядьте прямо и прежде всего настройте свои мысли на все сущее. Повторяйте в уме: пусть все живое будет счастливо, пусть все живое пребудет в мире, пусть все живое испытает блаженство. Обратите эти мысли на восток, на юг, на север и на запад. И чем больше вы станете это делать, тем лучше почувствуете себя и, наконец, поймете — наилучший способ быть здоровым — помогать другим быть здоровыми, а самый простой способ быть счастливым — помогать счастью других. Кто верует, должен потом вознести молитву, но молиться не о деньгах, не о здоровье, не о царстве небесном, а о знании и свете, ибо все остальные молитвы корыстны. После этого нужно обратить мысли на собственное тело, подумать о том, что ваш организм крепок и силен и вы располагаете прекрасным инструментом. Думайте о том, что ваше тело исполнено сил и что с его помощью вы пересечете океан жизни. Слабым никогда не достичь свободы. Отбросьте слабость. Скажите своему телу, что оно сильно, скажите своему разуму, что он силен, внушите себе безграничную веру в себя и надежду.

Из «Джняна-йоги»

Велика настойчивость, с которой человек цепляется за чувственное восприятие. Но сколь бы вещественным ни казался ему мир, в котором он живет, наступает час для человека или целого народа задать вопрос: реально ли все это? Даже тот, кто не находит и минутки, чтобы задуматься, насколько достоверны его восприятия, кто всецело поглощен удовольствием от восприятий,— и к нему приходит смерть и он принужден спросить — реально ли все это? Религия начинается этим вопросом и заканчивается ответом на него. В самой глуби времен, куда не может провести нас писа-

ная история, в таинственном свете мифов, на рассвете цивилизации, звучит все тот же вопрос: куда все девается? Реально ли было оно?

Катха-Упанишада, одна из поэтичнейших упанишад, открывается вопросом: когда умирает человек, начинается спор. Одни говорят, что человек умирает навсегда, другие утверждают, что он продолжает жить. Кто прав? На этот вопрос есть много ответов. Вся метафизика, философия и религия, по сути, представляют собой различные ответы. Делались и попытки закрыть вопрос, сдержать неуспокоенность разума, который вопрошает: а что есть за пределами? Что реально? Но пока есть смерть, невозможно помешать человеку задаваться этим вопросом. Мы, конечно, можем напомнить себе, что **там** ничего не видно, связывать все наши надежды и чаяния с настоящим, изо всех сил стараться не думать ни о чем за пределами чувственного мира — и повседневная практика помогает нам утвердиться в этой ограниченности: все происходящее в мире склоняет нас к тому, чтобы не заглядывать за горизонт. Но — пока есть смерть, снова и снова будет возникать вопрос: является ли смерть концом всего, за что мы так цепляемся, будто это реальнейшая из реальностей, материальнейшая из материй? Мир исчезает во мгновение и больше его нет. Замерев на краю зияющей пропасти, самый закоснелый разум не может не отпрянуть и не вопросить: реально ли это? Надежды всей жизни, плоды трудов великого ума исчезают во мгновение. Реально ли все это? На вопрос должно ответить. Время не притупляет его остроты, напротив, все настойчивей ставит его.

Человеческий язык — попытка выразить истину, внутри нас находящуюся. Я вполне убежден, что младенец своим лепетом пытается выразить высочайшие философские истины, но у младенца нет для этого ни подходящих органов, ни способов. Мысли величайших философов отличаются от детского лепета по уровню выражения, суть же одна. Только по уровню выражения различаются корректнейший, систематизированный математический язык современности и туманные, мифологические, мистические языки древних. Все они таят в себе великую идею, которая как бы стремится выразить себя, и часто древние мифы несут в себе самородки истины, к сожалению, чаще, чем гладкие, лощеные фразы современников. Так что не нужно выбрасывать за борт вещи только за то, что их мифологическая оболочка не отвечает концепциям современности, выработанным мистером Имярек или миссис Имярек. Если человек посмеивается над религией, поскольку большинство религий прокламируют необходимость веры в миф от того или иного пророка, то еще ироничней он должен бы отнестись как раз к нашим современникам. В наше время человек, цитирующий Моисея, или Будду, или Иисуса,— старомоден, то ли дело, если он сошлется на какого-нибудь Хаксли, или Тиндалла, или Дарвина. Это слова Хаксли! Для многих этого более чем достаточно. То были религиозные предрассудки, а это — предрассудки научные, разница лишь в том, что через религиозные предрассудки пробивалась жизнетворная духовность, а через научные — похоть и жадность. Те предрассудки были поклонением Богу, эти — поклонение мамоне, тщеславию, власти.

Но возвратимся к мифологии. За всеми мифами — одна и та же обобщающая мысль о падении человека с былых высот. Наука нашего времени категорически отвергает этот постулат. Теория эволюции ни в чем не согласуется с ним: с точки зрения этой теории, человек есть результат эволюции моллюска, а потому не может быть справедливо то, о чем говорится в мифах. Однако в Индии есть мифы, способные примирить обе точки зрения. Индийская мифология предлагает теорию цикличности, согласно которой все развитие происходит волнообразно: подъемы чередуются со спадами. Даже на основе выводов современной науки совершенно очевидно, что человек не может быть продуктом одной только эволюции. Эволюция неизбежно предполагает и инволюцию. Современная наука говорит нам, что от механизма можно получить отдачу, не превышающую первоначально вложенную энергию. Невозможно произвести нечто из ничего. Если человек эволюционировал от моллюска, значит, совершенный человек, прообраз Христа или прообраз Будды, был заложен в моллюске. Если это не так, откуда, в этом случае, берутся столь великие личности? Из ничего ничего и получится. И тут мы можем прийти к объединению священных книг древности с современной наукой: энергия, которая медленно проявляет себя на различных стадиях развития, пока не проявится через совершенного человека, не возникает из ниоткуда. Она существовала где-то, и если моллюск или протоплазма являются ближайшими точками, на которые можно указать, значит, каким-то образом эта энергия содержалась в них.

Идут большие споры по поводу того, является ли сочетание материалов, именуемое телом, причиной проявления энергии, именуемой душой, мыслью и прочим, или же, напротив, они делают явленным тело. Естественно, все религии доказывают, что энергия мысли проявляется в теле, а не наоборот. Некоторые школы современной науки утверждают, что мысль есть просто результат взаимодействия частей машины, именуемой телом. Приняв эту точку зрения, а именно: душа или масса мысли, или как еще это ни назвать, является производным машины, производным химических и физических процессов вещества, составляющего тело и мозг, мы ответа на вопрос так и не получаем. Откуда берется тело? Какая сила соединяет молекулы, придавая им форму тела? Что это за сила, которая берет материал из массы вещества и лепит мое тело таким образом, а другое — другим? Откуда это бесконечное многообразие отличий? Говорить, будто сила, именуемая душой, есть производная сочетания молекул тела, значит ставить телегу перед лошадью. А сами сочетания откуда взялись, какая сила сочетала их? Говорить, что другая сила была причиной сочетания, а душа — их производная, что эта душа, сочетавшая определенным образом некую часть вещества, сама была результатом сочетаний,— это не ответ. Требуется создать теорию, ко-

торая включала бы в себя и объясняла бы если не все факты, то хоть большую их часть, не противореча другим существующим теориям. Куда более логично предположить, что сила, которая творит тело из массы вещества, есть та же сила, которая проявляет себя через тело. В таком случае утверждение, что мыслительная сила, проявляемая через тело, есть производная сочетания молекул и не может существовать независимо от них, лишено смысла. И не может сила эволюционировать из материи. Скорее можно доказать несуществование того, что мы называем материей: это всего лишь одно из состояний энергии. Можно доказать, что твердость, прочность или любое иное качество материи есть результат движения. Ускорение кругообразного движения жидкости сделает ее твердым телом. Масса воздуха в кругообразном движении — торнадо — приобретает свойства твердого тела, способного при соприкосновении разрушать другие твердые тела. Паутинка, если ей придать очень большую скорость, приобретет крепость железной цепи и разрежет дуб. Таким образом, доказать, что материя не существует, не трудно. Однако доказать обратное невозможно.

Что представляет собой энергия, проявляющаяся через тело? Чем бы она ни была, нам ясно, что она как бы составляет форму из частиц, например, наше тело. Никто иной не производит тела для нас с вами. Я никогда не видел, чтобы кто-то ел за меня. Я сам должен усвоить пищу, превратить ее в кровь, в кости и во все прочее. Так что это за таинственная сила? Идея будущего и прошлого многих пугает. Другие воспринимают эту идею чисто умозрительно.

Давайте ограничимся настоящим временем. Что это за сила, которая проявляется в нас сию минуту? Мы знаем, что в древности, во всех священных книгах, эта сила, проявление этой силы, описывалось в виде светоносной субстанции, имеющей форму тела и сохраняющей ее и после телесного распада. Позднее, однако, была выдвинута более высокая идея — светоносное тело не представляет собой эту силу, ибо все, имеющее форму, есть результат сочетания частиц, которые что-то должно было собрать вместе. Если тело создано чем-то, что само не является телом, следовательно, и светоносное тело должно быть создано чем-то, что им не является. Это нечто на санскрите получило имя **атман. Атман** через светоносное тело созидает ему грубую оболочку — наше физическое тело. Светоносное тело считается носителем разума, **атман** же находится вовне. **Атман** не есть разум: он действует через разум, созидая тело. У вас свой **атман**, у меня — свой; у каждого собственный **атман**, собственное светоносное или тонкое тело, через которое мы воздействуем на грубую внешнюю оболочку. Но тогда возникает вопрос о природе **атмана**. Что собой представляет **атман**, душа человека, который не есть ни тело, ни разум? На этот счет велись большие споры, выдвигались различные предположения, создавались философские концепции. Я постараюсь изложить вам некоторые заключения об **атмане** и его природе.

Представители различных философских школ сходятся на том, что, чем бы ни был **атман**, он не обладает формой или очертаниями, а то, что не обладает формой, должно быть вездесущим. Идея времени начинается с разума, равно как и идея пространства. Без времени не может существовать причинность, ибо причинность предполагает последовательность событий. Следовательно, время, пространство и причинность — в разуме, **атман** же, находящийся вне разума и не имеющий формы, должен быть вне времени, пространства и причинности. Если он вне времени, пространства и причинности, то он должен быть бесконечен. Тут мы подходим к высшей точке философии: двух бесконечностей быть не может. Если душа бесконечна, то может существовать только единая Душа, а тогда все рассуждения о том, что у вас — своя душа, у меня — своя и прочее, не являются реальностью. Значит, Реальный Человек — это единый, бесконечный и вездесущий Дух. А тот человек, которого мы видим, есть лишь ограниченный вариант Реального Человека. В этом смысле верно мифологическое представление о том, что сколь бы ни был велик человек, он все равно лишь тусклое отражение Реального Человека вне этого мира. Он — Дух, находящийся вне причинно-следственных связей, не скованный ни временем, ни пространством, должен быть свободен. Дух всегда свободен и иным быть не может. Человек же, его отражение, скован временем, пространством и причинностью, а следовательно, лишен свободы. Или, по словам некоторых наших философов, он представляется несвободным, хотя свободен по сути. Это и есть реальность наших душ — вездесущность, духовность, бесконечность. Всякая душа бесконечна, а потому не может возникнуть вопрос о ее рождении или смерти.

Был опрошен ряд детей. Им задавали трудные вопросы, среди которых был и такой: почему не падает земля? Предполагалось, что дети скажут о законах гравитации. Большая часть детей вообще не могла ответить, некоторые знали что-то о земном тяготении, а одна маленькая умненькая девочка ответила вопросом на вопрос: а куда ей падать?

Действительно, вопрос нелеп. Куда ей падать? Земля не может ни упасть, ни подняться — в бесконечности нет ни верха, ни низа, все относительно. А может ли быть в бесконечности приход или уход? Откуда приход и куда уход?

Когда человек перестает думать о прошлом и о будущем, когда он отбрасывает мысли о теле, поскольку оно приходит, уходит и тем ограничено, он восходит к более высокому идеалу. Реальный Человек — это не тело и это не разум, ибо у разума есть свои приливы и отливы. Это Дух вне всего, который единственный может жить вечно. И тело, и разум беспрестанно изменяются, строго говоря, эти слова означают серию сменяющих друг друга состояний — как реки, чье струение кажется неизменным, но изменяется каждый миг. Каждая частица нашего тела непрестанно меняется, никто не может сказать, что у него то же тело, как нечто постоянное. То же и разум: то счастлив, то несчастен, то могуч, то слаб — вечно меняющийся водоворот. Следовательно, наш разум — это не Дух, ибо дух бес-

конечен, а все изменчивое конечно. Абсурдно предполагать, будто бесконечное подвержено переменам — какие перемены? Мы с вами в наших ограниченных телах можем двигаться, каждая частичка во вселенной находится в постоянном движении, но если взять вселенную в целом, то как единое целое она не может двигаться, она не может изменяться. Движение всегда относительно — я двигаюсь относительно чего-то. Каждая частица во вселенной может двигаться относительно другой, любой другой, вся же вселенная — относительно чего может она двигаться? Ведь ничего помимо нее нет. Итак, это бесконечное Единство неизменно, недвижимо, абсолютно и это — Реальный Человек. Следовательно, наша реальность в Универсальном, а не в ограниченном. Это давнее заблуждение, весьма уютное — думать, что мы есть маленькие, постоянно меняющиеся существа. Человека пугает мысль о том, что он, по сути, есть Универсальное существо — вездесущее: каждым поступком, каждым шагом, каждым словом, каждым ударом сердца.

Люди пугаются, когда с ними говоришь об этом, и начинают спрашивать, что же будет с их индивидуальностью. А что такое индивидуальность — я бы очень хотел ее увидеть. У малыша нет усов, став взрослым мужчиной, он может отпустить и усы, и бороду тоже. Если бы дело было только в его теле, то это означало бы утрату его былой индивидуальности. Будь это так, я бы утратил индивидуальность, лишившись глаза или руки. Пьяница должен бы продолжать пить, чтобы не утратить индивидуальность, вор не должен бы становиться честным человеком, и вообще каждый должен бы держаться за свои привычки и образ жизни. Единственная индивидуальность — в Бесконечном, ибо только оно не подвластно переменам. Все остальное находится в постоянном течении. Память тоже не может быть залогом индивидуальности. Допустим, меня ударят по голове и я забуду свое прошлое — мне конец, я утратил индивидуальность. Я не помню первые два-три года младенчества, а если память и существование — одно, то, что забыто, утрачено навек. Забытая часть моей жизни — непрожитая часть. Мне это кажется чрезмерно узким подходом к индивидуальности.

Никто из нас пока еще не индивидуальность. Мы все стремимся к индивидуальности, которая есть Бесконечное, которая есть подлинная природа человека. Лишь тот живет, кто соотносит свою жизнь со всей вселенной, а чем больше мы связываем себя с конечными вещами, тем быстрее мы движемся к смерти. Мы по-настоящему живы только в те минуты, когда наши жизни соединены во вселенной с другими жизнями, замкнуться в крохотном существовании — смерть, настоящая смерть, поэтому и возникает такой страх перед ней. Страх смерти можно преодолеть, лишь когда человек понимает, что он жив, пока есть хоть искра жизни во вселенной. Он ведь может сказать: я — во всем, я — во всех, я — вся жизнь, я — вселенная. После этого он уже ничего не боится. Это абсурд — рассуждать о бессмертии того, что непрерывно изменяется. Как сказал один из философов древности: индивидуален только Дух, ибо он бесконечен. Бесконечность нельзя разделить на отрезки, она всегда едина, всегда та же, она и есть индивидуальность Реального Человека. Обычный человек — лишь олицетворенная попытка выразить, проявить ту индивидуальность, что вне всего; и эволюция не имеет отношения к Духу. Перемены идут своим чередом: негодяй становится добрым человеком, животное достигает людского уровня, но с какой точки зрения вы ни смотрели бы на них — они не имеют отношения к Духу. Это эволюция природы и проявление Духа. Представьте, что между вами и мной — завеса, а в ней дырка, сквозь которую я мог рассмотреть только несколько лиц, всего несколько. Теперь представьте, что дыра эта все расширяется, я вижу все больше и больше, пока, наконец, завеса не исчезнет и я не увижу вас всех. Вы же не изменились — дырка эволюционировала, а вы постепенно проявляли себя перед моими глазами. Так же и Дух. Здесь нет движения к совершенству. Вы все и без того свободны и совершенны. Что такое идеи Бога, религии, поиск иного мира? Почему человек ищет Бога? Почему человек, где бы он ни жил, кем бы ни был, жаждет совершенный идеал, ищет его в человеке, в Боге, в чем-то еще? Да потому, что эта идея внутри вас. Это стучало ваше собственное сердце, а вы не знали и прислушивались к звукам извне. Это Бог внутри вас самих побуждает вас найти его и самореализоваться. После долгих поисков в храмах и церквах, на земле и на небе вы возвращаетесь, завершив круг, к тому, с чего начинали,— к собственной душе. Там вы обнаруживаете Бога, которого искали по всему свету, плача и молясь в церквах и храмах. Тот, кого вы считали тайной из тайн, окутанной облаками, оказывается ближе близкого — в вашем Я, в реальности вашего тела и души. Он и есть ваша природа — утвердитесь в ней, проявите ее в себе. Не ради того, чтобы очиститься,— вы и без того чисты. Вам и к совершенству не надо стремиться — вы совершенны. Природа, как завеса, скрывала от вас реальность по ту сторону. Всякое ваше доброе дело или добрый помысел как бы разрывает эту завесу — и чистота, и Бесконечное, Бог все отчетливее проявляются перед вашими глазами.

Такова вся история человечества. Завеса делается все тоньше и тоньше, свет сияет все ярче и ярче, потому что природа света в том, чтобы сиять. Это нельзя познать, наши старания тщетны. Будь это познаваемо, оно не было бы собой — вечной темой. Знание объективизирует и тем самым ограничивает. А ваше собственное Я есть вечная тема всего, вечный свидетель вселенной. Сравнительно с этим знание — шаг вниз, к ухудшению. Мы сами и есть вечная тема, что нам познавать ее? Это настоящая суть каждого человека, которую он пытается выразить различными способами, а иначе — откуда столько этических кодексов? Где объяснение всей этике? Суть всех этических систем, выражаемая в разных формах, одна — делай добро другим. Побудительной силой человечества должно быть милосердие по отношению к человеку, милосердие ко всем животным. Но ведь это и есть вы-

ражение вечной истины: я есть вселенная, единая вселенная. А какой еще может быть резон? С чего я должен делать добрые дела для ближнего, для людей вообще? Что меня заставляет? Симпатия, ощущение нашей общей одинаковости. Самые жесткие сердца подчас испытывают жалость. Даже человек, пугающийся мысли о том, что его воображаемая индивидуальность — просто заблуждение, что неприлично так цепляться за придуманную индивидуальность, даже он согласится, что сутью морали является полное самоотрицание. А что такое полное самоотрицание? Отказ от воображаемого Я, отказ от себялюбия. Представление обо «мне» и «моем», **ахамкара** и **мамата**,— это предрассудки, унаследованные от прошлого, и чем дальше оттесняется нынешнее Я, тем более явным становится настоящее Я. Вот в чем смысл подлинного самоотречения, центр, основа, суть всех моральных учений, и, понимает это человек или нет, человечество медленно движется в эту сторону. Правда, большая часть человечества делает это неосознанно. Пусть она осознает, что делает. Надо идти на жертвы, надо понять, что все эти «я» и «мое» ограничивают подлинную природу человека. Но проблеск бесконечной реальности, что позади — искра бесконечного огня, который есть Все, представляет нынешнего человека. Бесконечное — его природа.

Из «Бхакти-йоги»

Человеческий язык не в силах выразить природу возвышенного и абсолютного идеала любви. Как бы высоко ни воспаряло человеческое воображение, человек не способен представить себе этот идеал в его беспредельном совершенстве и красоте. И все же последователи религии любви, как в ее высокой, так и в низших формах, во всех странах и во все времена вынуждены использовать ограниченные средства человеческого языка, чтобы обрисовать свой идеал любви. Невыразимую божественную любовь приходится выражать через понятия различных форм любви человеческой. Человеку дано лишь по-человечески воспринимать божественное, мы можем выразить наше восприятие Абсолюта только в относительных терминах нашего языка, поэтому для нас вселенная есть перевод Бесконечного на язык конечного. **Бхакте** тоже приходится использовать слова, призванные выражать человеческую любовь, для описания своей любви к Богу.

Некоторые из великих мудрецов, писавших о **пара-бхакти**, сами прибегали к различным способам, стремясь понять и испытать божественную любовь. Простейший из этих способов они называют **шанта**, покой. Когда человек поклоняется Богу без пылания любви в сердце, без любовного безумия в разуме, когда его любовь обыденна и спокойна — она возвышается над формальными и символическими проявлениями, но не поглощает его целиком, тогда это **шанта**. Бывают люди медлительные, бывают стремительные: **шанта-бхакти**, любовь нежных, тихих, неторопливых.

Но выше другой тип любви — **дасья**, служение, когда человек видит в себе слугу Бога и его идеал — это преданность верного слуги своему повелителю.

Еще один тип любви — **сакхья**, дружба, «Ты наш возлюбленный друг». Как открывает человек свое сердце другу, веря, что друг не станет бранить его за недостатки, но постарается ему помочь, как настоящая дружба всегда основывается на равенстве, так же равноправны и любовны отношения между **бхактой** и его другом, Богом.

Бог становится нашим другом, другом, который всегда рядом, другом, которому все можно рассказать. Мы можем раскрыть ему сокровеннейшие тайны наших сердец в полной уверенности, что Он нас поймет и поддержит. Он — друг, и **бхакта** с Ним на равных, как с другом детства, другом детских игр. Ведь можно же сказать, что мы все играем в этом мире. Маленькие дети — в свои игры, великие правители и воители — в свои, и даже сам Бог играет со вселенной. Он совершенен, Он ничего не желает. Зачем же ему понадобилось творить мир? Человек все делает ради удовлетворения своих потребностей, а наличие потребностей предполагает несовершенство. Бог — совершенство и потребностей не имеет. Почему же Он вечно активен и постоянно занят творением? Какова здесь цель? Истории, которые мы выдумываем о том, что Бог сотворил мир ради того или иного, хороши только как занимательные сказки, не более. На самом деле это Его игра, Он вечно играет и вечно творит, и вся вселенная должна быть для Него игрушка. Если ты беден — играй в бедность, богат — играй в богатство, с опасностью тоже можно играть, а со счастьем так и подавно. Весь мир — площадка для наших игр, мы рождаемся, чтобы забавляться на ней, и Бог участвует в наших играх. Он вечный наш товарищ детских игр. И как прекрасны Его забавы. С завершением каждого цикла завершается и одна из Его игр. На некоторое время наступает передышка, затем все снова появляется и затевается новая игра. Беды и несчастья приходят лишь тогда, когда мы забываем, что все это — игра, в которой участвуем и мы с вами. Забыв об этом, мы ощущаем тяжесть в сердце и мир давит на нас своим неимоверным весом. Но стоит отбросить серьезность, вспомнить о кратковременности и изменчивости жизни, которая есть просто сцена, на которой мы играем, участвуя в божественной игре,— и тяжесть исчезает без следа. Бог играет в каждом атоме, Он играет, сотворяя земли, солнца, луны. Он играет с человеческими сердцами, с животными, с растениями. Мы с вами — фигуры на Его шахматной доске, Он нами двигает и сбрасывает нас с доски. Он расставляет нас то так, то этак, а мы — сознаем ли мы это или нет — участвуем в Его игре. Какое же это блаженство — быть Господним партнером!

Но можно любить Бога и по-иному: не как нашего Отца, но как Дитя. Возможно, мысль об этом покажется странной, но дело тут в том, чтобы освободить концепцию Бога от всякого представления об авторитарности. Авторитарность вызывает благоговейный страх, но любовь и страх несовместимы. Почитание и послушание необходимы при формировании характера, но когда характер сформирован и когда **бхакта** уже

испытал и тихую, ровную любовь, и изведал любовное безумие, он больше не нуждается в дисциплинирующей этике. **Бхакта** скажет, что ему безразличен могущественный, величественный, всеславный Бог, Владыка вселенной, Бог богов. Он поклоняется Богу-дитяти, чтобы отделить Бога от устрашающего представления о Его силе. Отец с матерью не испытывают благоговейного страха перед своим ребенком, они не относятся к дитяти с почтением. Им в голову не придет просить его о милостях. Напротив, ребенок всегда получает что-то от родителей и из любви к ребенку родители готовы сто раз пожертвовать собой. Если бы у них были тысячи жизней, они их все с радостью отдадут за дитя — поэтому и Бога любят как собственного ребенка. Идея Бога-дитяти возникает и естественно развивается в тех религиозных сектах, которые исповедуют веру в воплощение, в телесное воплощение Бога. Мусульманин не в силах представить себе Бога-дитя, он с ужасом отвергнет саму мысль об этом. Но христиане и индусы воспринимают ее с легкостью, потому что для одних существует младенец Иисус, для других — дитя Кришна. Индийские женщины часто отождествляют себя с матерью Кришны, христианки тоже могут принять мысль о том, что они и есть богородицы — что дало бы Западу столь необходимую для него концепцию божественности материнства. Суеверные страхи, связанные с Богом, очень глубоко укоренились в наших сердцах, и требуются годы, чтобы утопить в любви эти представления о Боге, которые внушают нам благоговение, почтение и приниженность.

Существует еще одно человеческое представление об идеале божественной любви. Оно называется **мадхура** и является наивысшим из представлений такого рода, поскольку в его основе — высшее проявление земной любви, сильнейшее из всего, известного человеку. Какая любовь полностью преображает человека, наполняя собой каждый атом его существа, лишая его разума, заставляя обо всем забыть, превращая его в Бога или в дьявола, какая любовь способна на это, кроме любви мужчины и женщины? В этом нежном представлении о божественной любви Бог является нашим супругом. Все мы — женщины, мужчин на свете нет, кроме одного,— и это Он, наш божественный возлюбленный. Вся любовь, которую мужчина отдает женщине, а женщина мужчине, отдается одному Богу!

Однако различные проявления любви, известные нам в этом мире, в которые мы в общем-то только играем, по сути, обращены только к Богу; к сожалению, человеку неведом безбрежный океан любви, к которому постоянно стремится могучий любовный поток, поэтому он, в невежестве своем, старается сделать объектами любви людей, крохотных куколок. Огромной силы любовь к ребенку, естественно присущая человеку, предназначена не маленькому человечку, и если бездумно и слепо излить ее только на ребенка, то родители неизбежно пострадают от этого. Правда, это страдание поможет вам осознать, что если любовь, наполняющая вас, отдается только человеку, людям, то она не может не стать в результате причиной боли и мук. Наша любовь должна быть обращена к Тому, кто никогда не умирает и никогда не изменяется, чей океан любви не знает ни приливов, ни отливов. Любовь должна быть обращена к тому, для кого она и предназначена, а предназначена она влиться в океан любви, имя которому есть Бог. Все реки текут в моря. Даже капелька, сбегающая по горному склону, не остановит свое движение, после того как соединится с ручьем или рекой,— в конечном счете, каждая капелька должна влиться в океан. Бог — единственная цель всех наших страстей и чувств. Если вы сердиты — сердитесь на Него, дуйтесь на своего Возлюбленного, на своего Друга. А на кого еще вы можете безнаказанно дуться? Смертный не станет безропотно терпеть ваши капризы, вам рано или поздно, но ответят тем же. Если вы злитесь на меня, я разозлюсь на вас, ибо я не умею терпеливо выносить вашу злость. Возлюбленному же можно сказать: почему Ты оставил меня, почему я должен страдать в одиночестве?

Кому можно радоваться, если не Ему? Какую радость могут дать комочки праха? Пусть все наши страсти и все чувства будут обращены к Нему. Они и предназначены Ему, ибо если не достигают они назначенной им высоты и обращаются к тому, что ниже, это делает их порочными. Будучи обращены к Богу, самые низменные чувства преображаются, становясь возвышенными. В чем бы ни выражала себя энергия человеческого тела и разума, единственная точка их устремлений все равно есть Бог. К Нему должны быть обращены все страсти человеческого сердца, ибо Он — единственный Возлюбленный. Он прекрасней и возвышенней всего, Он и есть красота, Он и есть высокое величие. Кто во вселенной прекрасней Его? Кто во вселенной может быть лучшим супругом, чем Он? Кто во вселенной заслуживает любви больше, чем Он? Так пусть будет Он Возлюбленным, пусть будет Он Супругом.

Но часто влюбленные в Бога воспевают божественную любовь языком любви человеческой во всех ее аспектах и считают, что этот язык может выразить их чувства. Глупцы не понимают этого и никогда не поймут, ибо видят мир только физическим зрением. Им непонятно безумие духовной любви. Откуда? «За один поцелуй Твоих губ, о Возлюбленный! Кого Ты поцеловал, навеки опален страстью к Тебе и нет у него иных печалей и ни о чем он не помнит, кроме Тебя!»

Но подлинный **бхакта** не останавливается и на этом: даже супружеская любовь не удовлетворяет его страсть — его влечет идея незаконной любви, не в силу ее незаконности, а потому, что в ней еще больше страсти: это ведь любовь, которую препятствия только распаляют. **Бхакта** отождествляет себя с девушкой, сгорающей от любви, предмет которой неприемлем для ее родителей, но чем больше препятствий встречается на ее пути, тем жарче пылает любовь. Человеческий язык не в силах передать, как пылко был любим Кришна в рощах Вринды, как летели к Нему вечно благословенные пастушки, услышав Его голос, рвались к Нему, забывая обо всем, о мире и его условностях, о чувстве долга, об иных радостях и скорбях. Человек, о человек —

ты говоришь о божественной любви, не забывая при этом о суетном, так искренен ли ты?

«Там, где Рама, там нет места желаниям; где есть место желаниям, там нет Рамы,— как свет и мрак, они никогда не вместе».

Когда достигнут высочайший идеал любви, философия больше не нужна. Зачем она? Освобождение, спасение, **нирвана** — ничего не нужно. Кто же захочет освободиться от счастья божественной любви?

«Господи, я не хочу богатства, не хочу друзей, не хочу красоты, не хочу учености, не хочу даже свободы — дай мне рождаться снова и снова и будь вечно моей Любовью. Будь моей любовью во веки веков!»

Бхакта вопрошает:

«Кому нужно стать сахаром? Я не хочу быть сахаром, ибо хочу чувствовать сладость сахара».

Кто же захочет освободиться и стать единым с Богом?

«Я могу познать, что Он и я едины, но я отдалюсь от Него, чтобы наслаждаться общением с Возлюбленным!»

Так говорит **бхакта.** Любовь ради самой любви — вот в чем его высшая радость. Кто не согласится на тысячекратное рабство ради общения с Возлюбленным? **Бхакту** не волнует ничего, кроме любви, он живет, чтобы любить и быть любимым. Его неземная любовь подобна приливной волне, поднимающейся вверх по реке, **бхакта** идет против течения. Мир зовет его безумцем. Я знаю одного такого человека, когда его называли безумцем, он отвечал:

«Друзья мои, но ведь безумен мир. Кто утрачивает разум ради земной любви, кто — в погоне за славой, кто — в погоне за деньгами, кто — ради того, чтобы спасти свою душу и после смерти попасть на небеса. И я безумен в этом сумасшедшем доме. Я сошел с ума из любви к Богу. Вы рветесь к деньгам, а я — к Богу. И вы безумны, и я безумен, но мне кажется, что мое безумство лучше».

Любовь истинного **бхакты** безумна, все остальное меркнет перед ней, все другое перестает для него существовать. В его глазах вселенная полна любви, и только любви. Человек, в такой степени переполненный любовью, вечно блажен и вечно счастлив. Блаженное безумие божественной любви одно только и может исцелять пороки нашего мира. Нет для **бхакты** желаний, значит, нет в нем и себялюбия. Он приблизился к Богу и отбросил все суетное, что раньше наполняло его.

Мы все должны вступать в религию любви, как дуалисты. Бог для нас — Существо особое, и мы чувствуем свою отделенность от Него. Но по мере того как нас заполняет любовь и мы начинаем приближаться к Богу, Бог становится ближе нам. Человек переносит на свой идеал любви, на Бога, те формы изъявления любви, которые ему привычны в жизни: любовь материнскую, отцовскую, сыновнюю, дружескую, преданность повелителю, влюбленность. Для **бхакты** Бог существует в каждом из проявлений любви, но потом он достигает самой высокой точки, откуда видит себя в совершенной слиянности с предметом своей любви. Мы все начинаем с любви к самим себе, и наше себялюбие делает себялюбивой даже нашу любовь к другим. Но наконец мы видим яркий свет и осознаем, что наше крохотное Я соединилось с Бесконечным. Человек преобразился перед этим Сиянием любви и осознал прекрасную и вдохновляющую истину: любовь, влюбленный и Возлюбленный — едины.

МАРК ХАРИТОНОВ

БЕЛАЯ РУБАШКА, или О ПОНИМАНИИ

В воспоминаниях Л. Чуковской об Анне Ахматовой есть любопытный эпизод. К Ахматовой пришел профессор-швед в красивой, невероятной белизны рубашке. «Как ангельское крыло»,— прокомментировала Анна Андреевна не без раздражения. «Пока у нас здесь были две кровавые войны и еще много крови», они там «только и делали, что сти-ра-ли и гла-ди-ли эту рубашку».

Замечательное свидетельство! Такое раздражение против западной «белизны» было бы более понятно в устах советского человека. Но Ахматова, человек по природе не советский, успевшая пожить еще при другой жизни, носившая красивые платья и знавшая цену дорогим украшениям! После многих лет страданий и бедствий какое-то внутреннее сопротивление вызывает у нее этот символ слишком беспроблемного, слишком незапятнанного благополучия.

За этим эпизодом (психологически таким понятным для нас) кроется многое: речь, в частности, идет о проблеме понимания между нами, нынешними, и Западом.

1

Россия была и остается страной великой европейской культуры. За годы социалистического эксперимента европейское качество этой культуры подверглось хорошо известным мутациям. В какой-то мере они затронули и Запад: такие понятия, как «литература агитпропа», во всяком случае совсем недавно, в Германии, отнюдь не казались заимствованными. На взлете утопического энтузиазма мы как будто были даже больше понятны Западу, чем сейчас; именно приметами нашего нового, ни на что не похожего мира там особенно склонны были восторгаться. С крахом эксперимента стало очевидно, как много во взаимном понимании оказалось на самом деле нарушено.

Мне уже приходилось писать о словаре Андрея Платонова, который не только для западного человека, но и для иных русских требует теперь перевода и обстоятельного комментария, словно язык принципиально другой цивилизации. Творчество этого большого писателя, уже целиком сложившегося в советский период, боюсь, вообще не может быть адекватно воспринято иностранцем.

(К слову сказать, феномен Платонова — задачка для тех, кто склонен считать теперь все, порожденное советской цивилизацией, своего рода фантомом, бесовской мнимостью, босховской скорлупой, которой суждено рассыпаться с наступлением новых времен, оставив после себя лишь зловоние. То, что христианам представлялось языческими идолами и лжеучением, внутри другой системы ценностей имело все-таки реальный смысл и реальное существование.)

Сейчас мне, однако, хотелось бы подчеркнуть другое: при всех этих особенностях Платонов был художником не просто европейского уровня, но европейского измерения. Это в каком-то смысле удивительно, если вспомнить о масштабах нашей нарастающей изоляции от художественных и философских исканий западной культуры. Что знал, например, Платонов о сюрреализме? что мог видеть? что читал? Характер его чтения и образованности, насколько я знаю, до сих пор мало исследован. Между тем на его страницах есть образы потрясающей сюрреалистической мощи, есть сцены, достойные театра абсурда, есть решения, предвосхищающие открытия вряд ли известных ему мастеров. Конечно, он творил не в безвоздушной среде: к 20—30-м годам у нас успели сложиться, и не только в литературе, свои великие школы. И все-таки не оставляет чувство, что многие свои открытия он делал сам, помимо заимствований и влияний, силой своего чисто «нутряного», самородного гения.

Наша жизнь, можно сказать, вынуждала к самостоятельным поискам. Я много лет был знаком с великим современным скульптором Вадимом Сидуром, чьи работы стоят сейчас в Берлине, Касселе, Дюссельдорфе и других городах Германии. Сидур утверждал, что свой художественный язык, позволявший специалистам сравнивать его с Муром, Липшицем и Джакометти, создал и развил сам, без влияния этих европейских мастеров. Он их попросту не знал: ко времени его учебы и становления наша оторванность от Запада обрела черты едва ли не полной изоляции. Ведь даже коллекция современной европейской живописи в московском Музее изобразительных искусств была тогда закрыта от зрителей. Мы не знали и собственной культуры начала века. Конечно, какие-то косвенные неосознанные влияния прорывались через разные виды искусства, донося до нас общие представления о художественном языке XX столетия. Но главные свои открытия он поневоле делал для себя сам — они становились поистине кровными.

Такое развитие во многом обеспечивало органичность, первичную подлинность творчества. Но были тут и свои издержки: развивалось, в частности, чувство этакой само-

достаточности; у менее крупных художников оно могло обернуться своего рода провинциальным комплексом. Тому же Сидуру даже в поздние годы ни разу не позволили съездить за границу. Я помню, как он рассказывал о провале очередной такой попытки. Приглашение было на правительственном уровне, Союз художников поставил условием включение в делегацию своих официальных представителей; в конце концов они и поехали, а он опять нет. Сидур, как обычно, не очень переживал. «В сущности, мне там ничего и не надо,— сказал он.— Конечно, было бы интересно посмотреть, как стоят в Германии мои работы».— «В Германии и помимо твоих работ есть что посмотреть»,— не без иронии заметил участвовавший в разговоре немецкий профессор Карл Аймермахер (чьими усилиями во многом и были установлены эти памятники). И Сидур сам с готовностью посмеялся над своей фразой.

А фраза-то характерная! Мы не рвались за границу, потому что это была привилегия, за которую надо было расплачиваться известной ценой; лучше было об этом вовсе не думать, уверять себя (с достаточной искренностью), что нам и не хочется. Мы возводили нужду в добродетель, культивируя чувство самоценности собственного опыта. Это психологически помогало держаться, но было чревато и неизбежными искажениями.

Речь не просто о литературе или искусстве — о культуре в самом широком смысле. Знакомый историк, переводчик Тацита, специалист по Древнему Риму, никогда не имевший возможности побывать в своем Вечном городе, с сарказмом говорил мне об итальянских рассказах Ю. Трифонова: «Он попал в страну тысячелетней истории, в новый, неизвестный ему, фантастически богатый мир. И что же он там для себя выискивает? Потомков русских эмигрантов. О них он пишет, на них сосредоточен его главный интерес, он продолжает и здесь размышлять о родных делах. Вся прочая Италия — антураж для этих встреч, русских разговоров, открытий».

Я могу понять этот сарказм — но могу понять и Трифонова. В его интересе все-таки больше подлинности (той самой, экзистенциальной), чем в дежурных «путевых заметках» или стандартном любопытстве туристов, которые отщелкивают положенный набор цветных фотографий, чтобы отметиться в очередной точке земного шара.

И что нам, в самом деле, может сказать эта жизнь, такая богатая, такая нарядная, такая на вид благополучная? Отстирать добела рубашку в современной автоматической машине — делов-то!

2

Наша реакция на западные проблемы порой вполне описывается репликой известного анекдота: «Мне бы ваши заботы, господин учитель!» Действительно, какие могут быть, всерьез говоря, проблемы в мире, где так доступна любая покупка и поездка в любую страну? Нам странно слышать, что и здесь отнюдь не все счастливы, а некоторые почему-то даже кончают самоубийством. Нам бы эти проблемы! Мы покачиваем головами, когда западный художник в темпераментном порыве называет свою страну «комфортабельным концлагерем»; мы могли бы в ответ рассказать кое-что о концлагерях без комфорта.

Нам кажется, что этот опыт страданий и неустроенности придает нашей жизни особую духовную значительность, в том числе и перед лицом Запада. Какие испытания мы прошли, в какие бездны заглядывали! — чего-нибудь это да стоит?

Между тем Варлам Шаламов считал лагерный опыт абсолютно отрицательным, не имеющим позитивной человеческой ценности. С ним многие не соглашались, ссылались на его собственный духовный подвиг — «Колымские рассказы»: побывав в аду, реальном, не дантовском, он сумел оставить о нем свидетельство громадной силы. Я знаю людей, называвших лагерные годы в духовном смысле плодотворнейшими для себя. И сам ловил себя на своего рода зависти (отчасти, возможно, писательской) к испытавшим войну и тюрьму. Не дай бог, конечно, но если уж выпало...

Со времен Достоевского ведутся у нас разговоры о духовной ценности страдания. Это не просто особенность национального менталитета — нечто сходное проявлялось и у других, прошедших через опыт тоталитаризма. В одном венгерском фильме героиня рассказывает о поездке во Францию: «Там жизнь такая, как она есть, и все в ней понятно. А мы страдаем, мучаемся вопросами бытия и всегда несчастны».

Страдаем — зато мучаемся не какими-нибудь бытовыми вопросами: бытийственными! Американский психолог Фрида Порет рассказывает о первоначальном восторженном шоке от российских кухонных «посиделок»: «У вас все философы! За столом вы... обсуждаете сложные духовные и нравственные проблемы. У американцев такое общение не принято. Только о погоде, счете в банке, новой машине. Русская душа действительно очень глубока и богата. Толстой и Достоевский могли родиться только у вас».

А вот и вывод: «Как психолог, я хорошо понимаю тягу к задушевным беседам. Когда человек несчастлив и подавлен, живет в тревоге, не уверен в завтрашнем дне, он чувствует себя очень одиноко. Ваши разговоры «на троих» — это психотерапия».

Вывод стоит восторгов. Если разговоры о духовных проблемах — всего лишь способ психотерапии, американцу в самом деле проще, да и доступнее обойтись визитом к домашнему психоаналитику. Всего сто долларов — и тебя не будут мучить мировые вопросы, равно как супружеские измены, смерть близких и катастрофа чужого народа.

Фармацевтическое благоденствие «прекрасного нового мира», в сущности, так доступно. И почему, черт побери, должна нас раздражать эта белая рубашка?

Простых поездок и встреч оказывается недостаточно, чтобы по-настоящему понять друг друга. Чужое воспринимается холодно, отстраненно и неточно, если мы не узнаем в нем хотя бы толику своего. Неспособность и нежелание понять другой мир оборачивается двойственным комплексом: одновременно превосходства и неполноценности. Нам бы ваши заботы!

А почему, собственно, мы претендуем на понимание, сами сосредоточившись лишь на себе? Так ли уж интересен для всех наш катастрофический опыт, наши лагерные истории, неудобства и непотребства нашего быта, для описания которых в литературе уже изобретен даже термин «чернуха»?

Не помню, где я услышал или прочел сравнение нашей страны с деревенским домом, где все не как у людей: то скандал, то пьяная драка, то вспыхнет пожар, и соседям приходится тушить, мирить, помогать, подкармливать голодных детей.

Но есть в этой семье молчаливый мальчик, он смотрит на все печальными умными глазами и, подрастая, что-то пописывает себе в тетрадку. Это русская интеллигенция.

3

Область духовного творчества, что ни говори, все еще остается оплотом нашего самоутверждения. Писатель в русском обществе традиционно чувствовал себя фигурой более значительной, чем на Западе. Он был исполнен сознания своей особой, нередко жертвенной миссии — он склонен был ощущать себя голосом нации, и голосом едва ли не единственным.

Замысел «Красного колеса», по словам самого автора, возник из потребности сказать насущную правду о важнейших событиях нашей истории — больше было просто некому, специалисты-историки сделать этого не могли.

Изменились времена, изменилось и это самоощущение. Обрели голос историки и экономисты, появились какие ни есть, но профессионалы-парламентарии. Литература получила возможность вспомнить, что ее королевский домен — все-таки жизнь человеческого духа. И прекрасно, казалось бы! Но к этой перемене надо еще привыкнуть. Тем более что многие прежние достижения, предмет привычной гордости, оказались поставлены под сомнение. Оборотной стороной мессианского комплекса, глядишь, опять оказывается все тот же комплекс неполноценности.

Это относится не только к литературе. Ощутив себя в чем-то уравненным с западными собратьями, теряя ориентиры в поднимающейся рыночной стихии, иные наши художники готовы, кажется, отказаться уже и от подлинно духовного первородства. Я покачивал головой, читая уверения известного режиссера о безнадежном отставании нашего кино от голливудского: не та пленка, не та техника. Я не знаток голливудского кино, однако насмотрелся достаточно откровенного примитива, рассчитанного, право же, на подростковый уровень интеллекта и вкуса — хотя, что говорить, с шикарными техническими эффектами. Не на это стоило бы оглядываться. Возможность подлинно высокого творчества не так уж прямо (чуть ли не по-марксистски) зависит от материально-технической базы.

Опять получается почему-то про белую рубашку. Это все-таки не более чем одежда. В конце концов, можно купить. В растерянности оглядываясь сейчас на Запад, мы не всегда вникаем в весьма дифференцированный характер тамошней художественной жизни. Я безуспешно пробовал допытаться у известного немецкого искусствоведа, действительно ли так хороши картины (в том числе и наших авангардистов), о которых столько пишут в прессе (в том числе и он сам) и которые так высоко оцениваются (в том числе и в денежном выражении). Искусствовед пытался объяснить мне, что для художественного рынка на Западе понятия «хорошо» или «плохо» относительны. Есть мода на данный час, целенаправленно формируемая, есть репутации, созданные художественной, а то и политической конъюнктурой, усилиями критиков, галеристов и т. п.

Не уверен, что я все это хорошо понял. Мы ведь больше привыкли размышлять о ценностях вечных. Многолетняя невозможность обращаться к современникам поневоле располагала, так сказать, к разговору с Богом; тема успеха была по крайней мере неактуальной. Впрочем, для кого как. Это уж всегда и везде: для кого как. Возможно, по части коммерческих достоинств мы отстали действительно безнадежно — но лично я об этом, право же, меньше всего склонен печалиться. В конце концов и на Западе не путают уровни, коммерческие бестселлеры не смешивают с настоящей литературой. Существует массовое искусство — для одних и высокое — для других. Недемократично? Об этом можно поспорить, но различать ориентиры необходимо, в том числе и сравнивая себя с прочим миром.

«Есть ценностей незыблемая ска́ла над скучными ошибками веков»,— утверждал поэт. Все-таки есть. После всех сомнений, метаний и размышлений приходишь в конечном счете только к ней, к этой скале. В наше время духовной смуты, крушения кумиров и жизненных основ имеет смысл об этом лишний раз напомнить. Ведь на высших-то ее отметках, на уровне Сидура, Шнитке, Тарковского или Бродского, проблемы понимания между русской и западной культурами не существует. Не правда ли?

У книжной витрины

БРИГИТТА КРОНАУЭР
Женщина в подушках

Brigitte Kronauer. Die Frau in den Kissen. «Klett-Cotta»

Бригитта Кронауэр известна в Германии как автор эссе, рассказов, радиопьес и трех романов: «Фрау Мюленбек», «Рита Мюнстер» и «Конные стрелки из лука». Новая книга писательницы с традиционно понимаемым романом имеет мало общего: это произведение без действия, без главного героя и вроде бы ни о чем.

Женщина, страстно любящая зоопарк, все утро проводит у вольеров со слонами; днем, подремывая, сидит за столиком кафе, потом опять обходит все клетки и в завершение навещает старушку — «женщину в подушках», которую покидает лишь в серых сумерках раннего утра. Безымянная рассказчица с первых страниц романа мечтает о «возвращении в постель» и «вегетативном горизонтальном положении», но ей так и не удается в этот день выспаться. Вот и вся история.

Хотя книга Б. Кронауэр вызвала неоднозначные оценки критики, она получила большинство голосов в списке лучших книг 1990 года.

АМИН МААЛУФ
Сады света

Amin Maalouf. Les jardins de lumiere. «Lattès»

Черное и белое, Добро и Зло. Как известно, слово «манихейство» обозначает ересь, с которой давно уже — вплоть до истребления ее сторонников — борется Церковь. Однако слишком мало известно об основателе учения — Мани. В книге «Сады света» ливанский писатель, автор нашумевшего романа «Самарканд», Амин Маалуф вновь обращается к личности, принадлежащей легенде и истории, к «восточной» теме, и красочно описывает экзотические страны — Индию и Аравию III века нашей эры. В романе вдоволь всевозможных атрибутов Востока: таинственные секты, чародеи, кровавые деспоты и боевые слоны. На фоне чудес и эпохальных сражений возникает образ месопотамского пророка, который тщетно пытался свести воедино учения Христа, Заратустры и Будды.

ПАТРИК МОДИАНО
Цветы гибели

Patrick Modiano. Fleurs de ruines. «Seuil»

Апрель 1933 года. Молодожены кончают жизнь самоубийством в своей парижской квартире; причина их поступка неизвестна. Накануне они поздно вернулись после прогулки с двумя другими супружескими парами...

Трудно сказать, почему этот факт из уголовной хроники тридцатилетней давности привлек внимание рассказчика. Возможно, потому, что в газетном сообщении упоминается дом с красным лифтом, знакомый ему по воспоминаниям детства. Он пытается выяснить мотивы самоубийства молодых супругов, размышляет об их судьбе, тени которой словно пересекаются с его собственной.

Совершая длинные пешие прогулки по Парижу, герой книги отдается потоку ассоциаций, которые открывают читателю его прошлое, где в центре — фигура отца, арестованного во время войны нацистами и бежавшего из концлагеря при довольно загадочных обстоятельствах.

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС
Начало жизни на земле

Joyce Carol Oates. The Rise of Life on Earth. «New Directions»

В промежутке между романами (о последнем из них — «Мне нравится, что оно горькое, потому что это мое сердце» — читайте в «ИЛ», 1991, № 5) Джойс Кэрол Оутс закончила две повести: «Я захлопываю дверь за собой» и «Начало жизни на земле». Вторая повесть — трагический рассказ об умственно отсталой женщине. Кэти Хеннесси — так зовут главную героиню — хорошо себя чувствует в больничной обстановке, в которую она попала в возрасте одиннадцати лет вместе со своей младшей сестрой Нолой после того, как их жестоко избил безработный отец-алкоголик. Нола умирает, а для брошенной родителями на произвол судьбы Кэти настает пора скитаний по чужим семьям, принимавшим ее на воспитание. Девочка не может не вызывать к себе чувства жалости и сострадания. Но однажды, во время пожара, погибает вся семья, в которой она жила, и лишь Кэти знает, отчего вспыхнуло пламя...

Всю жизнь зло неотступно следует за ней: оно вокруг нее и в ней самой. Повзрослевшая Кэти внешне — как будто преданная помощница медсестры, с восторгом читающая литературу для подростков, на самом же деле ее сжигают порочные страсти.

ГЕРТ ХОФМАН
Рассказчик кинофильмов

Gert Hofmann. Der Kinoerzähler. «Hanser»

Герт Хофман — писатель, недавно появившийся на литературной сцене с романами «Фиалковое поле», «Наша забывчивость»,

«Перед дождем». Новую книгу он посвятил своему деду — Карлу Хофману, таперу кинотеатра «Аполлон» в маленьком саксонском городке Лимбах.

«Рассказчик кинофильмов» — роман о целой эпохе в истории кино. Это воспоминание о человеке, любящем кино, живущем благодаря кино — до тех пор, пока кино, на сей раз звуковое, не превращает его в «лишнего»; это и воспоминание о трагических для страны годах, о том, как маленький человек, сам того не подозревая, стал соучастником становления фашизма.

ТУРЕ ГАМСУН
Дни и годы

Tore Hamsun. Efter ar og dag. «Gyldendal»

Писатель назвал свою новую книгу «Дни и годы» автобиографией, однако вряд ли можно считать ее таковой в полном смысле слова. Ведь Туре Гамсун рассказывает не только о себе, но и о своем прославленном отце. Многое читателю уже известно из первой книги Т. Гамсуна — «Кнут Гамсун — мой отец» (выйдет в издательстве «Радуга» в 1992 году).

Туре Гамсун делится воспоминаниями о своей семье и о людях, с которыми ему доводилось встречаться. Благодаря отцу он познакомился с известными писателями, художниками, композиторами.

Т. Гамсун не умалчивает и о том факте, что в послевоенные годы Кнут Гамсун был обвинен в пособничестве нацизму, объявлен предателем Норвегии и осужден. Туре Гамсун не пытается уйти от трудной темы, столь широко обсуждаемой и сегодня. Он не выступает в качестве защитника отца, а лишь рассказывает все так, как было на самом деле.

ДЖУЛИЯ КУРТИС
Рукописи не горят: Михаил Булгаков. Письма и дневники

J. A. E. Curtis. Manuscripts Don't Burn: Mikhail Bulgakov; A Life in Letters and Diaries. «Bloomsbury»

Многие булгаковские произведения уже давно стали объектом пристального изучения и анализа, но попытки биографов рассказать о жизненном и творческом пути писателя затруднялись нехваткой достоверной информации. Тем не менее на Западе выходили книги о жизни Булгакова. Среди них наиболее известны труды Колин Райт (1978) и Эллендеи Проффер (1984). В нынешнем году опубликовано исследование Лесли Милн, которое дало возможность читателям ознакомиться с некоторыми современными находками и открытиями в булгаковедении.

Книга Джулии Куртис — ее издание приурочено к столетию со дня рождения писателя — появилась в результате многолетней кропотливой работы автора в советских архивах. Здесь представлен необработанный материал: личная переписка; письма М. Горькому, Е. Замятину; письма, адресованные Сталину, в которых Булгаков просил разрешить ему выехать за границу, отрывки из сожженного писателем дневника двадцатых годов (он был изъят при обыске, потом возвращен автору, но копия осталась в ОГПУ), а также дневники его жены — Елены Сергеевны. Такая коллекция булгаковской переписки не имеет аналогов даже в Советском Союзе.

Собранные документы охватывают период с октября 1917 года по март 1940 года. Эти материалы, разделенные на главы, Дж. Куртис сопровождает короткими пояснительными комментариями.

САЛЬМАН РУШДИ
Воображаемые отечества: эссе и критика 1981—1991

Salman Rushdie. Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981—1991. «Granta»

Этот сборник, объединяющий 75 рецензий, критических статей и политических эссе,— вторая работа Сальмана Рушди, изданная за время вынужденного тайного затворничества. В прошлом году вышла книга для детей «Гарун и море сказок» — он написал ее по просьбе сына, который стал не только первым читателем, но и первым «рецензентом».

Название сборнику дало первое эссе. Для Рушди отечество — Индия, Бомбей. Англия так и не стала его второй родиной, поэтому он говорит, что «смотрит на мир глазами переселенца». С. Рушди пишет о двух столь далеких друг от друга культурах, о расовом предубеждении англичан по отношению к иммигрантам, об Индии, расколотой фундаментализмом и религиозной ненавистью.

Значительную часть книги составляют рецензии прошлых лет на произведения Н. Гордимер, Г. Гарсиа Маркеса, Ф. Рота, И. Кальвино, У. Эко, В. С. Найпола и других. В этот же раздел включены обстоятельная рецензия на фильм Р. Аттенборо «Ганди» и язвительный портрет Маргарет Тэтчер.

В который раз Сальман Рушди возвращается к своему злополучному роману «Сатанинские стихи» и пытается объяснить его замысел. Уже некоторые мусульманские лидеры признали, что книга была неправильно понята, однако смертного приговора писателю пока никто не отменял. Скорее всего именно этим объясняется решение С. Рушди не переиздавать «Сатанинские стихи» и не соглашаться на новые переводы, а также его обращение в мусульманство.

Великобритания

«КОРОЛЕВА ДЕТЕКТИВА» СРЕДИ ЛОРДОВ

Многие любители криминального жанра согласятся с тем, что лучшие детективы написаны англичанками. Долгие годы «королевой детектива» величали Агату Кристи. Теперь это звание перешло к ныне здравствующей Ф. Д. Джеймс.

Путь к славе начался в 1962 году, когда некая миссис Уайт, высокопоставленная сотрудница министерства внутренних дел, работавшая в одной из исследовательских лабораторий, опубликовала первый роман, подписав его своей девичьей фамилией — Джеймс. Со временем книги Ф. Д. Джеймс по достоинству оценили и читатели, и критики.

Ей был присужден ряд премий, в 1983 году вручен орден Британской империи, а в этом году Елизавета II пожаловала популярнейшей писательнице титул пэра.

Германия

МЕТАМОРФОЗЫ «HOMO FABER»

Режиссер Фолькер Шлёндорфф завоевал популярность прежде всего своими экранизациями литературной классики: произведений Р. Музиля, Н. Борна, Г. Бёлля, М. Пруста. В этом году завершились съемки фильма по роману Макса Фриша «Homo Faber» (был опубликован в «ИЛ», 1966 № 4).

Из двух сюжетных линий режиссер остановил свое внимание на «частной» — истории любви инженера Фабера и его дочери Забет. И тут же столкнулся с непреодолимым, казалось бы, препятствием, поскольку считал, что инцест ни в коем случае нельзя показывать на экране. Впрочем, выход был найден — Фриш и Шлёндорфф сошлись на том, что инцест в романе не более чем метафора.

Сэм Шепард в фильме Homo Faber

(Журнал «Цайт»)

Долго не могли найти исполнителя на роль главного героя, пока режиссера «не осенило» — следует пригласить Сэма Шепарда. «Этот парень холоден как лед»,— сказал Макс Фриш, поглядев на фотографию Шепарда. Выбор англоязычного актера на роль Фабера заставил пересмотреть всю концепцию фильма: смертельно больной швейцарский инженер, пресыщенный европейской культурой и отправляющийся в путешествие по экзотическим странам, чтобы развеяться, превращается в американца-технократа, единственная «болезнь» которого — отсутствие души. Фабер-американец едет в Европу и впервые видит культурные сокровища Франции, Италии, Греции...

Роль Забет сыграла Юлия Делпи, чья «улыбка сфинкса» и «лицо романтической героини», по выражению Фриша, помогают воссоздать на экране образ окутанной загадочностью дочери Фабера.

Макс Фриш незадолго до своей кончины успел увидеть фильм в готовом виде. Единственное, о чем он сожалел: «Будь у нас еще полгода, мы могли бы выдумать другой конец».

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЛЬВУ КОПЕЛЕВУ, ставшему первым лауреатом недавно учрежденной премии им. Эриха Марии Ремарка (10 тыс. марок). Ее присуждает город Оснабрюк, родина писателя.

Отныне премия будет вручаться раз в два года за публицистические, беллетристические и научно-популярные работы, соответствующие девизу Ремарка: «Моя тема — человек этого столетия».

Ирландия

ЧЕМОДАН ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

Покидая Париж в декабре 1939 года, Джеймс Джойс оставил почти все свои вещи в квартире на Рю-де-Винь. В январе 1941 года он умирает, и его ближайший друг Поль Леон устремляется в Пасси, подкупает консьержку и с риском для жизни, чудом не попав в руки немецкого патруля, забирает личные вещи Джойса. Фотографии и книги он отдал Норе Джойс, вдове писателя, а чемодан с письмами и другими бумагами покойного передал представителю Ирландии в Париже. Чемодан был отправлен в Национальную библиотеку Ирландии, но открыть его — таково условие, поставленное Леоном,— можно только через пятьдесят лет после смерти последнего. Поль Леон умер в 1942 году, так что пятьдесят лет вот-вот дол-

жны истечь. Джойсоведы с нетерпением ожидают дня, когда будет обнародовано содержимое чемодана; ждет этого и семья писателя. Но перед тем как стать достоянием публики, все бумаги должны быть занесены в каталог и замикрофильмированы. Хранительница библиотеки утешает нетерпеливых: «В конце концов, мы же ждали пятьдесят лет. Можно подождать и еще немного».

А. Дюма и его герои. Рисунок из журнала «Магазин литтерер».

Италия

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Известный писатель и специалист в области семиотики Умберто Эко вынужден был сменить квартиру. Причина переезда — невозможность разместить в прежней квартире библиотеку, состоящую из 28 тысяч томов. Огромный коридор, опоясывающий его новое жилище, позволит писателю расположить в нем 30 тысяч книг. Большая часть произведений, составляющих эту гигантскую библиотеку, посвящена загадочным чужеземным языкам, языкам символов, алхимическим и каббалистическим рукописям, в общем, науке безумцев. Как известно, Умберто Эко одержим навязчивой идеей — поиском «идеального языка». В этом деле он испробовал все — от попыток восстановления «языка Адама» до создания искусственного языка, способного универсально отражать человеческие мысли. В Оксфорде У. Эко прочел цикл лекций, в которых использовал все существующие оккультные сочинения, пытаясь разгадать, что именно мог сказать Адам Создателю. Эко считает, что любое языковое изыскание — это расследование в духе Шерлока Холмса. Его собственные исследования, которые после появления «Имени розы» привлекают к себе пристальное внимание, принесли ему титул «Паваротти семиотики».

Канада

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ У ДЮМА-ОТЦА?

Квебекское издательство «Геррен» преподнесло подарок любителям творчества Александра Дюма, выпустив в свет «Словарь Дюма», ставший самым полным и объемным исследованием его произведений. Постарались для поклонников Дюма-отца (а их только во Франции насчитывается около 50 тысяч) преподаватель истории и литературы Монреальского университета Режинальд Амель и врач Пьеретта Мете. Пятнадцать лет не пожалели они на работу в архивах и библиотеках Европы. Как оказалось, не зря: в итоге получился впечатляющий труд, где 650 произведений Дюма, расположенные в алфавитном порядке, проанализированы с исторической и политической точки зрения. Не забыты и персонажи. Целый народ — 37 267 человек — живет на страницах книг великого рассказчика.

Румыния

«БОГ РОДИЛСЯ В ИЗГНАНИИ»

Румынские читатели смогли наконец прочесть на своем родном языке роман опального автора В. Хории «Бог родился в изгнании». Главный герой книги — римский поэт Овидий, первый великий изгнанник Европы. Роман написан в форме его дневников, которые он вел в годы ссылки. Схожая судьба постигла и самого автора: вот уже полвека он живет в Мадриде, где выпустил несколько романов и сборников эссе. Что касается этой книги, она была издана в 1960 году во Франции и удостоилась Гонкуровской премии. Факт сам по себе примечательный, ибо присуждение крупнейшей литературной премии иностранцу — событие довольно редкое. Тут же французская компартия развернула против Хории кампанию, обвинив его в принадлежности к «Железной гвардии». Однако серьезных доказательств членства В. Хории в румынской фашистской организации предъявлено не было, более того — известно, что во время войны он сидел в гитлеровском концлагере, Гонкуровская академия отменила церемонию вручения премии, но от своего выбора не отказалась.

США

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

Какие только страдания не причиняют писателям собственные книги, когда их или не печатают, или не раскупают, или не понимают, а то и вовсе запрещают! Но есть еще одна напасть: оказывается, у автора совершенно законно можно украсть права на его творение.

Такая история произошла с американцем Джеймсом Пиккенсом. Несколько лет назад он закончил книгу «Сделки» и совместно с двумя друзьями выпустил ее небольшим тиражом, после чего появилась благосклонная статья в «Уолл-стрит джорнэл». Пока Пиккенс вел переговоры с одним издательством, друзья за его спиной заключили соглашение с неким Бенджамином Ф. Геем III, который фактически и стал правообладателем. Тогда еще никто не подозревал о «достоинствах» Бена Гея, хотя уже в то время его персона могла бы заинтересовать определенные органы власти. Он снабдил книгу «отзывами» знаменитостей и умудрился продать более миллиона экземпляров, естественно, даже не помышляя уплатить налоги. К несчастью для автора, книга оказалась хорошей, но жизнь его превратилась в дурной сон. Мало того что Пиккенс лишился своего детища, а вместе с ним и денег, на него посыпались угрозы с требованиями не вмешиваться. В результате незадачливый сочинитель уехал в Мексику. Во время его вынужденной эмиграции книга вышла в нескольких странах и повсюду была хорошо принята.

Понадобилось почти десять лет, чтобы справедливость восторжествовала. Бен Гей в конце концов на чем-то попался и угодил за решетку. Правда, в числе его многочисленных грехов, рассматриваемых в

суде, авантюры с книгой Пиккенса не оказалось, хотя автор не теряет надежды когда-нибудь обрести утраченные гонорары.

Лишь в 1990 году книга «Сделки» вышла в Штатах, но уже под другим заглавием — «Искусство заключать сделки» — в респектабельном издательстве «Шапольский паблишерз». Оно же готовит новую книгу Джеймса Пиккенса «Еще об искусстве заключать сделки». Похоже, собственный плачевный опыт добавил автору свежего материала и послужил источником вдохновения.

Нашлась работа и для ФБР — оно продолжает вылавливать по стране непроданные экземпляры «Сделок» с целью взимания налога.

«АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХ» НЕ ДОЛЖЕН ВЫЙТИ НА ВОЛЮ!

По-прежнему не утихают страсти вокруг книги молодого писателя Брета Истона Эллиса «Американский псих», в которой действие разворачивается вокруг пристрастия главного героя к наркотикам и извращенным убийствам. Ее появлению предшествовали массированные атаки на автора со стороны критиков и прознавших о ней феминисток.

Больше всех разгневались члены Национальной женской организации. Досталось от них и издательству «Кнопф», взявшемуся напечатать скандальный роман тиражом 60 тыс. экземпляров. Под лозунгом «Нет «Кнопфу» в 1991 году!» объявлен бойкот на все выпускаемые им книги, за исключением разве что написанных феминистками.

Первоначально роман собиралось опубликовать «Саймон энд Шустер», но, поразмыслив, издатели, видимо, решили не рисковать своим добрым именем. Затем гранки попали в «Винтадж», входящий в издательство «Кнопф», и претерпели кое-какую правку. Интересно, что же отсекли редакторские ножницы? Например, в одной грубой шутке теперь фигурируют умершие президент Кеннеди и Перл Бейли вместо ныне здравствующих Дайаны Росс и Хулио Иглесиаса. В книге упоминается довольно много известных личностей и реалий, правда, Б. Эллис подчеркивает, что все происходящее является вымыслом. Сокращены подробные описания одежды различных персонажей и изъят «кошмарный», по свидетельству очевидцев, рисунок, исполненный авторской рукой. Что же касается сцен, вызвавших столь бурное негодование: жутких убийств, увечий и издевательств над женщинами, бездомными мужчинами, домашними животными и маленьким ребенком — они остались нетронутыми.

Роман заставил поволноваться и владельцев книжных магазинов. Большинство из них скрепя сердце заказали его, но кое-кто заявил, что не собирается продавать книгу, поскольку «не желает помогать мистеру Эллису и издательству наживаться на ней. Впрочем, для тех клиентов, чье желание прочитать это произведение велико, будет сделан специальный заказ».

Тем временем, пока феминистки увлечены борьбой с местным «психом», к американскому книжному рынку подобрался «псих английский», и явился он в образе дамы, садистским образом расправляющейся с мужчинами, которые пришлись ей не по нраву. Речь идет о книге Хелен Захава «Уик-энд». В Англии она вышла под названием «Грязный уик-энд». Американские издатели пока сомневаются, стоит ли за нее браться, ссылаясь на то, что описания убийств «как-то уж чересчур» красочны. Однако это не смущает режиссера Майкла Уиннера, замыслившего сделать по этой книге, наверно, не менее красочный фильм.

«ГОЛЛИВУДСКИЕ ТАНЦЫ СО СЛОВАМИ»

Сколько лет существует кино, столько лет оно заимствует сюжеты из литературы. Больше половины картин, получивших Оскара «за лучший фильм», сделаны на основе романов или литературных биографий. Самый последний пример — фильм Кевина Костнера «Танцы с волками», удостоенный в нынешнем году этой высшей награды по семи показателям.

В 70-е годы, отмечает журнал «Тайм», огромную популярность (а значит, и прибыль) имели картины с оригинальными сценариями («Рокки», «Звездные войны», «Охотник за оленями»). Продюсеры решили, что с литературой на экране покончено. Исключением стал лишь Стивен Кинг — практически все его романы перекочевали на экран. Сегодня ситуация изменилась: Голливуд вновь подружился с книгой. Что же случилось: может, зрители не хотят больше видеть одних мускулистых красавцев, увешанных оружием, без единой мысли на челе? Может, надоели сплошные пиротехнические эффекты? Или сами киномагнаты пристрастились к чтению? Скорее, все дело в простоте и удобстве: есть готовый текст (уже опробованный на читателях), который остается только пересказать, не упустив при этом главного.

Большинство популярных романов, попавших на широкий экран и хорошо принятых зрителем,— добротные, бесхитростные триллеры, где всем все ясно. От продюсера требуется лишь соответствующе их подать.

Кадры из фильмов-экранизаций *(Журнал «Тайм»)*

Вот здесь-то заключается загвоздка. Голливуд, как и рожденные им персонажи, хочет быть любимым. А чего больше всего ждет зритель в кино — конечно, счастливого конца. И студия не в силах отказать ему в этом удовольствии. Поэтому «Костры амбиций» (читайте роман в ближайших номерах нашего журнала) лучше закончить не расистским шабашем, а проникновенной речью в защиту всеобщего братства; злая медсестра из «Безысходности» (по роману С. Кинга) пускай не совсем отрубит ногу своему пленнику, а лишь сломает ее; ну а героине из фильма «Ночи с врагом» (одноименный роман Нэнси Прайс прочно занимает место в списках бестселлеров) не подобает идти на семейный конфликт с мужем-убийцей, а лучше вести себя тихо. Зритель поймет и простит.

КОРОЛЬ РОК-Н-РОЛЛА СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ?

Сенсационное открытие преподнесла три года назад некая Гейл Бруэр-Джорджо в книге «Элвис жив?». Ав-

тор доказывает, что кумир поклонников рока, официально умерший в 1977 году, на самом деле пребывает в добром здравии. По ее версии, Пресли не только пел, но и состоял тайным агентом Бюро по борьбе с наркотиками (уж не по долгу ли службы ему пришлось так много их перепробовать?). На этом поприще он нажил себе столь могущественных врагов, что вынужден был разыграть собственную смерть и теперь скрывается от вездесущей мафии в надежном месте. Развитию этой же идеи посвящена и вторая книга Бруэр-Джорджо «Досье Элвиса: была ли его смерть фальсификацией?», вышедшая в прошлом году.

Похоже, сама писательница глубоко убеждена в неоспоримости фактов; наверно, и многим читателям хочется поверить им. Что касается издателей, трудно сказать, насколько серьезно они относятся к «воскрешению» Пресли, но маховики Элвис-индустрии уже запущены, книги напечатаны большими тиражами, готовятся публикации в других странах, на подходе видео- и аудиокассеты. Одним словом, если не сам Элвис Пресли, то имя и дело его живут и процветают.

Франция

ДЕ САД: «АД НА БУМАГЕ БИБЛИИ»

Порнограф, распутник, исчадие ада. Он же великий, до конца не понятый и по достоинству не оцененный писатель, которого А. Камю назвал первым теоретиком абсолютного бунта, а Г. Аполлинер — «самым свободным духом из всех, когда-либо живших». Сколько поколений ведут уже этот спор, но, пожалуй, никогда еще интерес к личности и творчеству легендарного маркиза не был во Франции так велик, как сейчас.

Де Сад вошел в моду, на что немедленно отреагировал бизнес: появилось шампанское марки «Де Сад», духи «Де Сад», даже женское белье с тем же названием (маркиз, наверно, был бы доволен). Однако коммерческая суета — лишь поверхностное отражение куда более глубокого интереса, результата серьезных исследований и переосмысления фигуры великого либертена. Мифологический персонаж, сотворенный двумя веками домыслов, сплетен и смакования, уступает место реальному де Саду, опасному философу и блестящему литератору.

В нынешнем году во Франции почти одновременно появились три книги, посвященные де Саду. И если одна из них — «Маркиз» Ролана Топора — представляет собой иллюстрированный альбом, своеобразный кукольный спектакль, навеянный судьбой и произведениями де Сада, то остальные две следует отнести к серьезному литературоведению. Исследователь Жан-Луи Дебов собрал и опубликовал «Неизданные письма и документы», связанные с именем де Сада. А издатель Жан-Жак Повер выпустил в свет третий том своего фундаментального труда «Живой Сад». Ж.-Ж. Повера можно назвать «садистом»-ветераном: он первым в 50-е годы осуществил легальное издание «Ста двадцати дней Содома», за что и был приговорен к немалому штрафу (а тираж к конфискации).

Но нравы меняются, и в этом году в престижнейшей «Библиотеке Плеяд» издательства «Галлимар» вышел первый том собрания сочинений Донасьена-Альфонса-Франсуа де Сада. Это событие вызвало всеобщий интерес, раздались и возмущенные отклики — ведь прежде в «Библиотеке Плеяд» печаталась Библия! А броская рекламная фраза еще и нарочно подчеркивает это пикантное обстоятельство: «Ад на бумаге Библии». Журнал «Магазин литтерер» в специальном выпуске опубликовал большую подборку материалов и статей, посвященных де Саду, его издателям и исследователям, в том числе резкую отповедь Филиппа Солера, который считает акцию «Галлимар» кощунством. «Неужто в этой несчастной стране не осталось никаких авторитетов?!» — восклицает автор, напоминая о том, что в США недавно запретили куда более невинный видеоклип Мадонны, а перед тем архиепископ Парижский резко осудил демонстрацию «пресного» фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».

Итак, маркиз по-прежнему в центре общественного внимания, по-прежнему хвалим одними и хулим другими.

Маркиз де Сад. Рисунок Фелисьена Мориса (1921).
(Журнал «Магазин литтерер»)

ФЛОБЕР А-ЛЯ ШАБРОЛЬ

Героиня романа Гюстава Флобера Эмма Бовари настолько популярна на родине писателя, что французы даже придумали глагол — «bovariser», чтобы описать

страсть, выходящую за всякие рамки. Существует уже достаточно экранизаций этого романа, среди которых постановка Жана Ренуара, увидевшая свет в 1934 году, и известная голливудская версия 1949 года с Дженнифер Джонс в главной роли.

И вот новая интерпретация старого сюжета. На сей раз ее осуществил французский режиссер Клод Шаброль. В роли Эммы снялась Изабель Юппер.

После выхода фильма в прокат появились первые отклики. Как часто бывает с экранизациями, одни хвалят создателей фильма за трепетное отношение к тексту оригинала, другие же, наоборот, упрекают режиссера в том, что он не привнес в фильм ничего личного. К. Шаброль считает, что важнее было сохранить верность оригиналу и перевести на кинематографический язык его совершенство.

Флобер противился попыткам иллюстрировать его произведения, однако, по мнению Клода Шаброля, писатель просто не хотел видеть застывшее, неподвижное изображение, а вот искусство кино, напротив, пришлось бы ему по душе.

Кадр из фильма К. Шаброля «Мадам Бовари».
(Журнал «Магазин литтерер»)

Чехо-Словакия

«А. СОЛЖЕНИЦЫН В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Этим конференциям чехословацких русистов положил начало известный ученый, профессор Мирослав Дрозда. В содружестве с д-ром Иваном Слимаком он провел первую такого рода встречу в 1967 году. Советские танки в Праге и последующие судороги «нормализации» прервали эту традицию на 20 с лишним лет. Нет в живых Мирослава Дрозды. Но в его память 31 мая 1991 года Иван Слимак, декан философского факультета Университета имени Я. Коменского в Братиславе, открыл конференцию славистов, посвятивших себя русской литературе.

Конференция собрала около тридцати участников из Праги, Брно, Братиславы, Москвы и Ленинграда. Темой ее стало: «А. Солженицын в контексте европейской культуры». Это одна из первых (если не первая) научная конференция, специально посвященная изучению творчества выдающегося писателя современности.

Доклады, сообщения, дискуссии, принимавшие порой острый характер, проходили два дня в замке Бродзяны в Словакии. Участникам встречи гостеприимно открыл свои двери дом, связанный с судьбой потомков Пушкина. Здесь жила сестра Н. Н. Гончаровой — Александрина, не однажды приезжала сюда сама Наталья Николаевна с детьми поэта. Ныне здесь музей словацко-русских литературных связей. Успеху международной встречи способствовала сама атмосфера старого замка с уютным парком, на одной из зеленых лужаек которого в дни работы конференции был открыт памятник Федору Михайловичу Достоевскому.

По материалам журналов «Лир», «Цайт», «Паблишерз уикли», «Магазин литтерер», газет «Кензен литтерер», «ФАЦ», «НЦЦ» и сообщениям наших корреспондентов.

Авторы этого номера

МАРЕК ХЛАСКО (MAREK HłASKO; 1934—1969) — польский прозаик и публицист, лауреат литературной премии Объединения польских книжных издателей (1958). Автор сборников повестей и рассказов: «Первый шаг в облаках» («Pierwszy krok w chmurach», 1956), «Кладбища», «Следующий в рай» («Cmentarze». «Następny do raju», 1958), «Рассказы» («Opowiadania», 1963), «Все отвернулись», «Грязные дела» («Wszyscy byli odwróceni», «Brudne czyny», 1964), «Обращенный в Яффе» («Nawrócony w Jaffie», 1966), романа «Сова, дочь пекаря» («Sowa, córka piekarza», 1968), литературных мемуаров «Красивые, двадцатилетние» («Piękni, dwudziestoletni», 1965).
Публикуемые рассказы взяты из четырехтомного издания рассказов Марека Хласко, вышедшего в Польше в 1986 году (Opowiadania. Utwory wybrane w 4-ch tt. T. I.— Warszawa, 1986).

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ (VIRGINIA WOOLF; 1882—1941) — английская писательница — романист, новеллист, эссеист. Представительница психологического направления в английской прозе первых десятилетий XX века. Автор романов «Путешествие» («The Voyage Out», 1915), «Ночь и день» («Night and Day», 1919), «На маяк» («To the Lighthouse», 1927), «Орландо» («Orlando», 1928), «Волны» («The Waves», 1931), «Годы» («The Years», 1937), «Между актами» («Between the Acts», 1941), сборников рассказов и эссе. Популяризировала русскую литературу в Англии: произведения Толстого, Чехова, Достоевского. «Иностранная литература» познакомила читателей с романом В. Вулф «Миссис Дэллоуэй» (1984, № 4), по-русски печатались также рассказы, повесть «Флаш» и роман «На маяк».
Роман «Комната Джейкоба» вышел в Англии в 1922 году, после чего многократно переиздавался и был переведен на многие языки. («Jacob's Room». London, Penguin Books in association with The Hogarth Press, 1922).

ПЕРЕВОДЧИКИ:

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — советский переводчик с польского. В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Домбровской, М. Хороманьского и др. В «ИЛ» напечатаны переводы романов Т. Новака «Черти» (1975, № 3—4), В. Мысливского «Камень на камень» (1986, № 7—9), повесть Е. Анджеевского «Врата рая» (1990, № 1), а также повести и рассказы.

ТВЕРДИСЛОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА — советский литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с польского. Автор статей о польских писателях, в том числе о Мареке Хласко.

КАРП МАРИЯ ПОЭЛЕВНА — советский переводчик с английского и немецкого языков. В ее переводах публиковались рассказы Ф. О'Коннора, Г. Э. Бейтса, Р. М. Каллагана, стихи У. Х. Одена, Г. У. Лонгфелло, Э. Дженнинг, А. Гриффиуса, статьи С. Т. Колриджа и др.

Цена 2 руб. 95 коп.

ИНДЕКС 70394